



# Михаил Афанасьевич Булгаков

## Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. Белая гвардия. Записки на манжетах. Рассказы

*Издательский текст*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=176065](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176065)*

*Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. Белая гвардия. Записки на манжетах. Рассказы: АСТ, Астрель; М.; 2007  
ISBN 978-5-17-049555-9, 978-5-17-013825-8, 978-5-271-19207-4,  
978-5-271-16730-0*

### **Аннотация**

В настоящем собрании сочинений представлены все художественные произведения Михаила Булгакова, созданные им на протяжении 20 лет литературной работы (романы, повести, рассказы, драматические произведения, фельетоны и очерки), а также эпистолярное наследие писателя.

Первый том содержит роман «Белая гвардия» (1923–1924). Кроме того, в него вошли повесть «Записки на манжетах» (1922) и рассказы 1920-х гг.

# Содержание

«...НА ПОРОГЕ КАК БЫ ДВОЙНОГО БЫТИЯ»	8
АВТОБИОГРАФИЯ	52
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ	54
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	55
1	55
2	61
3	93
4	123
5	135
6	161
7	208
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	226
8	226
9	246
10	259
11	283
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	320
12	320
13	347
14	368
15	383
16	411

17	441
18	458
19	467
20	481
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА	495
I. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ – ПРОСТО ВОПЛЬ	497
II. ЙОД СПАСАЕТ ЖИЗНЬ	499
III. В НОЧЬ СО 2 НА 3	501
IV. ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАРМОНИКА	503
V	505
VI. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА И САПОГИ	506
VII	507
VIII. ХАНКАЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ	508
IX. ДЫМ И ПУХ	512
X. ДОСТУКАЛСЯ И ДО ЧЕЧЕНЦЕВ	514
XI. У КОСТРА	518
XII	519
XIII	520
XIV. ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ	522
КРАСНАЯ КОРОНА	523
КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ	533
I. РЕКА И ЧАСЫ	534
II. ЧЕРНЫЙ ДЫМ. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАЛ	537
III. СНОВ НЕТ – ЕСТЬ	542

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
IV. КИТАЙСКИЙ КАМРАД	543
V. ВИРТУОЗ! ВИРТУОЗ!	546
VI. БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДЕБЮТ	548
НАЛЕТ	552
Я УБИЛ	564
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ	583
Часть первая	584
I. Кавказ	584
II. Тиф возвратный	584
III. Что мы будем делать?!	590
IV. Лампадка	593
V. Вот он – подотдел	594
VI. Камер-юнкер Пушкин	596
VII. Бронзовый воротник	599
VIII. Мальчики в коробке	599
IX. Сквозной ветер	601
X. История с великими писателями	604
XI. Портянки и черная мышь	608
XII. Не хуже Кнута Гамсуна	609
XIII. Бежать. Бежать!	609
XIV	612
XV. Домой	614
Часть вторая	616
Московская бездна. Дювлам	616
После Горького я первый человек	622

Я включаю Лито	625
Первые ласточки	629
Мы развиваем энергию	631
Неожиданный кошмар	633
Полным ходом	638
Деньги! Деньги!	638
О том, как нужно есть	642
Гроза. Снег	645
БОГЕМА	647
I. КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛИТЕРАТУРЫ. ВЕРХОМ НА ПЬЕСЕ В ТИФЛИС	647
II. ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ	656
ХАНСКИЙ ОГОНЬ	659
№ 13. – ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА	688
ПСАЛОМ	703
ТАРАКАН	711
ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ	724
ПРИЛОЖЕНИЕ	734
ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ	734
В КАФЭ	739
ФИНАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ «ЖУРНАЛЬНОЙ» РЕДАКЦИИ РОМАНА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»	746
19	746
21	788

КОММЕНТАРИИ	830
АВТОБИОГРАФИЯ	830
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ	832
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА	983
КРАСНАЯ КОРОНА	994
КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ	996
НАЛЕТ	1001
Я УБИЛ	1002
ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ	1006
БОГЕМА	1051
ХАНСКИЙ ОГОНЬ	1054
№ 13. – ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА	1063
ПСАЛОМ	1067
ПРИЛОЖЕНИЕ	1069
ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ	1069
В КАФЕ	1072
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ	1073
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ПОМЕЩЕННЫХ НА ФОРЗАЦАХ	1083

# Михаил Булгаков

## Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. Белая гвардия. Записки на манжетах. Рассказы

### «...НА ПОРОГЕ КАК БЫ ДВОЙНОГО БЫТИЯ»

Чем популярнее писатель, тем выше степень читательского доверия: произведения такого автора служат «путеводителем» по эпохе, в которой он жил. При всей фантазмагоричности булгаковских сюжетов сегодняшний читатель видит в них авторитетный источник, откуда черпаются сведения о людях 1920-1930-х гг. Домуправы и нэпманы, квартиры-коммуналки (пародийные «коммуны»), кухни с шипящими примусами и торгсины многими из нас мыслятся именно в «булгаковском» облике. И вся эта гротескная картина, точно



на гвоздях, держится на бессмертных формулах-афоризмах: «„взвейтесь” да „развейтесь”», «разруха не в клозетах, а в головах», «квартирный вопрос испортил» и т. д. и т. п.

В книгах Булгакова пленяет умение «брать» жизнь в ее актуальной пестроте, передавать атмосферу эпохи во множестве мелких характерных деталей, создавать самоценные пластичные образы, излагая события как бы вкрадчиво-вежливо, но при этом с комическими (иногда добродушными, а чаще ироничными или саркастическими) интонациями. Точные бытовые черточки придают «телесность» и «узнаваемость» даже персонажам заведомо фантастическим. Какой-нибудь деятельный кот Бегемот, лихо опрокидывающий стопку под маринованный грибок, для нас не менее убедителен, нежели унылый лодырь-пьяница Степа Лиходеев.

Булгаков несколько лет служил в газетах, и традиционный фельетонный стиль, распространенный среди газетчиков, остро-сенсационный взгляд на окружающую жизнь, конечно, наложили отпечаток на его «большое» литературное творчество. Однако бытописание для этого автора все же не главное – современная Булгакову эпоха интересует его не только сама по себе и изображается не только с позиций современника.

В свое время, прочитав повесть «Дьяволиада», Евгений Замятин охарактеризовал ее так: «фантастика, корнями растающая в быт»<sup>1</sup>. Пожалуй, именно эта уникальная, унаследованная от Гофмана и Гоголя способность – органично и вдохновенно «вписать» фантазмагорию в повседневную реальность – выделяет Булгакова на фоне современной ему литературы, как до-, так и послереволюционной. И тем сильнее и глубже булгаковская сатира, что она не просто памфлетна, но и философична: осмеяние «гримас нэпа» или бесчеловечного тоталитарного режима сочетается с исследованием вечных закономерностей бытия.

Хорошо известно, что судьба писателя сложилась не особенно благоприятно (хотя умер он все же своей смертью – в 1930-х гг. такое удавалось далеко не всем деятелям искусства). О нелегкой доле сатирика в России размышлял еще Гоголь; но стократ тяжелее пришлось российским наследникам Д. Свифта, М.Ф. Вольтера, Э.А.Т. Гофмана, Н.В. Гоголя, М.Е. Щедрина, Э. По, А.В. Сухово-Кобылина, А. Франса – булгаковским современникам, мастерам гротескной сатиры, таким как Е. Замятин, М. Зощенко, Л. Лунц, С. Кржижановский, Л. Добычин, Н. Эрдман.

Булгаков с самого начала осознавал, что избран-

---

<sup>1</sup> Замятин Е. О сегодняшнем и о современном // Русский современник. 1924. № 2. С. 266.

ный им путь – не из легких. Так, 24 декабря 1924 г., размышляя в дневнике о своей новой повести «Роковые яйца» («серьезная» ли это сатира или просто фельетон?), он заключает: «Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги „в места не столь отдаленные“».

Но даже на допросе в ОГПУ 22 сентября 1926 г. (между прочим, накануне генеральной репетиции «Дней Турбиных») говорит вполне откровенно: «Склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги. Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу! Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я – сатирик)». И в письме «Правительству СССР» 28 марта 1930 г. подтверждает, что главная черта его творчества – «черные и мистические краски, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта»; да еще специально подчеркивает в скобках: «...Я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ». Речь здесь идет не столько об индивидуальном мировоззрении, сколько о своеобразии стиля, излюбленных художественных приемах.

Пристальное внимание к окружающей жизни и «фельетонная» фактурность сочетались у Булгакова со

способностью видеть «временное» на фоне вечно-го, придавая сиюминутному универсальный характер и каждый сюжет оформляя как акт космической мистерии, некий всемирно-исторический перелом. В его произведениях оказывается несостоятельной и подвергается разрушению вся прежняя картина бытия – «сдвигаются» не просто обстоятельства, но мир в целом.

В том же письме «Правительству» Булгаков, признавая свой «глубокий скептицизм в отношении революционного процесса», называет себя сторонником «излюбленной и Великой Эволюции». Но, попытавшись представить совокупность его произведений как некое целое, читатель, пожалуй, уловит противоречие. Художественная манера Булгакова с идеей эволюции как-то не очень вяжется. Тут не бывает плавного, бессобытийного повествования, длинных «беллетристических» периодов; булгаковская стихия – высокий темп, фантазмагорические перипетии, карикатурное письмо.

Человек показан в моменты, когда, по словам Гамлета, «распадается связь времен». Если вспомнить жанровую систему современного кинематографа (кстати, Булгаков, бесспорно, кое-что унаследовал от «массовой» культуры его эпохи), можно сказать, что наиболее органичным для писателя является жанр

катастрофы. «Светопреставлений» разного масштаба у него множество. Например, в фельетоне-аллегии «Багровый остров» (позже из него выросла одноименная комедия) злоключения начинаются в маленькой главке, которая так прямо и названа – «Катастрофа»:

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова у подножия потухшей триста лет назад огнедышащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулково и Гринвиче показали зловещую чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.

Это про Февральскую революцию (которая, впрочем, лишь открывает череду испытаний). Гражданская война тоже мыслится как вселенский катаклизм – в начале романа «Белая гвардия» звучат слова Апокалипсиса: «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь». А в финале над Городом взрывается звезда Марс – похоже, «реки и

источники вод» навеки останутся горько-солеными, кровавыми; и разве может после такого уцелеть Город, а вместе с ним и мир?

Жарко горит за грехи обитателей (как дореволюционных «буржуев», так и современных «пролетариев») дом № 13 – не «киевский», из «Белой гвардии», а «московский», из рассказа «№ 13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна». Причем, похоже, вновь не без «потустороннего» вмешательства:

Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь... «...»

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.

И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 – дом Эльпит-Рабкоммуна.

В «Мастере и Маргарите» тому же самому дому писатель «присвоит» номер 302-бис, и под этим «бисовым» знаком дом тоже сгинет в пламени – заодно с «нехорошей квартирой» № 50.

Впрочем, пылают не просто отдельные здания, но целые города. В повести «Роковые яйца» дотла сгорает Смоленск, а по Москве «бешеной электрической ночью» мечутся обезумевшие толпы: «...По Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах,

ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса».

В ранних редакциях «романа о дьяволе» судьба столицы рисовалась еще более печальной:

Удивительно, с какой быстротой распространяются по городу важные известия. Пожары произошли в таком порядке. Первым загорелся, как мы знаем, дом на Садовой. Затем Коровьев с Бегемотом подожгли торгсин на Смоленском рынке. Затем торгсин у Никитских ворот. И вот, уже после этих трех пожаров, происшедших в разных частях города, в народе уже было известно, что злодеи поджигают город<sup>2</sup>.

А потрясенный главный герой (здесь он именуется еще не Мастером, а Поэтом) на вопрос о причинах столь тягостных испытаний получал ответ вполне ернический:

– Город горит, – сказал поэт Азazelло, пожимая плечами, – как же это так?

– А что ж такое! – отозвался Азazelло, как бы речь шла о каких-то пустяках, – почему бы ему и не гореть! Разве он несгораемый?<sup>3</sup>

Впрочем, катастрофа является людям не только в виде огня (то ли небесного, то ли подземного). В «Собачьем сердце» в недрах профессорской квартиры

---

<sup>2</sup> Булгаков М. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 2002. Т. 4. С. 252.

<sup>3</sup> Там же. С. 260.

зреет плод неудачного «преображения» – зловещий демон Шариков, который из «классовой» ненависти к котам сначала ненароком едва не топит (буквально) своего благодетеля, а затем уже вполне целенаправленно угрожает Преображенскому (да и всем ему подобным) револьвером.

Неслышным ураганом (волнами смертоносного газа без цвета и запаха) прокатывается «мировая гражданская война» в пьесе «Адам и Ева». И второе действие открывается ремаркой:

Большой универсальный магазин в Ленинграде. Внутренняя лестница. Гигантские стекла внизу выбиты, и в магазине стоит трамвай, вошедший в магазин. Мертвая вагоновожатая. На лесенке у полки – мертвый продавец с сорочкой в руках. Мертвая женщина, склонившаяся на прилавок, мертвый у входа (умер стоя). «...» В гигантских окнах универмага – ад и рай. Рай освещен ранним солнцем вверху, а внизу ад – дальним густым заревом. Между ними висит дым, и в нем квадрига над развалинами и пожарами. Стоит настоящая мертвая тишина.

А в Москве предается жестоким чудачествам свита Воланда – и горожане теряют головы (как в прямом, так и в переносном смысле), разбегаются по улицам голые гражданки... Одним словом, жизнь в состоянии «полного разоблачения».



Итак, катаклизм, катастрофа, эсхатология. Булгаков всегда стремится показать мир на кризисном пике. «Кризис, Бродович, – говорит в „Белой гвардии” едва не умерший от тифа Алексей Турбин. – Что... выживу?» Кризисное время – переход от одного цикла к другому, перерыв постепенности, «пауза» в плавном течении времени. В такие моменты совершается как бы возвращение в вечность, очередное приобщение к первоначалу. В таких ситуациях обретают актуальность основополагающие философские проблемы.

Разумеется, здесь сказалось влияние эпохи, в которую формировался и жил Булгаков: практически все социальные институты оказались тогда сломаны, а все традиционные ценности – «отменены». Но эсхатологизм его мироощущения вряд ли может быть объяснен лишь окружающими обстоятельствами – дело также в индивидуальном своеобразии творческой личности. И примечательно, что образ «конца света» в булгаковских произведениях сопровождается не унылой безысходностью, а ощущением непреходящего движения и обновления.

Катастрофа – не просто всеобщий трагический дискомфорт, но также возможность приобщиться к вечности. Может быть, ярче всех об этом сказал поэт, чья строка послужила заглавием данной статьи, – Федор

Тютчев. В его стихотворении «Цицерон» речь идет о человеке, оказавшемся, подобно булгаковским героям, на тектоническом разломе истории. Он тревожен и удручен, ибо безвозвратно отрывается от «родной» эпохи, – однако ему дано и особое счастье: возвыситься, «превзойдя» свое время, и причаститься вечности, уравнившись с богами:

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.  
Он их высоких зрелищ зритель,  
Он в их совет допущен был —  
И заживо, как небожитель,  
Из чаши их бессмертье пил!<sup>4</sup>

Как в гоголевской повести «Страшная месть» – совершается чудо: «...Вдруг стало видимо далеко во все концы света». Булгаковские персонажи тоже обретают дар «дальновидения». Иван Русаков в «Белой гвардии» прозревает «синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий». Герои «Мастера и Маргариты», прощаясь с Москвой, фактически прощаются и с эпохой, которой принадлежит этот город, – перед ними встает зрелище истории человечества на всем

---

<sup>4</sup> Тютчев Ф. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 59.

ее протяжении. И читатель Булгакова, наблюдающий вроде бы «сиюминутные» события, вместе с тем призван мысленно охватить бытие в целом.

Конечно, «явления» вечности не могут совершаться в обычном, «бытовом» пространстве. Место у Булгакова такое же «беспокойное» и кризисное, как и время. Будь то квартира, дом или город – пространство, словно сценическая площадка, выделено из «большого» мира: внешне ограничено, а внутренне «разомкнуто» в бесконечность, вбирая черты различных эпох.

Булгаков – писатель «городской»; но, в традициях Гоголя, булгаковский город – это «город-мир», «город-миф». Сквозь конкретный, узнаваемый ландшафт «проступают» черты нескольких легендарных городов. Не случайно в «Белой гвардии» место, где происходят события, лишено имени: это Город «вообще», в котором детали реального Киева совмещаются со «знаками» античного Рима, гибнущего библейского Вавилона, легендарного Иерусалима (его образ возникает в сцене молитвы Елены Турбиной) и даже Москвы и Петербурга. В «Мастере и Маргарите» взаимное «наложение» современной Москвы и древнего Ершалаима очевидно: действие романа развивается по двум фабульным линиям, которые взаимопроникают, взаимоотражаются друг в друге. При этом образ

Москвы опять-таки осложнен ассоциациями с Римом, Вавилоном, Киевом...

В таких условиях булгаковские персонажи – обитающие вроде бы во вполне конкретном времени-пространстве – постоянно кажутся (или впрямь оказываются) «выходящими» за пределы своей эпохи, играют некие «вечные» роли. Например, Елена Турбина, в которую влюблены, кажется, все без исключения мужчины, соотносится с мифической Еленой Прекрасной – той самой, из-за которой в свое время разразилась Троянская война. Писателя-приспособленца Пончика-Непобеду в пьесе «Адам и Ева» зовут Павлом Апостоловичем (комментарии, как говорится, излишни); да и имена главных героев Адама Красовского и Евы Войкевич говорят сами за себя. А в комедии «Иван Васильевич» управдом оказывается до того похож на «грозного» царя, что даже родная жена отличить не может, – и не имеет значения, что между Иваном Васильевичем Буншей и Иоанном IV Васильевичем четыре века дистанции (которые, впрочем, преодолеваются благодаря изобретению Тимофеева).

Современность в булгаковских произведениях обнажает «легендарную» подоплеку, и возникающие параллели оказываются подчас довольно неожиданными. В «Роковых яйцах» персонаж с явно «судьбоносной» фамилией Рокк, напортачивший с «возрожде-

нием куроводства в Республике», первым пострадавший от собственной самонадеянности (потерял жену, съеденную чудовищем) и превратившийся от ужаса в седого старика, вдруг сравнивается с «библейским пророком». А чекист Щукин, стреляющий в «драконов» – гигантских змей и крокодилов – «зеленоватыми молниями» из электрического револьвера, уподобляется богу-громовнику – Перуну или Илье-пророку; точно так же красноармейцы с пиками, отправляющиеся воевать с «гадами», предстают полчищами «Георгиев Победоносцев» (вот только побеждены змеи вовсе не ими, а «русским богом» – Дедом Морозом).

«Инфернальные» персонажи у Булгакова являются не только из потустороннего мира. В пьесе «Блаженство» люди XX века попадают в век XXIII – и выясняется, что коммунистическая утопия (Блаженство, Элизиум) настолько же напоминает рай, насколько и ад. А царь Иоанн Васильевич, вырванный из «темного» прошлого, проводит время в Москве XX века... на чердаке. Таков булгаковский образ «светлого» будущего. И недаром в «Иване Васильевиче» (комедии, написанной по мотивам «Блаженства») царь принимает изобретателя Тимофеева за демона. Пребывание же Бунши и Милославского в веке XVI должно восприниматься как посещение тогдашней Москвы «бегами» – нечто вроде явления свиты Воланда.

Комично-«бесовское» начало иногда приписывается даже автобиографическому герою Булгакова. Например, в очерке «Киев-город» рассказчик повествует о том, как тщетно пытался бороться с мракобесием и суевериями. Услышав от родственницы, что некий лектор-проповедник, в духе Нострадамуса, пропагандирует перед верующими книгу, где обещается в 1932 г. приход антихриста, герой не выдерживает:

...Терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 году не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественный шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел, как дважды два четыре, что я не кто иной как один из служителей и предтеч антихриста, осрамив меня перед всеми моими киевскими знакомыми.

Всякое событие в булгаковском мире отражается в вечности, как в анфиладе зеркал; в глубине действия, точно в матрешке, обнаруживаются дополнительные смысловые «слои». Важную роль в этом играет подтекст – многочисленные мифологические, фольклорные, религиозные, исторические ассоциации, пере-

клички с произведениями других авторов, причем не только литературными (например, велико значение оперных реминисценций).

Подчас булгаковские персонажи напоминают актеров, играющих давно поставленную пьесу – разве что всякий раз в новых декорациях, в соответствии с «требованием времени». Булгаков словно иллюстрирует знаменитый тезис Экклезиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Еккл 1: 9). Но как совмещается идея вечного повторения с идеей конца света?

Приходится признать, что беспрестанно гибнущий, непрерывно горящий и постоянно тонущий булгаковский мир оказывается все же «несгораемым» и «непопляемым» – никогда не погибает «окончательно». Перед нами «конец света, не имеющий конца»<sup>5</sup>: события в итоге возвращаются почти к исходному состоянию. Почти – потому что кое-что все же меняется (как говорит герой «Мастера и Маргариты», «не бывает так, чтобы все стало, как было»), хотя и не настолько радикально, чтобы свернуть человечество с его пути.

Вот, например, ранний фельетон «Похождения Чичикова» – одно из первых булгаковских произведений, в котором создан образ inferнального нашествия:

---

<sup>5</sup> Г а с п а р о в Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 56.

«Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью “Мертвые души”, шутник сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница». Что же сулит столь многообещающая завязка? Что бы она ни сулила – в итоге события, точно ветер у Экклезиаста, «возвращаются на круги свои» (Еккл 1: 6): «“Э-хе-хе”, – подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной побудничному щеголять жизнь».

Впрочем, оно и не удивительно: все происходящее герой увидел во сне, потому явь и оказывается прежней. Но в «Белой гвардии» перед нами отнюдь не галлюцинации – тем не менее повествователь склонен усомниться в реальности событий; как бы намекает, что все произошедшее (им же самим и рассказанное!) оказалось не более чем страшным сновидением. Недаром в финале романа все герои засыпают (или, как Иван Русаков, пребывают в полузабытьи):

И только труп и свидетельствовал, что Пэтурра не миф, что он действительно был... «...» А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?

Нет. Никто.

Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы...



задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.

Никто.

Да и кому платить, если сами убивали и сами умирали? Во всяком случае очевидно, что земная жизнь под «взорванной звездой» не окончена и пойдет в целом, в основном по тому же пути, что и раньше, – разве только под новой звездой, красноармейской.

И в повести «Роковые яйца» тяжелейшие испытания и чудесное спасение от «гадов» ничего по существу не меняют:

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28 года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. «...» О лuche и катастрофе 28 года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч.

Сходно завершается «Собачье сердце»: пес Шарик, принявший прежний облик, лежит в профессор-

ском кабинете и в полудреме размышляет, как несканно ему «свезло» – сытая профессорская квартира стала постоянным жилищем. Ничего из того, что с ним (да и с ним ли?) произошло, пес не помнит, и даже наглядные следы событий («голову всю исполосовали зачем-то») ни о чем не говорят.

Точно так же в эпилоге романа «Мастер и Маргарита», повествуя о судьбе Москвы после визита компании Воланда, Булгаков подчеркивает «безрезультатность» чудесного явления: «Итак, почти все объяснилось, и кончилось следствие, как вообще все кончается. Прошло несколько лет, и граждане стали забывать и Воланда, и Коровьева, и прочих»; «и затянулись правдиво описанные в этой книге происшествия и угасли в памяти». И, разумеется, забывшие не извлекли из забытого никакого урока. «Культурные люди встали на точку зрения следствия: работала шайка гипнотизеров» – фактически возобладало мнение, что в течение трех дней Москва была погружена в сон. Стоило ей «проснуться» – жизнь пошла своим чередом. Остается лишь один человек, который знает (вернее, интуитивно чувствует) истину, – бывший поэт Иван Бездомный, ныне профессор Иван Николаевич Понырев. Но истина посещает его лишь однажды в году, причем открывается опять-таки во сне; пробуждение же, по общей логике, равно забвению.

Сколько бы ни уделял писатель внимания «сатанинским» проискам, выводя их на первый план фабулы, получается, что потусторонними вторжениями и ужасающими мировыми катастрофами дело не исчерпывается; в этой парадоксальной «устойчивости» мира, может быть, и состоит главная его загадка. А кроме того, нечистая сила у Булгакова «по собственной инициативе» не является: она приходит тогда, когда стремление людей проникнуть вглубь мировой тайны становится чересчур настойчивым, приобретает экстраординарный характер.

В булгаковских произведениях часто изображается «прорыв» к истине, осуществляемый усилиями творческой личности – художника или ученого. Постоянный мотив – неожиданное чудесное открытие в попытке обрести власть над временем (именно этим чаще всего и обусловлены явления нечистой силы).

Прочитав повесть «Роковые яйца», известный литературовед и критик В. Шкловский в 1925 г. заключил: «Это сделано из Уэллса»<sup>6</sup>. Действительно, любимая Булгаковым тема – тема «машины времени». Герой повести профессор Персигов открывает луч, невероятно ускоряющий жизнедеятельность, а Рокк бездумно применяет открытие – приводит «ма-

---

<sup>6</sup> Шкловский В. Б. Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). М., 1990. С. 300.

шину времени» в действие; итог – нашествие ужасных существ, едва не загубивших молодую Республику. Точно так же в «Собачьем сердце» Преображенский стремится постичь тайну вечной юности, работая над проблемой омоложения (т. е. достижения вечной молодости), и в ходе эксперимента случайно создает «человекообразное» существо – которое Швондер и ему подобные объявляют вполне «готовым» человеком. Позже в пьесах «Блаженство» и «Иван Васильевич» главными героями станут изобретатели, сконструировавшие аппарат, с помощью которого совершаются путешествия как в будущее, так и в прошлое.

Но, заметим, своеобразными «машинами времени» являются и гениальные творения булгаковских художников: путем озарения, феноменальной догадки они тоже преодолевают необратимость истории, восстанавливая минувшее и делая его вновь существующим, физически осязаемым, – высвобождают события из-под власти времени. Повествователь романа «Жизнь господина де Мольера» «воскрешает» для нас героя, чья жизнь погребена под толщей мифов, – словно выводит его из темноты в освещенный круг и представляет как нашего современника (кстати, именуя Мольера «мастером»). В «Записках покойника» Максудов пишет роман, в котором «вживую» восстанавливает эпизоды примерно двадцатилетней давно-

сти. В свою очередь, герой «закатного романа» (так Булгаков в одном из писем именовал «Мастера и Маргариту») тоже создает книгу, «воочию» являя в ней события, произошедшие около двух тысяч лет назад, – и недаром роман Мастера сначала разворачивается не как «текст», а как «зрелище» (повествование-«демонстрация» Воланда, затем сон Ивана Бездомного).

Бытие по-своему отвечает на прикосновения человека к вечности: начинаются сказочно-чудесные превращения, появляются таинственные существа (вроде Рудольфи в «Записках покойника» или таинственного «историка» в «Мастере и Маргарите»). История в книгах Булгакова нередко кажется нам дьявольской игрой, произвольным вмешательством потусторонних сил. Однако вызванные «сверхчеловеческими» действиями людей эти силы, скорее, приспособляются к установившимся в человеческом обществе отношениям, нежели навязывают собственные принципы.

Как и «земные» персонажи произведений Булгакова, «нечистая сила» здесь тоже частенько экспериментирует с временем. Характерно, однако, что «потусторонние» герои не изменяют ход событий по своему усмотрению, а лишь слегка «подталкивают» их – туда, куда они так или иначе сами придут. Вот, например, самый загадочный и демоничный персонаж романа «Белая гвардия» Михаил Семенович Шполян-

ский – то ли богатый бонвиван, играющий в богоборчество и футуризм, то ли тайный эмиссар большевиков (предтеча «антихриста» Троцкого), то ли и впрямь черт в человеческом облике. В чем наиболее ярко проявляется демонизм Шполянского? Из-за него «гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы». То есть погиб бы все равно – разве что чуть позже.

Вспомним сцену в романе «Мастер и Маргарита», когда Воланд объявляет барону Майгелю: «Разнеслись слухи о чрезвычайной вашей любознательности. „...“ Более того, злые языки уже уронили слово – наушник и шпион. И еще более того, есть предположение, что это приведет вас к печальному концу не далее, чем через месяц. Так вот, чтобы избавить вас от этого томительного ожидания, мы решили прийти к вам на помощь». Из того же ряда – предсказания судеб Берлиоза или буфетчика Сокова: чему быть, того не миновать. А на вопрос Маргариты: «Что же это – все полночь да полночь, а ведь давно уже должно быть утро?» – Воланд отвечает: «Праздничную ночь приятно немного и задержать». Но лишь немного – ибо вслед за ночью не может не наступить утро.

Судя по реальным результатам их вмешательства, «потусторонние» существа скорее играют во всемогущество, нежели действительно влияют на жизнь че-

ловечества. Потому они столь «несерьезны», «театральны» – больше походят на актеров, исполняющих роли потусторонних существ. Особенно показателен в этом смысле роман «Мастер и Маргарита», где компания Воланда напоминает то ли бродячий театр, то ли кочующую цирковую труппу. Как подчеркнула М. Чудакова, от редакции к редакции роман «все более освобождался от прямых отождествлений Воланда с дьяволом»<sup>7</sup>. Действительно, этот персонаж отличается от «традиционного» сатаны прежде всего тем, что не творит целенаправленного зла – не злонамерен, а справедлив, причем до такой степени, что исключает какое бы то ни было снисхождение и милосердие. И даже то, что Воланда прямо называют сатаной, еще ничего не доказывает: ведь его именуют также «иностранцем», «шпионом», «консультантом», «профессором», «историком», «черным магом»... «Сатана» – лишь очередное слово, которое привычно людям, но мало что проясняет в истинной природе Воланда, чей образ недаром строится автором с помощью объединения противоположностей: разные глаза (один – «инфернального», другой – «сакрального» цвета), главенство на балу, похожем на шабаш, – и при этом цитаты из Евангелия. Утверждая, что «каж-

---

<sup>7</sup> Ч у д а к о в а М. Архив М. Булгакова // Записки Отдела рукописей ГБЛ. М., 1976. Вып. 37. С. 74.

дому будет дано по его вере», Воланд фактически цитирует слова евангельского Иисуса: «По вере вашей да будет вам» (Матф 9: 29). Кстати, в других булгаковских романах – в «Белой гвардии» и «Записках покойника» – эта фраза звучит в качестве эпиграфа; можно сказать, что для Булгакова она была одной из важнейших нравственных констант.

Сущность Воланда – живая диалектика бытия; и каковы бы ни были первоначальные замыслы автора «романа о дьяволе», в окончательной редакции Воланд не всемирное зло, не «враг рода человеческого», а олицетворенная в традиционном «дьявольском» облике космическая бесконечность времени-пространства – не «добрая» и не «злая». В «театральном» пространстве города-мира, представляющего гигантской сценой, Воланд оказывается зрителем вечного спектакля<sup>8</sup>.

Жанр этого «представления», несмотря на его солидную «сценическую» историю, не очень-то серьезен. Недаром в «Белой гвардии», при всем трагизме происходящего, парадоксальные исторические перипетии получают наименование «оперетки». Местом, откуда распространяется по Городу героически-«опе-

---

<sup>8</sup> Ни н о в А. О драматургии и театре Михаила Булгакова: Итоги и перспективы изучения // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 36.



реточная» атмосфера сопротивления (заранее обреченного на неудачу), оказывается «магазин “Парижский Шик” мадам Анжу» – символично, что помещается он на Театральной улице. В романе «Мастер и Маргарита» подобная роль связана с Триумфальной площадью, на которой расположено Варьете: выплескиваясь из его стен, «сеанс черной магии», по существу, охватывает всю Москву.

Впрочем, когда действие оканчивается и персонажи выходят из «театра» истории в вечность, они покидают и все земные «амплуа», обретая подлинный, вневременной облик: «Все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда».

«Театральность», подчеркнутая условность свойственны и художественной манере самого Булгакова. Мир в его произведениях не просто существует «сам по себе» – писатель намекает, что создаваемая им картина, может быть, и не вполне достоверна – как говорится, «возможны варианты». Недаром он постоянно сталкивает точки зрения на происходящее, разные его интерпретации и версии. Одно из ярких проявлений этого – прием «театра в театре», когда сценическое действие как бы «удваивается». Пьесе «Бег» придан подзаголовок «Восемь снов» – и, стало быть, все зрители в зале на время сценического действия

«подглядывают» чьи-то сновидения – фактически сами погружаются в сон (вспомним версию о «шайке гипнотизеров»). В комедиях «Багровый остров» или «Полоумный Журден» центральное событие – театральная репетиция: и, естественно, сюжет «внутренней», репетируемой пьесы взаимодействует с основным, «внешним» сюжетом. Сходное явление – «двойной» театр – в «Кабале святош»: по ходу действия мы неоднократно видим Мольера на «другой», «внутренней» сцене (на ней он и умирает).

К тому же в пьесе о Мольере все происходящее не только совершается «само по себе», но и «пишется» Лагранжем (недаром он носит прозвище «Регистр»), который не просто ведет хронику, но словно сочиняет на наших глазах жизнь персонажей, акцентируя в ней самые, с его точки зрения, важные события и нюансы. И зритель, внутренне «раздваиваясь» между двумя эпохами, должен понять, что когда-нибудь через века (т. е. в наше время), когда от всех фактических источников информации о Мольере-человеке останется лишь не очень достоверная «хроника» Лагранжа, будущим поколениям именно по ней придется судить о том, каким «на самом деле» был гениальный драматург и актер. И самим догадываться, что имел в виду «Регистр», ставя вместо некоторых событий черные кресты на страницах и ради конспирации сделав-

ший вывод, что неблагополучие Мольера было вызвано отнюдь не «бессудной тиранией» короля и не происками Черной кабалы, а абстрактной «судьбой».

Точно так же «протоколируются» события в «Адаме и Еве», где герои по воле автора как бы разыгрывают новый миф о сотворении мира. События, в которых они участвуют, обречены стать легендарными, дать начало какому-то совершенно иному мироустройству. Об этом свидетельствует параллелизм между Книгой Бытия и фабулой – заявленный уже самим названием пьесы, а также одним из эпиграфов к ней: «...И не буду больше поражать всего живущего, как Я сделал: впредь во все дни Земли сеяние и жатва не прекратятся». И, как всегда у Булгакова, точка зрения на события «расфокусируется»: высокие мистериальные интонации получают пародийное воплощение в писаниях пьяницы-пекаря Маркизова, который пытается имитировать библейский стиль, внося в него лирически-исповедальные ноты и притом добавляя обороты из «советского» романа, который накал Пончик-Непобеда, явный халтурщик-приспособленец «массолитовского» толка. Вот каким оказывается «новое Писание»:

Глава первая. Когда народ на земле погиб и остались только Адам и Ева, и Генрих остался и полюбил Еву. Очень крепко. И вот каждый день он ходил к пе-

туху со сломанной ногой разговаривать о Еве, потому что не с кем было разговаривать... «...» Глава вторая. – Ева! Ева! – зазвенело на меже...

В эпических произведениях Булгакова композиция «текст в тексте» еще более распространена. Например, основу рассказа «Морфий» и романа «Записки покойника» составляют публикуемые «чужие» рукописи (ситуация напоминает пушкинские «Повести Белкина»), так что точки зрения главного героя и публикатора в той или иной мере «расходятся». В «Записках юного врача» герой-рассказчик повествует о событиях через много лет после того, как они совершились, – подобно Гриневу в «Капитанской дочке», который в пожилом возрасте вспоминает себя семнадцатилетнего.

В наиболее развитом виде прием «текст в тексте» реализован, конечно, в «Мастере и Маргарите». Например, события, послужившие основой евангельского предания, получают здесь параллельное освещение еще по крайней мере в пяти текстах: поэме Ивана Бездомного, лекции Берлиоза, романе Мастера, протоколе секретаря во время допроса Иешуа и записях Левия Матвея. Сложный «диалог» между этими источниками – один из важных аспектов содержания книги.

Поэтому, читая Булгакова, всегда необходимо учи-

тивать, с чьей точки зрения, чьими «глазами» позволяет нам автор увидеть ситуацию, с какой целью и для кого данный персонаж рассказывает именно об этих событиях. Особенно это важно, когда речь идет об эпизодах давних, исторических. Писатель неоднократно обращался к вопросу о том, адекватно ли воспринимаются, запоминаются, интерпретируются и фиксируются события, отложившиеся в культурной памяти. Может ли сохраниться факт в его живой непосредственности? Иначе говоря – можно ли по «следам», оставленным человеком в истории, «восстановить» его личность, верно ее представить?

Ставя эту проблему, Булгаков идет вслед за Л. Толстым. Но если Толстой, утрируя и искажая реальный образ, например, Наполеона, стремился доказать, что так называемые великие люди не играют в истории никакой роли (существенны лишь их имена – «ярлыки»), то Булгаков акцентирует иную сторону дела: свести к «общему знаменателю» реальную личность и сложившийся о ней миф – невозможно.

Недаром, говоря о великих людях, писатель фактически «исключает» их из истории. «Белая гвардия» – роман о петлюровщине; однако Петлюры в нем нет (и вообще утверждается, что его «не было вовсе»). Нет и Пушкина в «юбилейной» пьесе о Пушкине. Когда же подобная личность все же возникает на булгаковских

страницах – наблюдается обратное явление: человек показан вне того дела, из-за которого, собственно, и стал знаменит. В «юбилейной» пьесе о Сталине, глядя на юношу Иосифа Джугашвили, весьма трудно понять, как именно он через четверть века превратился в «отца народов». В «Жизни господина де Мольера» герой, конечно, именуется драматургом и актером, но автор нигде не делает попытки проникнуть в «творческую лабораторию». То же самое видим в «Мастере и Маргарите»: автор романа о Понтии Пилате настолько оторван от творческого процесса (и к тому же попросту ненавидит свое детище), что признать его «творцом» можно лишь сделав над собой усилие. И совершаемое здесь «приземление» центрального персонажа Евангелий Булгаков производит вовсе не из богохульства, а стремясь предельно обострить все ту же постоянно волновавшую его проблему: насколько образ, закрепившийся в истории, соответствует реальной личности, «слепок» с которой якобы является.

Восстановить истинный облик, преодолев время, дано, как уже говорилось, лишь булгаковским «мастерам» – гениям, связанным с глубинной сущностью мира и обладающим властью над временем. По вполне понятным причинам в 1920-х г. обрел особую остроту спор, начавшийся в русской обще-

ственной мысли еще в пушкинскую эпоху, – о предназначении художника, о соотношении «красоты» и «пользы». Булгаков занял здесь вполне определенную – пушкинскую – позицию. В отличие от разночинско-демократической и марксистской критики, стремившейся «уровнять» Поэта с прочими людьми, «подчинить» его творчество соображениям целесообразности, Булгаков утверждает, что «космическая» природа гения неисследима. Причем слово «гений» он понимает, пожалуй в исконном, первичном смысле: в римской мифологии «гений» и «демон» были синонимами.

Булгаков знал, что талант – тяжелый дар, требующий от «принявшего» его человека немалого мужества. Тот, кто обрел способность проникать в запредельные сферы, должен «соответствовать» своему дару, проявляя неординарные нравственные качества, – задача не из легких. И не столь редка в булгаковских произведениях ситуация, когда человек необыкновенных возможностей оказывается как бы «ниже» своего таланта, словно недостоин его. Таковы, например, гениальные ученые, которые бросают свои «детища» на произвол судьбы, отдавая их в руки тех, кто явно не сможет употребить открытие «по назначению»: вспомним, например, «умывающего руки» профессора Персикова из повести «Роковые яй-

ца». Для него (как, впрочем, и для Преображенского) главное – научный результат; Булгаков же показывает ученых в ситуациях, когда теория переходит в практическую плоскость, так что адепты «чистой» науки начинает мериться мерками общечеловеческой нравственности (и оказываются не вполне состоятельны).

Еще более явственна эта коллизия в связи с людьми искусства. В романе «Белая гвардия» маленький пошловатый Шервинский как бы не «по праву» наделен великим даром – голосом. Примечательно и суждение героя рассказа «Морфий» о бросившей его жене-певице: «У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке». Гениальный Мастер отречется от своей книги, совершив едва ли не предательство (по отношению не только к своему творению, но и к возлюбленной – ибо в его романе в не меньшей степени, чем талант Мастера, воплотилась любовь Маргариты). Судя по всему, слабость проявит и герой «Записок покойника» Максудов: хотя мы и не знаем о перипетиях событий в недописанном романе, но нам изначально известно, что в конце концов герой придет к самоубийству.

Настаивая на непостижимости и загадочности творческого процесса, Булгаков о своем собственном творчестве практически не говорил или говорил очень



редко. И, повторим, ни один из его героев-художников тоже не показан в процессе творчества. Разве что Максудов заводит речь о чем-то подобном, объясняя, что ничего-де как писатель не «выдумывает», а попросту описывает своих родных и близких – и выходит сперва роман, потом пьеса. Вывод: «Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует».

Казалось бы, все просто. Вот только непонятно, почему же так убоги другие писатели – какие-нибудь Агапенов, Фиалков или Ликоспастов: они ведь тоже описывают, «что видят», наблюдают прямо-таки «здесь и сейчас», вокруг себя. Но разница огромна: Максудов проникает в сущность мира, а у других выходят плоские «копии» окружающей реальности. Почему же одному дано «видеть», а другим – нет?

Ответ, кажется, прост: все дело в *вере*. Вот халтурный поэт Рюхин вспоминает слова Ивана Бездомного, сказанные в приемном покое сумасшедшего дома, и «с последней прямоотой» размышляет: отчего так дурны его, Рюхина, стихи? «Правду, правду сказал! – безжалостно обращался к самому себе Рюхин, – не верю я ни во что из того, что пишу!..» Иван, обличая халтурщика, имел в виду его идейную беспринципность, отсутствие подлинных убеждений (прежде всего политических). Но для Булгакова слово «вера» имеет куда более широкое значение. Подлинный художник не ко-

пирует жизнь, а создает ее – заставляя окружающих поверить в то, во что безоглядно верит сам. Характерны слова Максудова о своей пьесе: «...Ей нужно было существовать, потому что я знал, что в ней истина».

Истина – прежде всего то, в чем сам человек не сомневается, что для него бесспорно существует (и само слово «истина» этимологически связано со словом «есть»). Ибо именно в точке веры, «слияния» субъекта с объектом внешний мир переходит во внутренний образ – человек «вбирает» его в себя. Если истина *личностна*– принята «присвоена», интимно пережита человеком, – она способна оказать влияние на окружающих. Поверь сам – тогда поверят и другие.

Булгаковские герои нередко пребывают в измененном состоянии сознания (бред, галлюцинация и т. п.) или показаны спящими, видящими сны. Картина мира, наблюдаемая в такие моменты, для человека не менее истинна, нежели «явь», – ибо оказывает такое же влияние его на поступки. Например, для героя пьесы «Бег» Романа Хлудова постоянное «присутствие» рядом некогда казненного по его приказу вестового Крапилина столь же реально, как существование живых людей (Голубкова, Чарноты, Серафимы и др.), – и даже более важно. Ведь именно постоянным «общением» с Крапилиным в конечном счете обусловлена судьба бывшего генерала. Может быть, по отноше-

нию к медицинской «норме» Хлудов и безумен, – однако именно *такая* картина мира является для него истиной. Истинно лишь то, за что платят кровью, жизнью, за что человек расплачивается собой. В общем, «истина» для человека есть прежде всего он сам – в своей глубинной сущности. И распространенные в булгаковских произведениях ситуации отступления от «должного» – душевной слабости, компромисса, предательства – это разнообразные формы конфликта с истиной, которые часто реализуются как мучения памяти (В. Лакшин тонко заметил: в булгаковских произведениях память – метафора совести<sup>9</sup>).

Писатель судил о своих героях отнюдь не свысока. Проявляя немалое (иногда чуть демонстративное) упорство перед лицом неблагоприятных обстоятельств, Булгаков все же был склонен свои собственные поступки оценивать весьма самокритично. Так, 26 октября 1923 г. он записывает в дневник: «Я, к сожалению, не герой». То же самое говорит персонаж очерка «Сорок сороков»: «Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный – рожденный ползать». Вспоминаются и известные слова из письма к другу и биографу писателя Павлу Попову от 14–21 апреля 1932 г.: «Теперь уже

---

<sup>9</sup> Л а к ш и н В. Мир Михаила Булгакова // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 66.

всякую ночь я смотрю не вперед, а назад, потому что в будущем для себя я ничего не вижу. В прошлом же я совершил пять роковых ошибок». Мысль о собственной слабости и малодушии, видимо, тревожила Булгакова постоянно. 21 сентября 1938 г. его жена Елена Сергеевна запишет в дневнике: «Постоянный возврат к одной и той же теме – к загубленной жизни М. А. М. А. обвиняет во всем самого себя». И, конечно, не только читателю, но в первую очередь самому себе адресует Булгаков в «Мастере и Маргарите» слова Иешуа («подправленные» Левием и возведенные им в ранг этической максимы): «Нет большего порока, чем трусость».

Писатель немало рассказал о своей жизни, создав плеяду образов, которые кажутся автопортретами: таковы герои-рассказчики «Записок на манжетах» и «Богемы», доктор N в «Необыкновенных приключениях доктора» и доктор Алексей Турбин в романе «Белая гвардия», Голубков из пьесы «Бег» и безымянный герой «Записок юного врача», Сергей Поляков из рассказа «Морфий» и герой-рассказчик прозы «Тайному другу»; Максудов и Мастер; в какой-то мере даже Мольер. У всех этих персонажей есть по крайней мере одна общая черта: они подчеркнута «негероичны», ощущают усталость от жизни, мечтают об отдыхе – одним словом, воплощают скорее безволие, чем

волю. Например, Алексея Турбина уже в самом начале романа «Белая гвардия» повествователь называет «человеком-тряпкой» (и через некоторое время герой «соглашается» с этим определением); Мольера Лагранж тоже упрекает в мягкотелости: «Вы, учитель, не человек, не человек. Вы – тряпка, которую моют полы!» И когда в «закатном романе» звучит печальная фраза Левия Матвея по поводу Мастера: «Он не заслужил света, он заслужил покой», – мы понимаем, что речь идет скорее о наказании, чем о награде; и вина героя состоит опять-таки в безволии и отступничестве.

Итак, принципиальность и независимая прямолинейность – в сочетании с мучительной неуверенностью и самоосуждением. В Булгакове удивляет вовсе не отсутствие «страха и сомненья» – поражает способность *преодолевать* их, подчиняя упрямству таланта, возвышаться до того состояния, которое Анна Ахматова, создавшая в марте 1940 г. стихотворение-некролог, посвященное Булгакову, назвала «великолепным презреньем»<sup>10</sup>.

Нам, глядящим на жизнь этого писателя уже из следующего века, подчас кажется, что он умудрился прожить таким непоколебимым стоиком – примерно так, как советует Воланд Маргарите: «Никогда и ничего не

---

<sup>10</sup> А х м а т о в а А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1998. Т. 1. С. 471.

просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут». Действительно, при чтении его книг возникает ощущение, что твердость принципов и упорное следование по избранному пути всегда приводят к цели, а вера, любовь и творчество все побеждают. Но если не путать Булгакова с его героями и не оценивать его личность исключительно в «полярных» политических категориях («конформист» – «протестант»), то, как у любого человека, в его жизни нетрудно будет обнаружить ситуации и поступки, которые он впоследствии тяжело переживал, за которые сам себя казнил – то ли потому, что и впрямь был виноват, то ли из-за того, что требования к себе предъявлял слишком высокие.

Мучительное ощущение страха было знакомо ему слишком хорошо – может быть, даже привычно (если к такому можно привыкнуть). Например, 30 мая 1931 г. Булгаков пишет Сталину, что «хворает тяжелой формой нейрастении с припадками страха и предсердечной тоски». В июле 1934 г., после очередного их «невыезда» за границу, Елена Сергеевна записывает: «У М. А. очень плохое состояние – опять страх смерти, одиночества, пространства». Вспомним, что€ говорит о себе герой «Мастера и Маргариты»: «Холод и страх, ставший моим постоянным спутником, доводили меня до исступления „...“ страх владел каждой

клеточкой моего тела. „...“ Да, хуже моей болезни в этом здании нет, уверяю вас».

Этот страх «вообще», страх как основополагающее состояние личности, как симптом нервного заболевания был вполне «созвучен» той атмосфере, что все сгущалась и сгущалась в стране. Но адекватным или нет являлось чувство собственной слабости, справедливыми или нет были угрызения совести (да и кто это может решить, кроме самого человека) – их оборотной стороной оказался принцип, весьма существенный в булгаковском художественном мире: поиски виноватых начинать с себя (привычка не очень распространенная, но весьма актуальная).

В ситуации, когда одни провозглашали близкую гибель мировой гидры буржуазии и звали на Армагеддон – «последний и решительный», а другие разоблачали мировой иудомасонский заговор и призывали добить «красного дьявола», Булгаков удивительно последователен в утверждении, что обе враждующие стороны, забывая о целях, оказываются в плену у средств. Вот самая первая из известных нам публикаций писателя – статья 1919 г. «Грядущие перспективы» (вроде бы «белогвардейская»). Сначала – о том, как «герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю». А затем – о том, что самим «героям» тоже придется расплачиваться – при-

чем столь сурово, что как бы живые не позавидовали мертвым:

Нужно будет платить за прошлое невероятным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все!

Каковы же «перспективы» нынешних героев?

Кто увидит эти светлые дни?

Мы?

О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки «...» И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

– Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!

Парадоксальная, но глубокая идея: оставшиеся в живых («победители»), как и погибшие («побежденные»), расплачиваются *жизнью* – только одни лишаются ее быстро, другие отдают медленно.

Булгаков умел мастерски рисовать жизнь людей давно прошедших эпох, причем не только в России (притом, что сам за границей ни разу не был). Его неоднократно посещало «малодушное» желание пе-



ренестись в иную эпоху – ибо современность была не очень радостной. С подлинной печалью писал он сестре Надежде 31 декабря 1917 г.: «Я с умилением читаю старых авторов „...“ и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад. Но, конечно, это поправить невозможно!» И герой «Необыкновенных приключений доктора» полушутя-полусерьезно сокрушается: «Почему я не родился сто лет назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился».

Но, возвращаясь к образу «машины времени», мы должны заключить: булгаковские произведения по сути отрицают расхожую философскую и пропагандистскую идею «светлого будущего». В первой редакции пьесы «Блаженство» изобретатель машины времени говорит: «...Будущего нет, „...“ есть только настоящее»<sup>11</sup>; впоследствии тот же герой, получивший фамилию Рейн, скажет: «Время есть фикция». Воланд во время «сеанса черной магии» проводит примерно ту же мысль: «...Обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних...» Человечество в целом всегда одинаково – и никакая машина времени не дает лазейки, через которую можно было бы одним махом ускользнуть, «эмигрировать» из неблагоприятной ре-

---

<sup>11</sup> Булгаков М. А. Пьесы 1930-х годов. СПб., 1994. С. 347.

альности. В мире царит «вечное настоящее», и новую жизнь нельзя начать ни «с понедельника», ни с революции.

Главное в булгаковских произведениях – пафос *личности*: не сверхчеловека – но и не «человека массы». Конечно, назвать героев Булгакова «обыкновенными» людьми трудно – ибо, как уже говорилось, в его художественном мире всякая личность существует не только в рамках «своей» конкретно-исторической эпохи, но помещена также в «большое» время, действует «на фоне» вечности; поэтому значение всякого «сиюминутного» слова и поступка оказывается усилено всемирно-историческим «резонансом».

Бытие предстает как вечный мировой театр (вспомним афоризм Шекспира), где на подмостках разыгрывается, в сущности, одна и та же пьеса – только актерский состав все время меняется. Каждый актер в этом театре имеет право сыграть лишь один раз: спектакль, в котором он принимает участие, – его собственная жизнь. Возможно, раньше в такой же роли выступали многие другие исполнители; но для него (как и для каждого из предшественников) его собственное выступление – первое и последнее; поэтому истинная игра должна быть «безоглядной». Перед лицом трагикомического мирового круговорота Булгаков отнюдь не стремится утверждать тщетность индиви-

дуальных усилий и ничтожность отдельно взятого человека. Напротив: если какая-нибудь сила и оказывается «равновелика» грозной бесконечности непостижимого бытия, то это дух стойкой личности, идущей своим путем, в соответствии со своими принципами, верой, мечтой, любовью.

Мир не изменится, пока останутся прежними населяющие его люди, пока они не захотят стать другими. Называвший себя приверженцем «Великой Эволюции», Булгаков выступает последователем Чехова, многократно иронизировавшего над тем, что через двести, триста лет жизнь-де станет совершенно иной. Ждать вовсе не обязательно. 23 января 1923 г. тогда еще начинающий писатель, обращаясь к сестре Вере, убеждал своих родных: «Право, миг доброй воли, и вы зажили бы прекрасно». Думается, эти слова не были дежурной фразой.

*Е. А. Яблоков*

# АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в г. Киеве в 1891 году. Учился в Киеве и в 1916 году окончил университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием.

Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось пользоваться долго. Как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, едуци в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра не осталось.

В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел эти звания, лишённые отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.

В берлинской газете «Накануне» в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические фельетоны.

Не при свете свечи, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу «Записки на манжетах». Эту книгу у меня купило берлинское издательство «Накануне», обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе. Вначале меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен.

Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде.

Год писал роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей.

*Москва, октябрь 1924 г.*

# БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

*Посвящается  
Любови Евгеньевне Белозерской*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

*Пошел мелкий снег и вдруг повалил  
хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель.*

*В одно мгновение темное небо смешалось  
с снежным морем.*

*Все исчезло.*

*– Ну, барин, – закричал ящик, – беда:  
буран!*

*«Капитанская дочка»*

*И судимы были мертвые по написанному в  
книгах сообразно с делами своими...*

## 1

Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская – вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О,

елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем! Мама, светлая королева, где же ты?

Через год после того, как дочь Елена повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом, и в ту неделю, когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжелых походов, службы и бед вернулся на Украину в Город, в родное гнездо, белый гроб с телом матери снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол, в маленькую церковь Николая Доброго, что на Взвозе.

Когда отпевали мать, был май, вишневые деревья и акации наглухо залепили стрельчатые окна. Отец Александр, от печали и смущения спотыкающийся, блестел и искрился у золотеньких огней, и дьякон, лиловый лицом и шеей, весь ковано-золотой до самых носков сапог, скрипящих на ранту, мрачно рокотал слова церковного прощания маме, покидающей своих детей.

Алексей, Елена, Тальберг и Анюта, выросшая в доме Турбиной, и Николка, оглушенный смертью, с вихром, нависшим на правую бровь, стояли у ног старого коричневого святителя Николы. Николкины голубые глаза, посаженные по бокам длинного птичьего носа, смотрели растерянно, убито. Изредка он возводил их на иконостас, на тонущий в полумраке свод алтаря, где возносился печальный и загадочный ста-



рик Бог, моргал. За что такая обида? Несправедливость? Зачем понадобилось отнять мать, когда все съехались, когда наступило облегчение?

Улетающий в черное, потрескавшееся небо Бог ответа не давал, а сам Николка еще не знал, что все, что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.

Отпели, вышли на гулкие плиты паперти и проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец. И маму закопали. Эх... эх...

\* \* \*

Много лет до смерти, в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади «Саардамский Плотник», часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырьчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как ис-

кра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.

Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле, что мерещились маленькому Николке в бреду скарлатины, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:

– Дружно... живите.

\* \* \*

Но как жить? Как же жить?

Алексею Васильевичу Турбину, старшему – молодому врачу – двадцать восемь лет. Елене – двадцать четыре. Мужу ее, капитану Тальбергу – тридцать один, а Николке – семнадцать с половиной. Жизнь-то им как раз перебило на самом рассвете. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже. Вернулся старший Турбин в родной город после первого удара, потрясшего горы над Днепром. Ну, думается, вот перестанет, начнется та жизнь, о которой пишется в шоколадных книгах, но она не только не начинается, а кругом становится все страшнее и страшнее. На севере воеет и воеет вьюга, а здесь под ногами глухо погромыхивает, ворчит встревоженная утроба земли. Восемнадцатый год летит к концу и день ото дня глядит все грознее и щетинистей.

\* \* \*

Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:

– Живите.

А им придется мучиться и умирать.

Как-то, в сумерки, вскоре после похорон матери, Алексей Турбин, придя к отцу Александру, сказал:

– Да, печаль у нас, отец Александр. Трудно маму забывать, а тут еще такое тяжелое время... Главное, ведь только что вернулся, думал, наладим жизнь, и вот...

Он умолк и, сидя у стола, в сумерках, задумался и посмотрел вдаль. Ветви в церковном дворе закрыли и домишко священника. Казалось, что сейчас же за стеной тесного кабинетика, забитого книгами, начинается весенний, таинственный спутанный лес. Город по-вечернему глухо шумел, пахло сиренью.

– Что сделаешь, что сделаешь, – конфузливо забормотал священник. (Он всегда конфузился, если приходилось беседовать с людьми.) – Воля Божья.

– Может, кончится все это когда-нибудь? Дальше-то лучше будет? – неизвестно у кого спросил Турбин.

Священник шевельнулся в кресле.

– Тяжкое, тяжкое время, что говорить, – пробормотал он, – но унывать-то не следует...

Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой.

– Уныния допускать нельзя, – конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. – Большой грех – уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще. Как же, как же, большие испытания, – он говорил все увереннее. – Я последнее время все, знаете ли, за книжечками сижу, по специальности, конечно, больше все богословские...

Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:

– «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь».

## 2

Итак, был белый, мохнатый декабрь. Он стремительно подходил к половине. Уже отсвет Рождества чувствовался на снежных улицах. Восемнадцатому году скоро конец.

Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной (на улицу квартира Турбиных была во втором этаже, а в маленький, покатый, уютный дворик – в первом), в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала, и в нижнем этаже (на улицу – пер-

вый, во двор под верандой Турбиных – подвальный) засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович, а в верхнем – сильно и весело загорелись турбинские окна.

В сумерки Алексей и Николка пошли за дровами в сарай.

– Эх, эх, а дров до черта мало. Опять сегодня вытасили, смотри.

Из Николкиного электрического фонарика ударил голубой конус, а в нем видно, что обшивка со стены явно содрана и снаружи наскоро прибита.

– Вот бы подстрелить чертей! Ей-богу. Знаешь что: сядем на эту ночь в караул? Я знаю – это сапожники из одиннадцатого номера. И ведь какие негодяи! Дров у них больше, чем у нас.

– А ну их... Идем. Бери.

Ржавый замок запел, осыпался на братьев пласт, поволокли дрова. К девяти часам вечера к изразцам Саардама нельзя было притронуться.

Замечательная печь на своей ослепительной поверхности несла следующие исторические записи и рисунки, сделанные в разное время восемнадцатого года рукою Николки тушью и полные самого глубокого смысла и значения:

Если тебе скажут, что союзники спешат к нам

на выручку, – не верь.

Союзники – сволочи.

Он сочувствует большевикам.

Рисунок: рожа Момуса.

Подпись:

Улан Леонид Юрьевич.

Слухи грозные, ужасные,  
Наступают банды красные!

Рисунок красками: голова с отвисшими усами,  
в папахе с синим хвостом.

Подпись:

Бей Петлюру!

Руками Елены и нежных и старинных турбинских друзей детства – Мышлаевского, Карася, Шервинского – красками, тушью, чернилами, вишневым соком записано:

Елена Васильевна любит нас сильно.

Кому – на, а кому – не.

Леночка, я взял билет на Аиду.

Бельэтаж № 8, правая сторона.

1918 года, мая 12 дня я влюбился.

Вы толстый и некрасивый.

После таких слов я застрелюсь.

(Нарисован весьма похожий браунинг).

Да здравствует Россия!  
Да здравствует самодержавие!

Июнь. Баркарола.

Недаром помнит вся Россия  
Про день Бородина.

Печатными буквами, рукою Николки:

Я таки приказываю посторонних вещей  
на печке не писать под угрозой расстрела  
всякого товарища с лишением прав. Комиссар  
Подольского района. Дамский, мужской и женский  
портной *Абрам Пружинер*.

1918 года, 30-го января

Пышут жаром разрисованные изразцы, черные ча-  
сы ходят, как тридцать лет назад: тонк-танк. Старший  
Турбин, бритый, светловолосый, постаревший и мрач-  
ный с 25 октября 1917 года, во френче с громадными  
карманами, в синих рейтузах и мягких новых туфлях,  
в любимой позе – в кресле с ногами. У ног его на ска-  
меечке Николка с вихром, вытянув ноги почти до бу-  
фета, – столовая маленькая. Ноги в сапогах с пряжка-  
ми. Николкина подруга, гитара, нежно и глухо: трень...  
Неопределенно трень... потому что пока что, видите



ли, ничего еще толком не известно. Тревожно в Городе, туманно, плохо...

На плечах у Николки унтер-офицерские погоны с белыми нашивками, а на левом рукаве остроугольный трехцветный шеврон. (Дружина первая, пехотная, третий ее отдел. Формируется четвертый день, ввиду начинающихся событий.)

Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому.

Старший бросает книгу, тянется.

– А ну-ка, сыграй «Съемки»...

Трень-та-там... Трень-та-там...

Сапоги фасонные,  
Бескозырки тонные,  
То юнкера-инженеры идут!

Старший начинает подпевать. Глаза мрачны, но в них зажигается огонек, в жилах – жар. Но тихонько, господа, тихонько, тихонечко.

Здравствуйтесь, дачники,  
Здравствуйтесь, дачницы...

Гитара идет маршем, со струн сыплет рота, инже-

неры идут – ать, ать! Николкины глаза вспоминают:

Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. Ползут юнкера на животиках от окна к окну, отстреливаются. Пулеметы в окнах.

Туча солдат осадила училище, ну, форменная туча. Что поделаешь. Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами. Па-а-зор...

Здравствуйтесь, дачницы,  
Здравствуйтесь, дачники,  
Съемки у нас уж давно начались.

Туманятся Николкины глаза.

Столбы зноя над червонными украинскими полями. В пыли идут пылью пудренные юнкерские роты. Было, было все это и вот не стало. Позор. Чепуха.

Елена раздвинула портьеру, и в черном просвете показалась ее рыжеватая голова. Братьям послала взгляд мягкий, а на часы очень и очень тревожный. Оно и понятно. Где же, в самом деле, Тальберг? Волнуется сестра.

Хотела, чтобы это скрыть, подпеть братьям, но вдруг остановилась и подняла палец.

– Погодите. Слышите?

Оборвала рота шаг на всех семи струнах: сто-ой! Все трое прислушались и убедились – пушки. Тяжело, далеко и глухо. Вот еще раз: бу-у... Николка поло-

жил гитару и быстро встал, за ним, кряхтя, поднялся Алексей.

В гостиной-приемной совершенно темно. Николка наткнулся на стул. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество» – снег и огонечки. Дрожат и мерцают. Николка прильнул к окошку. Из глаз исчез зной и училище, в глазах – напряженнейший слух. Где? Пожал унтер-офицерскими плечами.

– Черт его знает. Впечатление такое, что будто под Святошиным стреляют. Странно, не может быть так близко.

Алексей во тьме, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза ее черно-испуганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует ее волнение и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В Святошине. Сомнений в этом никаких быть не может. Стреляют, 12 верст от города, не дальше. Что за штука?

Николка взялся за шпингалет, другой рукой прижал стекло, будто хочет выдавить его и вылезть, и нос расплющил.

– Хочется мне туда поехать. Узнать, в чем дело...

– Ну да, тебя там не хватало...

Елена говорит в тревоге. Вот несчастье. Муж должен был вернуться самое позднее, слышите ли, – самое позднее, сегодня в три часа дня, а сейчас уже де-

сять.

В молчании вернулись в столовую. Гитара мрачно молчит. Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется. На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колоннок. При матери, Анне Владимировне, это был праздничный сервиз в семействе, а теперь у детей пошел на каждый день. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой, колонной, вазе голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу – коварный враг, который, пожалуй, может разбить снежный, прекрасный Город и осколки покоя растоптать каблуками. Цветы. Цветы – приношение верного Елениного поклонника, гвардии поручика Леонида Юрьевича Шервинского, друга продавщицы в кондитерской знаменитой «Маркизе», друга продавщицы в уютном цветочном магазине «Ниццкая флора». Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной масленке, в сухарнице пила-фраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если

б не все эти мрачные обстоятельства. Эх... эх...

На чайнике верхом едет гарусный пестрый петух, и в блестящем боку самовара отражаются три изуродованных турбинских лица, и щеки Николкины в нем, как у Момуса.

В глазах Елены тоска, и пряди, подернутые рыжеватым огнем, уныло обвисли.

Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом и погубил вечер. Черт его знает, уж не случилось ли, чего доброго, что-нибудь с ним?... Братья вяло жуют бутерброды. Перед Еленой остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско». Затуманенные глаза, не видя, глядят на слова: «...мрак, океан, вьюгу».

Не читает Елена.

Николка, наконец, не выдерживает:

– Желал бы я знать, почему так близко стреляют? Ведь не может же быть...

Сам себя прервал и искажился при движении в самоваре. Пауза. Стрелка переползает десятую минуту и – тонк-танк – идет к четверти одиннадцатого.

– Потому стреляют, что немцы – мерзавцы, – неожиданно бурчит старший.

Елена поднимает голову на часы и спрашивает:

– Неужели, неужели они оставят нас на произвол судьбы? – Голос ее тосклив.

Братья, словно по команде, поворачивают головы и начинают лгать.

– Ничего не известно, – говорит Николка и обкусывает ломтик.

– Это я так сказал, гм... предположительно. Слухи.

– Нет, не слухи, – упрямо отвечает Елена, – это не слух, а верно; сегодня видела Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка.

– Чепуха.

– Подумай сама, – начинает старший, – мыслимое ли дело, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу? Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним уживутся хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе, как бандит. Смешно.

– Ах, что ты говоришь. Знаю я теперь немцев. Сама уже видела нескольких с красными бантами. И унтер-офицер пьяный с бабой какой-то. И баба пьяная.

– Ну мало ли что? Отдельные случаи разложения могут быть даже и в германской армии.

– Так, по-вашему, Петлюра не войдет?

– Гм... По-моему, этого не может быть.

– Апсольман. Налей мне, пожалуйста, еще одну чашечку чаю. Ты не волнуйся. Соблюдай, как говорится, спокойствие.

– Но, боже, где же Сергей? Я уверена, что на их

поезд напали и...

– И что? Ну, что выдумываешь зря? Ведь эта линия совершенно свободна.

– Почему же его нет?

– Господи боже мой! Знаешь же сама, какая езда. На каждой станции стояли, наверное, по четыре часа.

– Революционная езда. Час едешь – два стоишь.

Елена, тяжело вздохнув, поглядела на часы, помолчала, потом заговорила опять:

– Господи, господи! Если бы немцы не сделали этой подлости, все было бы отлично. Двух их полков достаточно, чтобы раздавить этого вашего Петлюру, как муху. Нет, я вижу, немцы играют какую-то подлую двойную игру. И почему же нет хваленых союзников? У-у, негодяи. Обещали, обещали...

Самовар, молчавший до сих пор, неожиданно запел, и угольки, подернутые седым пеплом, вывалились на поднос. Братья невольно посмотрели на печку. Ответ – вот он. Пожалуйста:

Союзники – сволочи.

Стрелка остановилась на четверти, часы солидно хрипнули и пробили – раз, и тотчас же часам ответил залиvistый, тонкий звон под потолком в передней.

– Слава богу, вот и Сергей, – радостно сказал стар-

ший.

– Это Тальберг, – подтвердил Николка и побежал отворять.

Елена порозовела, встала.

\* \* \*

Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал Николкин удивленный голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованые сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод, и перед Алексеем и Еленой очутилась высокая, широкоплечая фигура в шинели до пят и в защитных погонах с тремя поручичьими звездами химическим карандашом. Башлык заиндевел, а тяжелая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю.

– Здравствуйте, – пропела фигура хриплым тенором и заоченевшими пальцами ухватилась за башлык.

– Витя!

Николка помог фигуре распутать концы, капюшон слез, за капюшоном блин офицерской фуражки с потемневшей кокардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мышлаевского. Голова эта была очень красива, странной



и печальной и привлекательной красотой давней, настоящей породы и вырождения. Красота в разных по цвету, смелых глазах, в длинных ресницах. Нос с горбинкой, губы гордые, лоб бел и чист, без особых примет. Но вот, один уголок рта приспущен печально, и подбородок косовато срезан так, словно у скульптора, лепившего дворянское лицо, родилась дикая фантазия откусить пласт глины и оставить мужественному лицу маленький и неправильный женский подбородок.

– Откуда ты?

– Откуда?

– Осторожнее, – слабо ответил Мышлаевский, – не разбей. Там бутылка водки.

Николка бережно повесил тяжелую шинель, из кармана которой выглядывало горлышко в обрывке газеты. Затем повесил тяжелый маузер в деревянной кобуре, покачнув стойку с оленьими рогами. Тогда лишь Мышлаевский повернулся к Елене, руку поцеловал и сказал:

– Из-под Красного Трактира. Позволь, Лена, ночевать. Не дойду домой.

– Ах, боже мой, конечно.

Мышлаевский вдруг застонал, пытался подуть на пальцы, но губы его не слушались. Белые брови и поседевшая инеем бархатка подстриженных усов нача-

ли таять, лицо намокло. Турбин-старший расстегнул френч, прошелся по шву, вытягивая грязную рубашку.

– Ну, конечно... Полно. Кишат.

– Вот что, – испуганная Елена засуетилась, забыла Тальберга на минуту, – Николка, там в кухне дрова. Беги зажигай колонку. Эх, горе-то, что Анюту я отпустила. Алексей, снимай с него френч, живо.

В столовой у изразцов Мышлаевский, дав волю стонам, повалился на стул. Елена забежала и загремела ключами. Турбин и Николка, став на колени, стягивали с Мышлаевского узкие щегольские сапоги с пряжками на икрах.

– Легче... Ох, легче...

Размотались мерзкие пятнистые портянки. Под ними лиловые шелковые носки. Френч Николка тотчас отправил на холодную веранду – пусть дохнут вши. Мышлаевский, в грязнейшей батистовой сорочке, перекрещенной черными подтяжками, в синих бриджах со штрипками, стал тонкий и черный, больной и жалкий. Посиневшие ладони зашлепали, зашарили по изразцам.

Слух... грозн...

Наст... банд...

Влюбился... мая...

– Что же это за подлецы! – закричал Турбин. – Неужели же они не могли дать вам валенки и полу-

шубки?

– Ва-аленки, – плача, передразнил Мышлаевский, – вален...

Руки и ноги в тепле взрезала нестерпимая боль. Услышав, что Еленины шаги стихли в кухне, Мышлаевский яростно и слезливо крикнул:

– Кабак!

Сипя и корчась, повалился и, тыча пальцем в носки, простонал:

– Снимите, снимите, снимите...

Пахло противным денатуратом, в тазу таяла снежная гора, от винного стаканчика водки поручик Мышлаевский опьянел мгновенно до мути в глазах.

– Неужели же отрезать придется? Господи... – Он горько закачался в кресле.

– Ну, что ты, погоди. Ничего... Так. Приморозил большой. Так... отойдет. И этот отойдет.

Николка присел на корточки и стал натягивать чистые черные носки, а деревянные, негнущиеся руки Мышлаевского полезли в рукава купального мохнатого халата. На щеках расцвели алые пятна, и, скорчившись, в чистом белье, в халате, смягчился и ожил мороженный поручик Мышлаевский. Грозные матерные слова запрыгали в комнате, как град по подоконнику. Скосив глаза к носу, ругал похабными словами штаб в вагонах первого класса, какого-то полковника

Щеткина, мороз, Петлюру и немцев, и метель, и кончил тем, что самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами.

Алексей и Николка смотрели, как лязгал зубами согревающийся поручик, и время от времени вскрикивали: «Ну-ну».

– Гетман, а? Твою мать! – рычал Мышлаевский. – Кавалергард? Во дворце? А? А нас погнали, в чем были. А? Сутки на морозе в снегу... Господи! Ведь думал – пропадем все... К матери! На сто саженой офицер от офицера – это цепь называется? Как кур чуть не зарезали!

– Постой, – ошалевая от брани, спрашивал Турбин, – ты скажи, кто там под Трактиром?

– Ат! – Мышлаевский махнул рукой. – Ничего не поймешь! Ты знаешь, сколько нас было под Трактиром? Со-рок человек. Приезжает эта лахудра – полковник Щеткин и говорит (тут Мышлаевский перекосил лицо, стараясь изобразить ненавистного ему полковника Щеткина, и заговорил противным, тонким и сюсюкающим голосом): «Господа офицеры, вся надежда Города на вас. Оправдайте доверие гибнущей матери городов русских, в случае появления неприятеля – переходите в наступление, с нами Бог! Через шесть часов дам смену. Но патроны прошу беречь...» (Мышлаевский заговорил своим обыкновен-

ным голосом) – и смылся на машине со своим адъютантом. И темно, как в ж...! Мороз. Иголками берет.

– Да кто же там, господи! Ведь не может же Петлюра под Трактиром быть?

– А черт их знает! Верить ли, к утру чуть с ума не сошли. Стали это мы в полночь, ждем смены... Ни рук, ни ног. Нету смены. Костров, понятное дело, разжечь не можем, деревня в двух верстах. Трактир – верста. Ночью чудится: поле шевелится. Кажется – ползут... Ну, думаю, что будем делать?... Что? Вскинешь винтовку, думаешь – стрелять или не стрелять? Искушение. Стояли, как волки выли. Крикнешь, – в цепи где-то отзовется. Наконец, зарылся в снег, нарыл себе прикладом гроб, сел и стараюсь не заснуть: заснешь – каюк. И под утро не вытерпел, чувствую – начинаю дремать. Знаешь, что спасло? Пулеметы. На рассвете, слышу, верстах в трех по-ехало! И ведь, представь, вставать не хочется. Ну, а тут пушка забухала. Поднялся, словно на ногах по пуду, и думаю: «Поздравляю, Петлюра пожаловал». Стянули маленько цепь, перекликаемся. Решили так: в случае чего, собьемся в кучу, отстреливаться будем и отходить на Город. Перебьют – перебьют. Хоть вместе, по крайней мере. И, вообрази, – стихло. Утром начали по три человека в Трактир бегать греться. Знаешь, когда смена пришла? Сегодня в два часа дня. Из первой дружины че-

ловек двести юнкеров. И, можешь себе представить, прекрасно одеты – в папахах, в валенках и с пулеметной командой. Привел их полковник Най-Турс.

– А! Наш, наш! – вскричал Николка.

– Погоди-ка, он не белградский гусар? – спросил Турбин.

– Да, да, гусар... Понимаешь, глянули они на нас и ужаснулись: «Мы думали, что вас тут, говорят, роты две с пулеметами, как же вы стояли?»

Оказывается, вот эти-то пулеметы, это на Серебрянку под утро навалилась банда, человек в тысячу, и повела наступление. Счастье, что они не знали, что там цепь вроде нашей, а то, можешь себе представить, вся эта орава в Город могла сделать визит. Счастье, что у тех была связишка с Постом-Волынским, – дали знать, и оттуда их какая-то батарея обкатила шрапнелью, ну, пыл у них и угас, понимаешь, не довели наступление до конца и расточились куда-то к чертям.

– Но кто также? Неужели же Петлюра? Не может этого быть.

– А, черт их душу знает. Я думаю, что это местные мужички-богоносцы достоевские!.. у-у... вашу мать!

– Господи боже мой!

– Да-с, – хрипел Мышлаевский, насасывая папиросу, – сменились мы, слава те, господи. Считаю: трид-

цать восемь человек. Поздравьте: двое замерзли. К свиньям. А двух подобрали, ноги будут резать...

– Как! Насмерть?

– А что ж ты думал? Один юнкер да один офицер. А в Попелюхе, это под Трактиром, еще красивее вышло. Поперли мы туда с подпоручиком Красиным сани взять, везти помороженных. Деревушка словно вымерла, – ни одной души. Смотрим, наконец, ползет какой-то дед в тулупе, с клюкой. Вообрази, – глянул на нас и обрадовался. Я уж тут сразу почувствовал недоброе. Что такое, думаю? Чего этот богоносный хрен возликовал: «Хлопчики... хлопчики...» Говорю ему таким сдобным голоском: «Здорово, дид. Давай скорее сани». А он отвечает: «Нема. Офицерня уси сани угнала на Пост». Я тут мигнул Красину и спрашиваю: «Офицерня? Тэк-с. А дэж вси ваши хлопци?» А дед и ляпни: «Уси побиглы до Петлюры». А? Как тебе нравится? Он-то сослепу не разглядел, что у нас погоны под башлыками, и за петлюровцев нас принял. Ну, тут, понимаешь, я не вытерпел... Мороз... Остервенился... Взял деда этого за манишку, так что из него чуть душа не выскочила, и кричу: «Побиглы до Петлюры? А вот я тебя сейчас пристрелю, так ты узнаешь, как до Петлюры бегают! Ты у меня сбегаешь в царство небесное, стерва!» Ну тут, понятное дело, святой землепашец, сеятель и хранитель (Мышлаевский, словно

обвал камней, спустил страшное ругательство), прозрел в два счета. Конечно, в ноги и орет: «Ой, ваше высокоблагородие, извините меня, старика, це я сдурю, сослепу, дам коней, зараз дам, тильки не вбивайте!». И лошади нашлись и розвальни.

– Нуте-с, в сумерки пришли на Пост. Что там делается – уму непостижимо. На путях четыре батареи насчитал, стоят неразвернутые, снарядов, оказывается, нет. Штабов нет числа. Никто ни черта, понятное дело, не знает. И главное – мертвых некуда деть! Нашли, наконец, перевязочную летучку, веришь ли, силой свалили мертвых, не хотели брать: «Вы их в Город везите». Тут уж мы озверели. Красин хотел пристрелить какого-то штабного. Тот сказал: «Это, говорит, петлюровские приемы». Смылся. К вечеру только нашел наконец вагон Щеткина. Первого класса, электричество... И что ж ты думаешь? Стоит какой-то холуй денщицкого типа и не пускает. А? «Они, говорит, сплять. Никого не велено принимать». Ну, как я двину прикладом в стену, а за мной все наши подняли грохот. Из всех купе горошком выскочили. Вылез Щеткин и заезжил: «Ах, боже мой. Ну, конечно же. Сейчас. Эй, вестовые, щей, коньяку. Сейчас мы вас разместим. Полный отдых. Это геройство. Ах, какая потеря, но что делать – жертвы. Я так измучился...» И коньяком от него на версту. А-а-а! – Мышлаевский внезапно зев-



нул и клюнул носом. Забормотал, как во сне:

– Дали отряду теплушку и печку... О-о! А мне свезло. Очевидно, решил отделаться от меня после этого грохота. «Командирую вас, поручик, в Город. В штаб генерала Картузова. Доложите там». Э-э-э! Я на паровоз... окоченел... замок Тамары... водка...

Мышлаевский выронил папиросу изо рта, откинулся и захрапел сразу.

– Вот так здорово, – сказал растерянный Николка.

– Где Елена? – озабоченно спросил старший. – Нужно будет ему простыню дать, ты веди его мыться.

Елена же в это время плакала в комнате за кухней, где за ситцевой занавеской, в колонке, у цинковой ванны, металось пламя сухой наколотой березы. Хриплые кухонные часишки настучали одиннадцать. И представился убитый Тальберг. Конечно, на поезд с деньгами напали, конвой перебили, и на снегу кровь и мозг. Елена сидела в полумгле, смятый венец волос пронизало пламя, по щекам текли слезы. Убит. Убит...

И вот тоненький звоночек затрепетал, наполнил всю квартиру. Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую. Огни ярче. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном.

Но Николка со старшим угасли очень быстро после первого взрыва радости. Да и радость-то была больше за Елену. Скверно действовали на братьев клино-

видные, гетманского военного министерства погоны на плечах Тальберга. Впрочем, и до погон еще, чуть ли не с самого дня свадьбы Елены, образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через нее незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...

Эх-эх... Как бы там ни было, сейчас первый слой можно было читать ясно. В верхнем слое простая человеческая радость от тепла, света и безопасности. А вот поглубже – ясная тревога, и привез ее Тальберг с собою только что. Самое же глубокое было, конечно, скрыто, как всегда. Во всяком случае, на фигуре Сергея Ивановича ничего не отразилось. Пояс широк и тверд. Оба значка – академии и университета – белыми головками сияют ровно. Поджарая фигура поворачивается под черными часами, как автомат. Тальберг очень озяб, но улыбается всем благосклонно. И в благосклонности тоже сказалась тревога. Николка, шмыгнув длинным носом, первый заметил это. Тальберг, вытягивая слова, медленно и весело рассказал, как на поезд, который вез деньги в провинцию и который он конвоировал, у Бородянки, в сорока верстах от Города, напали – неизвестно кто! Елена в ужасе жмурилась, жалась к значкам, братья опять вскрики-

вали «ну-ну», а Мышлаевский мертво храпел, показывая три золотых коронки.

– Кто ж такие? Петлюра?

– Ну, если бы Петлюра, – снисходительно и в то же время тревожно улыбнувшись, молвил Тальберг, – вряд ли я бы здесь беседовал... э... с вами. Не знаю кто. Возможно, разложившиеся сердюки. Ворвались в вагоны, винтовками взмахивают, кричат: «Чей конвой?» Я ответил: «Сердюки», – они потоптались, потоптались, потом слышу команду: «Слазь, хлопцы!» И все исчезли. Я полагаю, что они искали офицеров, вероятно, они думали, что конвой не украинский, а офицерский, – Тальберг выразительно покосился на Николкин шеврон, глянул на часы и неожиданно добавил: – Елена, пойдем-ка на пару слов...

Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронто-не часов, играющих каждые три часа гавот.

Неимоверных усилий стоило Николке разбудить Мышлаевского. Тот по дороге шатался, два раза с грохотом зацепился за двери и в ванне заснул. Николка дежурил возле него, чтобы он не утонул. Турбин же старший, сам не зная зачем, прошел в темную гости-

ную, прижался к окну и слушал: опять далеко, глухо, как в вату, и безобидно бухали пушки, редко и далеко.

Елена рыжеватая сразу постарела и подурнела. Глаза красные. Свесив руки, печально она слушала Тальберга. А он сухой штабной колонной возвышался над ней и говорил неумолимо:

– Елена, никак иначе поступить нельзя.

Тогда Елена, помирившись с неизбежным, сказала так:

– Что ж, я понимаю. Ты, конечно, прав. Через дней пять-шесть, а? Может, положение еще изменится к лучшему?

Тут Тальбергу пришлось трудно. И даже свою вечную патентованную улыбку он убрал с лица. Оно постарело, и в каждой точке была совершенно решенная дума. Елена... Елена. Ах, неверная, зыбкая надежда... Дней пять... шесть...

И Тальберг сказал:

– Нужно ехать сию минуту. Поезд идет в час ночи...

...Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом. Елена, похудевшая и строгая, со складками у губ, молча вкладывала в чемодан сорочки, кальсоны, простыни. Тальберг, на коленях у нижнего ящика шкафа, ковырял в нем ключом. А потом... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где

хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побегкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут.

Тальберг же бежал. Он возвышался, попирая обрывки бумаги, у застегнутого тяжелого чемодана в своей длинной шинели, в аккуратных черных наушниках, с гетманской серо-голубой кокардой и опоясан шашкой.

На дальнем пути Города-I, Пассажирского уже стоит поезд – еще без паровоза, как гусеница без головы. В составе девять вагонов с ослепительно белым электрическим светом. В составе в час ночи уходит в Германию штаб генерала фон Буссова. Тальберга берут: у Тальберга нашлись связи... Гетманское министерство – это глупая и пошлая оперетка (Тальберг любил выражаться тривиально, но сильно), как, впрочем, и сам гетман. Тем более пошлая, что...

– Пойми (шепот), немцы оставляют гетмана на произвол судьбы, и очень, очень может быть, что Петлюра войдет. В сущности, у Петлюры есть здоровые корни. В этом движении на стороне Петлюры мужицкая масса, а это, знаешь ли...

О, Елена знала! Елена отлично знала. В марте 1917

года Тальберг был первый, – поймите, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве. Это было в самых первых числах, когда все еще офицеры в Городе при известиях из Петербурга становились кирпичными и уходили куда-то, в темные коридоры, чтобы ничего не слышать. Тальберг как член революционного военного комитета, а не кто иной, арестовал знаменитого генерала Петрова. Когда же к концу знаменитого года в Городе произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего, что они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах – авантюристы, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.

Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притазились обратно, вслед за немцами. Это был большой сюрприз. Тальберг растерянно улыбался, но ничего не боялся, потому что шаровары при немцах были очень тихие, никого убивать не смели и даже сами ходили по улицам как бы с некоторой опаской, и вид у них был такой, словно у неуверенных гостей. Тальберг сказал, что у них нет корней, и месяца два нигде не служил. Николка Турбин однажды улыбнулся, войдя в комнату Тальберга. Тот сидел и писал на большом листе бумаги какие-то грамматические упражнения, а перед ним лежала тоненькая, отпечатанная на дешевой серой бумаге книжонка:

«Игнатий Перпилло – Украинская грамматика».

В апреле восемнадцатого, на Пасхе, в цирке весело гудели матовые электрические шары и было черно до купола народом. Тальберг стоял на арене веселой, боевой колонной и вел счет рук – шароварам крышка,

будет Украина, но Украина «гетьманская», – выбирали «гетьмана всея Украины».

– Мы отгорожены от кровавой московской оперетки, – говорил Тальберг и блестел в странной, гетманской форме дома, на фоне милых, старых обоев. Давились презрительно часы: тонк-танк, и вылилась вода из сосуда. Николке и Алексею не о чем было говорить с Тальбергом. Да и говорить было бы очень трудно, потому что Тальберг очень сердился при каждом разговоре о политике и в особенности в тех случаях, когда Николка совершенно бестактно начинал: «А как же ты, Сережа, говорил в марте...» У Тальберга тотчас показывались верхние, редко расставленные, но крупные и белые зубы, в глазах появлялись желтенькие искорки, и Тальберг начинал волноваться. Таким образом, разговоры вышли из моды сами собой.

Да, оперетка... Елена знала, что значит это слово на припухших прибалтийских устах. Но теперь оперетка грозила плохим, и уже не шароварам, не московским, не Ивану Ивановичу какому-нибудь, а грозила она самому Сергею Ивановичу Тальбергу. У каждого человека есть своя звезда, и недаром в средние века придворные астрологи составляли гороскопы, предсказывали будущее. О, как мудры были они! Так вот, у Тальберга, Сергея Ивановича, была неподходящая, неудачливая звезда. Тальбергу было бы хо-



рошо, если бы все шло прямо, по одной определенной линии, но события в это время в Городе не шли по прямой, они проделывали причудливые зигзаги, и тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. Он не угадал. Далеко еще, верст сто пятьдесят, а может быть, и двести, от Города, на путях, освещенных белым светом, – салон-вагон. В вагоне, как зерно в стручке, болтался бритый человек, диктуя своим писарям и адъютантам на странном языке, в котором с большим трудом разбирался даже сам Перпилло. Горе Тальбергу, если этот человек придет в Город, а он может прийти! Горе. Номер газеты «Вести» всем известен, имя капитана Тальберга, выбиравшего гетмана, также. В газете статья, принадлежащая перу Сергея Ивановича, а в статье слова:

«Петлюра – авантюрист, грозящий своею опереткой гибелью краю...»

– Тебя, Елена, ты сама понимаешь, я взять не могу на скитанья и неизвестность. Не правда ли?

Ни звука не ответила Елена, потому что была горда.

– Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон... Фон Буссов обещал мне содействие. Меня ценят. Немецкая оккупация превратилась в оперетку. Немцы уже уходят. (Шепот.) Петлюра, по моим расчетам, тоже скоро рухнет. Настоящая сила идет с Дона. И ты знаешь,

мне ведь даже нельзя не быть там, когда формируется армия права и порядка. Не быть – значит погубить карьеру, ведь ты знаешь, что Деникин был начальником моей дивизии. Я уверен, что не пройдет и трех месяцев, ну самое позднее – в мае, мы придем в Город. Ты ничего не бойся. Тебя ни в коем случае не тронут, ну, а в крайности, у тебя же есть паспорт на девичью фамилию. Я попрошу Алексея, чтобы тебя не дали в обиду.

Елена очнулась.

– Постой, – сказала она, – ведь нужно братьев сейчас предупредить о том, что немцы нас предают?

Тальберг густо покраснел.

– Конечно, конечно, я обязательно... Впрочем, ты им сама скажи. Хотя ведь это дело меняет мало.

Странное чувство мелькнуло у Елены, но предаваться размышлению было некогда: Тальберг уже целовал жену, и было мгновение, когда его двухэтажные глаза пронизало только одно – нежность. Елена не выдержала и всплакнула, но тихо, тихо, – женщина она была сильная, недаром дочь Анны Владимировны. Потом произошло прощание с братьями в гостиной. В бронзовой лампе вспыхнул розовый свет и залил весь угол. Пианино показало уютные белые зубы и партитуру Фауста там, где черные нотные закорючки идут густым черным строем и разноцветный рыже-

бородый Валентин поет:

Я за сестру тебя молю,  
Сжался, о, сжался ты над ней!  
Ты охраняй ее.

Даже Тальбергу, которому не были свойственны никакие сентиментальные чувства, запомнились в этот миг и черные аккорды, и истрепанные страницы вечного Фауста. Эх, эх... Не придется больше услышать Тальбергу каватины про Бога всемогущего, не услышать, как Елена играет Шервинскому аккомпанемент! Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как Саардамский Плотник, – совершенно бессмертен.

Тальберг все рассказал тут же у пианино. Братья вежливо промолчали, стараясь не поднимать бровей. Младший из гордости, старший потому, что был человек-тряпка. Голос Тальберга дрогнул.

– Вы же Елену берегите, – глаза Тальберга в первом слове посмотрели просительно и тревожно. Он помялся, растерянно глянул на карманные часы и беспокойно сказал: – Пора.

Елена притянула к себе за шею мужа, перекрести-

ла его торопливо и криво и поцеловала. Тальберг уколочил обоих братьев щетками черных подстриженных усов. Тальберг, заглянув в бумажник, беспокойно проверил пачку документов, пересчитал в тощем отделении украинские бумажки и немецкие марки и, улыбаясь, напряженно улыбаясь и оборачиваясь, пошел. Дзинь... дзинь... в передней свет сверху, потом на лестнице громыханье чемодана. Елена свесилась с перил и в последний раз увидела острый хохол башлыка.

В час ночи с пятого пути из тьмы, забитой кладбищами порожних товарных вагонов, с места взяв большую грохочущую скорость, пыша красным жаром поддувала, ушел серый, как жаба, бронепоезд и дико завыл. Он пробежал восемь верст в семь минут, попал на Пост-Волынский, в гвалт, стук, грохот и фонари, не задерживаясь, по прыгающим стрелкам свернул с главной линии вбок и, возбуждая в душах обмерзших юнкеров и офицеров, скорчившихся в теплушках и в цепях у самого Поста, смутную надежду и гордость, смело, никого решительно не боясь, ушел к германской границе. Следом за ним через десять минут прошел через Пост сияющий десятками окон пассажирский, с громадным паровозом. Тумбовидные, массивные, запакованные до глаз часовые-немцы мелькнули на площадках, мелькнули их широкие черные шты-

ки. Стрелочники, давясь морозом, видели, как мотало на стыках длинные пульты, окна бросали в стрелочников снопы. Затем все исчезло, и души юнкеров наполнились завистью, злобой и тревогой.

– У... с-с-волочь!.. – проныло где-то у стрелки, и на теплушки налетела жгучая вьюга. Заносило в эту ночь Пост.

А в третьем от паровоза вагоне, в купе, крытом полосатыми чехлами, вежливо и заискивающе улыбаясь, сидел Тальберг против германского лейтенанта и говорил по-немецки.

– О, ja, – тянул время от времени толстый лейтенант и пожевывал сигару.

Когда лейтенант заснул, двери во всех купе закрылись и в теплом и ослепительном вагоне настало монотонное дорожное бормотанье, Тальберг вышел в коридор, откинул бледную штору с прозрачными буквами «Ю.-З. ж.д.» и долго глядел в мрак. Там беспорядочно прыгали искры, прыгал снег, а впереди паровоз нес и завывал так грозно, так неприятно, что даже Тальберг расстроился.

### 3

В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была пол-

ная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла, назойливо и деловито, в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера, Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спальни прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, занавешенном, набитом книгами и, вследствие этого, чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса... То есть сам-то он называл себя – Лисович, многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза же, в третьем лице, никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственно чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович», из страха перед какой-то будущей ответственностью, начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках

писать «Вас. Лис.».

Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку восемнадцатого января восемнадцатого года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. (Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей.) Придя домой, держась за стенки и зеленея, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены:

– Господи! Что же это такое?! – ответил:

– Это Василисин сахар, черт бы его взял! – и после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. Вначале двор номера тринадцатого, а за двором весь город начал называть инженера Василисой, и лишь сам владелец женского имени рекомендовался: председатель домового комитета Лисович.

Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавок. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и

пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то, над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок, подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный, маленький, в два кирпича, тайничок, самым же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу – тонкую цинковую пластинку – отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером они легли на разрез так аккуратно, что прелесть: полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ла-



дони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей.

На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветви акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы.

Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые – какая, к черту, Василиса! – это мужчина. В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек – зеленый игральный крап:

Знак державноп скарбниці  
50 карбованців  
ходить нарівні з кредитовими білетами.

На крапе – селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатой, и селянка с серпом. На обороте, в овальной рамке, увеличенные, красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червяками усы вниз, по-украински. И надо всем предостерегающая надпись:

За фальшування карається тюрмою,  
уверенная подпись:

Директор державноп скарбниці Лебідь-Юрчик.

Конно-медный Александр II в трепаном чугунном мыле бакенбард, в конном строю, раздраженно косился на художественное произведение Лебідя-Юрчика и ласково – на лампу-царевну. Со стены на бумажки глядел в ужас чиновник со Станиславом на шее – предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брокгауз-Ефрон. Уют.

Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «николаев I-х», 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и два Станислава.

В тайничке № 2 – 20 «катеринок», 10 «петров», 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара («Дорогому сослуживцу», хоть Василиса и не курил), 50 золотых десятков, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряное ситечко (большой тайник в дровяном сарае, два шага от двери прямо, шаг влево, шаг от меловой метки на бревне стены. Всё в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, два аршина глубины).

Третий тайник – чердак: две четверти от трубы на

северо-восток под балкой в глине: щипцы сахарные, 183 золотых десятки, на 25 000 процентных бумаг.

Лебідь-Юрчик – на текущие расходы.

Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить крап. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел.

– Фальшування, фальшування, – злобно заворчал он, качая головой, – вот горе-то. А?

Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке – раз. В четвертом десятке – две, в шестом – две, в девятом – подряд три бумажки несомненно таких, за которые Лебідь-Юрчик угрожает тюрьмой. Всего сто тринадцать бумажек, и, извольте видеть, на восьми явные признаки фальшування. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нет у снопа таинственных, верных – перевернутой запятой и двух точек, и бумага лучше, чем лебідевская. Василиса глядел на свет, и Лебідь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.

– Извозчику завтра вечером одну, – разговаривал сам с собой Василиса, – все равно ехать, и, конечно, на базар.

Он бережно отложил в сторону фальшивые, предназначенные извозчику и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и

смутные голоса. Василиса сказал Александру II:

– Извольте видеть: никогда покою нет...

Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через десять минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот, во сне, приехал Лебідь-Юрчик верхом на коне и какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту, с воплем вскочил Василиса и первое, что услышал – мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры, смех...

За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем.

– Единственное средство – отказать от квартиры, – забарахтался в простынях Василиса, – это же невысказано. Ни днем, ни ночью нет покоя.

Идут и поют юнкера  
Гвардейской школы!

– Хотя, впрочем, на случай чего... Оно верно, время-то теперь ужасное. Кого ещепустишь, неизвест-

но, а тут офицеры, в случае чего – защита-то и есть...  
Брысь! – крикнул Василиса на яростную мышь.

Гитара... гитара... гитара...

\* \* \*

Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз, три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай...

На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова:

Голым профилем на ежа не сядешь!

– Вот веселая сволочь... А пушки-то стихли. А-страумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. Ар-рата-там! – Гитара.

Арбуз не стоит печь на мыле,  
Американцы победили.

Мышлаевский, где-то за завесой дыма, рассмеялся. Он пьян.

Игривы Брейтмана остроты,  
И где же сенегальцев роты?

– Где же? В самом деле? Где же? – добивался мутный Мышлаевский.

Рожают овцы под брезентом,  
Родзянко будет президентом.

– Но талантливы, мерзавцы, ничего не поделаешь!  
Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга... от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет, Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле. На противоположном – Мышлаевский, мохнат, бел, в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах – стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола, с одной стороны Алексей и Николка, а с другой – Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же по александровской гимназической кличке – Карась.

Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася, Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных, минут через двадцать после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток – четыре бутылки белого вина, у Карася – две бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громадным букетом, наглухо запакованным в три слоя бумаги, – само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость: на погонах у него золотые пушки, – терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит, а если Петлюра приползет в город – тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в mortarный дивизион. Командир – полковник Малышев, дивизион – замечательный, так и называется – студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлаевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо. Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под Городом...

Ан, Мышлаевский оказался здесь, наверху!! Золотая Елена в полумраке спальни, перед овальной рамой в серебряных листьях, наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ур-ра! Все здесь. Карасевы золотые пушки на смятых погонах были форменным

ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими по-  
гонами и синими выютюженными бриджами Шервин-  
ского. В наглых глазах маленького Шервинского мячи-  
ками запрыгала радость при известии об исчезнове-  
нии Тальберга. Маленький улан сразу почувствовал,  
что он, как никогда, в голосе, и розоватая гостиная на-  
полнилась действительно чудовищным ураганом зву-  
ков, пел Шервинский эпиталаму богу Гименею, и как  
пел! Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого  
голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы,  
эта дурацкая война, большевики, и Петлюра, и долг,  
но потом, когда все придет в норму, он бросает воен-  
ную службу, несмотря на свои петербургские связи, вы  
знаете, какие у него связи – о-го-го... и на сцену. Петь  
он будет в La Scala и в Большом театре в Москве, ко-  
гда большевиков повесят в Москве на фонарях на Те-  
атральной площади. В него влюбилась в Жмеринке  
графиня Лендрикова, потому что, когда он пел эпита-  
ламу, то вместо fa взял la и держал его пять тактов.  
Сказав – пять, Шервинский сам повесил немного го-  
лову и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то  
другой сообщил ему это, а не он сам.

– Тэк-с, пять. Ну ладно, идемте ужинать.

И вот знамена, дым...

– И где же сенегальцев роты? отвечай, штабной, от-  
вечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет бла-



гополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Пробежится на Дон и приедет сюда с деникинской армией.

– Будут! – звякнул Шервинский, – будут. Позвольте сообщить важную новость: сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее, через два дня, в Город придут два сербских полка.

– Слушай, это верно?

Шервинский стал бурым.

– Гм, даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.

– Два полка-а... что два полка...

– Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать. Сам князь мне говорил сегодня, что в одесском порту уже разгружаются транспорты: пришли греки и две дивизии сенегалов. Стоит нам продержаться неделю, – и нам на немцев наплевать.

– Предатели!

– Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить! Вот повесить!

– Своими руками застрелю.

– Еще по глотку€. Ваше здоровье, господа офицеры!

Раз – и окончательный туман! Туман, господа. Николка, выпивший три бокала, бегал к себе за платком и в передней (когда никто не видит, можно быть самим

собой) припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамаский. И принц не дарил, и клинок не дамаский, но верно – красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре, Карасев Стейер – вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту, там за Постом, на снежных полях. Ведь стыдно! Неловко... Здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там в штабах? Э, дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные... Но ведь они же здесь померзнут к свиньям? Они ведь привыкли к жаркому климату?

– Я б вашего гетмана, – кричал старший Турбин, – за устройство этой миленькой Украины, повесил бы первым! Хай живе вильна Украина вид Киева до Берлина! Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. А теперь, когда ухватило кота поперек живота, так начали формировать русскую армию? В двух шагах враг, а они дружины,

штабы? Смотрите, ой, смотрите!

– Панику сеешь, – сказал хладнокровно Карась.

Турбин обозлился.

– Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Во-все не панику, а я хочу вылить все, что у меня накопело на душе. Панику? Не беспокойся. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело! Не панику, – кусок огурца застрял у него в горле, он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине.

– Правильно! – скрепил Карась, стукнув по столу. – К черту рядовым – устройм врачом.

– Завтра полезем все вместе, – бормотал пьяный Мышлаевский, – все вместе. Вся Александровская императорская гимназия. Ура!

– Сволочь он, – с ненавистью продолжал Турбин, – ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью, доктора Курицкого, он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий... Так вот спрашиваю: как поукраински «кот»? Он отвечает «кит». Спрашиваю: «А как кит?» А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется.

Николка с треском захохотал и сказал:

– Слова «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть...

– Мобилизация, – ядовито продолжал Турбин, – жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках. Все валютчики знали о мобилизации за три дня до приказа. Здорово? И у каждого грыжа, у всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией, и ни один не идет – дело швах! О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву. Поймите, что здесь, в Городе, он набрал бы пятидесятитысячную армию, и какую армию! Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их тысячи в Городе, все пошли бы с дорогою душой. Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули в Москве, как муху. Самый момент, ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.

Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.

– Ты... ты... тебе бы, знаешь, не врачом, а мини-

стром быть обороны, право, – заговорил Карась. Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.

– Алексей на митинге незаменимый человек, оратор, – сказал Николка.

– Николка, я тебе два раза уже говорил, что ты никакой остряк, – ответил ему Турбин, – пей-ка лучше вино.

– Ты пойми, – заговорил Карась, – что немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее.

– Неправда! – тоненько выкликнул Турбин. – Нужно только иметь голову на плечах и всегда можно было бы столкнуться с германом. Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. Конечно, война нами проиграна! У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас – Троцкий. Вот что нужно было сказать немцам: вам нужен сахар, хлеб? – берите, лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше, мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью. И будь сейчас русская армия в Городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру... к-х... – Турбин яростно закашлялся.

– Стой! – Шервинский встал. – Погоди. Я должен

сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный. О, он дипломат. Край украинский, здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей, – пусть!

– Пять процентов, а девяносто пять – русских!..

– Верно. Но они сыграли бы роль э... э... вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких гвоздей. Не угодно ли? – Шервинский торжественно указал куда-то рукой. – На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.

– Опоздали с флагами!

– Гм, да. Это верно. Несколько опоздали, но князь уверен, что ошибка поправима.

– Дай Бог, искренне желаю, – и Турбин перекрестился на икону Божией Матери в углу.

– План же был таков, – звучно и торжественно выговорил Шервинский, – когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества государя императора Николая Александровича.

После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел.

– Император убит, – прошептал он.

– Какого Николая Александровича? – спросил ошеломленный Турбин, а Мышлаевский, качнувшись, искоса глянул в стакан к соседу. Ясно: крепился, крепился и вот напился, как зонтик.

Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на улана.

Но Шервинский не был особенно пьян, он поднял руку и сказал мощно:

– Не спешите, а слушайте. Н-но, прошу господ офицеров (Николка покраснел и побледнел) молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?

– Никакого понятия не имеем, – с интересом сообщил Карась.

– Ну-с, а мне известно.

– Тю! Ему все известно, – удивился Мышлаевский. – Ты ж не ездил...

– Господа! Дайте же ему сказать.

– После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же наста-

нет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России – в Москву», – и прослезился.

Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. Десять глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной.

– Слушай... это легенда, – болезненно сморщившись, сказал Турбин. – Я уже слышал эту историю.

– Убиты все, – сказал Мышлаевский, – и государь, и государыня, и наследник.

Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуха и молвил:

– Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества...

– Несколько преувеличено, – спьяну сострил Мышлаевский.

Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана.

– Витя, тебе стыдно. Ты офицер.

Мышлаевский нырнул в туман.

– ...вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного губернатора... то есть, виноват, губернатора наследника, мосье Жильяра и нескольких офицеров, которые вывезли его... э... в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу. И вот государь ныне находится в



гостях у императора Вильгельма.

– Да ведь Вильгельма же тоже выкинули? – начал Карась.

– Они оба в гостях в Дании, с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с: сообщил мне это лично сам князь.

Николкина душа стонала, полная смятения. Ему хотелось верить.

– Если это так, – вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба, – я предлагаю тост: здоровье его императорского величества! – Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол. Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках.

– Пусть! Пусть! Пусть даже убит, – надломленно и хрипло крикнула она. – Все равно. Я пью. Я пью.

– Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно. Никогда. Но все равно, мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император! – Турбин крикнул и поднял стакан.

– Ур-ра! Ур-ра! Ур-ра-а!! – трижды в грохоте пронеслось по столовой.

Василиса вскочил вниз в холодном поту. Со сна он завопил истощным голосом и разбудил Ванду Михайловну.

– Боже мой... бо... бо... – бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку.

– Что же это такое? Три часа ночи! – завопил, плача, Василиса, адресуясь к черному потолку. – Я жаловаться наконец буду!

Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно, просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон:

...си-ильный, де-ержавный  
царрр-ствуй на славу...

Сердце у Василисы остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал:

– Нет... они, того, душевнобольные... Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещен! Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно!!

Но Ванда уже свалилась как камень и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрики-

ваньях.

– На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная! – покачиваясь, кричал Мышлаевский.

– Верно!

– Я... был на «Павле Первом»... неделю тому назад... – заплетаясь, бормотал Мышлаевский, – и когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верр-но!» – и что ж вы думаете, кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярусе крикнула: «Идиот!»

– Жи-ды, – мрачно крикнул опьяневший Карась.

Туман. Туман. Туман. Тонк-танк... тонк-танк... Уже водку пить невысмыслимо, уже вино пить невысмыслимо, идет в душу и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжело рвало. Турбин, сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами, подерживал Мышлаевского.

– А-а...

Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок.

– Ни-колка, – прозвучал в дыму и черных полосах

чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. – Ни-колка! – повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже-е, боже-е, как тошно и противно. Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином». Никол...

– А-а, – хрипел Мышлаевский, оседая к полу.

Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон.

– Никол... помоги, бери его. Бери так, под руку.

– Ц... ц... ц... Эх, эх, – жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке, висела убитая голова. Тонк-танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью.

– Так. Клади его.

– Хоть халат-то запахни ему. Ведь неудобно, я тут. Проклятые черти. Пить не умеете. Витька! Витька! Что с тобой? Вить...

– Брось. Не поможет. Николушка, слушай. В кабинете у меня... на полке склянка, написано «Liquor ammonii», а угол оборван, к чертям, видишь ли... нашатырным спиртом пахнет.

– Сейчас... сейчас... Эх-эх.

– И ты, доктор, хорош...

– Ну, ладно, ладно.

– Что? Пульса нету?

– Нет, вздор, отойдет.

– Таз! Таз!

– Таз извольте.

– А-а-а...

– Эх вы!

Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка под-держивал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду.

– А... хрр... у-ух... Тьф... фэ...

– Снегу, снегу...

– Господи боже мой. Ведь это нужно ж так...

Мокрая тряпка лежала на лбу, с нее стекали на простыни капли, под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суется, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел:

– Ах... пусти...

– Тэк-с, ну ладно, пусть здесь и спит.

Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приго-

товляя постели.

– Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки.

– Слушаюсь.

Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване.

– Не затрудняйтесь... я сам.

– Отойдите вы. Чего подушку за ухо тянете? Ваша помощь не нужна.

– Позвольте ручку поцеловать...

– По какому поводу?

– В благодарность за хлопоты.

– Обойдется пока... Николка, ты у себя на кровати.

Ну, как он?

– Ничего, отошел, проспится.

Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора – книжная.

\* \* \*

И погасли огни, погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель, между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная по-

лоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из «Пиковой дамы». Но капор обветшал, быстро и странно, в один последний год, и сборки ссеклись и потускнели, и потерялись ленты. Как Лиза «Пиковой дамы», рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую, вытертую медвежьей шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная, громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты, глухо, сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный, бодрый храп Шервинского. Из книжной молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то вполголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом, и с черными двумя пятнами окон.

– Уехал...

Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал, и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный че-

ловек и очень хорошо сделал, что уехал... Ведь это же к лучшему...

– Но в такую минуту... – бормотала Елена и глубоко вздохнула.

– Что за такой человек? – Как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему. И вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты, у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но ни сейчас, ни все время – полтора года, – что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой, рыжей, золотой Еленой и генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами, и облегченный, без детей. Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа?

– Знаю я, знаю, – сама сказала себе Елена, – уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения, – значительно сказала она красному капору и подняла палец. И сама ужаснувшись тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя позволъ-ка, что ж я говорю? А что бы они



сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят. Ей-богу. Так вот все лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, – все ясно – ненавидят. Николка, тот еще добрее, а вот старший... Хотя нет. Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут... Он там останется, я здесь...

– Мой муж, – сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. – Мой муж...

Капор с интересом слушал, и щеки его осветились жирным красным светом. Спрашивал:

– А что за человек твой муж?

\* \* \*

– Мерзавец он. Больше ничего! – сам себе сказал Турбин, в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. – Мерзавец, а я, действительно, тряпка. Если уж не выгнал его, то по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту, это,

в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Но вот почему? А черт, да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла, лишенная малейшего понятия о чести! Все, что ни говорит, говорит, как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России...

Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли, но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и тому же:

«Русскому человеку честь – одно только лишнее время...»

Только под утро он разделся и уснул, и вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал:

– Голым профилем на ежа не сядешь!.. Святая Русь – страна деревянная, нищая и... опасная, а русскому человеку честь – только лишнее время.

– Ах ты! – вскричал во сне Турбин. – Г-гадина, да я тебя. – Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.

Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже начало светать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться Город.

## 4

Как многоярусные соты, дымился и шумел и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу зарубежных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники – мех серебристый и черный – делали женские лица загадочными и красивыми.

Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, кашта-

нами, оврагами, кленами и липами.

Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках царствовал вечный Царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, замеченные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи, над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.

Зимой, как ни в одном городе мира, упал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом

будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.

Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в Слободку на том берегу, другой – высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.

\* \* \*

И вот, в зиму 1918 года, Город жил странную, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За камен-

ными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.

Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с покрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.

Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись

бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный, до белого утра гремящий тарелками, клуб «Прах» (поэты – режиссеры – артисты – художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиженных проституток.

Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы – бархатные. Лам-

пы, увитые цыганскими шальями, бросали два света – вниз белый электрический, а вбок и вверх – оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом и французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».

И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в пенсне, б... со звонкими фамилиями, миллиардные игроки... водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.

Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна – Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, мо-



жет быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.

– А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынут серые. Ох, страшно...

Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек – под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах:

па-па-пах.

Кто в кого стрелял – никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сиде-

ли на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.

Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:

– А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все – купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели...

\* \* \*

Были офицеры. И они бежали и с севера, и с запада – бывшего фронта – и все направлялись в Город, их было очень много и становилось все больше. Рискуя жизнью, потому что им, большею частью безденеж-

ным и носившим на себе неизгладимую печать своей профессии, было труднее всего получить фальшивые документы и пробраться через границу. Они все-таки сумели пробраться и появиться в Городе, с травленими взорами, вшивые и небритые, беспогонные, и начинали в нем приспособливаться, чтобы есть и жить. Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войны в насиженные гнезда с той мыслью, как и Алексей Турбин, – отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь, и были сотни и сотни чужих, которым нельзя было уже оставаться ни в Петербурге, ни в Москве. Одни из них – кирасиры, кавалергарды, конногвардейцы и гвардейские гусары – выплывали легко в мутной пене потревоженного Города. Гетманский конвой ходил в фантастических погонах, и за гетманскими столами усаживалось до двухсот масляных проборов людей, сверкающих гнилыми желтыми зубами с золотыми пломбами. Кого не вместил конвой, вместили дорогие шубы с бобровыми воротниками и полутемные, резного дуба квартиры в лучшей части Города – Липках, рестораны и номера отелей...

Другие, армейские штабс-капитаны конченных и развалившихся полков, боевые армейские гусары, как полковник Най-Турс, сотни прапорщиков и подпоручиков, бывших студентов, как Степанов – Карась, сби-

тых с винтов жизни войной и революцией, и поручики, тоже бывшие студенты, но конченные для университета навсегда, как Виктор Викторович Мышлаевский. Они, в серых потертых шинелях, с еще не зажившими ранами, с ободранными тенями погон на плечах, приезжали в Город и в своих семьях или в семьях чужих спали на стульях, укрывались шинелями, пили водку, бегали, хлопотали и злобно кипели. Вот эти последние ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку.

Были юнкера. В Городе к началу революции осталось четыре юнкерских училища – инженерное, артиллерийское и два пехотных. Они кончились и развалились в грохоте солдатской стрельбы и выбросили на улицы искалеченных, только что кончивших гимназистов, только что начавших студентов, не детей и не взрослых, не военных и не штатских, а таких, как семнадцатилетний Николка Турбин...

– Все это, конечно, очень мило, и над всем царствует гетман. Но, ей-богу, я до сих пор не знаю, да и знать не буду, по всей вероятности, до конца жизни, что собой представляет этот невиданный властитель с наименованием, свойственным более веку XVII, нежели XX.

– Да кто он такой, Алексей Васильевич?

– Кавалергард, генерал, сам крупный богатый по-

мешик, и зовут его Павлом Петровичем...

По какой-то странной насмешке судьбы и истории избрание его, состоявшееся в апреле знаменитого года, произошло в цирке. Будущим историкам это, вероятно, даст обильный материал для юмора. Гражданам же, в особенности оседлым в Городе и уже испытывавшим первые взрывы междуусобной брани, было не только не до юмора, но и вообще не до каких-либо размышлений. Избрание состоялось с ошеломляющей быстротой – и слава богу. Гетман воцарился – и прекрасно. Лишь бы только на рынках было мясо и хлеб, а на улицах не было стрельбы, чтобы, ради самого Господа, не было большевиков, и чтобы простой народ не грабил. Ну что ж, все это более или менее осуществилось при гетмане, пожалуй, даже в значительной степени. По крайней мере, прибегающие москвичи и петербуржцы и большинство горожан, хоть и смеялись над странной гетманской страной, которую они, подобно капитану Тальбергу, называли опереткой, невсамделишным царством, гетмана словословили искренне... и... «Дай Бог, чтобы это продолжалось вечно».

Но вот могло ли это продолжаться вечно, никто бы не мог сказать, и даже сам гетман. Да-с.

Дело в том, что Город – Городом, в нем и полиция – Варта, и министерство, и даже войско, и газеты раз-

личных наименований, а вот что делается кругом, в той настоящей Украине, которая по величине больше Франции, в которой десятки миллионов людей, – этого не знал никто. Не знали, ничего не знали, не только о местах отдаленных, но даже – смешно сказать – о деревнях, расположенных в пятидесяти верстах от самого Города. Не знали, но ненавидели всею душой. И когда доходили смутные вести из таинственных областей, которые носят название – деревня, о том, что немцы грабят мужиков и безжалостно карают их, расстреливая из пулеметов, не только ни одного голоса возмущения не раздалось в защиту украинских мужиков, но не раз, под шелковыми абажурами в гостиных, скалились по-волчьи зубы и слышно было бормотание:

– Так им и надо! Так и надо; мало еще! Я бы их еще не так. Вот будут они помнить революцию. Выучат их немцы – своих не хотели, попробуют чужих!

– Ох, как неразумны ваши речи, ох, как неразумны.

– Да что вы, Алексей Васильевич!.. Ведь это такие мерзавцы. Это же совершенно дикие звери. Ладно. Немцы им покажут.

Немцы!!

Немцы!!

И повсюду:

Немцы!!!

Немцы!!

Ладно: тут немцы, а там, за далеким кордоном, где сизые леса, большевики. Только две силы.

## 5

Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. Так плохой и неумный игрок, отгородившись пешечным строем от страшного партнера (к слову говоря, пешки очень похожи на немцев в тазах), группирует своих офицеров около игрушечного короля. Но коварная ферзь противника внезапно находит путь откуда-то сбоку, проходит в тыл и начинает бить по тылам пешки и коней и объявляет страшные шахи, а за ферзем приходит стремительный легкий слон – офицер, подлетают коварными зигзагами кони, и вот-с, погибает слабый и скверный игрок – получает его деревянный король мат.

Пришло все это быстро, но не внезапно, и предшествовали тому, что пришло, некие знамения.

Однажды, в мае месяце, когда Город проснулся сияющий, как жемчужина в бирюзе, и солнце выкатилось освещать царство гетмана, когда граждане уже двинулись, как муравьи, по своим делишкам, и заспанные приказчики начали в магазинах открывать

рокочущие шторы, прокатился по Городу страшный и зловещий звук. Он был неслыханного тембра – и не пушка и не гром, – но настолько силен, что многие форточки открылись сами собой и все стекла дрогнули. Затем звук повторился, прошел вновь по всему верхнему Городу, скатился волнами в Город нижний – Подол, и через голубой-красивый Днепр ушел в московские дали. Горожане проснулись, и на улицах началось смятение. Разрослось оно мгновенно, ибо побежали с верхнего Города – Печерска растерзанные, окровавленные люди с воем и визгом. А звук прошел и в третий раз, и так, что начали с громом обваливаться в печерских домах стекла, и почва шатнулась под ногами.

Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. Вскоре узнали, откуда пришел звук. Он явился с Лысой Горы за Городом, над самым Днепром, где помещались гигантские склады снарядов и пороху. На Лысой Горе произошел взрыв.

Пять дней жил после того Город, в ужасе ожидая, что потекут с Лысой Горы ядовитые газы. Но удары прекратились, газы не потекли, окровавленные исчезли, и Город приобрел мирный вид во всех своих частях, за исключением небольшого угла Печерска, где рухнуло несколько домов. Нечего и говорить, что гер-



манское командование нарядило строгое следствие, и нечего и говорить, что город ничего не узнал относительно причин взрыва. Говорили разное.

– Взрыв произвели французские шпионы.

– Нет, взрыв произвели большевистские шпионы.

Кончилось все это тем, что о взрыве просто забыли.

Второе знамение пришло летом, когда Город был полон мощной пыльной зеленью, гремел и грохотал, и германские лейтенанты выпивали море содовой воды. Второе знамение было поистине чудовищно!

Среди бела дня, на Николаевской улице, как раз там, где стояли лихачи, убили не кого иного, как главнокомандующего германской армией на Украине фельдмаршала Эйхгорна, неприкосновенного и гордого генерала, страшного в своем могуществе, заместителя самого императора Вильгельма! Убил его, само собой разумеется, рабочий и, само собой разумеется, социалист. Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. Правда, это не воскресило несколько знаменитого генерала, но зато породило у умных людей замечательные мысли по поводу происходящего.

Так, вечером, задыхаясь у открытого окна, расстегивая пуговицы чесучовой рубашки, Василиса сидел за стаканом чая с лимоном и говорил Алексею Васи-

льевичу Турбину таинственным шепотом:

– Сопоставляя все эти события, я не могу не прийти к заключению, что живем мы весьма непрочно. Мне кажется, что под немцами что-то такое (Василиса пошевелил короткими пальцами в воздухе) шатается. Подумайте сами... Эйхгорна... и где? А? (Василиса сделал испуганные глаза.)

Турбин выслушал мрачно, мрачно дернул щекой и ушел.

Еще предзнаменование явилось на следующее же утро и обрушилось непосредственно на того же Василису. Раненько, раненько, когда солнышко заслало веселый луч в мрачное подземелье, ведущее с дворика в квартиру Василисы, тот, выглянув, увидел в луче знамение. Оно было бесподобно в сиянии своих тридцати лет, в блеске монист на царственной екатерининской шее, в босых стройных ногах, в колышущейся упругой груди. Зубы видения сверкали, а от ресниц ложилась на щеки лиловая тень.

– Пятьдэсят сегодня, – сказало знамение голосом сирены, указывая на бидон с молоком.

– Что ты, Явдоха? – воскликнул жалобно Василиса, – побойся Бога. Позавчера сорок, вчера сорок пять, сегодня пятьдесят. Ведь этак невозможно.

– Що ж я зроблю? Усе дорого, – ответила сирена, – кажут на базаре, будэ и сто.

Ее зубы вновь сверкнули. На мгновение Василиса забыл и про пятьдесят, и про сто, про все забыл, и сладкий и дерзкий холод прошел у него в животе. Сладкий холод, который проходил каждый раз по животу Василисы, как только появлялось перед ним прекрасное видение в солнечном луче. (Василиса вставал раньше своей супруги.) Про все забыл, почему-то представил себе поляну в лесу, хвойный дух. Эх, эх...

– Смотри, Явдоха, – сказал Василиса, облизывая губы и кося глазами (не вышла бы жена), – уж очень вы распустились с этой революцией. Смотри, выучат вас немцы. – «Хлопнуть или не хлопнуть ее по плечу?» – подумал мучительно Василиса и не решился.

Широкая лента алебастрового молока упала и запенилась в кувшине.

– Чи воны нас выучуть, чи мы их разучимо, – вдруг ответило знамение, сверкнуло, сверкнуло, прогремело бидоном, качнуло коромыслом и, как луч в луче, стало подниматься из подземелья в солнечный дворик. «Н-ноги-то – а-ах!!» – застонало в голове у Василисы.

В это мгновение донесся голос супруги, и, повернувшись, Василиса столкнулся с ней.

– С кем это ты? – быстро швырнув глазом вверх, спросила супруга.

– С Явдохой, – равнодушно ответил Василиса, –

представь себе, молоко сегодня пятьдесят.

– К-как? – воскликнула Ванда Михайловна. – Это безобразие! Какая наглость! Мужики совершенно взбесились... Явдоха! Явдоха! – закричала она, высовываясь в окошко. – Явдоха!

Но видение исчезло и не возвращалось.

Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги, и ему до того вдруг сделалось тошно жить на свете, что он чуть-чуть не плюнул Ванде на подол. Удержавшись и вздохнув, он ушел в прохладную полутьму комнат, сам не понимая, что именно гнетет его. Не то Ванда – ему вдруг представилась она, и желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли, – не то какая-то неловкость в словах сладостного видения.

– Разучимо? А? Как вам это нравится? – сам себе бормотал Василиса. – Ох, уж эти мне базары! Нет, что вы на это скажете? Уж если они немцев перестанут бояться... последнее дело. Разучимо. А? А зубы-то у нее – роскошь...

Явдоха вдруг во тьме почему-то представилась ему голой, как ведьма на горе.

– Какая дерзость... Разучимо? А грудь...

И это было так умопомрачительно, что Василисе сделалось нехорошо, и он отправился умываться холодной водой.

Так-то вот, незаметно, как всегда, подкралась осень. За наливным золотистым августом пришел светлый и пыльный сентябрь, и в сентябре произошло уже не знамение, а само событие, и было оно на первый взгляд совершенно незначительно.

Именно, в городскую тюрьму однажды светлым сентябрьским вечером пришла подписанная соответствующими гетманскими властями бумага, коей предписывалось выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. Вот и все.

Вот и все. И из-за этой бумажки, – несомненно, из-за нее! – произошли такие беды и несчастья, такие походы, кровопролития, пожары и погромы, отчаяние и ужас... Ай, ай, ай!

Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование – Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 – февраля 1919 годов называли на французский несколько манер – Симон. Прошрое Симона было погружено в глубочайший мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер.

– Нет, счетовод.

– Нет, студент.

Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изящный магазин табачных изделий. На продолговатой вывеске был очень хорошо изображен

кофейный турок в феске, курящий кальян. Ноги у турка были в мягких желтых туфлях с задранными носами.

Так вот нашлись и такие, что клятвенно уверяли, будто видели совсем недавно, как Симон продавал в этом самом магазине, изящно стоя за прилавком, табачные изделия фабрики Соломона Когена. Но тут же находились и такие, которые говорили:

– Ничего подобного. Он был уполномоченным союзом городов.

– Не союза городов, а земского союза, – отвечали третьи, – типичный земгусар.

Четвертые (приезжие), закрывая глаза, чтобы лучше припомнить, бормотали:

– Позвольте... позвольте-ка...

И рассказывали, что будто бы десять лет назад... виноват, одиннадцать... они видели, как вечером он шел по Малой Бронной улице в Москве, причем под мышкой у него была гитара, завернутая в черный коленкор. И даже добавляли, что шел он на вечеринку к землякам, вот поэтому и гитара в коленкоре. Что будто бы шел он на хорошую интересную вечеринку с веселыми румяными землячками-курсистками, со сливянкой, привезенной прямо с благодатной Украины, с песнями, с чудным Грицем...

...Ой, не хо-д-и...

Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места...

– Вы говорите, бритый?

– Нет, кажется... позвольте... с бородкой.

– Позвольте... разве он московский?

– Да нет, студентом... он был...

– Ничего подобного. Иван Иванович его знает. Он был в Тараще народным учителем...

Фу ты, черт... А может, и не шел по Бронной. Москва город большой, на Бронной туманы, изморозь, тени... Какая-то гитара... турок под солнцем... кальян... гитара – дзинь-трень... неясно, туманно... ах, как туманно и страшно кругом.

...Идут и пою-ют...

Идут, идут мимо окровавленные тени, бегут видения, растрепанные девичьи косы, тюрьма, стрельба, и мороз, и полночный крест Владимира.

Идут и поют

Юнкера гвардейской школы...

Трубы, литавры,

Тарелки гремят.

Гремят торбаны, свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть людей, едет, едет черношлычная конница на горячих лошадях.

Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина. Спит Турбин, бледный, с намокшей в тепле прядью волос, и розовая лампа горит. Спит весь дом. Из книжной храп Карася, из Николкиной свист Шервинского... Муть... ночь... Валяется на полу у постели Алексея недочитанный Достоевский, и глумятся «Бесы» отчаянными словами... Тихо спит Елена.

– Ну, так вот что я вам скажу: не было. Не было! Не было этого Симона вовсе на свете. Ни турка, ни гитары под кованым фонарем на Бронной, ни земского союза... ни черта. Просто миф, порожденный на Украине в тумане страшного 18-го года.

...И было другое – лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутоленной злобой. О, много, много скопилось в этих сердцах. И удары лейтенантских стеков по лицам, и шрапнельный беглый огонь по непокорным деревьям, спины, исполосованные шомполами гетманских сердюков, и расписки на клочках бумаги почерком майоров и лейтенантов германской армии:

«Выдать русской свинье за купленную у нее свинью 25 марок».



Добродушный, презрительный хохоток над теми, кто приезжал с такой распискою в штаб германцев в Город.

И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, – дрожь ненависти при слове «офицерня».

Вот что было-с.

Да еще слухи о земельной реформе, которую намеревался произвести пан гетман, – увы, увы! Только в ноябре 18-го года, когда под Городом загудели пушки, догадались умные люди, а в том числе и Василиса, что ненавидели мужики этого самого пана гетмана, как бешеную собаку, – и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа:

– Вся земля мужикам.

– Каждому по 100 десятин.

– Чтобы никаких помещиков и духу не было.

– И чтобы на каждые эти 100 десятин верная гербовая бумага с печатью – во владение вечное, наследственное, от деда к отцу, от отца к сыну, к внуку и так далее.

– Чтобы никакая шпана из Города не приезжала требовать хлеб. Хлеб мужицкий, никому его не дадим, что сами не съедим, закопаем в землю.

– Чтобы из Города привозили керосин.

– Ну-с, такой реформы обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт ее не произведет.

Были тоскливые слухи, что справиться с гетманской и немецкой напастью могут только большевики, но у большевиков своя напасть:

– Жиды и комиссары.

– Вот головушка горькая у украинских мужиков! Никоткуда нет спасения!!

Были десятки тысяч людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять...

– А выучили сами же офицеры по приказанию начальства!

Сотни тысяч винтовок, закопанных в землю, упрятанных в клунях и коморах и не сданных, несмотря на скорые на руку военно-полевые немецкие суды, порки шомполами и стрельбу шрапнелями, миллионы патронов в той же земле и трехдюймовые орудия в каждой пятой деревне и пулеметы в каждой второй, во всяком городишке склады снарядов, цейхгаузы с шинелями и папахами.

И в этих же городишках народные учителя, фельдшера, однодворцы, украинские семинаристы, волею судеб ставшие прапорщиками, здоровенные сыны пчеловодов, штабс-капитаны с украинскими фамилиями... все говорят на украинском языке, все лю-

бят Украину волшебную, воображаемую, без панов, без офицеров-москалей, – и тысячи бывших пленных украинцев, вернувшихся из Галиции.

Это в довесочек к десяткам тысяч мужичков?... О-го-го!

Вот это было. А узник... гитара...

Слухи грозные, ужасные...

Наступают на нас...

Дзень... трень... эх, эх, Николка.

Турок, земгусар, Симон. Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово, в котором слились и неутоленная ярость, и жажда мужицкой мести, и чаяния тех верных сынов своей подсолнечной, жаркой Украины... ненавидящих Москву, какая бы она ни была – большевистская ли, царская или еще какая.

И напрасно, напрасно мудрый Василиса, хватаясь за голову, восклицал в знаменитом ноябре: «Quos vult perdere, dementat»<sup>12</sup> – и проклинал гетмана за то, что тот выпустил Петлюру из загаженной городской тюрьмы.

– Вздор-с все это. Не он – другой. Не другой – третий.

Итак, кончились всякие знамения и наступили со-

---

<sup>12</sup> Кого (Бог) захочет погубить, того он лишает разума (лат.).

бытия... Второе было не пустяшное, как какой-то выпуск мифического человека из тюрьмы, – о нет! – оно было так величественно, что о нем человечество, наверное, будет говорить еще сто лет... Галльские петухи в красных штанах, на далеком европейском Западе, заклевали толстых кованых немцев до полусмерти. Это было ужасное зрелище: петухи во фригийских колпаках, с картавым клеточком налетали на бронированных тевтонов и рвали из них клочья мяса вместе с броней. Немцы дрались отчаянно, вгоняли широкие штыки в оперенные груди, грызли зубами, но не выдержали, – и немцы! немцы! попросили пощады.

Следующее событие было тесно связано с этим и вытекло из него, как следствие из причины. Весь мир, ошеломленный и потрясенный, узнал, что тот человек, имя которого и штопорные усы, как шестидюймовые гвозди, были известны всему миру и который был-то уж наверняка сплошь металлический, без малейших признаков дерева, он был повержен. Повержен в прах – он перестал быть императором. Затем темный ужас прошел ветром по всем головам в Городе: видели, сами видели, как линяли немецкие лейтенанты и как ворс их серо-небесных мундиров превращался в подозрительную вытертую рогожку. И это происходило тут же, на глазах, в течение часов, в течение немногих часов линяли глаза, и в лейтенант-

ских моноклевых окнах потухал живой свет, и из широких стеклянных дисков начинала глядеть дырявая реденькая нищета.

Вот тогда ток пронизал мозги наиболее умных из тех, что с желтыми твердыми чемоданами и с сдобными женщинами проскочили через колючий большевистский лагерь в Город. Они поняли, что судьба их связала с побежденными, и сердца их исполнились ужасом.

– Немцы побеждены, – сказали гады.

– Мы побеждены, – сказали умные гады.

То же самое поняли и горожане.

О, только тот, кто сам был побежден, знает, как выглядит это слово! Оно похоже на вечер в доме, в котором испортилось электрическое освещение. Оно похоже на комнату, в которой по обоям ползет зеленая плесень, полная болезненной жизни. Оно похоже на рахитиков – демонов ребят, на протухшее постное масло, на матерную ругань женскими голосами в темноте. Словом, оно похоже на смерть.

Кончено. Немцы оставляют Украину. Значит, значит – одним бежать, а другим встречать новых, удивительных, незваных гостей в Городе. И, стало быть, кому-то придется умирать. Те, кто бегут, те умирать не будут, кто же будет умирать?

– Умигать – не в помигушки иг'ать, – вдруг карта-

вя, сказал неизвестно откуда появившийся перед спящим Алексеем Турбиным полковник Най-Турс.

Он был в странной форме: на голове светозарный шлем, а тело в кольчуге, и опирался он на меч, длинный, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов. Райское сияние ходило за Наем облаком.

– Вы в раю, полковник? – спросил Турбин, чувствуя сладостный трепет, которого никогда не испытывает человек наяву.

– В гаю, – ответил Най-Турс голосом чистым и совершенно прозрачным, как ручей в городских лесах.

– Как странно, как странно, – заговорил Турбин, – я думал, что рай это так... мечтание человеческое. И какая странная форма. Вы, позвольте узнать, полковник, остаетесь и в раю офицером?

– Они в бригаде крестоносцев теперича, господин доктор, – ответил вахмистр Жилин, заведомо срезанный огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916-м году на Виленском направлении.

Как огромный витязь возвышался вахмистр, и кольчуга его распространяла свет. Грубые его черты, прекрасно памятные доктору Турбину, собственноручно перевязавшему смертельную рану Жилина, ныне были неузнаваемы, а глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса – чисты, бездонны, освещены

изнутри.

Больше всего на свете любил сумрачной душой Алексей Турбин женские глаза. Ах, слепил Господь Бог игрушку – женские глаза!.. Но куда ж им до глаз вахмистра!

– Как же вы? – спрашивал с любопытством и безотчетной радостью доктор Турбин, – как же это так, в рай с сапогами, со шпорами? Ведь у вас лошади, в конце концов, обоз, пики?

– Верите слову, господин доктор, – загудел виолончельным басом Жилин-вахмистр, глядя прямо в глаза взором голубым, от которого теплело в сердце, – прямо-таки всем эскадроном, в конном строю и подошли. Гармоника опять же. Оно верно, неудобно... Там, сами изволите знать, чистота, полы церковные.

– Ну? – поражался Турбин.

– Тут, стало быть, апостол Петр. Штатский старичок, а важный, обходительный. Я, конечно, докладую: так и так, 2-й эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно, где прикажете стать? Докладывать-то докладываю, а сам, – вахмистр скромно кашлянул в кулак, – думаю, а ну, думаю, как скажут-то они, апостол Петр, а подите вы к чертовой матери... Потому, сами изволите знать, ведь это куда ж, с конями, и... (вахмистр смущенно почесал затылок) бабы, говоря по секрету, кой-какие пристали по дороге. Говорю это

я апостолу, а сам мигаю взводу – мол, баб-то турните временно, а там видно будет. Пушай пока, до выяснения обстоятельств, за облаками посидят. А апостол Петр, хоть человек вольный, но, знаете ли, положительный. Глазами – зырк, и вижу я, что баб-то он и увидел на повозках. Известно, платки на них ясные, за версту видно. Клюква, думаю. Полная засыпь всему эскадрону...

«Эге, говорит, вы что ж, с бабами?» – и головой покачал.

«Так точно, говорю, но, говорю, не извольте беспокоиться, мы их сейчас по шеям попросим, господин апостол».

«Ну нет, говорит, вы уж тут это ваше рукоприкладство оставьте!»

А? Что прикажете делать? Добродушный старикан. Да ведь сами понимаете, господин доктор, эскадрону в походе без баб невозможно.

И вахмистр хитро подмигнул.

– Это верно, – вынужден был согласиться Алексей Васильевич, потупляя глаза. Чьи-то глаза, черные, черные, и родинки на правой щеке, матовой, смутно сверкнули в сонной тьме. Он смущенно крякнул, а вахмистр продолжал:

– Нуте-с, сейчас это он и говорит – доложим. Отправился, вернулся и сообщает: ладно, устроим. И та-



кая у нас радость сделалась, невозможно выразить. Только вышла тут маленькая заминочка. Обождать, говорит апостол Петр, потребуется. Одначе ждали мы не более минуты. Гляжу, подъезжает, – вахмистр указал на молчащего и горделивого Най-Турса, уходящего бесследно из сна в неизвестную тьму, – господин эскадронный командир рысью на Тушинском Воре. А за ним немного погодя неизвестный юнкерок в пешем строю, – тут вахмистр покосился на Турбина и потупился на мгновение, как будто хотел что-то скрыть от доктора, но не печальное, а, наоборот, радостный, славный секрет, потом оправился и продолжал: – Поглядел Петр на них из-под ручки и говорит: «Ну, теперича, грит, все!» – и сейчас дверь настезь, и пожалте, говорит, справа по три.

...Дунька, Дунька, Дунька я!  
Дуня, ягода моя, —

зашумел вдруг, как во сне, хор железных голосов и заиграла итальянская гармоника.

– Под ноги! – закричали на разные голоса взводные.

Й-эх, Дуня, Дуня, Дунь, Дуня!  
Полюби, Дуня, меня, —

и замер хор вдали.

– С бабами? Так и вперлись? – ахнул Турбин.

Вахмистр рассмеялся возбужденно и радостно взмахнул руками.

– Господи боже мой, господин доктор. Места-то, места-то там ведь видимо-невидимо. Чистота... По первому обозрению говоря, пять корпусов еще можно поставить и с запасными эскадронами, да что пять – десять! Рядом с нами хоромы, батюшки, потолков не видно! Я и говорю: «А разрешите, говорю, спросить, это для кого же такое?» Потому оригинально: звезды красные, облака красные в цвет наших чакчир отливают... «А это, – говорит апостол Петр, – для большевиков, с Перекопу которые».

– Какого Перекопу? – тщечно напрягая свой бедный земной ум, спросил Турбин.

– А это, ваше высокоблагородие, у них-то ведь заранее все известно. В 20-м году большевиков-то, когда брали Перекоп, видимо-невидимо положили. Так, стало быть, помещение к приему им приготовили.

– Большевиков? – смутилась душа Турбина. – Путаєте вы что-то, Жилин, не может этого быть. Не пустят их туда.

– Господин доктор, сам так думал. Сам. Смутился и спрашиваю Господа Бога...

– Бога? Ой, Жилин!

– Не сомневайтесь, господин доктор, верно говорю,

врать мне нечего, сам разговаривал неоднократно.

– Какой же он такой?

Глаза Жилина испустили лучи, и гордо утончились черты лица.

– Убейте – объяснить не могу. Лик осиянный, а какой – не поймешь... Бывает, взглянешь – и похолодеешь. Чудится, что он на тебя самого похож. Страх такой проймет, думаешь, что же это такое? А потом ничего, отойдешь. Разнообразное лицо. Ну, уж а как говорит, такая радость, такая радость... И сейчас пройдет, пройдет свет голубой... Гм... да нет, не голубой (вахмистр подумал), не могу знать. Верст на тысячу и сквозь тебя. Ну вот-с я и докладываю, как же так, говорю, Господи, попы-то твои говорят, что большевики в ад попадут? Ведь это, говорю, что ж такое? Они в тебя не верят, а ты им, вишь, какие казармы взбодрил. «Ну, не верят?» – спрашивает.

«Истинный Бог», – говорю, а сам, знаете ли, боюсь, помилуйте, Богу этакие слова! Только гляжу, а он улыбается. Чего ж это я, думаю, дурак, ему докладываю, когда он лучше меня знает. Однако любопытно, что он такое скажет. А он и говорит:

«Ну не верят, говорит, что ж поделаешь. Пущай. Ведь мне-то от этого ни жарко, ни холодно. Да и тебе, говорит, тоже. Да и им, говорит, то же самое. Потому мне от вашей веры ни прибыли, ни убытку. Один

верит, другой не верит, а поступки у вас у всех одинаковые: сейчас друг друга за глотку, а что касается казарм, Жилин, то тут как надо понимать, все вы у меня, Жилин, одинаковые – в поле брани убиенные. Это, Жилин, понимать надо, и не всякий это поймет. Да ты, в общем, Жилин, говорит, этими вопросами себя не расстраивай. Живи себе, гуляй».

Кругло объяснил, господин доктор? а? «Попы-то», – я говорю... Тут он и рукой махнул: «Ты мне, говорит, Жилин, про попов лучше и не напоминай. Ума не приложу, что мне с ними делать. То есть таких дураков, как ваши попы, нету других на свете. По секрету скажу тебе, Жилин, срам, а не попы».

«Да, говорю, увольь ты их, Господи, вчистую! Чем дармоедов-то тебе кормить?»

«Жалко, Жилин, вот в чем штука-то», – говорит.

Сияние вокруг Жилина стало голубым, и необъяснимая радость наполнила сердце спящего. Протягивая руки к сверкающему вахмистру, он застонал во сне:

– Жилин, Жилин, нельзя ли мне как-нибудь устроиться врачом у вас в бригаде вашей?

Жилин приветно махнул рукой и ласково и утвердительно закачал головой. Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. Тот проснулся, и перед ним, вместо Жилина, был уже понемногу блед-

неющий квадрат рассветного окна. Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах. Он долго вздыхал в утренних сумерках, но вскоре опять заснул, и сон потек теперь ровный, без сновидений...

Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но явственно видный предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалывшейся голове и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его тем-

ных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой. ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола – то невозможны красные банты...

Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу! Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.

Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся.

И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он ни более ни менее, как из австрийской армии...

– Да что вы?

– Уверяю вас.

Затем появился писатель Винниченко, прославив-

ший себя двумя вещами – своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале восемнадцатого года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга, не медля ни секунды, назвали изменником.

– И поделом...

– Ну, уж это я не знаю. А затем-с и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.

Еще в сентябре никто в Городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались, и начали уходить, освещенные сотнями огней, поезда с Города-I, Пассажирского в новый, пока еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы. Уехали бриллианты, бегаящие глаза, проборы и деньги. Рвались и на юг, на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы! – все уже знали довольно определенно. Слово:

– Петлюра!

– Петлюра!!

– Петлюра! -

запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и боже-

ственный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему:

– Пэтурра.

Отдельные немецкие солдаты, приобретшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли – не безобразничать! Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах.

Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете?! Троцкого арестовали рабочие в Москве!! Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное таинственное имя – консул Энно. Одесса. Одесса. Генерал Деникин. Опять Вильгельм. Немцы уйдут, французы придут.

– Большевики придут, батенька!

– Типун вам на язык, батюшка!



У немцев есть такой аппарат со стрелкой – поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Пэтурра.

\* \* \*

Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине, но решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий (хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью – Симон Петлюра), желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать Город.

## 6

Магазин «Парижский Шик» мадам Анжу помещался в самом центре Города, на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, заве-

шенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа с золотыми словами «Шик паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху:

«Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан».

Под пушками слова:

«Запись добровольцев в Мортирный Дивизион, имени командующего, принимается».

У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек – бррынь-брррынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу.

Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка спозаранку свернул ка-

кой-то таинственный красненький узелок, побряхтел – эх, эх... и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего.

Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и, с воплем ужаса и восторга вскрикивая:

– Эх! Так его! Здорово! – залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину:

– Алеша, эгм... будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор.

– В кабинете возьми, в правом ящике стола.

Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искося глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал:

– Здравствуйте, Анюточка...

– Елене Васильевне скажу, – тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож.

– Глупень...

Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым.

– Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так. Красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится.

– Ну что, ей-богу, поздороваться нельзя с человеком.

Мышлаевский побурел от незаслуженной обиды, выпятил грудь и зашлепал шпорами из гостиной. В столовой он подошел к важной рыжеватой Елене, и при этом глаза его беспокойно бегали.

– Здравствуй, Лена, ясная, с добрым утром тебя. Эгм... (Из горла Мышлаевского выходил вместо металлического тенора хриплый низкий баритон.) Лена, ясная, – воскликнул он прочувственно, – не сердись. Люблю тебя, и ты меня люби. А что я нахамил вчера, не обращай внимания. Лена, неужели ты думаешь, что я какой-нибудь негодяй?

С этими словами он заключил Елену в объятия и расцеловал ее в обе щеки. В гостиной с мягким стуком упала петушья корона. С Анютой всегда происходили странные вещи, лишь только поручик Мышлаевский появлялся в турбинской квартире. Хозяйственные предметы начинали сыпаться из рук Анюты: кас-

кадом падали ножи, если это было в кухне, сыпались блюда с буфетной стойки; Аннушка становилась рассеянной, бегала без нужды в переднюю и там возилась с калошами, вытирая их тряпкой до тех пор, пока не чвакали короткие, спущенные до каблуков шпоры и не появлялся скошенный подбородок, квадратные плечи и синие бриджи. Тогда Аннушка закрывала глаза и боком выбиралась из тесного, коварного ущелья. И сейчас в гостиной, уронив метелку, она стояла в задумчивости и смотрела куда-то вдаль, через узорные занавеси, в серое, облачное небо.

– Витька, Витька, – говорила Елена, качая головой, похожей на вычищенную театральную корону, – посмотреть на тебя, здоровый ты парень, с чего ж ты так ослабел вчера? Садись, пей чаек, может, тебе полегчает.

– А ты, Леночка, ей-богу, замечательно выглядишь сегодня. И капот тебе идет, клянусь честью, – заискивающе говорил Мышлаевский, бросая легкие, быстрые взоры в зеркальные недра буфета, – Карась, глянь, какой капот. Совершенно зеленый. Нет, до чего хороша.

– Очень красива Елена Васильевна, – серьезно и искренне ответил Карась.

– Это электрик, – пояснила Елена, – да ты, Витенька, говори сразу – в чем дело?

– Видишь ли, Лена, ясная, после вчерашней истории мигрень у меня может сделаться, а с мигренью воевать невозможно...

– Ладно, в буфете.

– Вот, вот... Одну рюмку... Лучше всяких пирамидонов.

Страдальчески сморщившись, Мышлаевский один за другим проглотил два стаканчика водки и закусил их обмякшим вчерашним огурцом. После этого он объявил, что будто бы только что родился, и изъявил желание пить чай с лимоном.

– Ты, Леночка, – хрипловато говорил Турбин, – не волнуйся и поджидай меня, я съезжу, запишусь и вернусь домой. Касательно военных действий не беспокойся, будем мы сидеть в Городе и отражать этого миленького украинского президента – сволочь такую.

– Не послали бы вас куда-нибудь?

Карась успокоительно махнул рукой.

– Не беспокойтесь, Елена Васильевна. Во-первых, должен вам сказать, что раньше двух недель дивизион ни в коем случае и готов не будет, лошадей еще нет и снарядов. А когда и будет готов, то, без всяких сомнений, останемся мы в Городе. Вся армия, которая сейчас формируется, несомненно, будет гарнизоном Города. Разве в дальнейшем, в случае похода на Москву...

– Ну, это когда еще там... Эгм...

– Это с Деникиным нужно будет соединиться раньше...

– Да вы напрасно, господа, меня утешаете, я ничего ровно не боюсь, напротив, одобряю.

Елена говорила действительно бодро, и в глазах ее уже была деловая будничная забота. «Довлеет дневи злоба его».

– Анюта, – кричала она, – миленькая, там на веранде белье Виктора Викторовича. Возьми его, детка, щеткой хорошенько, а потом сейчас же стирай.

Успокоительнее всего на Елену действовал укладистый маленький голубоглазый Карась. Уверенный Карась в рыженьком френче был хладнокровен, курил и щурился.

В передней прощались.

– Ну, да хранит вас Господь, – сказала Елена строго и перекрестила Турбина. Так же перекрестила она и Карася и Мышлаевского. Мышлаевский обнял ее, а Карась, туго перепоясанный по широкой талии шинели, покраснев, нежно поцеловал ее обе руки.

\* \* \*

– Господин полковник, – мягко щелкнув шпорами и приложив руку к козырьку, сказал Карась, – разрешите

доложить?

Господин полковник сидел в низеньком зеленоватом будуарном креслице на возвышении вроде эстрады в правой части магазина за маленьким письменным столиком. Груды голубоватых картонок с надписью «Мадам Анжу. Дамские шляпы» возвышались за его спиной, несколько темня свет из пыльного окна, завешенного узористым тюлем. Господин полковник держал в руке перо и был на самом деле не полковником, а подполковником в широких золотых погонах, с двумя просветами и тремя звездами, и со скрещенными золотыми пушечками. Господин полковник был немногим старше самого Турбина – было ему лет тридцать, самое большое тридцать два. Его лицо, выкормленное и гладко выбритое, украшалось черными, подстриженными по-американски усиками. В высшей степени живые и смышленные глаза смотрели явно устало, но внимательно.

Вокруг полковника царил хаос мироздания. В двух шагах от него в маленькой черной печечке трещал огонь, с узловатых черных труб, тянувшихся за перегородку и пропадавших там в глубине магазина, изредка капала черная жижа. Пол, как на эстраде, так и в остальной части магазина переходивший в какие-то углубления, был усеян обрывками бумаги и красными и зелеными лоскутками материи. На высоте, над



самой головой полковника трещала, как беспокойная птица, пишущая машинка, и когда Турбин поднял голову, увидел, что пела она за перилами, висящими под самым потолком магазина. За этими перилами торчали чьи-то ноги и зад в синих рейтузах, а головы не было, потому что ее срезал потолок. Вторая машинка стрекотала в левой части магазина, в неизвестной яме, из которой виднелись яркие погоны вольноопределяющегося и белая голова, но не было ни рук, ни ног.

Много лиц мелькало вокруг полковника, мелькали золотые пушечные погоны, громоздился желтый ящик с телефонными трубками и проволоками, а рядом с картонками груды лежали, похожие на банки с консервами, ручные бомбы с деревянными рукоятками и несколько кругов пулеметных лент. Ножная швейная машина стояла под левым локтем г-на полковника, а у правой ноги высывал свое рыльце пулемет. В глубине и полутьме, за занавесом на блестящем пруте, чей-то голос надрывался, очевидно, в телефон: «Да... да... говорю. Говорю: да, да. Да, я говорю». Бр-рынь-ынь... – проделал звоночек... Пиу, – спела мягкая птичка где-то в яме, и оттуда молодой басок забормотал:

– Дивизион... слушаю... да... да.

– Я слушаю вас, – сказал полковник Карасю.

– Разрешите представить вам, господин полковник, поручика Виктора Мышлаевского и доктора Турбина. Поручик Мышлаевский находится сейчас во второй пехотной дружине, в качестве рядового, и желал бы перевестись во вверенный вам дивизион по специальности. Доктор Турбин просит о назначении его в качестве врача дивизиона.

Проговорив все это, Карась отнял руку от козырька, а Мышлаевский козырнул. «Черт... надо будет форму скорее одеть», – досадливо подумал Турбин, чувствуя себя неприятно без шапки, в качестве какого-то оболтуса в черном пальто с барашковым воротником. Глаза полковника бегло скользнули по доктору и переехали на шинель и лицо Мышлаевского.

– Так, – сказал он, – это даже хорошо. Вы где, поручик, служили?

– В тяжелом N дивизионе, господин полковник, – ответил Мышлаевский, указывая таким образом свое положение во время германской войны.

– В тяжелом? Это совсем хорошо. Черт их знает: артиллерийских офицеров зачихнули чего-то в пехоту. Путаница.

– Никак нет, господин полковник, – ответил Мышлаевский, прочищая легоньким кашлем непокорный голос, – это я сам добровольно попросился ввиду того, что спешно требовалось выступить под Пост-Волын-

ский. Но теперь, когда дружина укомплектована в достаточной мере...

– В высшей степени одобряю... хорошо, – сказал полковник и, действительно, в высшей степени одобрительно посмотрел в глаза Мышлаевскому. – Рад познакомиться... Итак... ах, да, доктор? И вы желаете к нам? Гм...

Турбин молча склонил голову, чтобы не отвечать «так точно» в своем барашковом воротнике.

– Гм... – полковник глянул в окно, – знаете, это мысль, конечно, хорошая. Тем более, что на днях возможно... Тэк-с... – он вдруг приостановился, чуть прищурил глазки и заговорил, понизив голос: – Только... как бы это выразиться... Тут, видите ли, доктор, один вопрос... Социальные теории и... гм... вы социалист? Не правда ли? Как все интеллигентные люди? – Глазки полковника скользнули в сторону, а вся его фигура, губы и сладкий голос выразили живейшее желание, чтобы доктор Турбин оказался именно социалистом, а не кем-нибудь иным. – Дивизион у нас так и называется – студенческий, – полковник задушевно улыбнулся, не показывая глаз. – Конечно, несколько сентиментально, но я сам, знаете ли, университетский.

Турбин крайне разочаровался и удивился. «Черт... Как же Карась говорил?...» Карася он почувствовал в этот момент где-то у правого своего плеча и, не гля-

дя, понял, что тот напряженно желает что-то дать ему понять, но что именно – узнать нельзя.

– Я, – вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, – к сожалению, не социалист, а... монархист. И даже, должен сказать, не могу выносить самого слова «социалист». А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского.

Какой-то звук вылетел изо рта у Карася сзади, за правым плечом Турбина. «Обидно расставаться с Карасем и Витей, – подумал Турбин, – но шут его возьми, этот социальный дивизион».

Глазки полковника мгновенно вынырнули на лице, и в них мелькнула какая-то искра и блеск. Рукой он взмахнул, как будто желая вежливенько закрыть рот Турбину, и заговорил:

– Это печально. Гм... очень печально... Завоевания революции и прочее... У меня приказ сверху: избегать укомплектования монархическими элементами, ввиду того, что население... необходима, видите ли, сдержанность. Кроме того, гетман, с которым мы в непосредственной и теснейшей связи, как вам известно... печально... печально...

Голос полковника при этом не только не выражал никакой печали, но, наоборот, звучал очень радостно, и глазки находились в совершеннейшем противоречии с тем, что он говорил.

«Ага-а, – многозначительно подумал Турбин, – дурак я... а полковник этот не глуп. Вероятно, карьерист, судя по физиономии, но это ничего».

– Не знаю уж, как и быть... ведь в настоящий момент, – полковник жирно подчеркнул слово «настоящий», – так, в настоящий момент, я говорю, непосредственной нашей задачей является защита Города и гетмана от банд Петлюры, и, возможно, большевиков. А там, там видно будет... Позвольте узнать, где вы служили, доктор, до сего времени?

– В тысяча девятьсот пятнадцатом году, по окончании университета экстерном, в венерологической клинике, затем младшим врачом в Белградском гусарском полку, а затем ординатором тяжелого трехсводного госпиталя. В настоящее время демобилизован и занимаюсь частной практикой.

– Юнкер! – воскликнул полковник, – попросите ко мне старшего офицера.

Чья-то голова провалилась в яме, а затем перед полковником оказался молодой офицер, черный, живой и настойчивый. Он был в круглой барашковой шапке, с малиновым верхом, перекрещенным галунном, в серой, длинной, а la Мышлаевский, шинели, с туго перетянутым поясом, с револьвером. Его помятые золотые погоны показывали, что он штабс-капитан.

- Капитан Студзинский, – обратился к нему полковник, – будьте добры отправить в штаб командующего отношение о срочном переводе ко мне поручика... э...
- Мышлаевский, – сказал, козырнув, Мышлаевский.
- ...Мышлаевского, по специальности, из второй дружины. И туда же отношение, что лекарь... э?
- Турбин...
- Турбин мне крайне необходим в качестве врача дивизиона. Просим о срочном его назначении.
- Слушаю, господин полковник, – с неправильными ударениями ответил офицер и козырнул. «Поляк», – подумал Турбин.
- Вы, поручик, можете не возвращаться в дружину (это Мышлаевскому). Поручик примет четвертый взвод (офицеру).
- Слушаю, господин полковник.
- Слушаю, господин полковник.
- А вы, доктор, с этого момента на службе. Предлагаю вам явиться сегодня через час на плац Александровской гимназии.
- Слушаю, господин полковник.
- Доктору немедленно выдать обмундирование.
- Слушаю.
- Слушаю, слушаю! – кричал басок в яме.
- Слушаете? Нет. Говорю: нет... Нет, говорю, – кричало за перегородкой.

Бры-ынь... Пи... Пи-у, – пела птичка в яме.  
– Слушаете?...

\* \* \*

– «Свободные вести»! «Свободные вести»! Ежедневная новая газета «Свободные вести»! – кричал газетчик-мальчишка, повязанный сверх шапки бабьим платком. – Разложение Петлюры. Прибытие черных войск в Одессу. «Свободные вести»!

Турбин успел за час побывать дома. Серебряные погоны вышли из тьмы ящика в письменном столе, помещавшемся в маленьком кабинете Турбина, примыкавшем к гостиной. Там белые занавеси на окне застекленной двери, выходящей на балкон, письменный стол с книгами и чернильным прибором, полки с пузырьками лекарств и приборами, кушетка, застланная чистой простыней. Бедно и тесновато, но уютно.

– Леночка, если сегодня я почему-либо запоздаю и если кто-нибудь придет, скажи – приема нет. Постоянных больных нет... Поскорее, детка.

Елена торопливо, оттянув ворот гимнастерки, пришивала погоны... Вторую пару, защитных зеленых с черным просветом, она пришила на шинель.

Через несколько минут Турбин выбежал через парадный ход, глянул на белую дощечку:

Доктор А. В. Турбин.  
Венерические болезни и сифилис.  
606-914.  
Прием с 4-х до 6-ти.

Приклеил поправку «С 5-ти до 7-ми» и побежал  
вверх, по Алексеевскому спуску.

– «Свободные вести»!

Турбин задержался, купил у газетчика и на ходу раз-  
вернул газету:

«Беспартийная демократическая газета.  
Выходит ежедневно.  
13 декабря 1918 года.

Вопросы внешней торговли и, в частности,  
торговли с Германией, заставляют нас...»

– Позвольте, а где же?... Руки зябнут.

«По сообщению нашего корреспондента, в  
Одессе ведутся переговоры о высадке двух  
дивизий черных колониальных войск. Консул  
Энно не допускает мысли, чтобы Петлюра...»

– Ах, сукин сын, мальчишка!

«Перебежчики, явившиеся вчера в штаб  
нашего командования на Посту-Волынском,  
сообщили о все растущем разложении в рядах  
банд Петлюры. Третьего дня конный полк в  
районе Коростеня открыл огонь по пехотному  
полку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры



наблюдается сильное тяготение к миру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того же перебежчика, полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел в неизвестном направлении со своим полком и четырьмя орудиями. Болботун склоняется к гетманской ориентации.

Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная им в деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее, прячась в лесах.»

– Предположим... ах, мороз проклятый... Извините.

– Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома

надо читать...

– Извините...

«Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры...»

– Вот мерзавец! Ах ты ж, мерзавцы...

Кто честен и не волк,

Идет в добровольческий полк...

– Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?

– Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит...

Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету и швырнул ее на тротуар. При-

слушался.

Бу-у, – пели пушки. У-уух, – откуда-то, из утробы земли, звучало за городом.

– Что за черт?

Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочитал еще раз на первой странице внимательно:

«В районе Ирпеня столкновения наших разведчиков с отдельными группами бандитов Петлюры.

На Серебрянском направлении спокойно.

В Красном Трактире без перемен.

В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеял банду в полторы тысячи человек. В плен взято два человека.»

Гу... гу... гу... Бу... бу... бу... – ворчала серенькая зимняя даль где-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинально запихнул газету в карман. От бульвара, по Владимирской улице чернела и ползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто... Замелькали бабы на тротуарах. Конный, из Державной варты, ехал, словно предводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Роба у всадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахивая нагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе, в

передних рядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь. Мальчишки сбегались со всех сторон.

– «Вести»! – крикнул газетчик и устремился к толпе.

Поварята в белых колпаках с плоскими доньшками выскочили из преисподней ресторана «Метрополь». Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге.

Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся с Турбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку:

«Прапорщик Юцевич».

На следующем:

«Прапорщик Иванов».

На третьем:

«Прапорщик Орлов».

В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, в сбившейся на затылок шляпе, спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара в толпу.

– Что это такое? Ваня?! – залился ее голос. Кто-то, бледнея, побежал в сторону. Взвыла одна баба, за нею другая.

– Господи Иисусе Христе! – забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его в спину и дышал в шею.

– Господи... последние времена. Что ж это, режут

людей?... Да что ж это...

– Лучше я уж не знаю что, чем такое видеть.

– Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят?

– Ваня! – завывало в толпе.

– Офицеров, что порезали в Попелюхе, – торопливо, задыхаясь от желания первым рассказать, бубнил голос, – выступили в Попелюху, заночевали всем отрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. Ну, начисто... Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали. Форменно изуродовали...

– Вот оно что? Ах, ах, ах...

«Прапорщик Коровин»,

«Прапорщик Гердт», -

проплывали желтые гробы.

– До чего дожили... Подумайте.

– Междоусобные брани.

– Да как же?...

– Заснули, говорят...

– Так им и треба... – вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черный голосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица, шапки.словно клещами, ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями, голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.

– Что вы сказали? – шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк.

– Помилуйте, господин офицер, – трясясь в ужасе, ответил голос, – я ничего не говорю. Я молчу. Что вы? – голос прыгал.

Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил не того, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительной благонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, и круглые глазки ее закатывались от страха.

Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами по шапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Лево́й рукой он готовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку браунинга. Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосила баба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землю провалился. Проплыл последний гроб,

«Прапорщик Морской», -

пролетели какие-то сани.

– «Вести»! – вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт.

Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два раза ткнул им мальчишке в физионо-

мию, приговаривая со скрипом зубовным:

– Вот тебе вести. Вот тебе. Вот тебе вести. Сволочь!

На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты, поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивым плачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.

– Ште это... что вы... за что мне? – загнусил он, стараясь зареветь и шаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялось что-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову в плечи и, круто свернув, мимо газового фонаря, мимо белого бока круглого гигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесенными пленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац – сад Александровской гимназии.

– «Вести»! Ежедневная демократическая газета! – донеслось с улицы.

\* \* \*

Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому

плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. Восемь лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших – Карася и Мышлаевского.

И ровно восемь же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смыкает пристань. О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум, Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди – университет, значит, жизнь свободная, – понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава.

И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен

Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился и высаживается в течение двух тысяч лет...

Мало этого. За восемью годами гимназии, уже вне всяких бассейнов, трупы анатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, а затем три года метания в седле, чужие раны, унижения и страдания, – о, проклятый бассейн войны... И вот высадился все там же, на этом самом плацу, в том же саду. И бежал по плацу достаточно больной и издерганный, сжимал браунинг в кармане, бежал черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать ту самую жизнь – будущее, из-за которого мучился над бассейнами и теми проклятыми пешеходами, из которых один идет со станции «А», а другой навстречу ему со станции «Б».

Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый. Странно, в центре города, среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль, некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, что никто уже его теперь не охранял, ни звука, ни движения не было в окнах и под стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластом лежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег усти-



лал плац ровно, и только несколько разбегающихся дорожек следов показывали, что истоптали его только что.

И главное: не только никто не знал, но и никто не интересовался – куда же все делось? Кто теперь учится в этом корабле? А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные, тупорылые мортиры торчат под шеренгою каштанов у решетки, отделяющей внутренний палисадник у внутреннего парадного входа? Почему в гимназии цейхгауз? Чей? Кто? Зачем?

Никто этого не знал, как никто не знал, куда девалась мадам Анжу и почему бомбы в ее магазине легли рядом с пустыми картонками?...

\* \* \*

– Накати-и! – прокричал голос. Мортиры шевелились и ползали. Человек двести людей шевелились, перебегали, приседали и вскакивали около громадных кованых колес. Смутно мелькали желтые полушубки, серые шинели и папахи, фуражки военные и защитные и синие студенческие.

Когда Турбин пересек грандиозный плац, четыре мортиры стали в шеренгу, глядя на него пастью. Спешное учение возле мортир закончилось, и в две шеренги стал пестрый новобранный строй дивизиона.

– Господин кап-пи-тан, – пропел голос Мышлаевского, – взвод готов.

Студзинский появился перед шеренгами, попятился и крикнул:

– Левое плечо вперед, шагом марш!

Строй хрустнул, колыхнулся и, нестройно топчась, поплыл.

Замелькали мимо Турбина многие знакомые и типичные студенческие лица. В голове третьего взвода мелькнул Карась. Не зная еще, куда и зачем, Турбин захрустел рядом со взводом...

Карась вывернулся из строя и, озабоченный, идя задом, начал считать:

–левой.левой. Ать. Ать.

В черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом.

Внутри гимназии было еще мертвеннее и мрачнее, чем снаружи. Каменную тишину и зыбкий сумрак брошенного здания быстро разбудило эхо военного шага. Под сводами стали летать какие-то звуки, точно проснулись демоны. Шорох и писк слышался в тяжком шаге – это потревоженные крысы разбежались по темным закоулкам. Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где в узкие

прорези решетчатых окошек, сквозь мертвую паутину, скуповато притекал свет.

Адовый грохот молотков взломал молчание. Вскрывали деревянные окованные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и похожие на торты круги для льюисовских пулеметов. Вылезли черные и серые, похожие на злых комаров, пулеметы. Стучали гайки, рвали клещи, в углу со свистом что-то резала пила. Юнкера вынимали кипы слежавшихся холодных папах, шинели в железных складках, негнущиеся ремни, подсумки и фляги в сукне.

– Па-а-живей, – послышался голос Студзинского.

Человек шесть офицеров, в тусклых золотых погонах, завертелись, как плауны на воде. Что-то выпевал выздоровевший тенор Мышлаевского.

– Господин доктор! – прокричал Студзинский из тьмы, – будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции.

Перед Турбиным тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой – в сером, и папах налезала ему на глаза, так что он все время поправлял ее пальцами.

– Там ящики с медикаментами, – проговорил Турбин, – выньте из них сумки, которые через плечо, и мне докторскую с набором. Потрудитесь выдать каж-

дому из артиллеристов по два индивидуальных пакета, бегло объяснив, как их вскрыть в случае надобности.

Голова Мышлаевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая, лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого как фабрика застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки.

– Кто не умеет, остро-рожнее, юнкера-а, – пел Мышлаевский, – объясните студентам.

Через головы полезли ремни с подсумками и фляги. Произошло чудо. Разношерстные пестрые люди превращались в однородный, компактный слой, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков.

– Господ офицеров попрошу ко мне, – где-то прозвучал Студзинский.

В темноте коридора, под малиновый тихонький звук шпор, Студзинский заговорил негромко:

– Впечатления?

Шпоры потоптались. Мышлаевский, небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал:

– У меня во взводе пятнадцать человек не имеют

понятия о винтовке. Трудновато.

Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло лился последний жиденький светик, молвил:

– Настроение?

Опять заговорил Мышлаевский:

– Кхм... кхм... Гробы напортили. Студентики смутились. На них дурно влияет. Через решетку видели.

Студзинский метнул на него черные упорные глаза.

– Потрудитесь поднять настроение.

И шпоры зазвякали, расходясь.

– Юнкер Павловский! – загремел в цейхгаузе Мышлаевский, как Радамес в «Аиде».

– Павловского... го!.. го!.. го!! – ответил цейхгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов.

– И'я!

– Алексеевского училища?

– Точно так, господин поручик.

– А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее. Так, чтобы Петлюра умер, мать его душу...

Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами:

Артиллеристом я рожден...

Тенора откуда-то ответили в гуще штыков:

В семье бригадной я учился.

Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив, и вдруг, стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвало весь цейхгауз:

Ог-неем-ем картечи я крещен  
И буйным бархатом об-ви-и-ился.  
Огне-е-е-е-ем...

Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали...

И за канаты тормозные  
Меня качали номера.

Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание:

– Вестибюль... сорвать кисею... поживее...

И прапорщики унеслись куда-то.

Идут и поют  
Юнкера гвардейской школы!  
Трубы, литавры,

Тарелки звенят!!

Пустая каменная коробка гимназии теперь ревела и выла в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса.

– Ать... ать!.. – резал пронзительным голосом рев Карась.

– Веселей!.. – прочищенным голосом кричал Мышлаевский. – Алексеевцы, кого хороните?...

Не серая, разрозненная гусеница, а

Модистки! кухарки! горничные! прачки!!

Вслед юнкерам уходящим глядят!!! —

одетая колючими штыками валила по коридору шеренга, и пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж в упор на гигантский, залитый светом через стеклянный купол вестибюль шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошалевать.

На кровном аргамаче, крытом царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамача на дыбы, сияя улыбкой, в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненные коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на

Бородинские полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне.

...ведь были ж...  
схватки боевые?!

– Да, говорят... – звенел Павловский.

Да говорят, еще какие!! —

гремели басы.

Неда-а-а-ром помнит вся Россия  
Про день Бородина!!

Ослепительный Александр несся на небо, и оборванная кисея, скрывавшая его целый год, лежала валом у копыт его коня.

– Императора Александра Благословенного не видели, что ли? Ровней, ровней! Ать. Ать. Леу. Леу! – выл Мышлаевский, и гусеница поднималась, осаживая лестницу грузным шагом александровской пехоты. Мимо победителя Наполеона левым плечом прошел дивизион в необъятный двухсветный актовый зал и, оборвав песню, стал густыми шеренгами, колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в



зале, и мертвенными, бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешенные портреты последних царей.

Студзинский попятился и глянул на браслет-часы. В это мгновение вбежал юнкер и что-то шепнул ему.

– Командир дивизиона, – расслышали ближайшие.

Студзинский махнул рукой офицерам. Те побежали между шеренгами и выровняли их. Студзинский вышел в коридор навстречу командиру.

Звеня шпорами, полковник Малышев по лестнице, оборачиваясь и косясь на Александра, поднимался ко входу в зал. Кривая кавказская шашка с вишневым темляком болталась у него на левом бедре. Он был в фуражке черного буйного бархата и длинной шинели с огромным разрезом назад. Лицо его было озабочено. Студзинский торопливо подошел к нему и остановился, откозыряв.

Малышев спросил его:

– Одеты?

– Так точно. Все приказания исполнены.

– Ну, как?

– Драться будут. Но полная неопытность. На сто двадцать юнкеров восемьдесят студентов, не умеющих держать в руках винтовку.

Тень легла на лицо Малышева. Он помолчал.

– Великое счастье, что хорошие офицеры попа-

лись, – продолжал Студзинский, – в особенности этот новый, Мышлаевский. Как-нибудь справимся.

– Так-с. Ну-с, вот что: потрудитесь, после моего смотра, дивизион, за исключением офицеров и караула в шестьдесят человек из лучших и опытнейших юнкеров, которых вы оставите у орудий, в цейхгаузе и на охране здания, распустить по домам с тем, чтобы завтра в семь часов утра весь дивизион был в сборе здесь.

Дикое изумление разбило Студзинского, глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся.

– Господин полковник... – все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог, – разрешите доложить. Это невозможно. Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион – это задержать его на ночь здесь.

Господин полковник тут же, и очень быстро, обнаружил новое свойство – великолепнейшим образом сердиться. Шея его и щеки побурели, и глаза загорелись.

– Капитан, – заговорил он неприятным голосом, – я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору, читающему командам дивизионов, и это мне будет неприятно, потому что я полагал, что в вашем лице я буду иметь именно опытного старшего офицера, а не штатского профес-

сора. Ну-с, так вот: лекции мне не нужны. Па-а-прошу вас советов мне не давать! Слушать, запоминать. А запомнив – исполнять!

И тут оба выпятились друг на друга.

Самоварная краска полезла по шее и щекам Студзинского, и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес:

– Слушаю, господин полковник.

– Да-с, слушать. Распустить по домам. Приказать выпаться, и распустить без оружия, а завтра чтобы явились в семь часов. Распустить, и мало того: мелкими партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы не привлекать внимания зевак своим великолепием.

Луч понимания мелькнул в глазах Студзинского, а обида в них погасла.

– Слушаю, господин полковник.

Господин полковник тут резко изменился.

– Александр Брониславович, я вас знаю не первый день как опытного и боевого офицера. Но ведь и вы меня знаете? Стало быть, обиды нет? Обиды в такой час неуместны. Я неприятно сказал – забудьте, ведь вы тоже...

Студзинский залился густейшей краской.

– Точно так, господин полковник, я виноват.

– Ну-с, и отлично. Не будем же терять времени, что-

бы их не расхолаживать. Словом, все на завтра. Завтра яснее будет видно. Во всяком случае, скажу заранее: на орудия – внимания ноль, имейте в виду – лошадей не будет и снарядов тоже. Стало быть, завтра с утра стрельба из винтовок, стрельба и стрельба. Сделайте мне так, чтобы дивизион завтра к полудню стрелял, как призовой полк. И всем опытным юнкерам – гранаты. Понятно?

Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал.

– Господин полковник, разрешите спросить?

– Знаю-с, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать. Я сам вам отвечу – погано-с. Бывает хуже, но редко. Теперь понятно?

– Точно так!

– Ну, так вот-с, – Малышев очень понизил голос, – понятно, что мне не хочется остаться в этом каменном мешке на подозрительную ночь и, чего доброго, угробить двести ребят, из которых сто двадцать даже не умеют стрелять!

Студзинский молчал.

– Ну так вот-с. А об остальном вечером. Все успеем. Валите к дивизиону.

И они вошли в зал.

– Смир-р-р-но. Га-сааа офицеры! – прокричал Студзинский.

– Здравствуйте, артиллеристы!

Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рывкнула так, что дрогнули стекла.

– Здра-рра-жла-гсин... полковник...

Малышев весело оглядел ряды, отнял руку от козырька и заговорил:

– Бесподобно... Артиллеристы! Слов тратить не буду, говорить не умею, потому что на митингах не выступал, и потому скажу коротко. Будем мы бить Петлюру, сукина сына, и, будьте покойны, побьем. Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы, орлы их ни разу еще не видали от них сраму. А многие из вас воспитанники этой знаменитой гимназии. Старые ее стены смотрят на вас. И я надеюсь, что вы не заставите краснеть за вас. Артиллеристы мортирного дивизиона! Отстоим Город великий в часы осады бандитом. Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники, мать его душу через семь гробов!!!

– Га-а-а... Га-а... – ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражений господина полковника.

– Постарайтесь, артиллеристы!

Студзинский опять, как режиссер из-за кулис, испуганно взмахнул рукой, и опять громада обрушила

пласты пыли своим воплем, повторенным громовым эхом:

– Ppp... Prrrrr... Стра... Prrrrrr!!!

\* \* \*

Через десять минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двое часовых зачернели на концах поросшей штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то ковано гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики – Студзинский сам разводил караулы. Затем неожиданно в коридорах запела труба. В ее рваных, застоявшихся звуках, летящих по всей гимназии, грозность была надломлена, а слышна явственная тревога и фальшь. В коридоре над пролетом, окаймленным двумя рамками лестницы в вестибюль, стоял юнкер и раздувал щеки. Георгиевские потертые ленты свешивались с тусклой медной трубы. Мышлаевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его.

– Не доносите... Теперь так, так. Раздуйте ее, раздуйте. Залежалась, матушка. А ну-ка, тревогу.

«Та-та-там-та-там», – пел трубач, наводя ужас и

тоску на крыс.

Сумерки резко ползли в двухсветный зал. Перед полом в козлах остались Малышев и Турбин. Малышев как-то хмуро глянул на врача, но сейчас же устроил на лице приветливую улыбку.

– Ну-с, доктор, у вас как? Санитарная часть в порядке?

– Точно так, господин полковник.

– Вы, доктор, можете отправляться домой. И фельдшеров отпустите. И таким образом: фельдшера пусть явятся завтра в семь часов утра, вместе с остальными... А вы... (Малышев подумал, прищурился.) Вас попрошу прибыть сюда завтра в два часа дня. До тех пор вы свободны. (Малышев опять подумал.) И вот что-с: погоны можете пока не надевать. (Малышев помялся.) В наши планы не входит особенно привлечь к себе внимание. Одним словом, завтра прошу в два часа сюда.

– Слушаю-с, господин полковник.

Турбин потоптался на месте. Малышев вынул портсигар и предложил ему папиросу. Турбин в ответ зажег спичку. Загорелись две красные звездочки, и тут же сразу стало ясно, что значительно потемнело. Малышев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, потом вышел в коридор.

– Поручик Мышлаевский. Пожалуйста сюда. Вот что-

с: поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить. И ответственность за освещение целиком ваша.

Мышлаевский козырнул, круто повернулся. Трубочка пискнула и прекратил. Мышлаевский, брэнча шпорами – топы-топы-топы, – покотился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках. Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли. И в ответ им, в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет. Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к Турбину:

– Нет, черт возьми... Это действительно офицер. Видали?

А снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернула на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у фигурки торчал огромный ключ.



Мышлаевский поднимался сзади и изредка покрикивал:

– Живее, живее, старикан! Что ползешь, как вошь по струне?

– Ваше... ваше... – шамкал и шаркал тихонько старик. Из мглы на площадке вынырнул Карась, за ним другой, высокий офицер, потом два юнкера и, наконец, вострорылый пулемет. Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемету.

– Ваше высокоблагородие, – бормотала она.

Наверху фигурка трясущимися руками, тычась в полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то, щелкнул, и мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля, вход в актовый зал и коридор.

Тьма свернулась и убежала в его концы. Мышлаевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. Свет, ослепительный до того, что даже отливал в розовое, то загорался, то исчезал. Вспыхнули шары в зале и погасли. Неожиданно загорелись два шара по концам коридора, и тьма, кувыркнувшись, улизнула совсем.

– Как? Эй! – кричал Мышлаевский.

– Погасло, – отвечали голоса снизу из провала вестибюля.

– Есть! Горит! – кричали снизу.

Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман.

– Катись, старикан, спать, – молвил он успокоительно, – все в полном порядке.

Старик виновато заморгал подслеповатыми глазами:

– А ключик-то? Ключик... ваше высокоблагородие... Как же? У вас, что ли, будет?

– Ключик у меня будет. Вот именно.

Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить.

– Юнкер!

Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно.

– К ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня. Но никого более. В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взламываете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить щита.

– Слушаю, господин поручик.

Мышлаевский поравнялся с Турбиным и шепнул:

– Максим-то... видал?

– Господи... видал, видал, – шепнул Турбин.

Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и

тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлаевского и сказал:

– Ну, вот-с, поручик, я доволен, что вы попали к нам в дивизион. Молодцом.

– Рад стараться, господин полковник.

– Вы еще наладите нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану, в количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться.

Мышлаевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся:

– Эк... км...

Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу. Пустая тоска овладела Турбиным. Тут же, у холодной балюстрады, с исключительной ясностью перед ним прошло воспоминание.

...Толпа гимназистов всех возрастов в полном восхищении валила по этому самому коридору. Коренастый Максим, старший педель, стремительно увлекал две черные фигурки, открывая чудное шествие.

– Пушай, пушай, пушай, пушай, – бормотал он, – пушай, по случаю радостного приезда господина попечителя, господин инспектор полюбуется на госпо-

дина Турбина с господином Мышлаевским. Это им будет удовольствие. Прямо-таки замечательное удовольствие!

Надо думать, что последние слова Максима заключали в себе злейшую иронию. Лишь человеку с извращенным вкусом созерцание господ Турбина и Мышлаевского могло доставить удовольствие, да еще в радостный час приезда попечителя.

У господина Мышлаевского, ущемленного в левой руке Максима, была наискось рассечена верхняя губа, и левый рукав висел на нитке. На господине Турбине, увлекаемом правую, не было пояса, и все пуговицы отлетели не только на блузе, но даже на разрезе брюк спереди, так что собственное тело и белье господина Турбина безобразнейшим образом было открыто для взоров.

– Пустите нас, миленький Максим, дорогой, – молили Турбин и Мышлаевский, обращая по очереди к Максиму угасающие взоры на окровавленных лицах.

– Ура! Волоки его, Макс Преподобный! – кричали сзади взволнованные гимназисты. – Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!

Ах, боже мой, боже мой! Тогда было солнце, шум и грохот. И Максим тогда был не такой, как теперь, – белый, скорбный и голодный. У Максима на голове была черная сапожная щетка, лишь кое-где тронутая нитя-

ми проседи, у Максима железные клещи вместо рук, и на шее медаль величиною с колесо на экипаже... Ах, колесо, колесо. Все-то ты ехало из деревни «Б», делая N оборотов, и вот приехало в каменную пустоту. Боже, какой холод. Нужно защищать теперь... Но что? Пустоту? Гул шагов?... Разве ты, ты, Александр, спасешь Бородинскими полками гибнущий дом? Оживи, сведи их с полотна! Они побили бы Петлюру.

Ноги Турбина понесли его вниз сами собой. «Максим»! – хотелось ему крикнуть, потом он стал останавливаться и совсем остановился. Представил себе Максима внизу, в подвальной квартирке, где жили сторожа. Наверное, трясется у печки, все забыл и еще будет плакать. А тут и так тоски по самое горло. Плюнуть надо на все это. Довольно сентиментальничать. Просентиментальничали свою жизнь. Довольно.

\* \* \*

И все-таки, когда Турбин отпустил фельдшеров, он оказался в пустом сумеречном классе. Угольными пятнами глядели со стен доски. И парты стояли рядами. Он не удержался, поднял крышку и присел. Трудно, тяжело, неудобно. Как близка черная доска. Да, клянусь, клянусь, тот самый класс или соседний, потому что вон из окна тот самый вид на Город. Вон чер-

ная умершая громада университета. Стрела бульвара в белых огнях, коробки домов, провалы тьмы, стены, высь небес...

А в окнах настоящая опера «Ночь под Рождество», снег и огонечки, дрожат и мерцают... «Желал бы я знать, почему стреляют в Святошине?» И безобидно, и далеко, пушки, как в вату, бу-у, бу-у...

– Довольно.

Турбин опустил крышку парты, вышел в коридор и мимо караулов ушел через вестибюль на улицу. В парадном подъезде стоял пулемет. Прохожих на улице было мало, и шел крупный снег.

\* \* \*

Господин полковник провел хлопотливую ночь. Много рейсов совершил он между гимназией и находящейся в двух шагах от нее мадам Анжу. К полуночи машина хорошо работала и полным ходом. В гимназии, тихонько шипя, изливали розовый свет калильные фонари в шарах. Зал значительно потеплел, потому что весь вечер и всю ночь бушевало пламя в старинных печах в библиотечных приделах зала.

Юнкера, под командою Мышлаевского, «Отечественными записками» и «Библиотекой для чтения» за 1863 год разожгли белые печи и потом всю ночь

непрерывно, гремя топорами, старыми партами топили их. Студзинский и Мышлаевский, приняв по два стакана спирта (господин полковник сдержал свое обещание и доставил его в количестве достаточном, чтобы согреться, именно – полведра), сменяясь, спали по два часа вповалку с юнкерами, на шинелях у печек, и багровые огни и тени играли на их лицах. Потом вставали, всю ночь ходили от караула к караулу, проверяя посты. И Карась с юнкерами-пулеметчиками дежурил у выходов в сад. И в бараньих тулупах, сменяясь каждый час, стояли четверо юнкеров у толстомордых мортир.

У мадам Анжу печка раскалилась, как черт, в трубах звенело и несло, один из юнкеров стоял на часах у двери, не спуская глаз с мотоциклетки у подъезда, и пять юнкеров мертво спали в магазине, расстелив шинели. К часу ночи господин полковник окончательно обосновался у мадам Анжу, зевал, но еще не ложился, все время беседуя с кем-то по телефону. А в два часа ночи, свистя, подъехала мотоциклетка, и из нее вылез военный человек в серой шинели.

– Пропустить. Это ко мне.

Человек доставил полковнику объемистый узел в простыне, перевязанный крест-накрест веревкою. Господин полковник собственноручно запрятал его в маленькую каморочку, находящуюся в приделе мага-

зина, и запер ее на висячий замок. Серый человек покати́л на мотоциклетке обратно, а господин полковник перешел на галерею и там, разложив шинель и положив под голову груду лоскутов, лег и, приказав дежурному юнкеру разбудить себя ровно в шесть с половиной, заснул.

## 7

Глубокою ночью угольная тьма залегла на террасах лучшего места в мире – Владимирской горки. Кирпичные дорожки и аллеи были скрыты под нескончаемым пухлым пластом нетронутого снега.

Ни одна душа в Городе, ни одна нога не беспокоила зимою многоэтажного массива. Кто пойдет на Горку ночью, да еще в такое время? Да страшно там просто! И храбрый человек не пойдет. Да и делать там нечего. Одно всего освещенное место: стоит на страшном тяжелом постаменте уже сто лет чугунный черный Владимир и держит в руке, стоямя, трехсаженный крест. Каждый вечер, лишь окутают сумерки обвалы, скаты и террасы, зажигается крест и горит всю ночь. И далеко виден, верст за сорок виден в черных далях, ведущих к Москве. Но тут освещает немного, падает, задев зелено-черный бок постамента, бледный электрический свет, вырывает из тьмы балюстраду и кусок ре-



шетки, окаймляющей среднюю террасу. Больше ничего. А уж дальше, дальше!.. Полная тьма. Деревья во тьме, странные, как люстры в кисее, стоят в шапках снега, и сугробы кругом по самое горло. Жуть.

Ну, понятное дело, ни один человек и не потащится сюда. Даже самый отважный. Незачем, самое главное. Совсем другое дело в Городе. Ночь тревожная, важная, военная ночь. Фонари горят бусинами. Немцы спят, но вполглаза спят. В самом темном переулке вдруг рождается голубой конус.

– Halt!

Хруст... Хруст... посредине улицы ползут пешки в тазах. Черные наушники... Хруст... Винтовочки не за плечами, а на руку. С немцами шутки шутить нельзя, пока что... Что бы там ни было, а немцы – штука серьезная. Похожи на навозных жуков.

– Докумиэнт!

– Halt!

Конус из фонарика. Эгей!..

И вот тяжелая черная лакированная машина, впереди четыре огня. Не простая машина, потому что вслед за зеркальной кареткой скачет облегченной рысью конвой – восемь конных. Но немцам это все равно. И машине кричат:

– Halt!

– Куда? Кто? Зачем?

– Командующий, генерал от кавалерии Белоруков.

Ну, это, конечно, другое дело. Это, пожалуйста. В стеклах кареты, в глубине, бледное усатое лицо. Неясный блеск на плечах генеральской шинели. И тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель зулусов в этой паршивой стране. Но тем не менее... У зулусов жить – по-зулусьи выть. Козырнули тазы. Международная вежливость, как говорится.

\* \* \*

Ночь важная, военная. Из окон мадам Анжу падают лучи света. В лучах дамские шляпы, и корсеты, и панталоны, и севастопольские пушки. И ходит, ходит маятник-юнкер, зябнет, штыком чертит императорский вензель. И там, в Александровской гимназии, льют шары, как на балу. Мышлаевский, подкрепившись водкой в количестве достаточном, ходит, ходит, на Александра Благословенного поглядывает, на ящик с выключателями посматривает. В гимназии довольно весело и важно. В караулах как-никак восемь пулеметов и юнкера – это вам не студенты!.. Они, знаете ли, драться будут. Глаза у Мышлаевского, как у кролика, – красные. Которая уж ночь и сна мало, а

водки много и тревоги порядочно. Ну, в Городе с тревогою пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз пять остановят. Но если документы налицо, иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди...

А на Горку кто полезет? Абсолютная глупость. Да еще и ветер там на высотах... пройдет по сугробным аллеям, так тебе чертовы голоса померещатся. Если бы кто и полез на Горку, то уж разве какой-нибудь совсем отверженный человек, который при всех властях мира чувствует себя среди людей, как волк в собачьей стае. Полный мизерабль, как у Гюго. Такой, которому в Город и показываться-то не следует, а уж если и показываться, то на свой риск и страх. Проскочишь между патрулями – твоя удача, не проскочишь – не прогневайся. Ежели бы такой человек на Горку и попал, пожалуйеть его искренне следовало бы по человечеству.

Ведь это и собаке не пожелаешь. Ветер-то ледяной. Пять минут на нем побудешь и домой запросишься, а...

– Як часов с пять? Эх... Эх... померзнем!..

Главное, ходу нет в верхний Город мимо панорамы и водонапорной башни, там, изволите ли видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме, штаб князя Белорукова. И поминутно – то машины с конвоем, то машины с пулеметами, то...

– Офицерня, ах твою душу, щоб вам повылазило!  
Патрули, патрули, патрули.

А по террасам вниз в нижний Город – Подол – и думать нечего, потому что на Александровской улице, что вьется у подножья Горки, во-первых, фонари цепью, а во-вторых, немцы, хай им бис! патруль за патрулем! Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер – гу-у... – пройдет по аллеям, и мерещится, что бормочут в сугробах у решетки человеческие голоса.

– Замерзнем, Кирпатый!

– Терпи, Немоляка, терпи. Походят патрули до утра, заснут. Проскочим на Ввоз, отогреемся у Сычихи.

Пошевелится тьма вдоль решетки, и кажется, что три чернейших тени жмутся к парапету, тянутся, глядят вниз, где как на ладони Александровская улица. Вот она молчит, вот пуста, но вдруг побегут два голубоватых конуса – пролетят немецкие машины или же покажутся черные лепешечки тазов и от них короткие острые тени... И как на ладони видно...

Отделяется одна тень на Горке, и сипит ее волчий острый голос:

– Э... Немоляка... Рисуем! Ходим. Может, проскочим...

Нехорошо на Горке.

И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят аляповатые золоченые стулья, по лоснящемуся паркету мышинной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек, прозвякали чьи-то шпоры. В спальне зеркала в тусклых рамах с коронами отразили странную неестественную картину. Худой, седоватый, с подстриженными усиками на лисьем бритом пергаментном лице человек, в богатой черкеске с серебряными газырями, заметался у зеркал. Возле него шевелились три немецких офицера и двое русских. Один в черкеске, как и сам центральный человек, другой во френче и рейтузах, обличавших их кавалергардское происхождение, но в клиновидных гетманских погонах. Они помогли лисьему человеку переодеться. Была совлечена черкеска, широкие шаровары, лакированные сапоги. Человека облекли в форму германского майора, и он стал не хуже и не лучше сотен других майоров. Затем дверь отворилась, раздвинулись пыльные дворцовые портьеры и пропустили еще одного человека в форме военного врача германской армии. Он принес с собой

целую груду пакетов, вскрыл их и наглухо умелыми руками забинтовал голову новорожденного германского майора так, что остался видным лишь правый лисий глаз да тонкий рот, чуть приоткрывавший золотые и платиновые коронки.

Неприличная ночная суета во дворце продолжалась еще некоторое время. Каким-то офицерам, слоняющимся в зале с аляповатыми стульями и в зале соседнем, вышедший германец рассказал по-немецки, что майор фон Шратт, разряжая револьвер, нечаянно ранил себя в шею и что его сейчас срочно нужно отправить в германский госпиталь. Где-то звенел телефон, еще где-то пела птичка – пиу! Затем к боковому подъезду дворца, пройдя через стрельчатые резные ворота, подошла германская бесшумная машина с красным крестом, и закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее. Ушла машина, раз глухо рявкнув на повороте при выезде из ворот.

Во дворце же продолжалась до самого утра суетня и тревога, горели огни в залах портретных и в залах золоченых, часто звенел телефон, и лица у лакеев стали как будто наглыми, и в глазах заиграли веселые огни...

В маленькой узкой комнатке, в первом этаже двор-

ца у телефонного аппарата оказался человек в форме артиллерийского полковника. Он осторожно прикрыл дверь в маленькую обеленную, совсем не похожую на дворцовую, аппаратную комнату и лишь тогда взялся за трубку. Он попросил бессонную барышню на станции дать ему номер 212. И, получив его, сказал «мерси», строго и тревожно сдвинув брови, и спросил интимно и глуховато:

– Это штаб мортирного дивизиона?

\* \* \*

Увы, увы! Полковнику Малышеву не пришлось спать до половины седьмого, как он рассчитывал. В четыре часа ночи птичка в магазине мадам Анжу запела чрезвычайно настойчиво, и дежурный юнкер вынужден был господина полковника разбудить. Господин полковник проснулся с замечательной быстротой и сразу и остро стал соображать, словно вовсе никогда и не спал. И в претензии на юнкера за прерванный сон господин полковник не был. Мотоциклетка увлекла его в начале пятого утра куда-то, а когда к пяти полковник вернулся к мадам Анжу, он так же тревожно и строго в боевой нахмуренной думе сдвинул свои брови, как и тот полковник во дворце, который из аппаратной вызывал мортирный дивизион.

В семь часов на Бородинском поле, освещенном розоватыми шарами, стояла, пожимаясь от предрасветного холода, гудя и ворча говором, та же растянутая гусеница, что поднималась по лестнице к портрету Александра. Штабс-капитан Студзинский стоял поодаль ее в группе офицеров и молчал. Странное дело, в глазах его был тот же косоватый отблеск тревоги, как и у полковника Малышева, начиная с четырех часов утра. Но всякий, кто увидал бы и полковника и штабс-капитана в эту знаменитую ночь, мог бы сразу и уверенно сказать, в чем разница: у Студзинского в глазах – тревога предчувствия, а у Малышева в глазах тревога определенная, когда все уже совершенно ясно, понятно и погано. У Студзинского из-за обшлага его шинели торчал длинный список артиллеристов дивизиона. Студзинский только что произвел перекличку и убедился, что двадцати человек не хватает. Поэтому список носил на себе след резкого движения штабс-капитанских пальцев: он был скомкан.

В похолодевшем зале вились дымки – в офицерской группе курили.

Минута в минуту, в семь часов перед строем появился полковник Малышев, и, как предыдущим



днем, его встретил приветственный грохот в зале. Господин полковник, как и в предыдущий день, был опоясан серебряной шашкой, но в силу каких-то причин тысяча огней уже не играла на серебряной резьбе. На правом бедре у полковника покоился револьвер в кобуре, и означенная кобура, вероятно, вследствие несвойственной полковнику Малышеву рассеянности, была расстегнута.

Полковник выступил перед дивизионом, левую руку в перчатке положил на эфес шашки, а правую без перчатки нежно наложил на кобуру и произнес следующие слова:

– Приказываю господам офицерам и артиллеристам мортирного дивизиона слушать внимательно то, что я им скажу! За ночь в нашем положении, в положении армии, и я бы сказал, в государственном положении на Украине произошли резкие и внезапные изменения. Поэтому я объявляю вам, что дивизион распущен! Предлагаю каждому из вас, сняв с себя всякие знаки отличия и захватив здесь в цейхгаузе все, что каждый из вас пожелает и что он может унести на себе, разойтись по домам, скрыться в них, ничем себя не проявлять и ожидать нового вызова от меня!

Он помолчал и этим как будто бы еще больше подчеркнул ту абсолютно полную тишину, что была в зале. Даже фонари перестали шипеть. Все взоры артил-

леристов и офицерской группы сосредоточились на одной точке в зале, именно на подстриженных усах господина полковника.

Он заговорил вновь:

– Этот вызов последует с моей стороны немедленно, лишь произойдет какое-либо изменение в положении. Но должен вам сказать, что надежд на него мало... Сейчас мне самому еще неизвестно, как сложится обстановка, но я думаю, что лучшее, на что может рассчитывать каждый... э... (полковник вдруг выкрикнул следующее слово) лучший! из вас – это быть отправленным на Дон. Итак: приказываю всему дивизиону, за исключением господ офицеров и тех юнкеров, которые сегодня ночью несли караулы, немедленно разойтись по домам!

– А?! А?! Га, га, га! – прошелестело по всей громаде, и штыки в ней как-то осели. Замелькали растерянные лица, и как будто где-то в шеренгах мелькнуло несколько обрадованных глаз...

Из офицерской группы выделился штабс-капитан Студзинский, как-то иссиня-бледноватый, косящий глазами, сделал несколько шагов по направлению к полковнику Малышеву, затем оглянулся на офицеров. Мышлаевский смотрел не на него, а все туда же, на усы полковника Малышева, причем вид у него был такой, словно он хочет, по своему обыкновению, выру-

гаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами. А в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «арест»!..

– Что такое? Как? – где-то баском послышалось в шеренге среди юнкеров.

– Арест!..

– Измена!!

Студзинский неожиданно и вдохновенно глянул на светящийся шар над головой, вдруг скосил глаза на ручку кобуры и крикнул:

– Эй, первый взвод!

Передняя шеренга с краю сломалась, серые фигуры выделились из нее, и произошла странная суэта.

– Господин полковник! – совершенно сиплым голосом сказал Студзинский. – Вы арестованы.

– Арестовать его!! – вдруг истерически звонко выкрикнул один из прапорщиков и двинулся к полковнику.

– Пойдите, господа! – крикнул медленно, но прочно соображающий Карась.

Мышлаевский проворно выскочил из группы, ухватил экспансивного прапорщика за рукав шинели и отдернул его назад.

– Пустите меня, господин поручик! – злобно дернув ртом, выкрикнул прапорщик.

– Тише! – прокричал чрезвычайно уверенный голос господина полковника. Правда, и ртом он дергал не хуже самого прапорщика, правда, и лицо его пошло красными пятнами, но в глазах у него было уверенности больше, чем у всей офицерской группы. И все остановились.

– Тише! – повторил полковник. – Приказываю вам стать на места и слушать!

Воцарилось молчание, и у Мышлаевского резко насторожился взор. Было похоже, что какая-то мысль уже проскочила в его голове, и он ждал уже от господина полковника вещей важных и еще более интересных, чем те, которые тот уже сообщил.

– Да, да, – заговорил полковник, дергая щекой, – да... да... Хорош бы я был, если бы пошел в бой с таким составом, который мне послал Господь Бог. Очень был бы хорош! Но то, что простительно добровольцу-студенту, юноше-юнкеру, в крайнем случае, прапорщику, ни в коем случае не простительно вам, господин штабс-капитан!

При этом полковник вонзил в Студзинского исключительной резкости взор. В глазах у господина полковника по адресу Студзинского прыгали искры настоящего раздражения. Опять стала тишина.

– Ну, так вот-с, – продолжал полковник. – В жизнь свою не митинговал, а, видно, сейчас придется. Что

ж, помитингуем! Ну, так вот-с: правда, ваша попытка арестовать своего командира обличает в вас хороших патриотов, но она же показывает, что вы э... офицеры, как бы выразиться? – неопытные! Коротко: времени у меня нет, и, уверяю вас, – зловеще и значительно подчеркнул полковник, – и у вас тоже. Вопрос: кого желаете защищать?

Молчание.

– Кого желаете защищать, я спрашиваю? – грозно повторил полковник.

Мышлаевский с искрами огромного и теплого интереса выдвинулся из группы, козырнул и молвил:

– Гетмана обязаны защищать, господин полковник.

Глаза его светло и смело глядели на полковника.

– Гетмана? – переспросил полковник. – Отлично-с. Дивизион, смирно! – вдруг рявкнул он так, что дивизион инстинктивно дрогнул. – Слушать!! Гетман сегодня около четырех часов утра, позорно бросив нас всех на произвол судьбы, бежал! Бежал, как последняя каналья и трус! Сегодня же, через час после гетмана, бежал туда же, куда и гетман, то есть в германский поезд, командующий нашей армией генерал от кавалерии Белоруков. Не позже чем через несколько часов мы будем свидетелями катастрофы, когда обманутые и втянутые в авантюру люди вроде вас будут перебиты, как собаки. Слушайте: у Петлюры на подступах к

городу свыше чем стотысячная армия, и завтрашний день... да что я говорю, не завтрашний, а сегодняш- ний, – полковник указал рукой на окно, где уже начи- нал синеть покров над городом, – разрозненные, раз- битые части несчастных офицеров и юнкеров, бро- шенные штабными мерзавцами и этими двумя про- хвостами, которых следовало бы повесить, встретят- ся с прекрасно вооруженными и превышающими их в двадцать раз численностью войсками Петлюры... Слушайте, дети мои! – вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь в старшие братья всем сто- ящим под штыками. – Слушайте! Я, кадровый офи- цер, вынесший войну с германцами, чему свидетель штабс-капитан Студзинский, на свою совесть беру и ответственность, все!! все!! Вас предупреждаю! Вас посылаю домой! Понятно? – прокричал он.

– Да... а... га, – ответила масса, и штыки ее закача- лись. И затем громко и судорожно заплакал во второй шеренге какой-то юнкер.

Штабс-капитан Студзинский совершенно не ожи- данно для всего дивизиона, а вероятно, и для самого себя, странным, не офицерским, жестом ткнул руками в перчатках в глаза, причем дивизионный список упал на пол, и заплакал.

Тогда, заразившись от него, зарыдали еще многие

юнкера, шеренги сразу развалились, и голос Радаме-са-Мышлаевского, покрывая нестройный гвалт, рявкнул трубачу:

– Юнкер Павловский! Бейте отбой!!

\* \* \*

– Господин полковник, разрешите поджечь здание гимназии? – светло глядя на полковника, сказал Мышлаевский.

– Не разрешаю, – вежливо и спокойно ответил ему Малышев.

– Господин полковник, – задумчиво сказал Мышлаевский, – Петлюре достанется цейхгауз, орудия и главное, – Мышлаевский указал рукою в дверь, где в вестибюле над пролетом виднелась голова Александра.

– Достанется, – вежливо подтвердил полковник.

– Но как же, господин полковник?...

Малышев повернулся к Мышлаевскому, глядя на него внимательно, сказал следующее:

– Господин поручик, Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней, и единственно, о чем я жа-лею, что я ценой своей жизни и даже вашей, еще бо-лее дорогой, конечно, их гибели приостановить не мо-гу. О портретах, пушках и винтовках попрошу вас бо-

лее со мною не говорить.

– Господин полковник, – сказал Студзинский, оставившись перед Малышевым, – от моего лица и от лица офицеров, которых я толкнул на безобразную выходку, прошу вас принять наши извинения.

– Принимаю, – вежливо ответил полковник.

\* \* \*

Когда над Городом начал расходиться утренний туман, тупорылые мортиры стояли у Александровского плаца без замков, винтовки и пулеметы, развинченные и разломанные, были разбросаны в тайниках чердака. В снегу, в ямах и в тайниках подвалов были разбросаны груды патронов, и шары больше не источали света в зале и коридорах. Белый щит с выключателями разломали штыками юнкера под командой Мышлаевского.

\* \* \*

В окнах было совершенно сине. И в синеве на площадке оставались двое, уходящие последними, – Мышлаевский и Карась.

– Предупредил ли Алексея командир? – озабочен-



но спросил Мышлаевский Карася.

– Конечно, командир предупредил, ты ж видишь, что он не явился? – ответил Карась.

– К Турбиным не попадем сегодня днем?

– Нет уж, днем нельзя, придется закапывать... то да се. Едем к себе на квартиру.

В окнах было сине, а на дворе уже беловато, и вставал и расходился туман.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## 8

Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, безлунный, темный, а потом предрассветный снег, за Городом в далях маковки синих, усеянных сусальными звездами церквей и не потухающий до рассвета, приходящего с московского берега Днепра, в бездонной высоте над городом Владимирский крест.

К утру он потух. И потухли огни над землей. Но день особенно не разгорался, обещал быть серым, с непроницаемой завесой не очень высоко над Украиной.

Полковник Козырь-Лешко проснулся в пятнадцати верстах от Города именно на рассвете, когда кисленький парный светик пролез в подслеповатое оконце хаты в деревне Попелюхе. Пробуждение Козыря совпало со словом:

– Диспозиция.

Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень теплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово. Но слово распухло, влезло в хату вместе с отвратительными красными прыщами на ли-

це ординарца и смятым конвертом. Из сумки со слюдой и сеткой Козырь вытащил под оконцем карту, нашел на ней деревню Борхуны, за Борхунами нашел Белый Гай, проверил ногтем рогулю дорог, усеянную, словно мухами, точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно – Город. Воняло махоркой от владельца красных прыщей, полагавшего, что курить можно и при Козыре и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам Козырь.

Козырю сию минуту предстояло воевать. Он отнесся к этому бодро, широко зевнул и забренчал сложной сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась с кринкой молока. Никогда Козырь молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята. И один из них, самый маленький, полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к Козыреву маузеру. И не добрался, потому что Козырь маузер пристроил на себя.

Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В четырнадцатом году попал на войну в драгунский полк и к 1917 году был произведен в офицеры. А рассвет четырнадцатого декабря восемнадцатого года под оконцем застал Козыря полковником петлюровской армии, и никто в мире (и менее все-

го сам Козырь) не мог бы сказать, как это случилось. А произошло это потому, что война для него, Козыря, была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни. Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право, а на двадцать первом – вдруг оказывается, что римское право ни при чем, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на свое место только к концу жизни. Козырь попал к сорока пяти годам. А до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным.

– А ну-те, скажите хлопцам, щоб выбирались с хат, тай по коням, – произнес Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе.

Курились белые хатки в деревне Попелюхе, и выезжал строй полковника Козыря сабелюк на четыреста. В рядах над строем курилась махорка, и нервно ходил под Козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в седлах, и тотчас же за Попелюхой развернулся в голове конной колонны двухцветный праёпор – плат голубой, плат желтый, на древке.

Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее четыре года, а при гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки по жилам Козыря веселым пламенем. Прошла водка и по рядам из манерок, взятых еще со склада в Белой Церкви, и лишь прошла, ударила в голове колонны трехрядная итальянка и запел фальцет:

Гай за гаем, гаем,  
Гаем зелененьким...

А в пятом ряду рванули басы:

Там орала дивчиненька  
Воликом черненьким...  
Орала... орала,  
Не вмила гукаты.  
Тай наняла козаченька  
На скрипочке граты.

– Фью... ах! Ах, тах, тах!.. – засвистал и защелкал веселым соловьем всадник у прапора. Закачались пики, и тряслись черные шлыки гробового цвета с позументом и гробовыми кистями. Хрустел снег под тысячью кованых копыт. Ударил радостный торбан.

– Так его! Не журишь, хлопцы, – одобрительно ска-

зал Козырь. И завился винтом соловей по снежным украинским полям.

Прошли Белый Гай, раздернулась завеса тумана, и по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело. У Гая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинакие жупаны добротного германского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки – галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями. И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх папах. Кованые боты уминали снег.

От силы начали чернеть белые пути к Городу.

– Слава! – кричала проходящая пехота желтоблakitному прапору.

– Слава! – гукал Гай перелесками.

«Славе» ответили пушки позади и на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Торопец, еще в ночь послал две батареи к Городскому лесу. Пушки стали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. По громадному селению Пуще-Водице два раза прошло по удару, от которых в четырех просеках в домах, сидящих в снегу,

враз вылетели все стекла. Несколько сосен развернуло в щепы и дало многосажженные фонтаны снегу. Но затем в Пуще смолкли звуки. Лес стал, как в полусне, и только потревоженные белки шлялись, шурша лапками, по столетним стволам. Две батареи после этого снялись из-под Пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необъятные пахотные земли, лесистое Урочище, повернули по узкой дороге, дошли до разветвления и там развернулись уже в виду Города. С раннего утра на Подгородней, на Савской, в предместье Города, Куреневке, стали рваться высокие шрапнели.

В низком снежном небе било погремушками, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребках, и в утренних сумерках было видно, как иззябшие цепи юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине Города. Впрочем, пушки вскоре стихли и сменились веселой тарахтящей стрельбой где-то на окраине, на севере. Затем и она утихла.

\* \* \*

Поезд командира корпуса облоги Торопца стоял на разъезде верстах в пяти от занесенного снегом и оглушенного буханьем и перекатами мертвенного поселка Святошино, в громадных лесах. Всю ночь в шести

вагонах не гасло электричество, всю ночь звенел телефон на разъезде и пищали полевые телефоны в измызганном салоне полковника Торопца. Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Святошина на Пост-Волынский, и птички запели в желтых ящиках, и худой, нервный Торопец сказал своему адъютанту Худяковскому:

– Взялы Святошино. Запропонуйте, будьте ласковы, пане адъютант, нехай поєтяг передадут на Святошино.

Поезд Торопца медленно пошел между стенами строевого зимнего леса и стал близ скрещенья железнодорожной линии с огромным шоссе, стрелой вонзающимся в Город. И тут, в салоне, полковник Торопец стал выполнять свой план, разработанный им в две бессонные ночи в этом самом клоповом салоне № 4173.

Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от Городского леса и пахотных земель, на западе от взятого Святошина, на юго-западе от злосчастливого Поста-Волынского, на юге за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной дорогой, повсюду по тропам и путям и безудержно просто по снежным равнинам чернела и ползла и позвякивала конница, скрипели тягостные



пушки и шла и увязала в снегу истомившаяся за месяц облоги пехота Петлюриной армии.

В вагон-салоне с зашарканным суконным полом по минутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франько и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть.

– Ти-у... пи-у... слушаю! пи-у... ти-у...

План Торопца был хитер, хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник Торопец. Недаром послал он две батареи под Городской лес, недаром грохотал в морозном воздухе и разбил трамвайную линию на лохматую Пуще-Водицу. Недаром надвинул потом пулеметы со стороны пахотных земель, приближая их к левому флангу. Хотел Торопец ввести в заблуждение защитников Города, что он, Торопец, будет брать Город с его, Торопца, левого фланга (с севера), с предместья Куреневки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в Город в лоб, прямо от Святошина по Брест-Литовскому шоссе, и, кроме того, с крайнего правого фланга, с юга, со стороны села Демиевки.

Вот в исполнение плана Торопца – двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый, и шел под свист и гармонику со старшинами в голове черношлычный полк Козыря-Лешко.

– Слава! – перелесками гукал Гай. – Слава!

Подошли, оставили Гай в стороне и, уже пересекши железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, увидели Город. Он был еще теплый со сна, и над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стремянах, смотрел в цейссовские стекла Козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора старой Софии.

На правой руке у Козыря уже шел бой. Верстах в двух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там Петлюрина пехота цепочками перебегала к Посту-Волынскому и цепочками же отваливала от Поста, в достаточной мере ошеломленная густым огнем, жиденькая и разношерстная белогвардейская пехота...

\* \* \*

Город. Низкое густое небо. Угол. Домишки на окраине, редкие шинели.

– Сейчас передавали, что будто с Петлюрой заключено соглашение – выпустить все русские части с оружием на Дон к Деникину...

– Ну?

Пушки... Пушки... бух... бу-бу-бу...

А вот завыл пулемет.

Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе:

– Но, позволь, ведь тогда же нужно прекратить со-

противление?...

Тоска в юнкерском голосе:

– А черт их знает!

\* \* \*

Полковника Щеткина уже с утра не было в штабе, и не было по той простой причине, что штаба этого более не существовало. Еще в ночь под четырнадцатое число штаб Щеткина отъехал назад, на вокзал Города-I, и эту ночь провел в гостинице «Роза Стамбула», у самого телеграфа. Там ночью у Щеткина изредка пела телефонная птица, но к утру она затихла. А утром двое адъютантов полковника Щеткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щеткин, порывшись зачем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав в клочья, вышел из заплеванной «Розы», но уже не в серой шинели с погонями, а в штатском мохнатом пальто и в шляпе пирожком. Откуда они взялись – никому не известно.

Взяв в квартале расстояния от «Розы» извозчика, штатский Щеткин уехал в Липки, прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню. Прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки сло-

ва:

– Все кончено! О, как я измучен... – полковник Щеткин удалился в альков и там уснул после чашки черного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки.

\* \* \*

Ничего этого не знали юнкера первой дружины. А жаль! Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение и, вместо того чтобы вертеться под шрапнельным небом у Поста-Волынского, отправились бы они в уютную квартиру в Липках, извлекли бы оттуда сонного полковника Щеткина и, выведя, повесили бы его на фонаре, как раз напротив квартирки с золотистой особой.

\* \* \*

Хорошо бы было это сделать, но они не сделали, потому что ничего не знали и не понимали.

Да и никто ничего не понимал в Городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле: в Городе железные, хотя, правда, уже немножко подточенные немцы, в Городе усостриженный тонкий Ли-

са Патрикеевна гетман (о ранении в шею таинственного майора фон Шратта знали утром очень немногие), в Городе его сиятельство князь Белоруков, в Городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских, в Городе как-никак и звенят и поют телефоны штабов (никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться), в Городе густопо€нно. В Городе ярость при слове «Петлюра», и еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты, в Городе ходят кадеты, а там, у Караваевских дач, уже свищет соловьем разноцветная шлычная конница и заходят с левого фланга на правый облегченную рысью лихие гайдамаки. Если они свищут в пяти верстах, то спрашивается, на что надеется гетман? Ведь по его душу свищут! Ох, свищут... Может быть, немцы за него заступятся? Но тогда почему же тумбы-немцы равнодушно улыбаются в свои стриженные немцевы усы на станции Фастов, когда мимо них эшелон за эшелон к Городу проходят Петлюрины части? Может быть, с Петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в Город? Но тогда какого черта белые офицерские пушки стреляют в Петлюру?

Нет, никто не поймет, что происходило в Городе днем четырнадцатого декабря.

Звенели штабные телефоны, но, правда, все реже,

и реже, и реже...

Реже!

Реже!

Дррррр!..

– Тиу...

– Что у вас делается?

– Тиу...

– Пошлите патроны полковнику...

– Степанову...

– Иванову.

– Антонову!

– Стратонову!..

– На Дон... На Дон бы, братцы... что-то ни черта у нас не выходит.

– Ти-у...

– А, к матери штабную сволочь!

– На Дон!..

Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко.

Кругом Города, то здесь, то там, закипит грохот, потом прервется... Но Город еще в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью, похожей на обычную. Магазины были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса прохожих, хлопали двери, и ходил, позвякивая, трамвай.

И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый пулемет. Печерские холмы отразили drobный грохот,

и он полетел в центр Города. Позвольте, это уже совсем близко!.. В чем дело? Прохожие останавливались и начали нюхать воздух. И кой-где на тротуарах сразу поредело.

Что? Кто?

– Аррррррррррррррррррррр-па-па-па-па! Па! Па! Па! рррррррррррррррррррр!!

– Кто?

– Як кто? Шо ж вы, добродию, не знаете? Це полковник Болботун.

\* \* \*

Да-с, вот тебе и взбунтовался против Петлюры!

Полковник Болботун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Торопца, решил несколько ускорить события. Померзли болботуновы всадники за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрого снежного Днепра. Померз и сам Болботун. И вот поднял Болботун вверх стек, и тронулся его конный полк справа по три, растянулся по дороге и подошел к полотну, тесно опоясывающему предместье Города. Никто тут полковника Болботуна не встречал. Взвыли шесть болботуновых пулеметов так, что пошел раскат по всему урочищу Нижняя Теличка. В один миг Болботун перерезал ли-

нию железной дороги и остановил пассажирский поезд, который только прошел стрелу железнодорожного моста и привез в Город свежую порцию москвичей и петербуржцев со сдобными бабами и лохматыми собачками. Поезд совершенно ошалел, но Болботуну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожняков с Города-II, Товарного, пошли на Город-I, Пассажирский, засвистали маневровые паровозы, а болботуновы пули устроили неожиданный град на крышах домишек на Святотроицкой улице. И вошел в Город и пошел, пошел по улице Болботун и шел беспрепятственно до самого военного училища, во все переулки высылая конные разведки. И напоролся Болботун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь Болботуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Болботуна в первой сотне убило казака Буценко, пятерых ранило и двум лошадям перебило ноги. Болботун несколько задержался. Показалось ему почему-то, что невесть какие силы стоят против него. А на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке тридцать человек юнкеров и четыре офицера с одним пулеметом.

Шеренги Болботуна по команде спешили, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск наполнился грохотом, эхо заколотило по сте-



нам, и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике.

И тотчас Болботуновы поступки получили отражение в Городе: начали бухать железные шторы на Елисаветинской, Виноградской и Левашовской улицах. Веселые магазины ослепли. Сразу опустели тротуары и сделались неприятно-гулкими. Дворники проворно закрыли ворота.

И в центре Города получилось отражение: стали потухать петухи в штабных телефонах.

Пищат с батареи в штаб дивизиона. Что за чертовщина, не отвечают! Пищат в уши из дружины в штаб командующего, чего-то добиваются. А голос в ответ бормочет какую-то чепуху.

– Ваши офицеры в погонах?

– А, что такое?

– Ти-у...

– Ти-у...

– Выслать немедленно отряд на Печерск!

– А, что такое?

– Ти-у...

По улицам поползло: Болботун, Болботун, Болботун, Болботун...

Откуда узнали, что это именно Болботун, а не кто-нибудь другой? Неизвестно, но узнали. Может быть, вот почему: с полудня среди пешеходов и зевак обыч-

ного городского типа появились уже какие-то в пальто, с барашковыми воротниками. Ходили, шныряли. Усы у них вниз червячками, как на картинке Лебедя-Юрчика. Юнкеров, кадетов, золотопогонных офицеров провозжали взглядами, долгими и липкими. Шептали:

– Це Бовботун в мисце прийшов.

И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалось явственное – «Слава!».

– Сла-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва... – холмы Печерска.

Поехала околесина на дрожках:

– Болботун – великий князь Михаил Александрович.

– Наоборот: Болботун – великий князь Николай Николаевич.

– Болботун – просто Болботун.

– Будет еврейский погром.

– Наоборот: они с красными бантами.

– Бегите-ка лучше домой.

– Болботун против Петлюры.

– Наоборот: он за большевиков.

– Совсем наоборот: он за царя, только без офицеров.

– Гетман бежал?

– Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? Неужели? Неужели?

– Ти-у. Ти-у. Ти-у.

\* \* \*

Разведка Болботуна с сотником Галаньбой во главе пошла по Миллионной улице, и не было ни одной души на Миллионной улице. И тут, представьте себе, открылся подъезд и выбежал навстречу пятерым конным хвостатым гайдамакам не кто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич, что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела? Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке и пальто нараспашку. И глаза блуждающие.

Было от чего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдману. Как только заклокотало у военного училища, из светлой спальни жены Якова Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер.

– Ой, – ответил стону Яков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом грохот и пустота.

А стон разросся и, как ножом, резнул сердце Якова Григорьевича. Сутулая старушка, мамаша Якова Григорьевича, вынырнула из спальни и крикнула:

– Яша! Ты знаешь? Уже!

И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели – на самом углу Миллионной улицы у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска:

Повивальная бабка Е. Т. Шадурская.

На Миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, а бьют вдоль с Печерской площади к Киевскому спуску.

Лишь бы проскочить. Лишь бы... Пирожок на затылке, в глазах ужас, и лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман.

– Стый! Ты куды?

Галаньба перегнулся с седла. Фельдман стал темный лицом, глаза его запрыгали. В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков.

– Я, панове, мирный житель. Жинка родит. Мне до бабки треба.

– До бабки? А чему ж це ты под стеной ховаешься? а? ж-жидюга?...

– Я, панове...

Нагайка змеей прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль. Взвизгнул Фельдман. Стал не темным, а белым, и померещилось между хвостами лицо жены.

– Посвидченя!

Фельдман вытащил бумажник с документами, раз-

вернул, взял первый листик и вдруг затрясся, тут только вспомнил... ах, боже мой, боже мой! Что ж он наделал? Что вы, Яков Григорьевич, вытащили? Да разве вспомнишь такую мелочь, выбегая из дому, когда из спальни жены раздастся первый стон? О, горе Фельдману! Галаньба мгновенно овладел документом. Все-го-то тоненький листик с печатью, – а в этом листике Фельдмана смерть.

«Предъявителю сего господину Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из Города по делам снабжения броневых частей гарнизона Города, а равно и хождение по Городу после 12 час. ночи.

Начснабжения – генерал-майор *Илларионов*.

Адъютант – поручик *Лещинский*».

Поставлял Фельдман генералу Картузову сало и вазелин-полусмазку для орудий.

Боже, сотвори чудо!

– Пан сотник, це не тот документ!.. Позвольте...

– Нет, тот, – дьявольски усмехнувшись, молвил Галаньба, – не журишь, сами грамотны, прочитаем.

Боже! Сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбованцев... Все берите. Но только дайте жизнь! Дай! Шмаисроэль!

Не дал.

Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью.



черск.

– Слушаюсь. Дррррр... Ти... Ти... ти... ти...

И пришло на Печерск: четырнадцать офицеров, три юнкера, один студент, один кадет и один актер из театра миниатюр.

\* \* \*

Увы. Одной жидкой цепи, конечно, недостаточно. Даже и при подкреплении одной черепахой. Черепах-то должно было подойти целых четыре. И уверенно можно сказать, что, подойди они, полковник Болботун вынужден был бы удалиться с Печерска. Но они не подошли.

Случилось это потому, что в броневой дивизион гетмана, состоящий из четырех превосходных машин, попал в качестве командира второй машины не кто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского Георгиевский крест, Михаил Семенович Шполянский.

Михаил Семенович был черный и бритый, с бархатными баками, чрезвычайно похожий на Евгения Онегина. Всему Городу Михаил Семенович стал известен немедленно по приезде своем из города Санкт-Петербурга. Михаил Семенович прославился как пре-

восходный чтец в клубе «Прах» своих собственных стихов «Капли Сатурна» и как отличнейший организатор поэтов и председатель городского поэтического ордена «Магнитный Триолет». Кроме того, Михаил Семенович не имел себе равных как оратор, кроме того, управлял машинами как военными, так и типа гражданского, кроме того, содержал балерину оперного театра Мусю Форд и еще одну даму, имени которой Михаил Семенович, как джентльмен, никому не открывал, имел очень много денег и щедро раздавал их займы членам «Магнитного Триолета»;

пил белое вино,

играл в железку,

купил картину «Купающаяся венецианка»,

ночью жил на Крещатике,

утром в кафе «Бильбокэ»,

днем – в своем уютном номере лучшей гостиницы

«Континенталь», вечером – в «Прахе»,

на рассвете писал научный труд «Интуитивное у Го-

голя».

Гетманский Город погиб часа на три раньше, чем ему следовало бы, именно из-за того, что Михаил Семенович второго декабря 1918 года вечером в «Прахе» заявил Степанову, Шейеру, Слоных и Черемшину (головка «Магнитного Триолета») следующее:

– Все мерзавцы. И гетман, и Петлюра. Но Петлюра,



кроме того, еще и погромщик. Самое главное, впрочем, не в этом. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб.

По окончании в «Прахе» ужина, за который уплатил Михаил Семенович, его, Михаила Семеновича, одетого в дорожную шубу с бобровым воротником и цилиндр, провожал весь «Магнитный Триолет» и пятый – некий пьяненький в пальто с козым мехом. О нем Шполянскому было известно немного: во-первых, что он болен сифилисом, во-вторых, что он написал богоборческие стихи, которые Михаил Семенович, имеющий большие литературные связи, пристроил в один из московских сборников, и, в-третьих, что он – Русаков, сын библиотекаря.

Человек с сифилисом плакал на свой козий мех под электрическим фонарем Крещатика и, впиваясь в бобровые манжеты Шполянского, говорил:

– Шполянский, ты самый сильный из всех в этом городе, который гниет так же, как и я. Ты так хорош, что тебе можно простить даже твое жуткое сходство с Онегиным! Слушай, Шполянский... Это неприлично походить на Онегина. Ты как-то слишком здоров... В тебе нет благородной червоточины, которая могла бы сделать тебя действительно выдающимся человеком наших дней... Вот я гнию и горжусь этим... Ты слишком здоров, но ты силен, как винт, поэтому винтись ту-

да!.. Винтись ввысь!.. Вот так...

И сифилитик показал, как нужно это делать. Обхватив фонарь, он действительно винтился возле него, став каким-то образом длинным и тонким, как уж. Проходили проститутки мимо, в зеленых, красных, черных и белых шапочках, красивые, как куклы, и весело бормотали винту:

– Занюхался, т-твою мать?

Очень далеко стреляли пушки, и Михаил Семеныч действительно походил на Онегина под снегом, летящим в электрическом свете.

– Иди спать, – говорил он винту-сифилитику, немного отворачивая лицо, чтобы тот не кашлянул на него, – иди. – Он толкал концами пальцев козье пальто в грудь. Черные лайковые перчатки касались вытертого шевиота, и глаза у толкаемого были совершенно стеклянными. Разошлись. Михаил Семенович подозвал извозчика, крикнул ему: «Мало-Провальная», – и уехал, а козий мех, пошатываясь, пешком отправился к себе на Подол.

\* \* \*

В квартире библиотекаря, ночью, на Подоле, перед зеркалом, держа зажженную свечу в руке, стоял обнаженный до пояса владелец козьего меха. Страх ска-

кал в глазах у него, как черт, руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка.

– Боже мой, боже мой, боже мой... Ужас, ужас, ужас... Ах, этот вечер! Я несчастлив. Ведь был же со мной и Шейер, и вот он здоров, он не заразился, потому что он счастливый человек. Может быть, пойти и убить эту самую Лельку? Но какой смысл? Кто мне объяснит, какой смысл? О, господи, господи... Мне двадцать четыре года, и я мог бы, мог бы... Пройдет пятнадцать лет, может быть, меньше, и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом – я гнилой, мокрый труп.

Обнаженное до пояса худое тело отражалось в пыльном трюмо, свеча нагорала в высоко поднятой руке, и на груди была видна нежная и тонкая звездная сыпь. Слезы неудержимо текли по щекам больного, и тело его тряслось и колыхалось.

– Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет сил, к чему тебе, мой бог, я буду лгать? К чему тебе я буду лгать, мое отражение?

Он вынул из ящика маленького дамского письменного стола тонкую книгу, отпечатанную на сквернейшей серой бумаге. На обложке ее было напечатано красными буквами:

ФАНТОМИСТЫ ФУТУРИСТЫ

С т и х и:

М. Шполянского.  
Б. Фридмана.  
В. Шаркевича.  
И. Русакова.  
*Москва, 1918*

На странице тринадцатой раскрыл бедный больной книгу и увидал знакомые строки:

*Ив. Русаков*  
БОГОВО ЛОГОВО

Раскинут в небе  
Дымный лог.  
Как зверь, сосущий лапу,  
Великий сущий папа  
Медведь мохнатый  
Бог.  
В берлоге  
Логе  
Бейте бога.  
Звук алый  
Боговой битвы  
Встречаю матерной молитвой.

– Ах-а-ах, – стиснув зубы, болезненно застонал больной. – Ах, – повторил он в неизбывной муке.

Он с искаженным лицом вдруг плюнул на страницу со стихотворением и бросил книгу на пол, потом

опустился на колени и, крестясь мелкими дрожащими крестами, кланяясь и касаясь холодным лбом пыльного паркета, стал молиться, возводя глаза к черному безотрадному окну:

– Господи, прости меня и помилуй за то, что я написал эти гнусные слова. Но зачем же Ты так жесток? Зачем? Я знаю, что Ты меня наказал. О, как страшно Ты меня наказал! Посмотри, пожалуйста, на мою кожу. Клянусь тебе всем святым, всем дорогим на свете, памятью мамы-покойницы – я достаточно наказан. Я верю в Тебя! Верю душой, телом, каждой нитью мозга. Верю и прибегаю только к Тебе, потому что нигде на свете нет никого, кто бы мог мне помочь. У меня нет надежды ни на кого, кроме как на Тебя. Прости меня и сделай так, чтобы лекарства мне помогли! Прости меня, что я решил, будто бы Тебя нет: если бы Тебя не было, я был бы сейчас жалкой паршивой собакой без надежды. Но я человек и силен только потому, что Ты существуешь, и во всякую минуту я могу обратиться к Тебе с мольбой о помощи. И я верю, что Ты услышишь мои мольбы, простишь меня и вылечишь. Излечи меня, о Господи, забудь о той гнусности, которую я написал в припадке безумия, пьяный, под кокаином. Не дай мне сгнить, и я клянусь, что я вновь стану человеком. Укрепи мои силы, избавь меня от кокаина, избавь от слабости духа и избавь меня от Михаила

Семеновича Шполянского!..

Свеча наплывала, в комнате холодело, под утро кожа больного покрылась мелкими пупырышками, и на душе у больного значительно полегчало.

\* \* \*

Михаил же Семенович Шполянский провел остаток ночи на Малой-Провальной улице в большой комнате с низким потолком и старым портретом, на котором тускло глядели, тронутые временем, эполеты сороковых годов. Михаил Семенович без пиджака, в одной белой зефирной сорочке, поверх которой красовался черный с большим вырезом жилет, сидел на узенькой козетке и говорил женщине с бледным и матовым лицом такие слова:

– Ну, Юлия, я окончательно решил и поступаю к этой сволочи – гетману в броневой дивизион.

После этого женщина, кутающаяся в серый пуховый платок, истерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного Онегина, ответила так:

– Я очень жалею, что никогда я не понимала и не могу понимать твоих планов.

Михаил Семенович взял со столика перед козеткой стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил:

– И не нужно.

\* \* \*

Через два дня после этого разговора Михаил Семенович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином, с офицерской кокардой, вместо штатского платья – короткий полушубок до колен и на нем смятые защитные погоны. Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в «Гугенотах», ноги в гетрах. Весь Михаил Семенович с ног до головы был вымазан в машинном масле (даже лицо) и почему-то в саже. Один раз, и именно девятого декабря, две машины ходили в бой под Городом и, нужно сказать, успех имели чрезвычайный. Они проползли верст двадцать по шоссе, и после первых же их трехдюймовых ударов и пулеметного воя петлюровские цепи бежали от них. Прапорщик Страшкевич, румяный энтузиаст и командир четвертой машины, клялся Михаилу Семеновичу, что все четыре машины, ежели бы их выпустить разом, одни могли бы отстоять Город. Разговор этот происходил девятого вечером, а одиннадцатого в группе Щура, Копылова и других (наводчики, два шофера и механик) Шполянский, дежурный по дивизиону, говорил в сумерки так:

– Вы знаете, друзья, в сущности говоря, большой

вопрос, правильно ли мы делаем, отстаивая этого гетмана. Мы представляем собой в его руках не что иное, как дорогую и опасную игрушку, при помощи которой он насаждает самую черную реакцию. Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила и, возможно, единственно правильная.

Слушатели обожали Михаила Семеныча за то же, за что его обожали в клубе «Прах», – за исключительное красноречие.

– Какая же это сила? – спросил Копылов, пыхтя козьею ножкой.

Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножечко побеседовала и разошлась. Двенадцатого декабря вечером произошла в той же тесной компании вторая беседа с Михаилом Семеновичем за автомобильными сараями. Предмет этой беседы остался неизвестным, но зато хорошо известно, что накануне четырнадцатого декабря, когда в сараях дивизиона дежурили Щур, Копылов и курносый Петрухин, Михаил Семенович явился в сарай, имея при себе большой пакет в оберточной бумаге. Часовой Щур пропустил его в сарай, где тускло и красно горела мерзкая лампочка, а Копылов довольно фами-



льярно подмигнул на мешок и спросил:

– Сахар?

– Угу, – ответил Михаил Семенович.

В сарае заходил фонарь возле машин, мелькая, как глаз, и озабоченный Михаил Семенович возился вместе с механиком, приготавливая их к завтрашнему выступлению.

Причина: бумага у командира дивизиона капитана Плешко – «четырнадцатого декабря, в восемь часов утра, выступить на Печерск с четырьмя машинами».

Совместные усилия Михаила Семеновича и механика к тому, чтобы приготовить машины к бою, дали какие-то странные результаты. Совершенно здоровые еще накануне три машины (четвертая была в бою под командой Страшкевича) в утро четырнадцатого декабря не могли двинуться с места, словно их разбил паралич. Что с ними случилось, никто понять не мог. Какая-то дрянь осела в жиклерах, и сколько их ни продували шинными насосами, ничего не помогало. Утром возле трех машин в мутном рассвете была горестная суета с фонарями. Капитан Плешко был бледен, оглядывался, как волк, и требовал механика. Тут-то и начались катастрофы. Механик исчез. Выяснилось, что адрес его в дивизионе, вопреки всем правилам, совершенно неизвестен. Прошел слух, что механик внезапно заболел сыпным тифом. Это было в

восемь часов, а в восемь часов тридцать минут капитана Плешко постиг второй удар. Прапорщик Шполянский, уехавший в четыре часа ночи после возни с машинами на Печерск на мотоциклетке, управляемой Щуром, не вернулся. Возвратился один Щур и рассказал горестную историю. Мотоциклетка заехала в Верхнюю Теличку, и тщетно Щур отговаривал прапорщика Шполянского от безрассудных поступков. Означенный Шполянский, известный всему дивизиону своей исключительной храбростью, оставив Щура и взяв карабин и ручную гранату, отправился один во тьму на разведку к железнодорожному полотну. Щур слышал выстрелы. Щур совершенно уверен, что передовой разъезд противника, заскочивший в Теличку, встретил Шполянского и, конечно, убил его в неравном бою. Щур ждал прапорщика два часа, хотя тот приказал ждать его всего лишь один час, а после этого вернуться в дивизион, дабы не подвергать опасности себя и казенную мотоциклетку № 8175.

Капитан Плешко стал еще бледнее после рассказа Щура. Птички в телефоне из штаба гетмана и генерала Картузова вперебой пели и требовали выхода машин. В девять часов вернулся на четвертой машине с позиций румяный энтузиаст Страшкевич, и часть его румянца передалась на щеки командиру дивизиона. Энтузиаст повел машину на Печерск, и она, как уже

было сказано, заперла Суворовскую улицу.

В десять часов утра бледность Плешко стала неизменной. Бесследно исчезли два наводчика, два шофера и один пулеметчик. Все попытки двинуть машины остались без результата. Не вернулся с позиции Щур, ушедший по приказанию капитана Плешко на мотоциклетке. Не вернулась, само собою понятно, и мотоциклетка, потому что не может же она сама вернуться! Птички в телефонах начали угрожать. Чем больше рассветал день, тем больше чудес происходило в дивизионе. Исчезли артиллеристы Дуван и Мальцев и еще парочка пулеметчиков. Машины приобрели какой-то загадочный и заброшенный вид, возле них валялись гайки, ключи и какие-то ведра.

А в полдень, в полдень исчез сам командир дивизиона капитан Плешко.

## 10

Странные перетасовки, переброски, то стихийно боевые, то связанные с приездом ординарцев и писком штабных ящиков, трое суток водили часть полковника Най-Турса по снежным сугробам и завалам под Городом, на протяжении от Красного Трактира до Серебрянки на юге и до Поста-Волынского на юго-западе. Вечер же на четырнадцатое декабря привел эту

часть обратно в Город, в переулок, в здание заброшенных, с наполовину выбитыми стеклами, казарм.

Часть полковника Най-Турса была странная часть. И всех, кто видел ее, она поражала своими валенками. При начале последних трех суток в ней было около ста пятидесяти юнкеров и три прапорщика.

К начальнику первой дружины генерал-майору Блохину в первых числах декабря явился среднего роста черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Най-Турсом, бывшим эскадронным командиром второго эскадрона бывшего Белградского гусарского полка. Траурные глаза Най-Турса были устроены таким образом, что каждый, кто ни встречался с прихрамывающим полковником с вытертой георгиевской ленточкой на плохой солдатской шинели, внимательнейшим образом выслушивал Най-Турса. Генерал-майор Блохин после недолгого разговора с Наем поручил ему формирование второго отдела дружины с таким расчетом, чтобы оно было закончено к тринадцатому декабря. Формирование удивительным образом закончилось десятого декабря, и десятого же полковник Най-Турс, необычайно скупой на слова вообще, коротко заявил генерал-майору Блохину, терзаемому со всех сторон штабными птичками, о том, что он, Най-Турс, может выступить

уже со своими юнкерами, но при непременном условии, что ему дадут на весь отряд в сто пятьдесят человек папахи и валенки, без чего он, Най-Турс, считает войну совершенно невозможной. Генерал Блохин, выслушав картавого и лаконического полковника, охотно выписал ему бумагу в отдел снабжения, но предупредил полковника, что по этой бумаге он наверняка ничего не получит ранее, чем через неделю, потому что в этих отделах снабжения и в штабах невероятнейшая чепуха, кутерьма и безобразье. Картавый Най-Турс забрал бумагу, по своему обыкновению, дернул левым подстриженным усом и, не поворачивая головы ни вправо, ни влево (он не мог ее поворачивать, потому что после ранения у него была сведена шея, и в случае необходимости посмотреть вбок он поворачивался всем корпусом), отбыл из кабинета генерал-майора Блохина. В помещении дружины на Львовской улице Най-Турс взял с собою десять юнкеров (почему-то с винтовками) и две двуколки и направился с ними в отдел снабжения.

В отделе снабжения, помещавшемся в прекраснейшем особнячке на Бульварно-Кудрявской улице, в уютном кабинетике, где висела карта России и со времен Красного Креста оставшийся портрет Александры Федоровны, полковника Най-Турса встретил маленький, румяный странненьким румянцем, одетый

в серую тужурку, из-под ворота которой выглядывало чистенькое белье, делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II, Милютина, генерал-лейтенант Макушин.

Оторвавшись от телефона, генерал детским голосом, похожим на голос глиняной свистульки, спросил у Ная:

– Что вам угодно, полковник?

– Выступаем сейчас, – лаконически ответил Най, – пошу сгочно ваэнки и папахи на двести человек.

– Гм, – сказал генерал, пожевав губами и помяв в руках требования Ная, – видите ли, полковник, сегодня дать не можем. Сегодня составим расписание снабжения частей. Дня через три прошу прислать. И такого количества все равно дать не могу.

Он положил бумагу Най-Турса на видное место под пресс в виде голый женщины.

– Валенки, – монотонно ответил Най и, скосив глаза к носу, посмотрел туда, где находились носки его сапог.

– Как? – не понял генерал и удивленно уставился на полковника.

– Валенки сию минуту давайте.

– Что такое? Как? – генерал выпучил глаза до предела.

Най повернулся к двери, приоткрыл ее и крикнул в

теплый коридор особняка:

– Эй, взвод!

Генерал побледнел серенькой бледностью, переметнул взгляд с лица Ная на трубку телефона, оттуда на икону Божьей Матери в углу, а затем опять на лицо Ная.

В коридоре загремело, застучало, и красные околыши алексеевских юнкерских бескозырок и черные штыки замелькали в дверях. Генерал стал приподниматься с пухлого кресла.

– Я впервые слышу такую вещь... Это бунт...

– Пишите тгебование, ваше пгевосходительство, – сказал Най, – нам некогда, нам чегез час выходить. Непгиятель, говогят, под самым гогодом.

– Как?... Что это?...

– Живей, – сказал Най каким-то похоронным голосом.

Генерал, вдавив голову в плечи, выпучив глаза, вытянул из-под женщины бумагу и прыгающей ручкой нацарапал в углу, брызнув чернилами: «Выдать».

Най взял бумагу, сунул ее за обшлаг рукава и сказал юнкерам, наследившим на ковре:

– Ггузите валенки. Живо.

Юнкера, стуча и гремя, стали выходить, а Най задержался. Генерал, багровея, сказал ему:

– Я сейчас звоню в штаб командующего и подни-

маю дело о предании вас военному суду. Эт-то что-то...

– Попгобуйте, – ответил Най и проглотил слюну, – только попгобуйте. Ну, вот попгобуйте гади любопытства. – Он взялся за ручку, выглядывающую из расстегнутой кобуры. Генерал пошел пятнами и онемел.

– Звякни, гвупый стагик, – вдруг задушевно сказал Най, – я тебе из кольта звякну в голову, ты ноги пготянешь.

Генерал сел в кресло. Шея его полезла багровыми складками, а лицо осталось сереньким. Най повернулся и вышел.

Генерал несколько минут сидел в кожаном кресле, потом перекрестился на икону, взялся за трубку телефона, поднес ее к уху, услышал глухое и интимное «станция»... неожиданно ощутил перед собой траурные глаза картавого гусара, положил трубку и выглянул в окно. Увидал, как на дворе суетились юнкера, вынося из черной двери сарая серые связки валенок. Солдатская рожа каптенармуса, совершенно ошеломленного, виднелась на черном фоне. В руках у него была бумага. Най стоял у двуколки, растопырив ноги, и смотрел на нее. Генерал слабой рукой взял со стола свежую газету, развернул ее и на первой странице прочитал:

«У реки Ирпеня столкновения с разъездами



противника, пытавшимися проникнуть к Святошину...» -

бросил газету и сказал вслух:

– Будь проклят день и час, когда я ввязался в это...

Дверь открылась, и вошел похожий на бесхвостого хорька капитан – помощник начальника снабжения. Он выразительно посмотрел на багровые генеральские складки над воротничком и молвил:

– Разрешите доложить, господин генерал...

– Вот что, Владимир Федорович, – перебил генерал, задыхаясь и тоскливо блуждая глазами, – я почувствовал себя плохо... прилив... хем... я сейчас поеду домой, а вы, будьте добры, без меня здесь распорядитесь.

– Слушаю, – любопытно глядя, ответил хорек, – как же прикажете быть? Запрашивают из четвертой дружины и из конно-горной валенки. Вы изволили распорядиться двести пар?

– Да. Да! – пронзительно ответил генерал, – да, я распорядился! Я! Сам! Изволил! У них исключение! Они сейчас выходят. Да. На позиции. Да!!

Любопытные огоньки заиграли в глазах хорька.

– Четыреста пар всего...

– Что ж я сделаю? Что? – сипло вскричал генерал. – Рожу€ я, что ли?! Рожу€ валенки? Рожу€? Если будут запрашивать – дайте – дайте – дайте!!

Через пять минут на извозчике генерала Макушина отвезли домой.

\* \* \*

В ночь с тринадцатого на четырнадцатое мертвые казармы в Брест-Литовском переулке ожили. В громадном заслякощенном зале загорелась электрическая лампа на стене между окнами (юнкера днем висели на фонарях и столбах, протягивая какие-то проволоки). Полтораста винтовок стояли в козлах, и на грязных нарах вповалку спали юнкера. Най-Турс сидел у деревянного колченогого стола, заваленного краяхами хлеба, котелками с остатками простывшей жижи, подсумками и обоймами, разложив пестрый план Города. Маленькая кухонная лампочка отбрасывала пучок света на разрисованную бумагу, и Днепр был виден на ней разветвленным, сухим и синим деревом.

Около двух часов ночи сон стал морить Ная. Он шмыгал носом, клонился несколько раз к плану, как будто что-то хотел разглядеть в нем. Наконец негромко крикнул:

– Юнкег?!

– Я, господин полковник, – отозвалось у двери, и юнкер, шурша валенками, подошел к лампе.

– Я сейчас лягу, – сказал Най, – а вы меня газбудите чегез тги часа. Если будет телефоног’амма, газбудите пгапогщика Жагова, и в зависимости от ее содегжания он будет меня будить или нет.

Никакой телефонограммы не было... Вообще в эту ночь штаб не беспокоил отряд Ная. Вышел отряд на рассвете с тремя пулеметами и тремя двуколками и растянулся по дороге. Окраинные домишки словно вымерли. Но, когда отряд вышел на Политехническую широчайшую улицу, на ней застал движение. В раненьких сумерках мелькали, погромыхая, фуры, брели серые отдельные папахи. Все это направлялось назад в Город и часть Ная обходило с некоторой пугливостью. Медленно и верно рассветало, и над садами казенных дач над утоптаным и выбитым шоссе вставал и расходился туман.

С этого рассвета до трех часов дня Най находился на Политехнической стреле, потому что днем все-таки приехал юнкер из его связи на четвертой двуколке и привез ему записку карандашом из штаба.

«Охранять Политехническое шоссе и, в случае появления неприятеля, принять бой».

Этого неприятеля Най-Турс увидал впервые в три часа дня, когда на левой руке, вдали, на заснеженном плацу военного ведомства показались многочисленные всадники. Это и был полковник Козырь-Лешко,

согласно диспозиции полковника Торопца пытающийся войти на стрелу и по ней проникнуть в сердце Города. Собственно говоря, Козырь-Лешко, не встретивший до самого подхода к Политехнической стреле никакого сопротивления, не нападавал на Город, а вступал в него, вступал победно и широко, прекрасно зная, что следом за его полком идет еще курень конных гайдамаков полковника Сосненко, два полка синей дивизии, полк сечевых стрельцов и шесть батарей. Когда на плацу показались конные точки, шрапнели стали рваться высоко, по-журавлиному, в густом, обещающем снег небе. Конные точки собрались в ленту и, захватив во всю ширину шоссе, стали пухнуть, чернеть, увеличиваться и покатались на Най-Турса. По цепям юнкеров прокатился грохот затворов, Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал:

– Прямо по кавагегии!.. залпами... о-гонь!

Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отравили Козырю первый залп. Три раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен Политехнического института, и три раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял Най-Турсов батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе.

Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу

не видел Ная испуганным, а тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услышал вдали... одним словом, Най приказал отходить на Город. Один взвод остался и, перекатывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам. Так две версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души.

Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им:

– Бегом на Полевую и на Богщаговскую, узнать, где наши части и что с ними. Если встретите фуги, двуколки или какие-нибудь следствия передвижения, отступающие неорганизованно, взять их. В случае соприкосновения угрожать огнем, а затем его и применить...

Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер лицом в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепи Ная растянулись и стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля. Скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще по-

ворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги, и даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. И они, наконец, прибежали, пыхтя, как загнанные гончие, со свистом и хрипом. Най насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, стал перед ним и сказал, задыхаясь:

– Господин полковник, никаких наших частей нет не только на Шулявке, но и нигде нет, – он перевел дух. – У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы входя в Город...

Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушительный свист Ная.

Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по Фонарному и покатали по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, пятнадцать вооруженных и здоровых и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Най-Турс повернулся лицом к цепям и зычно и картаво отдал юнкерам никогда ими не слышанную, странную команду...

В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины, в составе двадцати восьми человек юнкеров. Самое интересное в этом

томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Командир отдела, штабс-капитан Безруков, и двое его помощников – прапорщики, утром уехавши в штаб, не возвращались. Николка – ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него.

Так дело тянулось до трех часов дня. Лица у юнкеров, в конце концов, стали тоскливыми. Эх... эх...

В три часа запищал полевой телефон.

– Это третий отдел дружины?

– Да.

– Командира к телефону.

– Кто говорит?

– Из штаба...

– Командир не вернулся.

– Кто говорит?

– Унтер-офицер Турбин.

– Вы старший?

– Так точно.

– Немедленно выведите команду по маршруту.

И Николка вывел двадцать восемь человек и повел по улице.

До двух часов дня Алексей Васильевич спал мертвым сном. Проснулся он словно облитый водой, глянул на часики на стуле, увидел, что на них без десяти минут два, и заметался по комнате. Алексей Васильевич натянул валенки, насовал в карманы, торопясь и забывая то одно, то другое, спички, портсигар, платок, браунинг и две обоймы, затянул потуже шинель, потом припомнил что-то, но поколебался, – это показалось ему позорным и трусливым, но все-таки сделал, – вынул из стола свой гражданский врачебный паспорт. Он повертел его в руках, решил взять с собой, но Елена окликнула его в это время, и он забыл его на столе.

– Слушай, Елена, – говорил Турбин, затягивая пояс и нервничая; сердце его сжималось нехорошим предчувствием, и он страдал при мысли, что Елена останется одна с Анютой в пустой большой квартире, – ничего не поделаешь. Не идти нельзя. Ну, со мной, надо полагать, ничего не случится. Дивизион не уйдет дальше окраин Города, а я стану где-нибудь в безопасном месте. Авось Бог сохранит и Николку. Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее, ну, авось отобьем Петлюру. Ну, прощай,



прощай...

Елена одна ходила по опустевшей гостиной от пианино, где, по-прежнему не убранный, виднелся разноцветный Валентин, к двери в кабинет Алексея. Паркет поскрипывал у нее под ногами. Лицо у нее было несчастное.

\* \* \*

На углу своей кривой улицы и улицы Владимирской Турбин стал нанимать извозчика. Тот согласился везти, но, мрачно сопя, назвал чудовищную сумму, и видно было, что он не уступит. Скрипнув зубами, Турбин сел в сани и поехал по направлению к музею. Морозило.

На душе у Алексея Васильевича было очень тревожно. Он ехал и прислушивался к отдаленной пулеметной стрельбе, которая взрывами доносилась откуда-то со стороны Политехнического института и как будто бы по направлению к вокзалу. Турбин думал о том, что бы это означало (полуденный визит Болботуна Турбин проспал), и, вертя головой, всматривался в тротуары. На них было хоть и тревожное и сумбурное, но все же большое движение.

– Стой... ст... – сказал пьяный голос.

– Что это значит? – сердито спросил Турбин.

Извозчик так натянул вожжи, что чуть не свалился Турбину на колени. Совершенно красное лицо качалось у оглобли, держась за вожжу и по ней пробираясь к сиденью. На дубленом полушубке поблескивали смятые прапорщичьи погоны. Турбина на расстоянии аршина обдал тяжелый запах перегоревшего спирта и луку. В руках у прапорщика покачивалась винтовка.

– Пав... пав... паварачивай, – сказал красный пьяный, – выса... высаживай пассажира... – Слово «пассажир» вдруг показалось красному смешным, и он хихикнул.

– Что это значит? – сердито повторил Турбин, – вы не видите, кто едет? Я на сборный пункт. Прошу оставить извозчика. Трогай!

– Нет, не трогай... – угрожающе сказал красный и только тут, поморгав глазами, заметил погоны Турбина. – А, доктор, ну, вместе... и я сяду...

– Нам не по дороге... Трогай!

– Па... а-звольте...

– Трогай!

Извозчик, втянув голову в плечи, хотел дернуть, но потом раздумал; обернувшись, он злобно и боязливо покосился на красного. Но тот вдруг отстал сам, потому что заметил пустого извозчика. Пустой хотел уехать, но не успел. Красный обеими руками поднял винтовку и погрозил ему. Извозчик застыл на месте, и

красный, спотыкаясь и икая, поплелся к нему.

– Знал бы, за пятьсот не поехал, – злобно бурчал извозчик, нахлестывая круп клячи, – стрельнет в спину, что ж с него возьмешь?

Турбин мрачно молчал.

«Вот сволочь... такие вот позорят все дело», – злобно думал он.

На перекрестке у оперного театра кипела суeta и движение. Прямо посредине на трамвайном пути стоял пулемет, охраняемый маленьким иззябшим кадетом, в черной шинели и наушниках, и юнкером в сером. Прохожие, как мухи, кучками лепились по тротуару, любопытно глядя на пулемет. У аптеки, на углу, Турбин уже в виду музея отпустил извозчика.

– Прибавить надо, ваше высокоблагородие, – злобно и настойчиво говорил извозчик, – знал бы, не поехал бы. Вишь, что делается!

– Будет.

– Детей зачем-то ввязали в это... – слышался женский голос.

Тут только Турбин увидел толпу вооруженных у музея. Она колыхалась и густела. Смутно мелькнули между полами шинелей пулеметы на тротуаре. И тут кипуче забарабанил пулемет на Печерске.

Вра... вра... вра... вра... вра... вра... вра...

«Чепуха какая-то уже, кажется, делается», – расте-

рянно думал Турбин и, ускорив шаг, направился к музею через перекресток.

«Неужели опоздал?... Какой скандал... Могут подумать, что я сбежал...»

Прапорщики, юнкера, кадеты, очень редкие солдаты волновались, кипели и бегали у гигантского подъезда музея и у боковых разломанных ворот, ведущих на плац Александровской гимназии. Громадные стекла двери дрожали поминутно, двери стонали, и в круглое белое здание музея, на фронте которого красовалась золотая надпись:

«На благое просвещение русского народа»,

вбегали вооруженные, смятые и встревоженные юнкера.

– Боже! – невольно вскрикнул Турбин, – они уже ушли.

Мортиры безмолвно шурились на Турбина и, одинокие и брошенные, стояли там же, где вчера.

«Ничего не понимаю... что это значит?»

Сам не зная зачем, Турбин побежал по плацу к пушкам. Они вырастали по мере движения и грозно смотрели на Турбина. И вот крайняя. Турбин остановился и застыл: на ней не было замка. Быстрым бегом он перерезал плац обратно и выскочил вновь на улицу. Здесь еще больше кипела толпа, кричали многие голоса сразу и торчали и прыгали штыки.

– Картузова надо ждать! Вот что! – выкрикивал звонкий встревоженный голос. Какой-то прапорщик пересек Турбину путь, и тот увидел на спине у него желтое седло с болтающимися стремянами.

– Польскому легиону отдать.

– А где он?

– А черт его знает!

– Все в музей! Все в музей!

– На Дон!

Прапорщик вдруг остановился, сбросил седло на тротуар.

– К чертовой матери! Пусть пропадет все, – яростно завопил он, – ах, штабные!..

Он метнулся в сторону, грозя кому-то кулаками.

«Катастрофа... Теперь понимаю... Но вот в чем ужас – они, наверно, ушли в пешем строю. Да, да, да... Несомненно. Вероятно, Петлюра подошел неожиданно. Лошадей нет, и они ушли с винтовками, без пушек... Ах ты, боже мой... к Анжу надо бежать... Может быть, там узнаю... Даже наверно, ведь кто-нибудь же да остался?»

Турбин выскочил из вертящейся суеты и, больше ни на что не обращая внимания, побежал назад к оперному театру. Сухой порыв ветра пробежал по асфальтовой дорожке, окаймляющей театр, и пошевелил край полуоборванной афиши на стене театра, у

чернооконного бокового подъезда. Кармен. Кармен.

И вот Анжу. В окнах нет пушек, в окнах нет золотых погон. В окнах дрожит и переливается огненный, зыбкий отсвет. Пожар? Дверь под руками Турбина звякнула, но не поддавалась. Турбин постучал тревожно. Еще раз постучал. Серая фигура, мелькнув за стеклом двери, открыла ее, и Турбин попал в магазин. Турбин, оторопев, всмотрелся в неизвестную фигуру. На ней была студенческая черная шинель, а на голове штатская, молью траченная, шапка с ушами, притянутыми на темя. Лицо странно знакомое, но как будто чем-то обезображенное и искаженное. Печь яростно гудела, пожирая какие-то листки бумаги. Бумагой был усеян весь пол. Фигура, впустив Турбина, ничего не объясняя, тотчас же метнулась от него к печке и села на корточки, причем багровые отблески заиграли на ее лице.

«Малышев? Да, полковник Малышев», – узнал Турбин.

Усов на полковнике не было. Гладкое синевыбритое место было вместо них.

Малышев, широко отмахнув руку, сгреб с полу листы бумаги и сунул их в печку.

«Ага...а».

– Что это? Кончено? – глухо спросил Турбин.

– Кончено, – лаконически ответил полковник, вско-

чил, рванулся к столу, внимательно обшарил его глазами, несколько раз хлопнул ящиками, выдвигая и задвигая их, быстро согнулся, подобрал последнюю пачку листов на полу и их засунул в печку. Лишь после этого он повернулся к Турбину и прибавил иронически спокойно: – Повоевали – и будет! – Он полез за пазуху, вытащил торопливо бумажник, проверил в нем документы, два каких-то листка надорвал крестнакрест и бросил в печь. Турбин в это время всматривался в него. Ни на какого полковника Малышев больше не походил. Перед Турбиным стоял довольно плотный студент, актер-любитель с припухшими малиновыми губами.

– Доктор? Что же вы? – Малышев беспокойно указал на плечи Турбина. – Снимите скорей. Что вы делаете? Откуда вы? Не знаете, что ли, ничего?

– Я опоздал, полковник, – начал Турбин.

Малышев весело улыбнулся. Потом вдруг улыбка слетела с лица, он виновато и тревожно качнул головой и молвил:

– Ах ты, боже мой, ведь это я вас подвел! Назначил вам этот час... Вы, очевидно, днем не выходили из дому? Ну, ладно. Об этом нечего сейчас говорить. Одним словом: снимайте скорее погоны и бегите, прячьтесь.

– В чем дело? В чем дело, скажите, ради бога?...

– Дело? – иронически весело переспросил Малышев, – дело в том, что Петлюра в городе. На Печерске, если не на Крещатике уже. Город взят. – Малышев вдруг оскалил зубы, скосил глаза и заговорил опять неожиданно, не как актер-любитель, а как прежний Малышев. – Штабы предали нас. Еще утром надо было разбежаться. Но я, по счастью, благодаря хорошим людям, узнал все еще ночью, и дивизион успел разогнать. Доктор, некогда думать, снимайте погоны!

– ...а там, в музее, в музее...

Малышев потемнел.

– Не касается, – злобно ответил он, – не касается! Теперь меня ничего больше не касается. Я только что был там, кричал, предупреждал, просил разбежаться. Больше сделать ничего не могу-с. Своих я всех спас. На убой не послал! На позор не послал! – Малышев вдруг начал выкрикивать истерически, очевидно что-то нагорело в нем и лопнуло, и больше себя он сдерживать не мог. – Ну, генералы! – Он сжал кулаки и стал грозить кому-то. Лицо его побагровело.

В это время с улицы откуда-то в высоте взвыл пулемет, и показалось, что он трясет большой соседний дом.

Малышев встрепенулся, сразу стих.

– Ну-с, доктор, ходу! Прощайте. Бегите! Только не на улицу, а вот отсюда, через черный ход, а там дво-



рами. Там еще открыто. Скорей.

Малышев пожал руку ошеломленному Турбину, круто повернулся и убежал в темное ущелье за перегородкой. И сразу стихло в магазине. А на улице стих пулемет.

Наступило одиночество. В печке горела бумага. Турбин, несмотря на окрики Малышева, как-то вяло и медленно подошел к двери. Нашарил крючок, спустил его в петлю и вернулся к печке. Несмотря на окрики, Турбин действовал не спеша, на каких-то вялых ногах, с вялыми, скомканными мыслями. Непрочный огонь пожрал бумагу, устье печки из веселого пламенного превратилось в тихое красноватое, и в магазине сразу потемнело. В сереньких тенях лепились полки по стенам. Турбин обвел их глазами и вяло же подумал, что у мадам Анжу еще до сих пор пахнет духами. Нежно и слабо, но пахнет.

Мысли в голове у Турбина сбились в бесформенную кучу, и некоторое время он совершенно бессмысленно смотрел туда, где исчез побритый полковник. Потом, в тишине, ком постепенно размотался. Вылез самый главный и яркий лоскут – Петлюра тут. «Пэтурра€, Пэтурра€», – слабенько повторил Турбин и усмехнулся, сам не зная чему. Он подошел к зеркалу в простенке, затянутому слоем пыли, как тафтой.

Бумага догорела, и последний красный язычок, по-

дразнив немного, угас на полу. Стало сумеречно.

– Петлюра, это так дико... В сущности, совершенно пропащая страна, – пробормотал Турбин в сумерках магазина, но потом опомнился: – Что же я мечтаю? Ведь, чего доброго, сюда нагрянут?

Тут он заметался, как и Малышев перед уходом, и стал срывать погоны. Нитки затрещали, и в руках остались две серебряных потемневших полоски с гимнастерки и еще две зеленых с шинели. Турбин поглядел на них, повертел в руках, хотел спрятать в карман на память, но подумал и сообразил, что это опасно, решил сжечь. В горючем материале недостатка не было, хоть Малышев и спалил все документы. Турбин нагреб с полу целый ворох шелковых лоскутов, всунул его в печь и поджег. Опять заходили уроды по стенам и по полу, и опять временно ожило помещенье мадам Анжу. В пламени серебряные полоски покоробились, вздулись пузырями, стали смуглыми, потом скорчились...

Возник существенно важный вопрос в турбинской голове – как быть с дверью? Оставить на крючке или открыть? Вдруг кто-нибудь из добровольцев, вот так же, как Турбин, отставший, прибежит, – ан укрыться-то и негде будет! Турбин открыл крючок. Потом его обожгла мысль: паспорт? Он ухватился за один карман, другой – нет. Так и есть! Забыл, ах, это уже скандал.

Вдруг нарвешься на них? Шинель серая. Спросят – кто? Доктор... а вот докажи-ка! Ах, чертова рассеянность!

«Скорее», – шепнул голос внутри.

Турбин, больше не раздумывая, бросился в глубь магазина и по пути, по которому ушел Малышев, через маленькую дверь выбежал в темноватый коридор, а оттуда по черному ходу во двор.

## 11

Повинуясь телефонному голосу, унтер-офицер Турбин Николай вывел двадцать восемь человек юнкеров и через весь Город провел их согласно маршруту. Маршрут привел Турбина с юнкерами на перекресток, совершенно мертвенный. Никакой жизни на нем не было, но грохоту было много. Кругом – в небе, по крышам, по стенам – гремели пулеметы.

Неприятель, очевидно, должен был быть здесь, потому что это был последний, конечный пункт, указанный телефонным голосом. Но никакого неприятеля пока что не показывалось, и Николка немного запутался – что делать дальше? Юнкера его, немножко бледные, но все же храбрые, как и их командир, разлеглись цепью на снежной улице, а пулеметчик Ивашин сел на корточки возле пулемета, у обочины тро-

туара. Юнкера настороженно глядели вдаль, подымая головы от земли, ждали, что, собственно, произойдет?

Предводитель же их был полон настолько важных и значительных мыслей, что даже осунулся и побледнел. Поражало предводителя, во-первых, отсутствие на перекрестке всего того, что было обещано голосом. Здесь, на перекрестке, Николка должен был заставить отряд третьей дружины и «подкрепить его». Никакого отряда не было. Даже и следов его не было.

Во-вторых, поражало Николку то обстоятельство, что боевой пулеметный дробот временами слышался не только впереди, но и слева, и даже, пожалуй, немножко сзади. В-третьих, он боялся испугаться и все время проверял себя: «Не страшно?» – «Нет, не страшно», – отвечал бодрый голос в голове, и Николка от гордости, что он, оказывается, храбрый, еще больше бледнел. Гордость переходила в мысль о том, что если его, Николку, убьют, то хоронить будут с музыкой. Очень просто: плывет по улице белый глазетовый гроб, и в гробу погибший в бою унтер-офицер Турбин с благородным восковым лицом, и жаль, что крестов теперь не дают, а то непременно с крестом на груди и георгиевской лентой. Бабы стоят у ворот. «Кого хоронят, миленькие?» – «Унтер-офицера Турбина...» – «Ах, какой красавец...» И музыка. В бою, знаете ли, приятно

помереть. Лишь бы только не мучиться. Размышления о музыке и лентах несколько скрасили неуверенное ожидание неприятеля, который, очевидно, не повинаясь телефонному голосу, и не думал показываться.

– Ждать будем здесь, – сказал Николка юнкерам, стараясь, чтобы голос его звучал поувереннее, но тот не очень уверенно звучал, потому что кругом все-таки было немножко не так, как бы следовало, чепуховато как-то. Где отряд? Где неприятель? Странно, что как будто бы в тылу стреляют?

\* \* \*

И предводитель со своим воинством дождался. В поперечном переулке, ведущем с перекрестка на Брест-Литовскую стрелку, неожиданно загрели выстрелы и посыпались по переулку серые фигуры в бешеном беге. Они неслись прямо на Николкиных юнкеров, и винтовки торчали у них в разные стороны.

«Обошли?» – грянуло в Николкиной голове, он метнулся, не зная, какую команду подать. Но через мгновение он разглядел золотые пятна у некоторых бегущих на плечах и понял, что это свои.

Тяжелые, рослые, запаренные в беге, константиновские юнкера в папахх вдруг остановились, упали

на одно колено и, бледно сверкнув, дали два залпа по переулку туда, откуда прибежали. Затем вскочили и, бросая винтовки, кинулись через перекресток, мимо Николкиного отряда. По дороге они рвали с себя погоны, подсумки и пояса, бросали их на разъезженный снег. Рослый, серый, грузный юнкер, равняясь с Николкой, поворачивая к Николкиному отряду голову, зычно, задыхаясь, кричал:

– Бегите, бегите с нами! Спасайся, кто может!

Николкины юнкера в цепи стали ошеломленно подниматься. Николка совершенно одурел, но в ту же секунду справился с собой и, молниеносно подумав: «Вот момент, когда можно быть героем», – закричал своим пронзительным голосом:

– Не смей вставать! Слушать команду!!

«Что они делают?» – остервенело подумал Николка.

Константиновцы, – их было человек двадцать, – выскочив с перекрестка без оружия, рассыпались в поперечном же Фонарном переулке, и часть из них бросилась в первые громадные ворота. Страшно захлопотали железные двери, и затопали сапоги в звонком пролете. Вторая кучка в следующие ворота. Остались только пятеро, и они, ускоряя бег, понеслись прямо по Фонарному и исчезли вдали.

Наконец на перекресток выскочил последний бе-

жавший, в бледных золотистых погонах на плечах. Николка вмиг обострившимся взглядом узнал в нем командира второго отделения первой дружины, полковника Най-Турса.

– Господин полковник! – смятенно и в то же время обрадованно закричал ему навстречу Николка, – ваши юнкера бегут в панике.

И тут произошло чудовищное. Най-Турс вбежал на растоптанный перекресток в шинели, подвернутой с двух боков, как у французских пехотинцев. Смятая фуражка сидела у него на самом затылке и держалась ремнем под подбородком. В правой руке у Най-Турса был кольт и вскрытая кобура била и хлопала его по бедру. Давно не бритое, щетинистое лицо его было грозно, глаза скошены к носу, и теперь вблизи на плечах были явственно видны гусарские зигзаги, Най-Турс подскочил к Николке вплотную, взмахнул левой свободной рукой и оборвал с Николки сначала левый, а затем правый погон. Вощеные лучшие нитки лопнули с треском, причем правый погон отлетел с шинельным мясом. Николку так мотнуло, что он тут же убедился, какие у Най-Турса замечательно крепкие руки. Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Ивашиным. Затем заплясали кругом перекошенные лица юнкеров, и все полетело к

чертовой матери. Не сошел Николка с ума в этот момент лишь потому, что у него на это не было времени, так стремительны были поступки полковника Най-Турса. Обернувшись к разбитому взводу лицом, он взвыл команду необычным, неслыханным картавым голосом. Николка суеверно подумал, что этакий голос слышен на десять верст и, уж наверно, по всему городу.

– Юнкегга! Слушай мою команду: сгивай погоны, кокагды, подсумки, бгосай огужие! По Фонагному переулку сквозными двогами на Газъезжую, на Подол! На Подол!! Гвите документы по догоге, пгячьтесь, гасыпьтеь, всех по догоге гоните с собой-о-ой!

Затем, взмахнув кольтом, Най-Турс провыл, как кавалерийская труба:

– По Фонагному! Только по Фонагному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом магш!

Несколько секунд взвод не мог прийти в себя. Потом юнкера совершенно побелели. Ивашин перед лицом Николки рвал погоны, подсумки полетели на снег, винтовка со стуком покатилаь по ледяному горбу тротуара. Через полминуты на перекрестке валялись патронные сумки, пояса и чья-то растрепанная фуражка. По Фонарному переулку, влетая во дворы, ведущие на Разъезжую улицу, убегали юнкера.

Най-Турс с размаху всадил кольт в кобуру, подско-



чил к пулемету у тротуара, скорчился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел:

– Оглох? Беги!

Странный пьяный экстаз поднялся у Николки откуда-то из живота, и во рту моментально пересохло.

– Не желаю, господин полковник, – ответил он сухонным голосом, сел на корточки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет.

Вдали, там, откуда прибежал остаток най-турсова отряда, внезапно выскочило несколько конных фигур. Видно было смутно, что лошади под ними танцуют, как будто играют, и что лезвия серых шашек у них в руках. Най-Турс сдвинул ручки, пулемет грохнул – ар-ра-паа, стал, снова грохнул и потом длинно загремел. Все крыши на домах сейчас же закипели и справа и слева. К конным фигурам прибавилось еще несколько, но затем одну из них швырнуло куда-то в сторону, в окно дома, другая лошадь стала на дыбы, показавшись страшно длинной, чуть не до второго этажа, и несколько всадников вовсе исчезли. Затем мгновенно исчезли, как сквозь землю, все остальные всадники.

Най-Турс развел ручки, кулаком погрозил небу, причем глаза его налились светом, и прокричал:

– Ребят! Ребят!.. Штабные стегвы!..

Обернулся к Николке и выкрикнул голосом, который показался Николке звуком нежной кавалерийской трубы:

– Удигай, гвупый мавый! Говою – удигай!

Он переметнул взгляд назад и убедился, что юнкера уже исчезли все, потом переметнул взгляд с перекрестка вдаль, на улицу, параллельную Брест-Литовской стреле, и выкрикнул с болью и злобой:

– А, чегт!

Николка повернулся за ним и увидел, что далеко, еще далеко на Кадетской улице, у чахлого, засыпанного снегом бульвара, появились темные шеренги и начали припадать к земле. Затем вывеска тут же над головами Най-Турса и Николки, на углу Фонарного переулка:

Зубной врач  
Берта Яковлевна  
Принц-Металл

хлопнула, и где-то за воротами посыпались стекла. Николка увидел куски штукатурки на тротуаре. Они прыгнули и поскакали. Николка вопросительно вперил взор в полковника Най-Турса, желая узнать, как нужно понимать эти дальние шеренги и штукатурку. И полковник Най-Турс отнесся к ним странно. Он подпрыгнул на одной ноге, взмахнул другой, как будто в вальсе, и по-бальному оскалился неуместной улыб-

кой. Затем полковник Най-Турс оказался лежащим у ног Николки. Николкин мозг задернуло черным туманцем, он сел на корточки и неожиданно для себя, сухо, без слез всхлипнувши, стал тянуть полковника за плечи, пытаясь его поднять. Тут он увидел, что из полковника через левый рукав стала вытекать кровь, а глаза у него зашли к небу.

– Господин полковник, господин...

– Унтег-цег, – выговорил Най-Турс, причем кровь потекла у него изо рта на подбородок, а голос начал вытекать по капле, слабея на каждом слове, – бгосьте ге-гойствовать к чегтям, я умигаю... Мало-Пговальная...

Больше он ничего не пожелал объяснить. Нижняя его челюсть стала двигаться. Ровно три раза и судорожно, словно Най давился, потом перестала, и полковник стал тяжелый, как большой мешок с мукой.

«Так умирают? – подумал Николка. – Не может быть. Только что был живой. В бою не страшно, как видно. В меня же почему-то не попадают...»

Зуб...

...врач, -

затрепетало второй раз над головой, и еще где-то лопнули стекла. «Может быть, он просто в обмороке?» – в смятении вздорно подумал Николка и тянул полковника. Но поднять того не было никакой возможности. «Не страшно?» – подумал Николка и почув-

ствовал, что ему безумно страшно. «Отчего? Отчего?» – думал Николка и сейчас же понял, что страшно от тоски и одиночества, что, если бы был сейчас на ногах полковник Най-Турс, никакого бы страха не было... Но полковник Най-Турс был совершенно недвижим, больше никаких команд не подавал, не обращал внимания ни на то, что возле его рукава расширялась красная большая лужа, ни на то, что штукатурка на выступах стен ломалась и крошилась, как сумасшедшая. Николке же стало страшно от того, что он совершенно один. Никакие конные не наскакивали больше сбоку, но, очевидно, все были против Николки, а он последний, он совершенно один... И одиночество погнало Николку с перекрестка. Он полз на животе, перебирая руками, причем правым локтем, потому что в ладони он зажимал Най-Турсов кольт. Самый страх наступает уже в двух шагах от угла. Вот сейчас попадут в ногу, и тогда не уползешь, наедут петлюровцы и изрубят шашками. Ужасно, когда лежишь, а тебя рубят... Я буду стрелять, если в кольте есть патроны... И всего-то полтора шага... подтянуться, подтянуться... раз... и Николка за стеной в Фонарном переулке.

«Удивительно, страшно удивительно, что не попали. Прямо чудо. Это уж чудо Господа Бога, – думал Николка, поднимаясь, – вот так чудо. Теперь сам видал – чудо. Собор Парижской Богоматери. Виктор Гю-

го. Что-то теперь с Еленой? А Алексей? Ясно – рвать погоны, значит, произошла катастрофа».

Николка вскочил, весь до шеи вымазанный снегом, сунул кольт в карман шинели и полетел по переулку. Первые же ворота на правой руке зияли, Николка вбежал в гулкий пролет, выбежал на мрачный, скверный двор с сараями красного кирпича по правой и кладкой дров по левой, сообразил, что сквозной проход по середине, скользая, бросился туда и напоролся на человека в тулупе. Совершенно явственно. Рыжая борода и маленькие глазки, из которых сочится ненависть. Курносый, в бараньей шапке, Нерон. Человек, как бы играя в веселую игру, обхватил Николку левой рукой, а правой уцепился за его левую руку и стал выкручивать ее за спину. Николка впал в ошеломление на несколько мгновений. «Боже. Он меня схватил, ненавидит!.. Петлюровец...»

– Ах ты, наволочь! – сипло закричал рыжебородый и запыхтел. – Куды? Стой! – потом вдруг завопил: – Держи, держи. Юнкерей держи. Погон скинул, думаешь, сволота, не узнают? Держи!

Бешенство овладело всем Николкой, с головы до ног. Он резко сел вниз, сразу, так что лопнул сзади хлястик на шинели, повернулся и с неестественной силой вылетел из рук рыжего. Секунду он его не видел, потому что оказался к нему спиной, но потом по-

вернулся и опять увидал. У рыжебородого не было никакого оружия, он даже не был военным, он был дворник. Ярость пролетела мимо Николкиных глаз совершенно красным одеялом и сменилась чрезвычайной уверенностью. Ветер и мороз залетел Николке в жаркий рот, потому что он оскалился, как волчонок. Николка выбросил руку с кольцом из кармана, подумав: «Убью, гадину, лишь бы были патроны». Голоса своего он не узнал, до того голос был чужд и страшен.

– Убью, гад! – Николка просипел, шаря пальцами в мудреном кольце, и мгновенно сообразил, что он забыл, как из него стрелять. Желто-рыжий дворник, увидавший, что Николка вооружен, в отчаянии и ужасе пал на колени и взвыл, чудесным образом превратившись из Нерона в змею:

– А! Ваше благородие! Ваше...

Все равно Николка непременно бы выстрелил, но кольт не пожелал выстрелить. «Разряжен. Эх, беда!» – вихрем подумал Николка. Дворник, рукой закрываясь и пятясь, с колен садился на корточки, отваливаясь назад, и выл истошно, губя Николку. Не зная, что сделать, чтобы закрыть эту громкую пасть в медной бороде, Николка в отчаянии от нестреляющего револьвера, как боевой петух, наскочил на дворника и тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя, ручкой в зубы. Николкина злоба вылетела мгно-

венно. Дворник же вскочил на ноги и побежал от Николки в тот пролет, откуда Николка появился. Сходя с ума от страху, дворник уже не выл, бежал, скользая по льду и спотыкаясь, раз обернулся, и Николка увидел, что половина его бороды стала красной. Затем он исчез. Николка же бросился вниз, мимо сарая, к воротам на Разъезжую и возле них впал в отчаяние. «Кончено. Опоздал. Попался. Боже, и не стреляет». Тщетно он тряс огромный болт и замок. Ничего сделать было нельзя. Рыжий дворник, лишь только проскочили Най-Турсовы юнкера, запер ворота на Разъезжую, и перед Николкой была совершенно неодолимая преграда – гладкая доверху, глухая железная стена. Николка обернулся, глянул на небо, чрезвычайно низкое и густое, увидел на брандмауэре легкую черную лестницу, уходившую на самую крышу четырехэтажного дома. «Полезть разве?» – подумал он, и при этом ему дурацки вспомнилась пестрая картинка: Нат Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице. «Э, Нат Пинкертон, Америка... а я вот влезу и потом что? Как идиот буду сидеть на крыше, а дворник сзовет в это время петлюровцев. Этот Нерон предаст... Зубы я ему расколотил... Не простит!»

И точно. Из-под ворот в Фонарный переулок Николка услышал призывные отчаянные вопли дворни-

ка: «Сюды! Сюды!» – и копытный топот. Николка понял: вот что – конница Петлюры заскочила с фланга в Город. Сейчас она уже в Фонарном переулке. Тот Най-Турс и кричал... на Фонарный возвращаться нельзя.

Все это он сообразил уже, неизвестно каким образом оказавшись на штабеле дров, рядом с сараем, под стеной соседнего дома. Обледеневшие поленья зашатались под ногами, Николка заковылял, упал, разорвал штанину, добрался до стены, глянул через нее и увидел точь-в-точь такой же двор. Настолько такой, что он ждал, что опять выскочит рыжий Нерон в полушубке. Но никто не выскочил. Страшно оборвалось в животе и в пояснице, и Николка сел на землю, в ту же секунду его кольт прыгнул в руке и оглушительно выстрелил. Николка удивился, потом сообразил: «Предохранитель-то был заперт, а теперь я его сдвинул. Оказия».

Черт. И тут ворота на Разъезжую глухие. Заперты. Значит, опять к стене. Но, увы, дров уже нет. Николка запер предохранитель и сунул револьвер в карман. Полез по куче битого кирпича, а затем, как муха по отвесной стене, вставляя носки в такие норки, что в мирное время не поместилась бы и копейка. Оборвал ногти, окровенил пальцы и всцарапался на стену. Лежа на ней животом, услышал, что сзади, в первом дво-



ре, раздался оглушительный свист и Неронов голос, а в этом, третьем, дворе, в черном окне из второго этажа на него глянуло искаженное ужасом женское лицо и тотчас исчезло. Падая со второй стены, угадал довольно удачно: попал в сугроб, но все-таки что-то свернулось в шее и лопнуло в черепе. Чувствуя гудение в голове и мелькание в глазах, Николка побежал к воротам...

О, ликование! И они заперты, но какой вздор! Сквозная узорная решетка. Николка, как пожарный, полез по ней, перелез, спустился и оказался на Разъезжей улице. Увидал, что она была совершенно пуста, ни души. «Четверть минутки подышу, не более, а то сердце лопнет», – думал Николка и глотал раскаленный воздух. «Да... документы...» Николка вытащил из кармана блузы пачку замасленных удостоверений и изорвал их. И они разлетелись, как снег. Услыхал, что сзади со стороны того перекрестка, на котором он оставил Най-Турса, загремел пулемет и ему отозвались пулеметы и ружейные залпы впереди Николки, оттуда, из Города. Вот оно что. Город захватили. В Городе бой. Катастрофа. Николка, все еще задыхаясь, обеими руками счищал снег. Кольт бросить? Най-Турсов кольт? Нет, ни за что. Авось удастся проскочить. Ведь не могут же они быть повсюду сразу?

Тяжко вздохнув, Николка, чувствуя, что ноги его

значительно ослабели и развинтились, побежал по вымершей Разъезжей и благополучно добрался до перекрестка, откуда расходились две улицы: Лубочицкая на Подол и Ловская, уклоняющаяся в центр Города. Тут увидел лужу крови у тумбы и навоз, две брошенных винтовки и синюю студенческую фуражку. Николка сбросил свою папаху и эту фуражку надел. Она оказалась ему мала и придала ему гадкий, залихватский и гражданский вид. Какой-то босяк, выгнанный из гимназии. Николка осторожно из-за угла заглянул в Ловскую и очень далеко на ней увидел танцующую конницу с синими пятнами на папах. Там была какая-то возня и хлопушки выстрелов. Дернул по Лубочицкой. Тут впервые увидел живого человека. Бежала какая-то дама по противоположному тротуару, и шляпа с черным крылом сидела у нее на боку, а в руках моталась серая кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу: «Пэтурра, Пэтурра». Из кулька, в левой руке дамы, сквозь дыру, сыпалась на тротуар морковь. Дама кричала и плакала, бросаясь в стену. Вихрем проскользнул какой-то мещанин, крестился на все стороны и кричал:

– Господисусе! Володька, Володька! Петлюра идет!

В конце Лубочицкой уже многие сновали, суетились и убегали в ворота. Какой-то человек в черном пальто ошалел от страха, рванулся в ворота, засадил в ре-

шетку свою палку и с треском ее сломал.

А время тем временем летело и летело, и, оказывается, налетали уже сумерки, и поэтому, когда Николка с Лубочицкой выскочил в Вольский спуск, на углу вспыхнул электрический фонарь и зашипел. В лавчонке бухнула штора и сразу скрыла пестрые коробки с надписью «мыльный порошок». Извозчик на санях вывернул их в сугроб совершенно, заворачивая за угол, и хлестал зверски клячу кнутом. Мимо Николки прыгнул назад четырехэтажный дом с тремя подъездами, и во всех трех лупили двери поминутно, и некий, в котиковом воротнике, проскочил мимо Николки и вывел в ворота:

– Петр! Петр! Ошалел, что ли? Закрывай! Закрывай ворота!

В подъезде грохнула дверь, и слышно было, как на темной лестнице гулкий женский голос прокричал:

– Петлюра идет. Петлюра!

Чем дальше убежал Николка на спасительный Подол, указанный Най-Турсом, тем больше народу летало, и суетилось, и моталось по улицам, но страху уже было меньше, и не все бежали в одном направлении с Николкой, а некоторые проносились навстречу.

У самого спуска на Подол, из подъезда серокаменного дома вышел торжественно кадетишка в серой шинели с белыми погонами и золотой буквой «В» на

них. Нос у кадетика был пуговицей. Глаза его бойко шныряли по сторонам, и большая винтовка сидела у него за спиной на ремне. Прохожие сновали, с ужасом глядели на вооруженного кадета и разбегались. А кадет постоял на тротуаре, прислушался к стрельбе в верхнем Городе с видом значительным и разведочным, потянул носом и захотел куда-то двинуться. Николка резко оборвал маршрут, двинул поперек тротуара, напер на кадетика грудью и сказал шепотом:

– Бросайте винтовку и немедленно прячьтесь.

Кадетишка вздрогнул, испугался, отшатнулся, но потом угрожающе ухватился за винтовку. Николка же старым испытанным приемом, напирая и напирая, вдавил его в подъезд и там уже, между двумя дверями, внушил:

– Говорю вам, прячьтесь. Я – юнкер. Катастрофа. Петлюра Город взял.

– Как это так взял? – спросил кадет и открыл рот, причем оказалось, что у него нет одного зуба с левой стороны.

– А вот так, – ответил Николка и, махнув рукой по направлению верхнего Города, добавил: – Слышите? Там конница Петлюрина на улицах. Я еле спасся. Бегите домой, винтовку спрячьте и всех предупредите.

Кадет окоченел, и так окоченевшим его Николка и оставил в подъезде, потому что некогда с ним разго-

варивать, когда он такой непонятливый.

На Подоле не было такой сильной тревоги, но суета была, и довольно большая. Прохожие учащали шаги, часто задирали головы, прислушивались, очень часто выскакивали кухарки в подъезды и ворота, наскоро кутаясь в серые платки. Из верхнего Города непрерывно слышалось кипение пулеметов. Но в этот сумеречный час четырнадцатого декабря уже нигде, ни вдали, ни вблизи, не было слышно пушек.

Путь Николки был длинен. Пока он пересек Подол, сумерки совершенно закутали морозные улицы, и суету и тревогу смягчил крупный мягкий снег, полетевший в пятна света у фонарей. Сквозь его редкую сеть мелькали огни, в лавчонках и в магазинах весело светилось, но не во всех: некоторые уже ослепли. Все больше начинало лепить сверху. Когда Николка пришел к началу своей улицы, крутого Алексеевского спуска, и стал подниматься по ней, он увидел у ворот дома № 7 картину: двое мальчуганов в сереньких вязаных курточках и шлемах только что скатились на салазках со спуска. Один из них, маленький и круглый, как шар, залепленный снегом, сидел и хохотал. Другой, постарше, тонкий и серьезный, распутывал узел на веревке. У ворот стоял парень в тулупе и ковырял в носу. Стрельба стала слышнее. Она вспыхивала там, наверху, в самых разных местах.

– Васька, Васька, как я задницей об тумбу! – кричал маленький.

«Катаются мирно так», – удивленно подумал Николка и спросил у парня ласковым голосом:

– Скажите, пожалуйста, чего это стреляют там наверху?

Парень вынул палец из носа, подумал и сказал в нос:

– Офицерню бьют наши.

Николка исподлобья посмотрел на него и машинально пошевелил ручкой кольца в кармане. Старший мальчик отозвался сердито:

– С офицерами расправляются. Так им и надо. Их восемьсот человек на весь Город, а они дурака валяли. Пришел Петлюра, а у него миллион войска.

Он повернулся и потащил салазки.

\* \* \*

Сразу распахнулась кремовая штора – с веранды в маленькую столовую. Часы... тонк-танк...

– Алексей вернулся? – спросил Николка у Елены.

– Нет, – ответила она и заплакала.

Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа... сидит Анята и плачет, положив локти на стол. Конечно, об Алексее Васильевиче... В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кулаком, а Николка у ее ног на полу в красном огненном пятне, расставив ноги ножницами.

Болботун... полковник. У Щегловых сегодня днем говорили, что это не кто иной, как великий князь Михаил Александрович. В общем, отчаяние здесь в полутьме и огненном блеске. Что ж плакать об Алексее? Плакать – это, конечно, не поможет. Убили его, несомненно. Все ясно. В плен они не берут. Раз не пришел, значит, попался вместе с дивизионом, и его убили. Ужас в том, что у Петлюры, как говорят, восемьсот тысяч войска, отборного и лучшего. Нас обманули, послали на смерть...

Откуда же взялась эта страшная армия? Соткалась из морозного тумана в игольчатом синем и сумеречном воздухе... Ах, страшная страна Украина! Туманно... туманно...

Елена встала и протянула руку.

– Будь прокляты немцы. Будь они прокляты. Но если только Бог не накажет их, значит, у него нет справедливости. Возможно ли, чтобы они за это не ответили? Они ответят. Будут они мучиться так же, как и мы, будут.

Она упрямо повторяла «будут», словно заклинала. На лице и на шее у нее играл багровый цвет, а пустые глаза были окрашены в черную ненависть. Николка, растопыбив ноги, впал от таких выкриков в отчаяние и печаль.

– Может, он еще и жив? – робко спросил он. – Видишь ли, все-таки он врач... Если даже и схватили, может быть, не убьют, а заберут в плен.

– Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как и мы, – говорила Елена звонко и ненавистно грозила огню пальцами.

«Эх, эх... Болботун не может быть великий князь. Восемьсот тысяч войска не может быть, и миллион тоже... Впрочем, туман. Вот оно, налетело страшное времечко. И Тальберг-то, оказывается, умный, вовремя уехал. Огонь на полу танцует. Ведь вот же были мирные времена и прекрасные страны. Например, Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз и грелся в таком же огне. И даже ему, нищему, было хорошо. Ну, нигде, никогда не было такого гнусного гада, как этот рыжий дворник Нерон.



Все, конечно, нас ненавидят, но ведь он шакал форменный! Сзади за руку».

\* \* \*

И вот тут за окнами забухали пушки. Николка вскочил и заметался.

– Ты слышишь? слышишь? слышишь? Может быть, это немцы? Может быть, союзники подошли на помощь? Кто? Ведь не могут же они стрелять по Городу, если они его уже взяли.

Елена сложила руки на груди и сказала:

– Никол, я тебя все равно не пущу. Не пущу. Умоляю тебя никуда не выходить. Не сходи с ума.

– Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь Подол.

– Хорошо, иди. Если ты можешь оставить меня одну в такую минуту – иди.

Николка смутился.

– Ну, тогда я выйду только во двор послушаю.

– И я с тобой.

– Леночка, а если Алексей вернется, ведь с парадного звонка не услышим?

– Да, не услышим. И это ты будешь виноват.

– Ну, тогда, Леночка, я даю тебе честное слово, что

я дальше двора шагу не сделаю.

– Честное слово?

– Честное слово.

– Ты за калитку не выйдешь? На гору лезть не будешь? Постоишь во дворе?

– Честное слово.

– Иди.

\* \* \*

Густейший снег шел четырнадцатого декабря 1918 года и застилал Город. И эти странные, неожиданные пушки стреляли в девять часов вечера. Стреляли они только четверть часа.

Снег таял у Николки за воротником, и он боролся с соблазном влезть на снежные высоты. Оттуда можно было бы увидеть не только Подол, но и часть верхнего Города, семинарию, сотни рядов огней в высоких домах, холмы и на них домишки, где лампадками мерцают окна. Но честного слова не должен нарушать ни один человек, потому что нельзя будет жить на свете. Так полагал Николка. При каждом грозном и отдаленном грохоте он молился таким образом: «Господи, дай...»

Но пушки смолкли.

«Это были наши пушки», – горестно думал Николка.

Возвращаясь от калитки, он заглянул в окно к Щегловым. Во флигельке, в окошке, завернулась беленькая шторка и видно было: Марья Петровна мыла Петьку. Петька голый сидел в корыте и беззвучно плакал, потому что мыло залезло ему в глаза. Марья Петровна выжимала на Петьку губку. На веревке висело белье, а над бельем ходила и кланялась большая тень Марьи Петровны. Николке показалось, что у Щегловых очень уютно и тепло, а ему в расстегнутой шинели холодно.

\* \* \*

В глубоких снегах, верстах в восьми от предместья Города, на севере, в сторожке, брошенной сторожем и заваленной наглухо белым снегом, сидел штабс-капитан. На столике лежала краюха хлеба, стоял ящик полевого телефона и малюсенькая трехлинейная лампочка с закопченным пузатым стеклом. В печке догорал огонек. Капитан был маленький, с длинным острым носом, в шинели с большим воротником.левой рукой он щипал и ломал краюху, а правой жал кнопки телефона. Но телефон словно умер и ничего ему не отвечал.

Кругом капитана, верст на пять, не было ничего, кроме тьмы и в ней густой метели. Были сугробы сне-

га.

Еще час прошел, и штабс-капитан оставил телефон в покое. Около девяти вечера он посопел носом и сказал почему-то вслух:

– С ума сойду. В сущности, следовало бы застрелиться. – И, словно в ответ ему, запел телефон.

– Это шестая батарея? – спросил далекий голос.

– Да, да, – с буйной радостью ответил капитан.

Встревоженный голос издалека казался очень радостным и глухим:

– Откройте немедленно огонь по урочищу... – Далекий смутный собеседник квакал по нити, – ураганный... – Голос перерезало. – У меня такое впечатление... – И на этом голос опять перерезало.

– Да, слушаю, слушаю, – отчаянно скаля зубы, вскрикивал капитан в трубку. Прошла долгая пауза.

– Я не могу открыть огня, – сказал капитан в трубку, отлично чувствуя, что говорит он в полную пустоту, но не говорить не мог. – Вся моя прислуга и трое прапорщиков разбежались. На батарее я один. Передайте это на Пост.

Еще час просидел штабс-капитан, потом вышел. Очень сильно мело. Четыре мрачных и страшных пушки уже заносило снегом, и на дулах и у замков начало наметать гребешки. Крутило и вертело, и капитан тыкался в холодном визге метели, как слепой. Так

в слепоте он долго возился, пока не снял на ощупь, в снежной тьме первый замок. Хотел бросить его в колодец за сторожкой, но раздумал и вернулся в сторожку. Выходил еще три раза и все четыре замка с орудий снял и спрятал в люк под полом, где лежала картошка. Затем ушел в тьму, предварительно задув лампу. Часа два он шел, утопая в снегу, совершенно невидимый и темный, и дошел до шоссе, ведущего в Город. На шоссе тускло горели редкие фонари. Под первым из этих фонарей его убили конные с хвостами на головах шашками, сняли с него сапоги и часы.

Тот же голос возник в трубке телефона в шести верстах от сторожки на запад, в землянке.

– Откройте... огонь по урочищу немедленно. У меня такое впечатление, что неприятель прошел между вами и нами на Город.

– Слушаете? слушаете? – ответили ему из землянки.

– Узнайте на Посту... – перерезало.

Голос, не слушая, заквакал в трубке в ответ:

– Беглым по урочищу... по коннице...

И совсем перерезало.

Из землянки с фонарями вылезли три офицера и три юнкера в тулупах. Четвертый офицер и двое юнкеров были возле орудий у фонаря, который метель старалась погасить. Через пять минут пушки стали пры-

гать и страшно бить в темноту. Мощным грохотом они наполнили всю местность верст на пятнадцать кругом, донесли до дома № 13 по Алексеевскому спуску... Господи, дай...

Конная сотня, вертясь в метели, выскочила из темноты сзади на фонари и перебила всех юнкеров, четырех офицеров. Командир, оставшийся в землянке у телефона, выстрелил себе в рот.

Последними словами командира были:

– Штабная сволочь. Отлично понимаю большевиков.

\* \* \*

Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя на двери большой крест и изломанную надпись под ним перочинным ножом:

п. Турс. 14-го дек. 1918 г. 4 ч. дня

«Най» откинул для конспирации на случай, если придут с обыском петлюровцы.

Хотел не спать, чтобы не пропустить звонка, Елене в стену постучал и сказал:

– Ты спи, – я не буду спать.

И сейчас же после этого заснул как мертвый, одетым, на кровати. Елена же не спала до рассвета и все

слушала и слушала, не раздастся ли звонок. Но не было никакого звонка, и старший брат Алексей пропал.

\* \* \*

Уставшему, разбитому человеку спать нужно, и уж одиннадцать часов, а все спится и спится... Оригинально спится, я вам доложу! Сапоги мешают, пояс впился под ребра, ворот душит, и кошмар уселся лапками на груди.

Николка завалился головой навзничь, лицо побаровело, из горла свист... Свист!.. Снег и паутина какая-то... Ну, кругом паутина, черт ее дери! Самое главное пробраться сквозь эту паутину, а то она, проклятая, нарастает, нарастает и подбирается к самому лицу. И чего доброго, окутает так, что и не выберешься! Так и задохнешься. За сетью паутины чистейший снег, сколько угодно, целые равнины. Вот на этот снег нужно выбраться, и поскорее, потому что чей-то голос как будто где-то ахнул: «Никол!» И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала... Ти-ки-тики, тики, тики. Фью. Фи-у! Тики! Тики. Фу ты, черт! Ее самое не видно, но свистит где-то близко, и еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник! Николка!!»

– Эх! – крикнул Николка, разодрал паутину и разом сел, всклокоченный, растерзанный, с бляхой на боку. Светлые волосы стали дыбом, словно кто-то Николку долго трепал.

– Кто? Кто? Кто? – в ужасе спросил Николка, ничего не понимая.

– Кто. Кто, кто, кто, кто, кто, так! так!.. Фи-ти! Фи-у! Фьюх! – ответила паутина, и скорбный голос сказал, полный внутренних слез:

– Да, с любовником!

Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах-галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами. Глаза, мутные и скорбные, глядели из глубочайших орбит невероятно огромной головы, коротко стриженной. Несомненно, оно было молодо, видение-то, но кожа у него была на лице старческая, серенькая, и зубы глядели кривые и желтые. В руках у видения находилась большая клетка с накинутым на нее черным платком и распечатанное голубое письмо...

«Это я еще не проснулся», – сообразил Николка и сделал движение рукой, стараясь разодрать видение, как паутину, и пребольно ткнулся пальцами в прутья. В черной клетке тотчас, как взбесилась, закричала птица и засвистала, и затарахтела.



– Николка! – где-то далеко-далеко прокричал Еленин голос в тревоге.

«Господи Иисусе, – подумал Николка, – нет, я проснулся, но сразу же сошел с ума, и знаю отчего – от военного переутомления. Боже мой! И вижу уже чепуху... а пальцы? Боже! Алексей не вернулся... ах, да... он не вернулся... убили... ой, ой, ой!»

– С любовником на том самом диване, – сказала видение трагическим голосом, – на котором я читал ей стихи.

Видение оборачивалось к двери, очевидно, к какому-то слушателю, но потом окончательно устремилось к Николке:

– Да-с, на этом самом диване... Они теперь сидят и целуются... после векселей на семьдесят пять тысяч, которые я подписал не задумываясь, как джентльмен. Ибо джентльменом был и им останусь всегда. Пусть целуются!

«О, ей, ей», – подумал Николка. Глаза его выкатились и спина похолодела.

– Впрочем, извиняюсь, – сказала видение, все более и более выходя из зыбкого, сонного тумана и превращаясь в настоящее живое тело, – вам, вероятно, не совсем ясно? Так не угодно ли, вот письмо, – оно вам все объяснит. Я не скрываю своего позора ни от кого, как джентльмен.

И с этими словами неизвестный вручил Николке глубокое письмо. Совершенно ошалеv, Николка взял его и стал читать, шевеля губами, крупный, разгонистый и взволнованный почерк. Без всякой даты, на нежном небесном листке было написано:

«Милая, милая Леночка! Я знаю ваше доброе сердце и направляю его прямо к вам, породственному. Телеграмму я, впрочем, послала, он все вам сам расскажет, бедный мальчик. Лариосика постиг ужасный удар, и я долго боялась, что он не переживет его. Милочка Рубцова, на которой, как вы знаете, он женился год тому назад, оказалась подкольной змеей! Приютите его, умоляю, и согрейте так, как вы умеете это делать. Я аккуратно буду переводить вам содержание. Житомир стал ему ненавистен, и я вполне это понимаю. Впрочем, не буду больше ничего писать, – я слишком взволнована, и сейчас идет санитарный поезд, он сам вам все расскажет. Целую вас крепко, крепко и Сережу!»

После этого стояла неразборчивая подпись.

– Я птицу захватил с собой, – сказал неизвестный, вздыхая, – птица – лучший друг человека. Многие, правда, считают ее лишней в доме, но я одно могу сказать – птица уж, во всяком случае, никому не делает зла.

Последняя фраза очень понравилась Николке. Не

стараясь уже ничего понять, он застенчиво почесал непонятым письмом бровь и стал спускать ноги с кровати, думая: «Неприлично... спросить, как его фамилия?... Удивительное происшествие...»

– Это канарейка? – спросил он.

– Но какая! – ответил неизвестный восторженно, – собственно, это даже и не канарейка, а настоящий кенар. Самец. И таких у меня в Житомире пятнадцать штук. Я перевез их к маме, пусть она кормит их. Этот негодяй, наверное, посвертывал бы им шеи. Он ненавидит птиц. Разрешите поставить ее пока на ваш письменный стол?

– Пожалуйста, – ответил Николка. – Вы из Житомира?

– Ну да, – ответил неизвестный, – и представьте, совпадение: я прибыл одновременно с вашим братом.

– Каким братом?

– Как с каким? Ваш брат прибыл вместе со мной, – ответил удивленно неизвестный.

– Какой брат? – жалобно вскричал Николка, – какой брат? Из Житомира?!

– Ваш старший брат...

Голос Елены явственно выкрикнул в гостиной: «Николка! Николка! Илларион Ларионыч! Да будьте же его! Будите!»

– Трики, фит, фит, трики! – протяжно заорала птица.

Николка уронил голубое письмо и пулей полетел через книжную в столовую и в ней замер, растопырив руки.

Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках лежал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно синеватой бледностью, а зубы стиснуты. Елена металась возле него, халат ее распахнулся, и были видны черные чулки и кружево белья. Она хваталась то за пуговицы на груди Турбина, то за руки, крича: «Никол! Никол!»

Через три минуты Николка в сдвинутой на затылок студенческой фуражке, в серой шинели нараспашку бежал, тяжело пыхтя, вверх по Алексеевскому спуску и бормотал: «А если его нету? Вот, боже мой, история с желтыми отворотами! Но Курицкого нельзя звать ни в коем случае, это совершенно ясно... Кит и кот...» Птица оглушительно стучала у него в голове – кити, кот, кити, кот!

Через час в столовой стоял на полу таз, полный красной жидкой водой, валялись комки красной рваной марли и белые осколки посуды, которую обрушил с буфета неизвестный с желтыми отворотами, доставая стакан. По осколкам все бегали и ходили с хрустом взад и вперед. Турбин бледный, но уже не синеватый.

ватый, лежал по-прежнему навзничь на подушке. Он пришел в сознание и хотел что-то сказать, но остробородый, с засученными рукавами, доктор в золотом пенсне, наклонившись к нему, сказал, вытирая марлей окровавленные руки:

– Помолчите, коллега...

Анюта, белая, меловая, с огромными глазами, и Елена, растрепанная, рыжая, подымали Турбина и снимали с него залитую кровью и водой рубаху с разрезанным рукавом.

– Вы разрежьте дальше, уж нечего жалеть, – сказал остробородый.

Рубаху на Турбине искромсали ножницами и сняли по кускам, обнажив худое желтоватое тело и левую руку, только что наглухо забинтованную до плеча. Концы дранок торчали вверху повязки и внизу. Николка стоял на коленях, осторожно расстегивая пуговицы, и снимал с Турбина брюки.

– Совсем раздевайте и сейчас же в постель, – говорил клинобородый басом. Анюта из кувшина лила ему на руки, и мыло клочьями падало в таз. Неизвестный стоял в сторонке, не принимая участия в толкотне и суете, и горько смотрел то на разбитые тарелки, то, краснея, на растерзанную Елену – капот ее совсем разошелся. Глаза неизвестного были увлажнены слезами.

Несли Турбина из столовой в его комнату все, и тут неизвестный принял участие: он подсунул руки под коленки Турбину и нес его ноги.

В гостиной Елена протянула врачу деньги. Тот отстранил рукой...

– Что вы, ей-богу, – сказал он, – с врача? Тут поважней вопрос. В сущности, в госпиталь надо...

– Нельзя, – донесся слабый голос Турбина, – нельзя в госпит...

– Помолчите, коллега, – отозвался доктор, – мы и без вас управимся. Да, конечно, я сам понимаю... Черт знает что сейчас делается в Городе... – Он кивнул на окно. – Гм... пожалуй, он прав: нельзя... Ну, что ж, тогда дома... Сегодня вечером я приеду.

– Опасно это, доктор? – заметила Елена тревожно. Доктор уставился в паркет, как будто в блестящей желтизне и был заключен диагноз, крякнул и, покрутив бородку, ответил:

– Кость цела... Гм... крупные сосуды не затронуты... нерв тоже... Но нагноение будет... В рану попали клочья шерсти от шинели... Температура... – Выдав из себя эти малопонятные обрывки мыслей, доктор повысил голос и уверенно сказал: – Полный покой... Морфий, если будет мучиться, я сам вприсну вечером. Есть – жидкое... ну, бульон дадите... Пусть не разговаривает много...

– Доктор, доктор, я очень вас прошу... он просил, пожалуйста, никому не говорить...

Доктор искоса закинул на Елену взгляд хмурый и глубокий и забурчал:

– Да, это я понимаю... Как это он подвернулся?...

Елена только сдержанно вздохнула и развела руками.

– Ладно, – буркнул доктор и боком, как медведь, полез в переднюю.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## 12

В маленькой спальне Турбина на двух окнах, выходящих на застекленную веранду, упали темненькие шторы. Комнату наполнил сумрак, и Еленина голова засветилась в нем. В ответ ей светилось беловатое пятно на подушке – лицо и шея Турбина. Провод от штепселя змеей сполз к стулу, и розовенькая лампочка в колпачке загорелась и день превратила в ночь. Турбин сделал знак Елене прикрыть дверь.

– Анюту сейчас же предупредить, чтобы молчала...

– Знаю знаю... Ты не говори, Алеша, много.

– Сам знаю... Я тихонько... Ах, если рука пропадет!

– Ну что ты, Алеша... лежи, молчи... Пальто-то этой дамы у нас пока будет?

– Да, да. Чтобы Николка не вздумал тащить его. А то на улице... Слышишь? Вообще, ради бога, не пускай его никуда.

– Дай бог ей здоровья, – искренне и нежно сказала Елена, – вот, говорят, нет добрых людей на свете...

Слабенькая краска выступила на скулах раненого, и глаза уперлись в невысокий белый потолок, потом



он перевел их на Елену и, поморщившись, спросил:

– Да, позвольте, а что это за головастик?

Елена наклонилась в розовый луч и вздернула плечами.

– Понимаешь, ну, только что перед тобой, минутки две, не больше, явление: Сережин племянник из Житомира. Ты же слышал: Суржанский... Ларион... Ну, знаменитый Лариосик.

– Ну?...

– Ну, приехал к нам с письмом. Какая-то драма у них. Только что начал рассказывать, как она тебя привезла.

– Птица какая-то, бог его знает...

Елена со смехом и ужасом в глазах наклонилась к постели:

– Что птица!.. Он ведь жить у нас просится. Я уж не знаю, как и быть.

– Жи-ить?...

– Ну, да... Только молчи и не шевелись, прошу тебя, Алеша... Мать умоляет, пишет, ведь этот самый Лариосик кумир ее... Я такого балбеса, как этот Лариосик, в жизнь свою не видала. У нас он начал с того, что всю посуду расхлопал. Синий сервиз. Только две тарелки осталось.

– Ну вот. Я уж не знаю, как быть...

В розовой тени долго слышался шепот. В отдалении

звучали за дверями и портьерами глухо голоса Николки и неожиданного гостя. Елена простирала руки, умоляя Алексея говорить поменьше. Слышался в столовой хруст – взбудораженная Анюта выметала синий сервиз. Наконец, было решено в шепоте. Ввиду того, что теперь в городе будет происходить черт знает что и очень возможно, что придут реквизируют комнаты, ввиду того, что денег нет, а за Лариосика будут платить, – пустить Лариосика. Но обязать его соблюдать правила турбинской жизни. Относительно птицы – испытать. Ежели птица несносна в доме, потребовать ее удаления, а хозяина ее оставить. По поводу сервиза, ввиду того, что у Елены, конечно, даже язык не повернется и вообще это хамство и мещанство, – сервиз предать забвению. Пустить Лариосика в книжную, поставить там кровать с пружинным матрасом и столик...

Елена вышла в столовую. Лариосик стоял в скорбной позе, повесив голову и глядя на то место, где некогда на буфете помещалось стопкой двенадцать тарелок. Мутно-голубые глаза выражали полную скорбь. Николка стоял напротив Лариосика, открыв рот и слушая какие-то речи. Глаза у Николки были наполнены напряженнейшим любопытством.

– Нету кожи в Житомире, – растерянно говорил Лариосик, – понимаете, совершенно нету. Такой кожи,

как я привык носить, нету. Я кликнул клич сапожникам, предлагая какие угодно деньги, но нету. И вот пришлось...

Увидя Елену, Лариосик побледнел, переступил на месте и, глядя почему-то вниз на изумрудные кисти капота, заговорил так:

– Елена Васильевна, сию минуту я еду в магазины, кликну клич, и у вас будет сегодня же сервис. Я не знаю, что мне и говорить. Как перед вами извиниться? Меня, безусловно, следует убить за сервис. Я ужасный неудачник, – отнесся он к Николке. – И сейчас же в магазины, – продолжал он Елене.

– Я вас очень прошу ни в какие магазины не ездить, тем более, что все они, конечно, закрыты. Да позвольте, неужели вы не знаете, что у нас в Городе происходит?

– Как же не знать! – воскликнул Лариосик. – Я ведь с санитарным поездом, как вы знаете из телеграммы.

– Из какой телеграммы? – спросила Елена. – Мы никакой телеграммы не получили.

– Как? – Лариосик открыл широкий рот. – Не получили? А-га! То-то я смотрю, – он повернулся к Николке, – что вы на меня с таким удивлением... Но позвольте... Мама дала вам телеграмму в шестьдесят три слова.

– Ц... Ц... Шестьдесят три слова! – поразился Николка. – Какая жалость. Ведь телеграммы теперь так

плохо ходят. Совсем, вернее, не ходят.

– Как же теперь быть? – огорчился Лариосик. – Вы разрешите мне у вас? – Он беспомощно огляделся, и сразу по глазам его было видно, что у Турбиных ему очень нравится и никуда он уходить бы не хотел.

– Все устроено, – ответила Елена и милостиво кивнула, – мы согласны. Оставайтесь и устраивайтесь. Видите, у нас какое несчастье...

Лариосик огорчился еще больше. Глаза его заволокло слезной дымкой.

– Елена Васильевна! – с чувством сказал он. – Располагайте мной, как вам угодно. Я, знаете ли, могу не спать по три и четыре ночи подряд.

– Спасибо, большое спасибо.

– А теперь, – Лариосик обратился к Николке, – не могу ли я у вас попросить ножницы?

Николка, взъерошенный от удивления и интереса, слетал куда-то и вернулся с ножницами. Лариосик взялся за пуговицу френча, поморгал глазами и опять обратился к Николке:

– Впрочем, виноват, на минутку в вашу комнату...

В Николкиной комнате Лариосик снял френч, обнаружив необыкновенно грязную рубашку, вооружился ножницами, вспорол черную лоснящуюся подкладку френча и вытащил из-под нее толстый зелено-желтый сверток денег. Этот сверток он торжественно при-

нес в столовую и выложил перед Еленой на стол, говоря:

– Вот, Елена Васильевна, разрешите вам сейчас же внести деньги за мое содержание.

– Почему же такая спешность, – краснея, спросила Елена, – это можно было бы и после...

Лариосик горячо запротестовал:

– Нет, нет, Елена Васильевна, вы уж, пожалуйста, примите сейчас. Помилуйте, в такой трудный момент деньги всегда остро нужны, я это прекрасно понимаю! – Он развернул пакет, причем изнутри выпала карточка какой-то женщины. Лариосик проворно подобрал ее и со вздохом спрятал в карман. – Да оно и лучше у вас будет. Мне что нужно? Мне нужно будет папирос купить и канареечного семени для птицы...

Елена на минуту забыла рану Алексея, и приятный блеск показался у нее в глазах, настолько обстоятельны и уместны были действия Лариосика.

«Он, пожалуй, не такой балбес, как я первоначально подумала, – подумала она, – вежлив и добросовестен, только чужак какой-то. Сервиз безумно жаль».

«Вот тип», – думал Николка. Чудесное появление Лариосика вытеснило в нем его печальные мысли.

– Здесь восемь тысяч, – говорил Лариосик, двигая по столу пачку, похожую на яичницу с луком, – если мало, мы подсчитаем, и сейчас же я выпишу еще.

– Нет, нет, потом, отлично, – ответила Елена. – Вы вот что: я сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же купайтесь. Но скажите, как же вы приехали, как же вы пробрались, не понимаю? – Елена стала комкать деньги и прятать их в громадный карман капота.

Глаза Лариосика наполнились ужасом от воспоминания.

– Это кошмар! – воскликнул он, складывая руки, как католик на молитве. – Я ведь девять дней... нет, виноват, десять?... позвольте... воскресенье, ну да, понедельник... одиннадцать дней ехал от Житомира!..

– Одиннадцать дней! – вскричал Николка. – Видишь! – почему-то укоризненно обратился он к Елене.

– Да-с, одиннадцать... Выехал я, поезд был гетманский, а по дороге превратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну, вот, ну, господи, забыл... все равно... и тут меня, вообразите, хотели расстрелять. Явились эти петлюровцы, с хвостами...

– Синие? – спросил Николка с любопытством.

– Красные... да, с красными... и кричат: слазь! Мы тебя сейчас расстреляем! Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде. А у меня протекция просто была... у мамы к доктору Курицкому.

– Курицкому? – многозначительно воскликнул Николка. – Тэк-с, – кот... и кит. Знаем.

– Кити, кот, кити, кот, – за дверями глухо отозвалась птичка.

– Да, к нему... он и привел поезд к нам в Житомир... Боже мой! Я тут начинаю Богу молиться. Думаю, все пропало! И, знаете ли? птица меня спасла. Я говорю, я не офицер. Я ученый-птицевод, показываю птицу... Тут, знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло – иди себе, бисов птицевод. Вот наглец! Я бы его убил, как джентльмен, но сами понимаете...

– Еле... – глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстро повернулась и, не дослушав, бросилась туда.

\* \* \*

Пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой.

На лице у Николки показались колючие и нелепые без двадцати час оттого, что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочны-

ми словами «Мало-Провальная...», словами, произнесенными умирающим на боевом перекрестке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже, чем в ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и важным падением с неба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариосика, и тем обстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие: Петлюра взял Город. Тот самый Петлюра и, поймите! – тот самый Город. И что теперь будет происходить в нем, для ума человеческого, даже самого развитого, непонятно и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стряслась отвратительная катастрофа – всех наших перебили, захватили врасплох. Кровь их, несомненно, вопиет к небу – это раз. Преступники-генералы и штабные мерзавцы заслуживают смерти – это два. Но, кроме ужаса, нарастает и жгучий интерес, – что же, в самом деле, будет? Как будут жить семьсот тысяч людей здесь, в Городе, под властью загадочной личности, которая носит такое страшное и некрасивое имя – Петлюра? Кто он такой? Почему?... Ах, впрочем, все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, с кровавым... Эх... эх... ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда, ничего не известно, но, вернее всего, и Мышлаевского и Карася можно считать конченными.

Николка на скользком и сальном столе колот лед



широким косарем. Льдины или раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали по всей кухне, пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкой лежал под рукой.

– Мало... Провальная... – шевелил Николка губами, и в мозгу его мелькали образы Най-Турса, рыжего Нерона и Мышлаевского. И как только последний образ, в разрезной шинели, пронизывал мысли Николки, лицо Анюты, хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственней показывало без двадцати пяти пять – час угнетения и печали. Целы ли разноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающий шпорным звоном – дрень... дрень...

– Неси лед, – сказала Елена, открывая дверь в кухню.

– Сейчас, сейчас, – торопливо отозвался Николка, завинтил крышку и побежал.

– Анюта, милая, – заговорила Елена, – смотри никому ни слова не говори, что Алексея Васильевича ранили. Если узнают, храни Бог, что он против них воевал, будет беда.

– Я, Елена Васильевна, понимаю. Что вы! – Анюта тревожными, расширенными глазами поглядела на Елену. – Что в городе делается, царица небесная! Тут на Боричевом Току, иду я, лежат двое без сапог... Кро-

ви, крови!.. Стоит кругом народ, смотрит... Говорит какой-то, что двух офицеров убили... Так и лежат, головы без шапок... У меня и ноги подкосились, убежала, чуть корзину не бросила...

Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук ее косо поехали на пол сковородки...

– Тише, тише, ради бога, – молвила Елена, простирая руки.

На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу – ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что после катастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшного одиннадцатидневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущений Лариосику чрезвычайно понравилась в жилище у Турбиных. Чем именно – Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого не уяснил точно.

Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавица Елена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучил момент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно, и стал помогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжной

комнате.

– У вас очень открытое лицо, располагающее к себе, – сказал вежливо Лариосик и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, как сложил сложную гремющую кровать и ущемил между двумя створками Николкину руку. Боль была так сильна, что Николка взвыл, правда, глухо, но настолько сильно, что прибежала, шурша, Елена. У Николки, напрягающего все силы, чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена и Лариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее в разные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть не заплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах.

– Боже мой! – сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. – Что же это со мной делается?! До чего мне не везет!.. Вам очень больно? Простите меня, ради бога.

Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку, по его распоряжению, струю холодной воды из крана.

После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась и разложилась и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет, Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг. У него, кроме страсти и любви к птицам,

была еще и страсть к книгам. Здесь же на открытых многополочных шкафах тесным строем стояли сокровища. Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми обложками и черными папками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давно разложилась кровать и застелилась постель и возле нее стоял стул и на спинке его висело полотенце, а на сидении среди всяких необходимых мужчине вещей – мыльницы, папирос, спичек, часов, утвердилась в наклонном положении таинственная женская карточка, а Лариосик все еще находился в книжной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясь на корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, не зная, за что скорее взяться – за «Посмертные записки Пиквикского клуба» или за «Русский вестник 1871 года». Стрелки стояли на двенадцати.

Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль. Поэтому часы не били двенадцать раз, стояли молча стрелки и были похожи на сверкающий меч, обернутый в траурный флаг.

Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепко привязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутный столбик. В три часа в спальне Турбина он показал 39,6. Елена, побледнев, хотела стряхнуть его, но Турбин повернул го-

лову, повел глазами и слабо, но настойчиво произнес: «Покажи». Елена молча и неохотно подала ему термометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул.

В пять часов он лежал с холодным серым мешком на голове, и в мешке таял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящими и очень похорошели.

– Тридцать девять и шесть... здорово, – говорил он, изредка облизывая сухие, потрескавшиеся губы. – Так... Все может быть... Но, во всяком случае, практике конец... надолго. Лишь бы руку-то сохранить... а то что я без руки.

– Алеша, молчи, пожалуйста, – просила Елена, оправляя у него на плечах одеяло... Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху у самой левой подмышки тянулся и расползался по телу сухой, колючий жар. Порой он наполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели. К вечеру, когда всюду зажглись лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед трех – Елены, Николки и Лариосика, – ртутный столб, разбухая и рождаясь колдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся до деления 40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять и расплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассеявшийся на одеяле, а теперь она превратилась в желтые струны, которые потянулись, как

водоросли в воде. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили эти водоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и стала малоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди порою превращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогда качал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в ране выворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненый невольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал и уступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливало тело, простыни, всю тесную пещеру под одеялом, и раненый просил – «пить». То Николкино, то Еленино, то Лариосиково лица показывались в дымке, наклонялись и слушали. Глаза у всех стали страшно похожими, нахмуренными и сердитыми. Стрелки Николки сразу стянулись и стали как у Елены – ровно половина шестого. Николка поминутно выходил в столовую – свет почему-то горел в этот вечер тускло и тревожно – и смотрел на часы. Тонкрх... тонкрх... сердито и предостерегающе ходили часы с хрипотой, и стрелки их показывали то девять, то девять с четвертью, то девять с половиной...

– Эх, эх, – вздыхал Николка и брел, как сонная муха, из столовой через прихожую мимо спальни Турбина в гостиную, а оттуда в кабинет и выглядывал, от-

вернув белые занавески, через балконную дверь на улицу... «Чего доброго, не струсил бы врач... не придет...» – думал он. Улица, крутая и кривая, была пустынее, чем все эти дни, но все же уж не так ужасна. И шли изредка и скрипели понемногу извозчичьи сани. Но редко... Николка соображал, что придется, пожалуй, идти... И думал, как уломать Елену.

– Если до десяти с половиной он не придет, я пойду сама с Ларионом Ларионовичем, а ты останешься дежурить у Алеши... Молчи, пожалуйста... Пойми, у тебя юнкерская физиономия... А Лариосику дадим штатское Алешино... И его с дамой не тронут...

Лариосик суетился, изъявлял готовность пожертвовать собой и идти одному и пошел надевать штатское платье.

Нож совсем пропал, но жар пошел гуще – поддавал тиф на каменку, и в жару пришла уже не раз не совсем ясная и совершенно посторонняя турбинской жизни фигура человека. Она была в сером.

– А ты знаешь, он, вероятно, кувыркнулся? Серый? – вдруг отчетливо и строго молвил Турбин и посмотрел на Елену внимательно. – Это неприятно... Вообще, в сущности, все птицы. В кладовую бы в теплую убрать, да посадить, в тепле и опомнились бы.

– Что ты, Алеша? – испуганно спросила Елена, наклоняясь и чувствуя, как в лицо ей веет теплом от ли-

ца Турбина. – Птица? Какая птица?

Лариосик в черном штатском стал горбатым, широким, скрыл под брюками желтые отвороты. Он испугался, глаза его жалобно забегали. На цыпочках, балансируя, он выбежал из спальни через прихожую в столовую, через книжную повернул в Николкину и там, строго взмахивая руками, кинулся к клетке на письменном столе и набросил на нее черный плат... Но это было лишнее – птица давно спала в углу, свернувшись в оперенный клубок, и молчала, не ведая никаких тревог. Лариосик плотно прикрыл дверь в книжную, а из книжной в столовую.

– Неприятно... ох, неприятно, – беспокойно говорил Турбин, глядя в угол, – напрасно я застрелил его... Ты слушай... – Он стал освобождать здоровую руку из-под одеяла... – Лучший способ пригласить и объяснить, чего, мол, мечешься, как дурак?... Я, конечно, беру на себя вину... Все пропало и глупо...

– Да, да, – тяжело молвил Николка, а Елена повесила голову. Турбин встревожился, хотел подниматься, но острая боль навалилась, он застонал, потом злобно сказал:

– Уберите тогда!..

– Может быть, вынести ее в кухню? Я, впрочем, закрыл ее, она молчит, – тревожно зашептал Елене Лариосик.



Елена махнула рукой: «Нет, нет, не то...» Николка решительными шагами вышел в столовую. Волосы его взъерошились, он глядел на циферблат: часы показывали около десяти. Встревоженная Анюта вышла из двери в столовую.

– Что, как Алексей Васильевич? – спросила она.

– Бредит, – с глубоким вздохом ответил Николка.

– Ах ты, боже мой, – зашептала Анюта, – чего же это доктор не едет?

Николка глянул на нее и вернулся в спальню. Он прильнул к уху Елены и начал внушать ей:

– Воля твоя, а я отправлюсь за ним. Если нет его, надо звать другого. Десять часов. На улице совершенно спокойно.

– Подождем до половины одиннадцатого, – качая головой и кутая руки в платок, отвечала Елена шепотом, – другого звать неудобно. Я знаю, этот придет.

Тяжелая, нелепая и толстая мортира в начале одиннадцатого поместилась в узкую спальню. Черт знает что! Совершенно невыносимо будет жить. Она заняла все от стены до стены, так что левое колесо прижалось к постели. Невозможно жить, нужно будет лазить между тяжелыми спицами, потом сгибаться в дугу и через второе, правое колесо протискиваться, да еще с вещами, а вещей навешано на левой руке бог знает сколько. Тянут руку к земле, бечевой режут

подмышку. Мортиру убрать невозможно, вся квартира стала мортирной, согласно распоряжению, и бестолковый полковник Малышев, и ставшая бестолковой Елена, глядящая из колес, ничего не могут предпринять, чтобы убрать пушку или, по крайней мере, само-го-то больного человека перевести в другие, сносные условия существования, туда, где нет никаких мортир. Самая квартира стала, благодаря проклятой, тяжелой и холодной штуке, как постоянный двор. Колокольчик на двери звонит часто... бррынь... и стали являться с визитами. Мелькнул полковник Малышев, нелепый, как лопарь, в ушастой шапке и с золотыми погонями, и притащил с собой ворох бумаг. Турбин прикрикнул на него, и Малышев ушел в дуло пушки и сменился Николкой, суетливым, бестолковым и глупым в своем упрямстве. Николка давал пить, но не холодную, витую струю из фонтана, а лил теплую противную воду, отдающую кастрюлей.

– Фу... гадость эту... перестань, – бормотал Турбин.

Николка и пугался и брови поднимал, но был упрям и неумел. Елена не раз превращалась в черного и лишнего Лариосика, Сережина племянника, и, вновь возвращаясь в рыжую Елену, бегала пальцами где-то возле лба, и от этого было очень мало облегченья. Еленины руки, обычно теплые и ловкие, теперь, как грабли, расхаживали длинно, дурацки и делали все

самое ненужное, беспокойное, что отравляет мирному человеку жизнь на цейхгаузном проклятом дворе. Вряд ли не Елена была и причиной палки, на которую насадили туловище простреленного Турбина. Да еще садилась... что с ней?... на конец этой палки, и та под тяжестью начинала медленно до тошноты вращаться... А попробуйте жить, если круглая палка врежется в тело! Нет, нет, нет, они несносны! и как мог громче, но вышло тихо, Турбин позвал:

– Юлия!

Юлия, однако, не вышла из старинной комнаты с золотыми эполетами на портрете сороковых годов, не вняла зову больного человека. И совсем бы бедного больного человека замучили серые фигуры, начавшие хождение по квартире и спальне, наравне с самими Турбиными, если бы не приехал толстый, в золотых очках – настойчивый и очень умелый. В честь его появления в спальне прибавился еще один свет – свет стеариновой трепетной свечи в старом тяжелом и черном шандале. Свеча то мерцала на столе, то ходила вокруг Турбина, а над ней ходил по стене безобразный Лариосик, похожий на летучую мышь с обрезанными крыльями. Свеча наклонялась, оплывая белым стеарином. Маленькая спальня пропахла тяжелым запахом йода, спирта и эфира. На столе возник хаос блестящих коробочек с огнями в никелиро-

ванных зеркальцах и горы театральной ваты – рождественского снега. Турбину толстый, золотой, с теплыми руками, сделал чудодейственный укол в здоровую руку, и через несколько минут серые фигуры перестали безобразничать. Мортиру выдвинули на веранду, причем сквозь стекла, завешенные, ее черное дуло отнюдь не казалось страшным. Стало свободнее дышать, потому что уехало громадное колесо и не требовалось лазить между спицами. Свеча потухла, и со стены исчез угловатый, черный, как уголь, Ларион, Лариосик Суржанский из Житомира, а лик Николки стал более осмысленным и не таким раздражающе упрямым, быть может, потому, что стрелка, благодаря надежде на искусство толстого золотого, разошлась и не столь непреклонно и отчаянно висела на остром подбородке. Назад от половины шестого к без двадцати пять пошло времечко, а часы в столовой, хоть и не соглашались с этим, хоть настойчиво и посылали стрелки все вперед и вперед, но уже шли без старческой хрипоты и брюзжания, а по-прежнему – чистым, солидным баритоном били – тонк! И башенным боем, как в игрушечной крепости прекрасных галлов Людовика XIV били на башне – бом!.. Полночь... слушай... полночь... слушай... Били предостерегающе, и чьи-то алебарды позвякивали серебристо и приятно. Часовые ходили и охраняли, ибо башни, тревоги и оружие

человек воздвиг, сам того не зная, для одной лишь цели – охранять человеческий покой и очаг. Из-за него он воюет, и, в сущности говоря, ни из-за чего другого воевать ни в коем случае не следует.

Только в очаге покоя Юлия, эгоистка, порочная, но обольстительная женщина, согласна появиться. Она и появилась, ее нога в черном чулке, край черного отороченного мехом ботика мелькнул на легкой кирпичной лесенке, и торопливому стуку и шороху ответил плещущий колокольчиками гавот оттуда, где Людовик XIV нежился в небесно-голубом саду на берегу озера, опьяненный своей славой и присутствием обаятельных цветных женщин.

\* \* \*

В полночь Николка предпринял важнейшую и, конечно, совершенно своевременную работу. Прежде всего он пришел с грязной влажной тряпкой из кухни, и с груди Саардамского Плотника исчезли слова:

Да здравствует Россия...

Да здравствует самодержавие!

Бей Петлюру!

Затем при горячем участии Лариосика были произведены и более важные работы. Из письменного сто-

ла Турбина ловко и бесшумно был вытащен Алешин браунинг, две обоймы и коробка патронов к нему. Николка проверил его и убедился, что из семи патронов старший шесть где-то расстрелял.

– Здорово... – прошептал Николка.

Конечно, не могло быть и речи о том, чтобы Лариосик оказался предателем. Ни в коем случае не может быть на стороне Петлюры интеллигентный человек вообще, а джентльмен, подписавший векселей на семьдесят пять тысяч и посылающий телеграммы в 63 слова, в частности... Машинным маслом и керосином наилучшим образом были смазаны и Най-Турсов кольт и Алешин браунинг. Лариосик, подобно Николке, засучил рукава и помогал смазывать и укладывать все в длинную и высокую жестяную коробку из-под карамели. Работа была спешной, ибо каждому порядочному человеку, участвовавшему в революции, отлично известно, что обыски при всех властях происходят от 2 ч. 30 м. ночи до 6 ч. 15 м. утра зимой и от 12 часов ночи до четырех утра летом. Все же работа задержалась, благодаря Лариосику, который, знакомясь с устройством десятизарядного пистолета системы «Кольт», вложил в ручку обойму не тем концом и, чтобы вытащить ее, понадобилось значительное усилие и порядочное количество масла. Кроме того, произошло второе и неожиданное препятствие:

коробка со вложенными в нее револьверами, погонами Николки и Алексея, шевроном и карточкой наследника Алексея, коробка, выложенная внутри слоем парафиновой бумаги и снаружи по всем швам облепленная липкими полосами электрической изоляции, не пролезала в форточку.

Дело было вот в чем: прятать так прятать!.. Не все же такие идиоты, как Василиса. Как спрятать, Николка сообразил еще днем. Стена дома № 13 подходила к стене соседнего 11-го номера почти вплотную – оставалось не более аршина расстояния. Из дома № 13 в этой стене было только три окна – одно из Николкиной угловой, два из соседней книжной, совершенно ненужные (все равно темно), и внизу маленькое подслеповатое оконце, забранное решеткой, из кладовки Василисы, а стена соседнего № 11 совершенно глухая. Представьте себе великолепное ущелье в аршин, темное и невидное даже с улицы, и не доступное со двора ни для кого, кроме разве случайных мальчишек. Вот как раз и будучи мальчишкой, Николка, играя в разбойников, лазил в него, спотыкаясь на гудах кирпичей, и отлично запомнил, что по стене тринадцатого номера тянется вверх до самой крыши ряд костылей. Вероятно, раньше, когда 11-го номера еще не существовало, на этих костылях держалась пожарная лестница, а потом ее убрали. Костыли же остались.

Высунув сегодня вечером руку в форточку, Николка и двух секунд не шарил, а сразу нащупал костыль. Ясно и просто. Но вот коробка, обвязанная накрест тройным слоем прекрасного шпагата, так называемого сахарного, с приготовленной петлей, не лезла в форточку.

– Ясное дело, надо окно вскрывать, – сказал Николка, слезая с подоконника.

Лариосик отдал дань уму и находчивости Николки, после чего приступил к распечатыванию окна. Эта каторжная работа заняла не менее полчаса, распухшие рамы не хотели открываться. Но, в конце концов, все-таки удалось открыть сперва первую, а потом и вторую, причем на Лариосиковой стороне лопнуло длинной извилистой трещиной стекло.

– Потушите свет! – скомандовал Николка.

Свет погас, и страшнейший мороз хлынул в комнату. Николка высунулся до половины в черное обледенелое пространство и зацепил верхнюю петлю за костыль. Коробка прекрасно повисла на двухаршинном шпагате. С улицы заметить никак нельзя, потому что брандмауэр 13-го номера подходит к улице косо, не под прямым углом, и потому, что высоко висит вывеска швейной мастерской. Можно заметить только, если залезть в щель. Но никто не залезет ранее весны, потому что со двора намело гигантские сугробы, а с



улицы прекраснейший забор и, главное, идеально то, что можно контролировать, не открывая окна; просунул руку в форточку, и готово: можно потрогать шпагат, как струну. Отлично.

Вновь зажегся свет, и, размяв на подоконнике замазку, оставшуюся с осени у Анюты, Николка замазал окно наново. Даже если бы каким-нибудь чудом и нашли, то всегда готов ответ: «Позвольте? Это чья же коробка? Ах, револьверы... наследник?...

– Ничего подобного! Знать не знаю и ведать не ведаю. Черт его знает, кто повесил! С крыши залезли и повесили. Мало ли кругом народу? Так-то-с. Мы люди мирные, никаких наследников...»

– Идеально сделано, клянусь Богом, – говорил Лариосик.

Как не идеально! Вещь под руками и в то же время вне квартиры.

\* \* \*

Было три часа ночи. В эту ночь, по-видимому, никто не придет. Елена с тяжелыми истомленными веками вышла на цыпочках в столовую. Николка должен был ее сменить. Николка с трех до шести, а с шести до девяти Лариосик.

Говорили шепотом.

– Значит так: тиф, – шептала Елена, – имейте в виду, что сегодня забегала уже Ванда, справлялась, что такое с Алексеем Васильевичем. Я сказала, может быть, тиф... Вероятно, она не поверила, уж очень у нее глазки бегали... Все расспрашивала, – как у нас, да где были наши, да не ранили ли кого. Насчет раны ни звука.

– Ни, ни, ни, – Николка даже руками замахал, – Василиса такой трус, какого свет не видал! Ежели в случае чего, он так и ляпнет кому угодно, что Алексея ранили, лишь бы только себя выгородить.

– Подлец, – сказал Лариосик, – это подло!

В полном тумане лежал Турбин. Лицо его после укола было совершенно спокойно, черты лица обострились и утончились. В крови ходил и сторожил успокоительный яд. Серые фигуры перестали распорядиться, как у себя дома, разошлись по своим делишкам, окончательно убрали пушку. Если кто даже совершенно посторонний и появлялся, то все-таки вел себя прилично, стараясь связаться с людьми и вещами, коих законное место всегда в квартире Турбиных. Раз появился полковник Малышев, посидел в кресле, но улыбался таким образом, что все, мол, хорошо и будет к лучшему, а не бубнил грозно и зловеще и не набивал комнату бумагой. Правда, он жег документы, но не посмел тронуть диплом Турбина и карточки мате-

ри, да и жег на приятном и совершенно синеньком огне от спирта, а это огонь успокоительный, потому что за ним обычно следует укол. Часто звонил звоночек к мадам Анжу.

– Брынь... – говорил Турбин, намереваясь передать звук звонка тому, кто сидел в кресле, а сидели по очереди то Николка, то неизвестный с глазами монгола (не смел буянить вследствие укола), то скорбный Максим, седой и дрожащий. – Брынь... – раненый говорил ласково и строил из гибких теней движущуюся картину, мучительную и трудную, но заканчивающуюся необычайным и радостным и больным концом.

Бежали часы, крутилась стрелка в столовой и, когда на белом циферблате короткая и широкая пошла к пяти, настала полудрема. Турбин изредка шевелился, открывал прищуренные глаза и неразборчиво бормотал:

– По лесенке, по лесенке, по лесенке не добегу, ослабею, упаду... А ноги ее быстрые... ботики... по снегу... След оставишь... волки... Брынь... брынь...

## 13

«Брынь» в последний раз Турбин услышал, убегая по черному ходу из магазина неизвестно где находя-

щейся и сладострастно пахнувшей духами мадам Анжу. Звонок. Кто-то только что явился в магазин. Быть может, такой же, как сам Турбин, заблудший, оставший, свой, а может быть, и чужие – преследователи. Во всяком случае, вернуться в магазин невозможно. Совершенно лишнее геройство.

Скользкие ступени вынесли Турбина во двор. Тут он совершенно явственно услышал, что стрельба тархтела совсем недалеко, где-то на улице, ведущей широким скатом вниз к Крещатику, да вряд ли и не у музея. Тут же стало ясно, что слишком много времени он потерял в сумеречном магазине на печальные размышления и что Малышев был совершенно прав, советуя ему поторопиться. Сердце забилося тревожно.

Осмотревшись, Турбин убедился, что длинный и бесконечно высокий желтый ящик дома, приютившего мадам Анжу, выпирал на громадный двор и тянулся этот двор вплоть до низкой стенки, отделявшей соседнее владение управления железных дорог. Турбин, прищурившись, огляделся и пошел, пересекая пустыню, прямо на эту стенку. В ней оказалась калитка, к великому удивлению Турбина, не запертая. Через нее он попал в противный двор управления. Глупые дырки управления неприятно глядели, и ясно чувствовалось, что все управление вымерло. Под гулким сводом, пронизывающим дом, по асфальтовой дороге

доктор вышел на улицу. Было ровно четыре часа дня на старинных часах на башне дома напротив. Начало чуть-чуть темнеть. Улица совершенно пуста. Мрачно оглянулся Турбин, гонимый предчувствием, и двинулся не вверх, а вниз, туда, где громоздились, присыпанные снегом в жидком сквере, Золотые ворота. Один лишь пешеход в черном пальто пробежал навстречу Турбину с испуганным видом и скрылся.

Улица пустая вообще производит ужасное впечатление, а тут еще где-то под ложечкой томило и сосало предчувствие. Злобно морщась, чтобы преодолеть нерешительность – ведь все равно идти нужно, по воздуху домой не перелетишь, – Турбин приподнял воротник шинели и двинулся.

Тут он понял, что отчасти томило – внезапное молчание пушек. Две последних недели непрерывно они гудели вокруг, а теперь в небе наступила тишина. Но зато в Городе, и именно там, внизу, на Крещатике, ясно пересыпалась пачками стрельба. Нужно было бы Турбину повернуть сейчас от Золотых ворот влево по переулку, а там, прижимаясь за Софийским собором, тихонечко и выбрался бы к себе, переулками, на Алексеевский спуск. Если бы так сделал Турбин, жизнь его пошла бы по-иному совсем, но вот Турбин так не сделал. Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах... Тянет к холодку... к об-

рыву. И так потянуло к музею. Непременно понадобится увидеть, хоть издали, что там возле него творится. И, вместо того, чтобы свернуть, Турбин сделал десять лишних шагов и вышел на Владимирскую улицу. Тут сразу тревога крикнула внутри, и очень отчетливо малышевский голос шепнул: «Беги!» Турбин повернул голову вправо и глянул вдаль, к музею. Успел увидеть кусок белого бока, насупившиеся купола, какие-то мелькавшие вдали черные фигурочки... больше все равно ничего не успел увидеть.

В упор на него, по Прорезной покатою улице, с Крещатика, затянутого далекой морозной дымкой, поднимались, рассыпавшись во всю ширину улицы, серенькие люди в солдатских шинелях. Они были недалеко – шагах в тридцати. Мгновенно стало понятно, что они бегут уже давно и бег их утомил. Вовсе не глазами, а каким-то безотчетным движением сердца Турбин сообразил, что это петлюровцы.

«По-пал», – отчетливо сказал под ложечкой голос Малышева.

Затем несколько секунд вывалились из жизни Турбина, и, что во время их происходило, он не знал. Ощутил он себя лишь за углом, на Владимирской улице, с головой, втянутой в плечи, на ногах, которые его несли быстро от рокового угла Прорезной, где конфектница «Маркиза».

«Ну-ка, ну-ка, ну-ка, еще... еще...» – застучала в висках кровь.

Еще бы немножечко молчания сзади. Превратиться бы в лезвие ножа или влипнуть в стену. Ну-ка... Но молчание прекратилось – его нарушило совершенно неизбежное.

– Стой! – прокричал сиплый голос в холодную спину – Турбину.

«Так», – оборвалось под ложечкой.

– Стой! – серьезно повторил голос.

Турбин оглянулся и даже мгновенно остановился, потому что явилась короткая шальная мысль изобразить мирного гражданина. Иду, мол, по своим делам... Оставьте меня в покое... Преследователь был шагах в пятнадцати и торопливо взбрасывал винтовку. Лишь только доктор повернулся, изумление выросло в глазах преследователя, и доктору показалось, что это монгольские раскосые глаза. Второй вырвался из-за угла и дергал затвор. На лице первого ошеломление сменилось непонятной, зловещей радостью.

– Тю! – крикнул он, – бачь, Петро: офицер. – Вид у него при этом был такой, словно внезапно он, охотник, при самой дороге увидел зайца.

«Что так-кое? Откуда известно?» – грянуло в турбинской голове, как молотком.

Винтовка второго превратилась вся в маленькую

черную дырку, не более гривенника. Затем Турбин почувствовал, что сам он обернулся в стрелу на Владимирской улице и что губят его валенки. Сверху и сзади, шипя, ударило в воздухе – ч-чах...

– Стой! Ст... Тримай! – Хлопнуло. – Тримай офицера!! – загремела и заулюлюкала вся Владимирская. Еще два раза весело трахнуло, разорвав воздух.

Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка; на смену очень слабому и в действительно трудных случаях ненужному уму вырастает мудрый звериный инстинкт. По-волчьи обернувшись на угонке на углу Мало-Провальной улицы, Турбин увидал, как черная дырка сзади оделась совершенно круглым и бледным огнем, и, наддав ходу, он свернул в Мало-Провальную, второй раз за эти пять минут резко повернув свою жизнь.

Инстинкт: гонятся настойчиво и упорно, не отстают, настигнут и, настигнув, совершенно неизбежно, – убьют. Убьют, потому что бежал, в кармане ни одного документа и револьвер, серая шинель; убьют, потому что в бегу раз свезет, два свезет, а в третий раз – попадут. Именно в третий. Это с древности известный раз. Значит, конечно; еще полминуты – и валенки погубят. Все непреложно, а раз так – страх прямо через все тело и через ноги выскочил в землю. Но через ноги ледяной водой вернулась ярость и кипятком вы-



шла изо рта на бегу. Уже совершенно по-волчьи косил на бегу Турбин глазами. Два серых, за ними третий, выскочили из-за угла Владимирской, и все трое вперебой сверкнули. Турбин, замедлив бег, скаля зубы, три раза выстрелил в них, не целясь. Опять наддал ходу, смутно впереди себя увидел мелькнувшую под самыми стенами у водосточной трубы хрупкую черную тень, почувствовал, что деревянными клещами кто-то рванул его за левую подмышку, отчего тело его стало бежать странно, косо, боком, неровно. Еще раз обернувшись, он, не спеша, выпустил три пули и строго остановил себя на шестом выстреле:

«Седьмая – себе. Еленка рыжая и Николка. Конечно. Будут мучить. Погоны вырежут. Седьмая себе».

Боком стремясь, чувствовал странное: револьвер тянул правую руку, но как будто тяжелела левая. Вообще уже нужно останавливаться. Все равно нет воздуха, больше ничего не выйдет. До излома самой фантастической улицы в мире Турбин все же дорвался, исчез за поворотом, и ненадолго получил облегчение. Дальше безнадежно: глуха запертая решетка, вон, ворота громады заперты, вон заперто... Он вспомнил веселую дурацкую поговорку: «Не теряйте, куме, силы, опускайтесь на дно».

И тут увидел ее в самый момент чуда, в черной мшистой стене, ограждавшей наглухо снежный узор

деревьев в саду. Она наполовину провалилась в эту стену и, как в мелодраме, простирая руки, сияя огромнейшими от ужаса глазами, прокричала:

– Офицер! Сюда! Сюда...

Турбин, на немного скользящих валенках, дыша разодранным и полным жаркого воздуха ртом, подбежал медленно к спасительным рукам и вслед за ними провалился в узкую щель калитки в деревянной черной стене. И все изменилось сразу. Калитка под руками женщины в черном влипла в стену, и щеколда захлопнулась. Глаза женщины очутились у самых глаз Турбина. В них он смутно прочитал решительность, действие и черноту.

– Бегите сюда. За мной бегите, – шепнула женщина, повернулась и побежала по узкой кирпичной дорожке. Турбин очень медленно побежал за ней. На левой руке мелькнули стены сараев, и женщина свернула. На правой руке какой-то белый, сказочный многоярусный сад. Низкий заборчик перед самым носом, женщина проникла во вторую калиточку, Турбин, задыхаясь, за ней. Она захлопнула калитку, перед глазами мелькнула нога, очень стройная, в черном чулке, подол взмахнул, и ноги женщины легко понесли ее вверх по кирпичной лесенке. Обострившимся слухом Турбин услышал, что там, где-то сзади за их бегом, осталась улица и преследователи. Вот... вот, только

что они проскочили за поворот и ищут его. «Спасла бы... спасла бы... – подумал Турбин, – но кажется, не добегу... сердце мое». Он вдруг упал на левое колено и левую руку при самом конце лесенки. Кругом все чуть-чуть закружилось. Женщина наклонилась и подхватила Турбина под правую руку...

– Еще... еще немного! – вскрикнула она; левой трясущейся рукой открыла третью низенькую калиточку, протянула за руку спотыкающегося Турбина и бросилась по аллейке. «Ишь лабиринт... словно нарочно», – очень мутно подумал Турбин и оказался в белом саду, но уже где-то высоко и далеко от роковой Провальной. Он чувствовал, что женщина его тянет, что его левый бок и рука очень теплые, а все тело холодное, и ледяное сердце еле шевелится. «Спасла бы, но тут вот и конец – кончик... ноги слабеют...» Увиделись расплывчато купы девственной и нетронутой сирени, под снегом, дверь, стеклянный фонарь старинных сеней, занесенный снегом. Услышан был еще звон ключа. Женщина все время была тут, возле правого бока, и, уже из последних сил, в нитку втянулся за ней Турбин в фонарь. Потом через второй звон ключа во мрак, в котором обдало жилым, старым запахом. Во мраке, над головой, очень тускло загорелся огонек, пол поехал под ногами влево... Неожиданные ядовито-зеленые, с огненным ободком, клочья проле-

тели вправо перед глазами, и сердцу в полном мраке полегчало сразу...

\* \* \*

В тусклом и тревожном свете ряд вытертых золотых шляпочек. Живой холод течет за пазуху, благодаря этому больше воздуху, а в левом рукаве губительное, влажное и неживое тепло. «Вот в этом-то вся суть. Я ранен». Турбин понял, что он лежит на полу, больно упираясь головой во что-то твердое и неудобное. Золотые шляпки перед глазами означают сундук. Холод такой, что духу не переведешь – это она льет и брызжет водой.

– Ради бога, – сказал над головой грудной слабый голос, – глотните, глотните. Вы дышите? Что же теперь делать?

Стакан стукнул о зубы, и с хлопотом Турбин глотнул очень холодную воду. Теперь он увидел светлые завитки волос и очень черные глаза близко. Сидящая на корточках женщина поставила стакан на пол и, мягко обхватив затылок, стала поднимать Турбина.

«Сердце-то есть? – подумал он. – Кажется, оживаю... может, и не так много крови... надо бороться». Сердце било, но, трепетное, частое, узлами вязалось в бесконечную нить, и Турбин сказал слабо:

– Нет. Сдирайте все и чем хотите, но сию минуту затащите жгутом...

Она стараясь понять, расширила глаза, поняла, вскочила и кинулась к шкафу, оттуда выбросила массу материи.

Турбин, закусив губу, подумал: «Ох, нет пятна на полу, мало, к счастью, кажется, крови», – извиваясь при ее помощи, вылез из шинели, сел, стараясь не обращать внимания на головокружение. Она стала снимать френч.

– Ножницы, – сказал Турбин.

Говорить было трудно, воздуху не хватало. Та исчезла, взметнув шелковым черным подолом, и в дверях сорвала с себя шапку и шубку. Вернувшись, она села на корточки и ножницами, тупо и мучительно въедаясь в рукав, уже обмякший и жирный от крови, распорол его и высвободила Турбина. С рубашкой справилась быстро. Весь левый рукав был густо пропитан, густо-красен и бок. Тут закапало на пол.

– Рвите смелей...

Рубаха слезла клоками, и Турбин, белый лицом, голый и желтый до пояса, вымазанный кровью, желая жить, не дав себе второй раз упасть, стиснув зубы, правой рукой потряс левое плечо, сквозь зубы сказал:

– Слава бо... цела кость... Рвите полосу или бинт.

– Есть бинт, – радостно и слабо крикнула она. Ис-

чезла, вернулась, разрывая пакет со словами. – И никого, никого... Я одна...

Она опять присела. Турбин увидал рану. Это была маленькая дырка в верхней части руки, ближе к внутренней поверхности, там, где рука прилегает к телу. Из нее сочилась узенькой струйкой кровь.

– Сзади есть? – очень отрывисто, лаконически, инстинктивно сберегая дух жизни, спросил.

– Есть, – она ответила с испугом.

– Затяните выше... тут... спасете.

Возникла никогда еще не испытанная боль, кольца зелени, вкладываясь одно в другое или переплетаясь, затанцевали в передней. Турбин укусил нижнюю губу.

Она затянула, он помогал зубами и правой рукой, и жгучим узлом, таким образом, выше раны обвили руку. И тотчас перестала течь кровь...

\* \* \*

Женщина перевела его так: он стал на колени и правую руку закинул ей на плечо, тогда она помогла ему стать на слабые, дрожащие ноги и повела, поддерживая его всем телом. Он видел кругом темные тени полных сумерек в какой-то очень низкой старинной комнате. Когда же она посадила его на что-то мягкое и пыльное, под ее рукой сбоку вспыхнула лампа

под вишневым платком. Он разглядел узоры бархата, край двубортного сюртука на стене в раме и желто-золотой эполет. Простирая к Турбину руки и тяжело дыша от волнения и усилий, она сказала:

– Коньяк есть у меня... Может быть, нужно?... Коньяк?...

Он ответил:

– Немедленно...

И повалился на правый локоть.

Коньяк как будто помог, по крайней мере, Турбину показалось, что он не умрет, а боль, что грызет и режет плечо, перетерпит. Женщина, стоя на коленях, бинтом завязала раненую руку, сползла ниже к его ногам и стащила с него валенки. Потом принесла подушку и длинный, пахнущий сладким давним запахом японский с диковинными букетами халат.

– Ложитесь, – сказала она.

Лег покорно, она набросила на него халат, сверху одеяло и стала у узкой оттоманки, всматриваясь ему в лицо.

Он сказал:

– Вы... вы замечательная женщина. – После молчания: – Я полежу немного, пока вернутся силы, поднимусь и пойду домой... Потерпите еще немного беспокойство.

В сердце его заполз страх и отчаяние: «Что с Еле-

ной? Боже, боже... Николка. За что Николка погиб? Наверно, погиб...»

Она молча указала на низенькое оконце, завешенное шторой с помпонами. Тогда он ясно услышал далеко и ясно хлопушки выстрелов.

– Вас сейчас же убьют, будьте уверены, – сказала она.

– Тогда... я вас боюсь... подвести... Вдруг придут... револьвер... кровь... там в шинели, – он оближал сухие губы. Голова его тонко кружилась от потери крови и от коньяку. Лицо женщины стало испуганным. Она призадумалась.

– Нет, – решительно сказала она, – нет, если бы нашли, то уже были бы здесь. Тут такой лабиринт, что никто не отыщет следов. Мы пробежали три сада. Но вот убрать нужно сейчас же...

Он слышал плеск воды, шуршанье материи, стук в шкафах...

Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг так, словно он был горячий, и спросила:

– Он заряжен?

Выпростав здоровую руку из-под одеяла, Турбин ощупал предохранитель и ответил:

– Несите смело, только за ручку.

Она еще раз вернулась и смущенно сказала:



– На случай, если все-таки появятся... Вам нужно рейтузы снять... Вы будете лежать, я скажу, что вы мой муж больной...

Он, морщась и кривя лицо, стал расстегивать пуговицы. Она решительно подошла, стала на колени и из-под одеяла за штрипки вытащила рейтузы и унесла. Ее не было долго. В это время он видел арку. В сущности говоря, это были две комнаты. Потолки такие низкие, что, если бы рослый человек стал на цыпочки, он достал бы до них рукой. Там, за аркой в глубине, было темно, но бок старого пианино блестел лаком, еще что-то поблескивало, и, кажется, цветы фикуса. А здесь опять этот край эполета в раме.

Боже, какая старина!.. Эполеты его приковали. Был мирный свет сальной свечи в шандале. Был мир, и вот мир убит. Не возвратятся годы. Еще сзади окна, низкие, маленькие, и сбоку окно. Что за странный домик? Она одна. Кто такая? Спасла... Мира нет... Стреляют там...

\* \* \*

Она вошла, нагруженная охапкой дров, и с громом выронила их в углу у печки.

– Что вы делаете? Зачем? – спросил он в сердцах.  
– Все равно мне нужно было топить, – ответила она,

и чуть мелькнула у нее в глазах улыбка, – я сама топлю...

– Подойдите сюда, – тихо попросил ее Турбин. – Вот что, я и не поблагодарил вас за все, что вы... сделали... Да и чем... – Он протянул руку, взял ее пальцы, она покорно придвинулась, тогда он поцеловал ее худую кисть два раза. Лицо ее смягчилось, как будто тень тревоги сбегала с него, и глаза ее показались в этот момент необычайной красоты.

– Если бы не вы, – продолжал Турбин, – меня бы, наверное, убили.

– Конечно, – ответила она, – конечно... А так вы убили одного...

Турбин приподнял голову.

– Я убил? – спросил он, чувствуя вновь слабость и головокружение.

– Угу. – Она благосклонно кивнула головой и поглядела на Турбина со страхом и любопытством. – Ух, как это страшно... они самое меня чуть не застрелили. – Она вздрогнула...

– Как убил?

– Ну да... Они выскочили, а вы стали стрелять, и первый грохнулся... Ну, может быть, ранили... Ну, вы храбрый... Я думала, что я в обморок упаду... Вы отбежите, стрельнете в них... и опять бежите... Вы, наверное, капитан?

– Почему вы решили, что я офицер? Почему кричали мне – «офицер»?

Она блеснула глазами.

– Я думаю, решишь, если у вас кокарда на папаше. Зачем так бравировать?

– Кокарда? Ах, боже... это я... я... – Ему вспомнился звоночек... зеркало в пыли... – Все снял... а кокарду-то забыл!.. Я не офицер, – сказал он, – я военный врач. Меня зовут Алексей Васильевич Турбин... Позвольте мне узнать, кто вы такая?

– Я – Юлия Александровна Рейсс.

– Почему вы одна?

Она ответила как-то напряженно и отводя глаза в сторону:

– Моего мужа сейчас нет. Он уехал. И матери его тоже. Я одна... – Помолчав, она добавила: – Здесь холодно... Брр... Я сейчас затоплю.

\* \* \*

Дрова разгорались в печке, и одновременно с ними разгоралась жестокая головная боль. Рана молчала, все сосредоточилось в голове. Началось с левого виска, потом разлилось по темени и затылку. Какая-то жилка сжалась над левой бровью и посылала во все стороны кольца тугой отчаянной боли. Рейсс стояла

на коленях у печки и кочергой шевелила в огне. Мучаясь, то закрывая, то открывая глаза, Турбин видел откинутую назад голову, заслоненную от жара белой кистью, и совершенно неопределенные волосы, не то пепельные, пронизанные огнем, не то золотистые, а брови угольные и черные глаза. Не понять – красив ли этот неправильный профиль и нос с горбинкой. Не разберешь, что в глазах. Кажется, испуг, тревога, а может быть, и порок... Да, порок.

Когда она так сидит и волна жара ходит по ней, она представляется чудесной, привлекательной. Спасительница.

\* \* \*

Многие часы ночи, когда давно кончился жар в печке и начался жар в руке и голове, кто-то ввинчивал в темя нагретый жаркий гвоздь и разрушал мозг. «У меня жар, – сухо и беззвучно повторял Турбин и вносил себе: – Надо утром встать и перебраться домой...» Гвоздь разрушал мозг и в конце концов разрушил мысль и о Елене, и о Николке, о доме и Петлюре. Все стало – все равно. Пэтурра... Пэтурра... Осталось одно – чтобы прекратилась боль.

Глубокой же ночью Рейсс в мягких, отороченных мехом туфлях пришла сюда и сидела возле него, и

опять, обвинив рукой ее шею и слабея, он шел через маленькие комнаты. Перед этим она собралась с силами и сказала ему:

– Вы встаньте, если только можете. Не обращайтесь на меня никакого внимания. Я вам помогу. Потом ляжете совсем... Ну, если не можете...

Он ответил:

– Нет, я пойду... только вы мне помогите...

Она привела его к маленькой двери этого таинственного домика и так же привела обратно. Ложась, лязгая зубами в ознобе и чувствуя, что сжалилась и утихает голова, он сказал:

– Клянусь, я вам этого не забуду... Идите спать...

– Молчите, я буду вам гладить голову, – ответила она.

Потом вся тупая и злая боль вытекла из головы, стекла с висков в ее мягкие руки, а по ним и по ее телу – в пол, крытый пыльным пухлым ковром, и там погибла. Вместо боли по всему телу разливался ровный, приторный жар. Рука онемела и стала тяжелой, как чугунная, поэтому он и не шевелил ею, а лишь закрыл глаза и отдался на волю жару. Сколько времени он так пролежал, сказать бы он не сумел: может быть, пять минут, а может быть, и много часов. Но, во всяком случае, ему казалось, что так лежать можно было бы всю вечность, в огне. Когда он открыл глаза, тихонь-

ко, чтобы не вспугнуть сидящую возле него, он увидел прежнюю картину: ровно, слабо горела лампочка под красным абажуром, разливая мирный свет, и профиль женщины был бессонный близ него. По-детски печально оттопырив губы, она смотрела в окно. Плывая в жару, Турбин шевельнулся, потянулся к ней...

– Наклонитесь ко мне, – сказал он. Голос его стал сух, слаб, высок. Она повернулась к нему, глаза ее испуганно насторожились и углубились в тени. Турбин закинул правую руку за шею, притянул ее к себе и поцеловал в губы. Ему показалось, что он прикоснулся к чему-то сладкому и холодному. Женщина не удивилась поступку Турбина. Она только пытливее вглядывалась в лицо. Потом заговорила:

– Ох, какой жар у вас. Что же мы будем делать? Доктора нужно позвать, но как же это сделать?

– Не надо, – тихо ответил Турбин, – доктор не нужен. Завтра я поднимусь и пойду домой.

– Я так боюсь, – шептала она, – что вам сделается плохо. Чем тогда я помогу. Не течет больше? – Она неслышно коснулась забинтованной руки.

– Нет, вы не бойтесь, ничего со мной не сделается. Идите спать.

– Не пойду, – ответила она и погладила его по руке. – Жар, – повторила она.

Он не выдержал и опять обнял ее и притянул к се-

бе. Она не сопротивлялась. Он притягивал ее до тех пор, пока она совсем не склонилась и не прилегла к нему. Тут он ощутил сквозь свой больной жар живую и ясную теплоту ее тела.

– Лежите и не шевелитесь, – прошептала она, – а я буду вам гладить голову.

Она протянулась с ним рядом, и он почувствовал прикосновение ее коленей. Рукой она стала водить от виска к волосам. Ему стало так хорошо, что он думал только об одном, как бы не заснуть.

И вот он заснул. Спал долго, ровно и сладко. Когда проснулся, узнал, что плывет в лодке по жаркой реке, что боли все исчезли, а за окошком ночь медленно бледнеет да бледнеет. Не только в домике, но во всем мире и Городе была полная тишина. Стеклянно жиденько-синий свет разливался в щелях штор. Женщина, согретая и печальная, спала рядом с Турбиным. И он заснул.

\* \* \*

Утром, около девяти часов, случайный извозчик у вымершей Мало-Провальной принял двух седоков – мужчину в черном штатском, очень бледного, и женщину. Женщина, бережно поддерживая мужчину, цеплявшегося за ее рукав, привезла его на Алексеевский

спуск. Движения на Спуске не было. Только у подъезда № 13 стоял извозчик, только что высадивший странного гостя с чемоданом, узлом и клеткой.

## 14

Они нашлись. Никто не вышел в расход, и нашлись в следующий же вечер.

«Он», – отозвалось в груди Анюты, и сердце ее прыгнуло, как Лариосикова птица. В занесенное снегом оконце турбинской кухни осторожно постучали со двора. Анюта прильнула к окну и разглядела лицо. Он, но без усов... Он... Анюта обеими руками пригладила черные волосы, открыла дверь в сени, а из сеней в снежный двор, и Мышлаевский оказался необыкновенно близко от нее. Студенческое пальто с барашковым воротником и фуражка... исчезли усы... Но глаза, даже в полутьме сеней, можно отлично узнать. Правый в зеленых искорках, как уральский самоцвет, а левый темный... И меньше ростом стал...

Анюта дрожащею рукой закинула крючок, причем исчез двор, а полосы из кухни исчезли оттого, что пальто Мышлаевского обвило Анюту и очень знакомый голос шепнул:

– Здравствуйте, Анюточка... Вы простудитесь... А в кухне никого нет, Анюта?



– Никого нет, – не помня, что говорит, и тоже почему-то шепотом ответила Анюта. «Целует, губы сладкие стали», – в сладостнейшей тоске подумала она и зашептала: – Виктор Викторович... пустите... Елене...

– При чем тут Елена... – укоризненно шепнул голос, пахнувший одеколоном и табаком, – что вы, Анюточка...

– Виктор Викторович, пустите, закричу, как бог свят, – страстно сказала Анюта и обняла за шею Мышлаевского, – у нас несчастье – Алексея Васильевича ранили...

Удав мгновенно выпустил.

– Как ранили? А Никол?!

– Никол жив-здоров, а Алексей Васильевича ранили.

Полоска света из кухни, двери.

В столовой Елена, увидев Мышлаевского, заплакала и сказала:

– Витька, ты жив... Слава богу... А вот у нас... – Она всхлипнула и указала на дверь к Турбину. – Сорок у него... скверная рана...

– Мать честная, – ответил Мышлаевский, сдвинув фуражку на самый затылок, – как же это он подвернулся?

Он повернулся к фигуре, склонившейся у стола над бутылью и какими-то блестящими коробками.

– Вы доктор, позвольте узнать?

– Нет, к сожалению, – ответил печальный и тусклый голос, – не доктор. Разрешите представиться: Ларион Суржанский.

\* \* \*

Гостиная. Дверь в переднюю заперта и задернута портьера, чтобы шум и голоса не достигали к Турбину. Из спальни его вышли и только что уехали остробородый в золотом пенсне, другой бритый – молодой, и, наконец, седой и старый и умный в тяжелой шубе, в боярской шапке, профессор, самого же Турбина учитель. Елена провожала их, и лицо ее стало каменным. Говорили – тиф, тиф... и накликали.

– Кроме раны, сыпной тиф...

И ртутный столб на сорока и... «Юлия»... В спаленке красноватый жар. Тишина, а в тишине бормотанье про лесенку и звонок «бр-рынь»...

\* \* \*

– Здоровеньки булы, пане добродзю, – сказал Мышлаевский ядовитым шепотом и расставил ноги. Шервинский, густо-красный, косил глазом. Черный ко-

стюм сидел на нем безукоризненно; глядело чудное белье и галстук бабочкой; на ногах лакированные ботинки. «Артист оперной студии Крамского». Удостоверение в кармане. – Чому ж це вы без погон?... – продолжал Мышлаевский. – «На Владимирской развеваются русские флаги... Две дивизии сенегалов в одесском порту и сербские квартирьеры... Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте части»... за ноги вашу мамашу!..

– Чего ты пристал?... – ответил Шервинский. – Я, что ль, виноват?... При чем здесь я?... Меня самого чуть не убили. Я вышел из штаба последним ровно в полдень, когда с Печерска показались неприятельские цепи.

– Ты – герой, – ответил Мышлаевский, – но надеюсь, что его сиятельство, главнокомандующий, успел уйти раньше... Равно как и его светлость, пан гетман... его мать... Лыщу себя надеждой, что он в безопасном месте... Родине нужны их жизни. Кстати, не можешь ли ты мне указать, где именно они находятся?

– Зачем тебе?

– Вот зачем. – Мышлаевский сложил правую руку в кулак и постучал ею по ладони левой. – Ежели бы мне попало это самое сиятельство и светлость, я бы одного взял за левую ногу, а другого за правую, перевер-

нул бы и тюкал бы головой о мостовую до тех пор, пока мне это не надоело бы. А вашу штабную ораву в сортире нужно утопить...

Шервинский побагровел.

– Ну, все-таки ты поосторожней, пожалуйста, – начал он, – полегче... Имей в виду, что князь и штабных бросил. Два его адъютанта с ним уехали, а остальные на произвол судьбы.

– Ты знаешь, что сейчас в музее сидит тысяча человек наших, голодные, с пулеметами... Ведь их петлюровцы, как клопов, передушат... Ты знаешь, как убили полковника Ная?... Единственный был...

– Отстань от меня, пожалуйста!.. – не на шутку сердясь, крикнул Шервинский. – Что это за тон?... Я такой же офицер, как и ты!

– Ну, господа, бросьте, – Карась вклинился между Мышлаевским и Шервинским, – совершенно нелепый разговор. Что ты, в самом деле, лезешь к нему... Бросим, это ни к чему не ведет...

– Тише, тише, – горестно зашептал Николка, – к нему слышно...

Мышлаевский сконфузился, помялся.

– Ну, не волнуйся, баритон. Это я так... Ведь сам понимаешь...

– Довольно странно...

– Позвольте, господа, потише... – Николка насто-

рожился и потыкал ногой в пол. Все прислушались. Снизу из квартиры Василисы донеслись голоса. Глуховато расслышали, что Василиса весело рассмеялась и немножко истерически как будто. Как будто в ответ, что-то радостно и звонко прокричала Ванда. Потом поутихло. Еще немного и глухо побубнили голоса.

– Ну, вещь поразительная, – глубокомысленно сказал Николка, – у Василисы гости... Гости. Да еще в такое время. Настоящее светопреставление.

– Да, тип ваш Василиса, – скрепил Мышлаевский.

\* \* \*

Это было около полуночи, когда Турбин после впрыскивания морфия уснул, а Елена расположилась в кресле у его постели. В гостиной составил военный совет.

Решено было всем оставаться ночевать. Во-первых, ночью, даже с хорошими документами, ходить не к чему. Во-вторых, тут и Елене лучше – то да се... помочь. А самое главное, что дома в такое времечко именно лучше не сидеть, а находиться в гостях. А еще, самое главное, и делать нечего. А вот винт составить можно.

– Вы играете? – спросил Мышлаевский у Лариосика.

Лариосик покраснел, смутился и сразу все выговорил, и что в винт он играет, но очень, очень плохо... Лишь бы его не ругали, как ругали в Житомире податные инспектора... Что он потерпел драму, но здесь, у Елены Васильевны, оживает душой, потому что это совершенно исключительный человек, Елена Васильевна, и в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательны кремовые шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего мира... А он, этот внешний мир... согласитесь сами, грязен, кровав и бессмыслен.

– Вы, позвольте узнать, стихи сочиняете? – спросил Мышлаевский, внимательно всматриваясь в Лариосика.

– Пишу, – скромно, краснея, произнес Лариосик.

– Так... Извините, что я вас перебил... Так бессмыслен, вы говорите... Продолжайте, пожалуйста...

– Да, бессмыслен, а наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми шторами...

– Ну, знаете, что касается покоя, не знаю, как у вас в Житомире, а здесь, в Городе, пожалуй, вы его не найдете... Ты щетку смочи водой, а то пылишь здорово. Свечи есть? Бесподобно. Мы вас выходящим в таком случае запишем... Впятером именно покойная игра...

– И Николка как покойник играет, – вставил Карась.

– Ну что ты, Федя. Кто в прошлый раз под печкой

проиграл? Ты сам и пошел в ренонс. Зачем клеветать?

– Блакитный петлюоровский крап...

– Именно за кремовыми шторами и жить. Все смеются почему-то над поэтами...

– Да храни Бог... Зачем же вы в дурную сторону мой вопрос приняли. Я против поэтов ничего не имею. Не читаю я, правда, стихов...

– И других никаких книг, за исключением артиллерийского устава и первых пятнадцати страниц римского права... На шестнадцатой странице война началась, он и бросил...

– Врет, не слушайте... Ваше имя и отчество – Ларион Иванович?

Лариосик объяснил, что он Ларион Ларионович, но что ему так симпатично все общество, которое даже не общество, а дружная семья, что он очень желал бы, чтобы его называли по имени, «Ларион», без отчества... Если, конечно, никто ничего не имеет против.

– Как будто симпатичный парень... – шепнул сдержанный Карась Шервинскому.

– Ну, что ж... сойдемся поближе... Отчего ж... Врет: если угодно знать, «Войну и мир» читал... Вот действительно книга. До самого конца прочитал – и с удовольствием. А почему? Потому что писал не обормот какой-нибудь, а артиллерийский офицер. У вас десят-

ка? Вы со мной... Карась с Шервинским... Николка, выходи.

– Только вы меня, ради бога, не ругайте, – как-то нервически попросил Лариосик.

– Ну, что вы, в самом деле. Что мы, папуасы какие-нибудь? Это у вас, видно, в Житомире такие податные инспектора отчаянные, они вас и напугали... У нас принят тон строгий.

– Помилуйте, можете быть спокойны, – отозвался Шервинский, усаживаясь.

– Две пики... Да-с... вот-с писатель был граф Лев Николаевич Толстой, артиллерии поручик... Жалко, что бросил служить... пас... до генерала бы дослужился... Впрочем, что ж, у него имение было... Можно от скуки и роман написать... зимой делать не черта... В имении это просто. Без козыря...

– Три бубны, – робко сказал Лариосик.

– Пас, – отозвался Карась.

– Что же вы? Вы прекрасно играете. Вас не ругать, а хвалить нужно. Ну, если три бубны, то мы скажем – четыре пики. Я сам бы в имение теперь с удовольствием поехал...

– Четыре бубны, – подсказал Лариосику Николка, заглядывая в карты.

– Четыре? Пас.

– Пас.



При трепетном стеариновом свете свечей, в дыму папирос, волнующийся Лариосик купил. Мышлаевский, словно гильзы из винтовки, разбросал партнерам по карте.

– М-малый в пиках, – скомандовал он и поощрил Лариосика, – молодец.

Карты из рук Мышлаевского летели беззвучно, как кленовые листья. Шервинский швырял аккуратно, Карась – не везет, – хлестко. Лариосик, вздыхая, тихонько выкладывал, словно удостоверения личности.

– «Папа-мама», видали мы это, – сказал Карась.

Мышлаевский вдруг побагровел, швырнул карты на стол и, зверски выкатив глаза на Лариосика, рявкнул:

– Какого же ты лешего мою даму долбанул? Лариосик?!  
– Здорово. Га-га-га, – хищно обрадовался Карась, – без одной!

Страшный гвалт поднялся за зеленым столом, и языки на свечах закачались. Николка, шипя и взмахивая руками, бросился прикрывать дверь и задерживать портьеру.

– Я думал, что у Федора Николаевича король, – мертвея, вымолвил Лариосик.

– Как это можно думать... – Мышлаевский старался не кричать, поэтому из горла у него вылетало сипение, которое делало его еще более страшным, – если ты

его своими руками купил и мне прислал? А? Ведь это черт знает, – Мышлаевский ко всем поворачивался, – ведь это... Он покоя ищет. А? А без одной сидеть – это покой? Считанная же игра! Надо все-таки вертеть головой, это же не стихи!

– Постой. Может быть, Карась...

– Что может быть? Ничего не может быть, кроме ерунды. Вы извините, батюшка, может, в Житомире так и играют, но это черт знает что такое!.. Вы не сердитесь... но Пушкин или Ломоносов хоть стихи и писали, а такую штуку никогда бы не устроили... или Надсон, например.

– Тише, ты. Ну, что налетел? Со всяким бывает.

– Я так и знал, – забормотал Лариосик... – Мне не везет...

– Стой. Ст...

И разом наступила полная тишина. В отдалении за многими дверями в кухне затрепетал звоночек. Помолчали. Послышался стук каблуков, раскрылись двери, появилась Анюта. Голова Елены мелькнула в передней. Мышлаевский побарабанил по сукну и сказал:

– Рановато как будто? А?

– Да, рано, – отозвался Николка, считающийся самым сведущим специалистом по вопросу обысков.

– Открывать идти? – беспокойно спросила Анюта.

– Нет, Анна Тимофеевна, – ответил Мышлаевский, – повремените, – он, кряхтя, поднялся с кресла, – вообще теперь я буду открывать, а вы не затрудняйтесь...

– Вместе пойдем, – сказал Карась.

– Ну, – заговорил Мышлаевский и сразу поглядел так, словно стоял перед взводом, – тэк-с. Там, стало быть, в порядке... У доктора – сыпной тиф и прочее. Ты, Лена, – сестра... Карась, ты за медика сойдешь – студента... Ушейся в спальню... Шприц там какой-нибудь возьми... Много нас. Ну, ничего...

Звонок повторился нетерпеливо, Анюта дернулась, и все стали еще серьезнее.

– Успеется, – сказал Мышлаевский и вынул из заднего кармана брюк маленький черный револьвер, похожий на игрушечный.

– Вот это напрасно, – сказал, темнея, Шервинский, – это я тебе удивляюсь. Ты-то мог бы быть поосторожнее. Как же ты по улице шел?

– Не беспокойся, – серьезно и вежливо ответил Мышлаевский, – устроим. Держи, Николка, и играй к черному ходу или к форточке. Если петлюровские архангелы, закашляюсь я, сплавь, только чтоб потом найти. Вещь дорогая, под Варшаву со мной ездила... У тебя все в порядке?

– Будь покоен, – строго и гордо ответил специалист

Николка, овладевая револьвером.

– Итак, – Мышлаевский ткнул пальцем в грудь Шервинского и сказал: – Певец, в гости пришел, – в Карася, – медик, – в Николку, – брат, – Лариосику, – жилец-студент. Удостоверение есть?

– У меня паспорт царский, – бледнея, сказал Лариосик, – и студенческий харьковский.

– Царский под ноготь, а студенческий показать.

Лариосик зацепился за портьеру, а потом убежал.

– Прочие – чепуха, женщины... – продолжал Мышлаевский, – нуте-с, удостоверения у всех есть? В карманах ничего лишнего?... Эй, Ларион!.. Спроси там у него, оружия нет ли?

– Эй, Ларион! – окликнул в столовой Николка. – Оружие?

– Нету, нету, боже сохрани, – откликнулся откуда-то Лариосик.

Звонок повторился отчаянный, долгий, нетерпеливый.

– Ну, Господи благослови, – сказал Мышлаевский и двинулся. Карась исчез в спальне Турбина.

– Пасьянс раскладывали, – сказал Шервинский и задул свечи.

Три двери вели в квартиру Турбиных. Первая из передней на лестницу, вторая стеклянная, замыкавшая собственно владение Турбиных. Внизу за стеклянной

дверью темный холодный парадный ход, в который выходила сбоку дверь Лисовичей; а коридор замыкала уже последняя дверь на улицу.

Двери прогремели, и Мышлаевский внизу крикнул:

– Кто там?

Вверху за своей спиной на лестнице почувствовал какие-то силуэты. Приглушенный голос за дверью взмолился:

– Звонишь, звонишь... Тальберг-Турбина тут?... Телеграмма ей... откройте...

«Тэк-с», – мелькнуло в голове у Мышлаевского, и он закашлялся болезненным кашлем. Один силуэт сзади на лестнице исчез. Мышлаевский осторожно открыл болт, повернул ключ и открыл дверь, оставив ее на цепочке.

– Давайте телеграмму, – сказал он, становясь боком к двери, так, что она прикрывала его. Рука в сером просунулась и подала ему маленький конвертик. Пораженный Мышлаевский увидал, что это действительно телеграмма.

– Распишитесь, – злобно сказал голос за дверью.

Мышлаевский метнул взгляд и увидал, что на улице только один.

– Анюта, Анюта, – бодро, выздоровев от бронхита, вскричал Мышлаевский. – Давай карандаш.

Вместо Анюты к нему сбежал Карась, подал. На

клочке, выдернутом из квадратика, Мышлаевский на-  
царапал: «Тур», шепнул Карасю:

– Дай двадцать пять...

Дверь загремела... Заперлась...

Ошеломленный Мышлаевский с Карасем подня-  
лись вверх. Сошлись решительно все. Елена развер-  
нула квадратик и машинально вслух прочла слова:

«Страшное несчастье постигло Лариосика точка  
Актер оперетки Липский...»

– Боже мой, – вскричал багровый Лариосик, – это  
она!

– Шестьдесят три слова, – восхищенно ахнул Ни-  
колка, – смотри, кругом исписано.

– Господи! – воскликнула Елена. – Что же это такое?  
Ах, извините, Ларион... что начала читать. Я совсем  
про нее забыла...

– Что это такое? – спросил Мышлаевский.

– Жена его бросила, – шепнул на ухо Николка, –  
такой скандал...

Страшный грохот в стеклянную дверь, как обвал  
с горы, влетел в квартиру. Аня взвизгнула. Еле-  
на побледнела и начала клониться к стене. Грохот  
был так чудовищен, страшен, нелеп, что даже Мыш-  
лаевский переменился в лице. Шервинский подхва-  
тил Елену, сам бледный... Из спальни Турбина слы-  
шался стон.

– Двери... – крикнула Елена.

По лестнице вниз, спутав стратегический план, побежали Мышлаевский, за ним Карась, Шервинский и насмерть испуганный Лариосик.

– Это уже хуже, – бормотал Мышлаевский.

За стеклянной дверью взметнулся черный одинокий силуэт, оборвался грохот.

– Кто там? – загремел Мышлаевский, как в цейхгаузе.

– Ради бога... Ради бога... Откройте, Лисович – я... Лисович!! – вскричал силуэт. – Лисович – я... Лисович...

Василиса был ужасен... Волосы с просвечивающей розоватой лысинкой торчали вбок. Галстук висел на боку и полы пиджака мотались, как дверцы взломанного шкафа. Глаза Василисы были безумны и мутны, как у отравленного. Он показался на последней ступеньке, вдруг качнулся и рухнул на руки Мышлаевскому. Мышлаевский принял его и еле удержал, сам присел к лестнице и сипло, растерянно крикнул:

– Карась! Воды...

## 15

Был вечер. Время подходило к одиннадцати часам. По случаю событий, значительно раньше, чем обыч-

но, опустела и без того не очень людная улица.

Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летали за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках.

Началось с обеда, и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то вполсвета, а Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги пища ужасная, а в Вандином приготовлении – невыносимая. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот, и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол кверху ножками и пачка Лебидь-Юрчиков лежала на полу.

– Ты дура, – сказал Василиса жене.

Ванда изменилась в лице и ответила:

– Я знала, что ты хам, уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов.

Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего размаху косо по лицу так, чтоб она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом еще раз, еще и бить ее до тех пор, пока это проклятое, костлявое существо не умолкнет, не признает себя побежденным.



Он – Василиса, измучен ведь, он, в конце концов, работает, как вол, и он требует, требует, чтобы его слушались дома. Василиса скрипнул зубами и сдержался, нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было предположить.

– Делай так, как я говорю, – сквозь зубы сказал Василиса, – пойми, что буфет могут отодвинуть, и что тогда? А это никому не придет в голову. Все в городе так делают.

Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу – к столу с внутренней стороны кнопками припиливали денежные бумажки.

Скоро вся внутренняя поверхность стола расцвятилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер.

Василиса, кряхтя, с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле.

– Неудобно, – сказала Ванда, – понадобится бумажка, нужно стол переворачивать.

– И перевернешь, руки не отвалятся, – сипло ответил Василиса, – лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в городе делается? Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут, всё офицеров ищут.

В одиннадцать часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из

буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом в одном из гнезд трехгнездной люстры, источала с неполно накаленных нитей тусклый красноватый свет.

Василиса жевал ломтик французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстук. Не понимая, что мучает его, Василиса исподлобья смотрел на жующую Ванду.

– Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук, – говорила Ванда, обращая взор к потолку, – я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и сейчас опять квартира полна офицерами...

В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления, но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми.

– Удивляюсь тебе, – ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться, – ты прекрасно знаешь, что, в сущности, они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защищать город от этих (Василиса понизил голос) мерзавцев... И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук... Я думаю, что он...

Ванда впилась глазами и закивала головой.

– Я сама, сама сразу это сообразила... Конечно, его ранили...

– Ну, вот, значит, нечего и радоваться – «сошло, сошло»...

Ванда лизнула губы.

– Я не радуюсь, я только говорю «сошло», а вот мне интересно знать, если, не дай бог, к нам явятся и спросят тебя, как председателя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у гетмана? Что ты будешь говорить?

Василиса нахмурился и покосился:

– Можно будет сказать, что он доктор... Наконец, откуда я знаю? Откуда?

– Вот то-то, откуда...

На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнел, а Ванда повернула жилистую шею.

Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал:

– Знаешь что? Может быть, сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?

Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился.

– Ах, боже мой, – тревожно молвил Василиса, – нет, нужно идти.

Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. Открыли дверь из квартиры в общий коридор. Василиса вы-

шел в коридор, пахнуло холодком, острое лицо Ванды, с тревожными, расширенными глазами, выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке.

На мгновенье у Василисы пробежала мысль постучать в стеклянные двери Турбиных – кто-нибудь сейчас же бы вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг: «Ты чего стучал? А? Боишься чего-то?» – и, кроме того, мелькнула, правда слабая, надежда, что, может быть, это не они, а так что-нибудь...

– Кто... там? – слабо спросил Василиса у двери.

Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сиповатым голосом, а над Вандой еще и еще затрещал звонок.

– Видчиняй, – хрипнула скважина, – из штабу. Та не отходи, а то стрельнем через дверь...

– Ах, бож... – выдохнула Ванда.

Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку.

– Скорийш... – грубо сказала скважина.

Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акаций, пушинками. Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше.

– Позвольте узнать... по какому поводу?

– С обыском, – ответил первый вошедший волчьим

голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Коридор повернулся, и лицо Ванды в освещенной двери оказалось резко напудренным.

– Тогда, извините, пожалуйста, – голос Василисы звучал бледно, бесцветно, – может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель... не знаю, почему же ко мне? У меня – ничего, – Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал, – нема.

– Ну, мы побачимо, – ответил первый.

Как во сне двигаясь под напором входящих в двери, как во сне их видел Василиса. В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки западали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа. Он говорил на страшном и неправильном языке – смеси русских и украинских слов – языке, знакомом жителям Города, бывающим на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы... На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал набок.

Второй – гигант, занял почти до потолка переднюю

Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объединенными молью ушами, на плечах серая шинель, и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки.

Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноеточащей коростой, и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными, позеленевшими пуговицами, на ногах черные штаны, на ступнях лапти, поверх пухлых, серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета – восково-желтый и фиолетовый, глаза смотрели страдальчески-злобно.

– Побачимо, побачимо, – повторил волк, – и мандат есть.

С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его поразил сердце Василисы, а второй, левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней.

На скомканном листке – четвертушке со штампом:

Штаб 1-го сичевого куреня

было написано химическим карандашом косо крупными каракулями:

«Предписуется зробиць обыск у жителя Василия Лисовича, по Алексеевскому спуску, дом № 13.

За сопротивление карается растрилом.  
Начальник Штабу *Проценко*,  
Адъютант *Миклун*».

В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать.

Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой:

– Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего...

Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула: «Ай». Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно.

– Кто в квартире? – сипловато спросил волк.

– Никого нету, – ответил Василиса белыми губами, – я та жинка.

– Нуте, хлопцы, смотрите, та швидче, – хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам, – нема часу.

Гигант тотчас тряхнул сундук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались.

Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку, из черной дверцы ударило скуповатым теплом.

– Оружие е? – спросил волк.

– Честное слово... помилуйте, какое оружие...

– Нет у нас, – одним дыханием подтвердила тень

Ванды.

– Лучше скажи, а то бачил – растрил? – внушительно сказал волк...

– Ей-богу... откуда же?

В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр II, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на троих. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как приходит, грозно кружа голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками, легко, игрушечно, сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их... Туп... туп... глухо постукивала стена. Тук, – отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах.

– Що я казав? – шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный переkreщенный пакет оказался в руках волка. Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк на-



чал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису.

– Что же ты, зараза, – заговорил он горько, – що ж ты? Нема, нема, ах ты, сучий хвост. Казал, нема, а сам гроши в стенку запечатав? Тебя же убить треба!

– Что вы! – вскрикнула Ванда.

С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки.

– Декрета, панове, помилуйте, никакого же не было. Тут кой-какие бумаги из банка и вещицы... Денег-то мало... Заработанные... Ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы...

Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение.

– Тебя заарестовать бы требовалось, – назидательно сказал волк, тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели. – Ну те, хлопцы, беритесь за ящики.

Из ящичков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно стола, листы, шурша, падали на пол. Урод перевернул корзину. В гостиной стучали по стенам поверхностно,

как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет, и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли как будто складнее. В спальне мгновенно – хаос: полезли из зеркального шкафа, горбом, одеяла, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз. Из-под взбудораженной кровати глянули Василисины шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису.

– Яки гарны ботинки, – сказал он тонким голосом, – а что они, часом, на мене не придутся?

Василиса не придумал еще, что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнула.

– Они шевровые, панове, – сказал он, сам не понимая, что говорит.

Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев.

– Молчи, гнида, – сказал он мрачно. – Молчать! – повторил он, внезапно раздражаясь. – Ты спасибо скажи нам, що мы тебе не расстреляли, як вора и бан-

дита, за утайку сокровищ. Ты молчи, – продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами. – Накопил вещей, нажрал морду, розовый, як свинья, а ты бачишь, в чем добрые люди ходют? Бачишь? У него ноги мороженые, рваные, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел, на граммофонах играл. У-у, матери твоей, – в глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху, он дернул рукой. Ванда вскрикнула: «Что вы...» Волк не посмел ударить представительного Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака.

«Вот так революция, – подумал он в своей розовой и аккуратной голове, – хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно...»

– Василько, обувайсь, – ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезали на серые, толстые чулки. – Выдай казаку носки, – строго обратился волк к Ванде. Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и черными изъединами, и натянул носки. С трудом налезли ботинки, шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал.

И тотчас как будто что лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисины брюки, висящие на гвоздике, рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису, – не скажет ли чего, – но Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в ключья изодранных подштанниках и рассматривал на свет брюки.

– Дорогая вещь, шевиот... – гнусаво сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами: «Якись бумажки, берите, пане, може, нужные». Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры.

Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы.

– Часы нужная вещь. Без часов – як без рук, – говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе, – ночью глянуть, сколько времени, – незаменимая вещь.

Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе:

– Вы, пане, дайте нам расписку... (Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой.)

– Как? – шепнул Василиса.

– Расписку, що вы нам вещи выдалы, – пояснил волк, глядя в землю.

Василиса изменился в лице, его щеки порозовели.

– Но как же... Я же... (Он хотел крикнуть: «Как, я же еще и расписку?!» – но у него не вышли эти слова, а вышли другие.) Вы... вам надлежит расписаться, так сказать...

– Ой, убить тебе треба, як собаку. У-у, кровопийца... Знаю я, что ты думаешь. Знаю. Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых. У-у, вижу я, добром с тобой не сговоришь. Хлопцы, ставь его к стенке. У, як вдарю...

Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным.

– Ай! – в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка. – Что вы. Помилуйте... Вася, напиши, напиши...

Волк выпустил инженерovo горло, и с хрустом в сто-

рону отскочил, как на пружине, воротничок. Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок, макнул перо. Настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус.

– Как же писать? – спросил Василиса слабым, хрипловатым голосом.

Волк задумался, поморгал глазами.

– Пишить... по предписанию штаба сичевого куреня... вещи... вещи... в размере... у целости сдал...

– В разм... – как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк.

– ...Сдал при обыске. И претензий ни яких не маю. И подписить...

Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза:

– А кому?

Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул.

– Пишить: получив... получили у целости Немоляка (он задумался, посмотрел на уroda)... Кирпатыи и отаман Ураган.

Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться.

В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери, слышались шаги и грянул голос Мышлаевского.

Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул: «Ша». Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, переключаясь. Потом слышно было, как прогремел болт, крик, цепь – запирали дверь. Еще пробежали шаги, донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замирающие шаги, и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там, в передней, гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал:

– Холодно буде.

Он надел Василисины галоши.

Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами:

– Вы вот що, пане... Вы молчите, що мы были у вас. Бо як вы накапаєте на нас, то вас наши хлопцы вб'ють. С квартири до утра не выходите, за це строго взыскується...

– Прощени просим, – сказал провалившийся нос

гнилым голосом.

Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса, радостно – на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподымаясь на цыпочки, быстро, толкаясь. Прогревели запоры, глянуло темное небо, и Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось часто, часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену, крупные слезы залили ее лицо.

– Боже! Что же это такое?... Боже. Боже. Вася... Среди бела дня. Что же это делается?...

Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было искажено.

– Вася, – вскричала Ванда, – ты знаешь... Это никакой не штаб, не полк. Вася! Это были бандиты!

– Я сам, сам понял, – бормотал Василиса, в отчаянии разводя руками.

– Господи! – вскрикнула Ванда. – Нужно бежать скорей, сию минуту, сию минуту заявить, ловить их. Ловить! Царица небесная! Все вещи. Все! Все! И хоть бы кто-нибудь, кто-нибудь... А?... – Она затряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками. Волосы ее разметались, кофточка расстегнулась на спине.



– Куда ж, куда?... – спрашивал Василиса.

– Боже мой, в штаб, в Варту! Заявление подать.

Скорей. Что ж это такое?!

Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот.

\* \* \*

Все, кроме Шервинского и Елены, толпились в квартире Василисы, Лариосик, бледный, стоял в дверях. Мышлаевский, раздвинув ноги, поглядел на опорки и лохмотья, брошенные неизвестными посетителями, повернулся к Василисе.

– Пиши пропало. Это бандиты. Благодарите бога, что живы остались. Я, сказать по правде, удивлен, что вы так дешево отделались.

– Боже... что они с нами сделали! – сказала Ванда.

– Они угрожали мне смертью.

– Спасибо, что угрозу не привели в исполнение.

Первый раз такую штуку вижу.

– Чисто сделано, – тихонько подтвердил Карась.

– Что же теперь делать?... – замирая, спросил Василиса. – Бежать жаловаться?... Куда?... Ради бога, Виктор Викторович, посоветуйте.

Мышлаевский крякнул, подумал.

– Никуда я вам жаловаться не советую, – молвил он, – во-первых, их не поймают – раз. – Он загнул длинный палец. – Во-вторых...

– Вася, ты помнишь, они сказали, что убьют, если ты заявишь?

– Ну, это вздор, – Мышлаевский нахмурился, – никто не убьет, но, говорю, не поймают их, да и ловить никто не станет, а второе, – он загнул второй палец, – ведь вам придется заявить, что у вас взяли, вы говорите, царские деньги... Ну-те-с, вы заявите там в штаб этот ихний или куда там, а они вам, чего доброго, второй обыск устроят.

– Может быть, очень может быть, – подтвердил высокий специалист Николка.

Василиса, растерзанный, облитый водой после обморока, поник головой, Ванда тихо заплакала, прислонившись к притолоке, всем стало их жаль. Лариосик тяжело вздохнул у дверей и выкатил мутные глаза.

– Вот оно, у каждого свое горе, – прошептал он.

– Чем же они были вооружены? – спросил Николка.

– Боже мой. У обоих револьверы, а третий... Вася, у третьего ничего не было?

– У двух револьверы, – слабо подтвердил Василиса.

– Какие не заметили? – деловито добивался Никол-

ка.

– Ведь я ж не знаю, – вздохнув, ответил Василиса, – не знаю я систем. Один большой черный, другой маленький черный с цепочкой.

– Цепочка, – вздохнула Ванда.

Николка нахмурился и искоса, как птица, посмотрел на Василису. Он потоптался на месте, потом беспокойно двинулся и проворно отправился к двери. Лариосик поплелся за ним. Лариосик не достиг еще столовой, когда из Николкиной комнаты долетел звон стекла и Николкин вопль. Лариосик устремился туда. В Николкиной комнате ярко горел свет, в открытую форточку несло холодом и зияла огромная дыра, которую Николка устроил коленями, сорвавшись с отчаяния с подоконника. Николкины глаза блуждали.

– Неужели? – вскричал Лариосик, вздымая руки. – Это настоящее колдовство!

Николка бросился вон из комнаты, проскочил сквозь книжную, через кухню, мимо ошеломленной Анюты, кричащей: «Никол, Никол, куда ж ты без шапки? Господи, аль еще что случилось?...» И выскочил через сени во двор. Анюта, крестясь, закинула в сенях крючок, убежала в кухню и припала к окну, но Николка моментально пропал из глаз.

Он круто свернул влево, сбежал вниз и остановился перед сугробом, запиравшим вход в ущелье между

стенами. Сугроб был совершенно нетронут. «Ничего не понимаю», – в отчаянии бормотал Николка и храбро кинулся в сугроб. Ему показалось, что он задохнется. Он долго месил снег, плевался и фыркал, прорвал, наконец, снеговую преграду и весь белый пролез в дикое ущелье, глянул вверх и увидал: вверху, там, где из рокового окна его комнаты выпадал свет, черными головками виднелись костыли и их остренькие густые тени, но коробки не было.

С последней надеждой, что, может быть, петля оборвалась, Николка, поминутно падая на колени, шарил по битым кирпичам. Коробки не было.

Тут яркий свет осветил вдруг Николкину голову: «А-а», – закричал он и полез дальше, к забору, закрывающему ущелье с улицы. Он дополз и ткнул руками, доски отошли, глянула широкая дыра на черную улицу. Все понятно... Они отшили доски, ведущие в ущелье, были здесь и даже, по-о-нимаю, хотели залезть к Василисе через кладовку, но там решетка на окне.

Николка, весь белый, вошел в кухню молча.

– Господи, дай хоть почищу... – вскричала Анюта.

– Уйди ты от меня, ради бога, – ответил Николка и прошел в комнаты, обтирая заочеченвшие руки об штаны. – Ларион, дай мне по морде, – обратился он к Лариосику. – Тот заморгал глазами, потом выкатил их и сказал:

– Что ты, Николаша? Зачем же так впадать в отчаяние? – Он робко стал шаркать руками по спине Николки и рукавом сбивать снег.

– Не говоря о том, что Алеша оторвет мне голову, если, даст бог, поправится, – продолжал Николка, – но самое главное... Най-Турсов кольт!.. Лучше б меня убили самого, ей-богу!.. Это Бог наказал меня за то, что я над Василисой издевался. И жаль Василису, но ты понимаешь, они этим самым револьвером его и отделали. Хотя, впрочем, его можно и без всяких револьверов обобрать, как липочку... Такой уж человек. Эх... Вот какая история. Бери бумагу, Ларион, будем окно клеивать.

\* \* \*

Ночью из ущелья вылезли с гвоздями, топором и молотком Николка, Мышлаевский и Лариосик. Ущелье было короткими досками забито наглухо. Сам Николка с остервенением вгонял длинные, толстые гвозди с таким расчетом, чтобы они остриями вылезли наружу. Еще позже на веранде со свечами ходили, а затем через холодную кладовую на чердак лезли Николка, Мышлаевский и Лариосик. На чердаке, над квартирой, со зловещим топотом они лазили всюду, сгибаясь между теплыми трубами, между бельем, и забили

слуховое окно.

Василиса, узнав об экспедиции на чердак, обнаружил живейший интерес и тоже присоединился и лазил между балками, одобряя все действия Мышлаевского.

– Какая жалость, что вы не дали нам как-нибудь знать. Нужно было бы Ванду Михайловну послать к нам через черный ход, – говорил Николка, капая со свечи стеарином.

– Ну, брат, не очень-то, – отозвался Мышлаевский, – когда уже они были в квартире, это, друг, дело довольнодохлое. Ты думаешь, они не стали бы защищаться? Еще как. Ты, прежде чем в квартиру бы влез, получил бы пулю в живот. Вот и покойничек. Так-то-с. А вот не пускать, это дело другого рода.

– Угрожали выстрелить через дверь, Виктор Викторович, – задушевно сказал Василиса.

– Никогда бы не выстрелили, – отозвался Мышлаевский, гремя молотком, – ни в коем случае. Всю бы улицу на себя навлекли.

Позже ночью Карась нежился в квартире Лисовичей, как Людовик XIV. Этому предшествовал такой разговор:

– Не придут же сегодня, что вы! – говорил Мышлаевский.

– Нет, нет, нет, – вперебой отвечали Ванда и Ва-

сила на лестнице, – мы умоляем, просим вас или Федора Николаевича, просим!.. Что вам стоит? Ванда Михайловна чайком вас напоит. Удобно уложим. Очень просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире!

– Я ни за что не засну, – подтвердила Ванда, кутаясь в пуховый платок.

– Коньячок есть у меня – согреемся, – неожиданно залихватски как-то сказал Василиса.

– Иди, Карась, – сказал Мышлаевский.

Вследствие этого Карась и нежился. Мозги и суп с постным маслом, как и следовало ожидать, были лишь симптомами той омерзительной болезни скупоности, которой Василиса заразил свою жену. На самом деле в недрах квартиры скрывались сокровища, и они были известны только одной Ванде. На столе в столовой появилась банка с маринованными грибами, телятина, вишневое варенье и настоящий, славный коньяк Шустова с колоколом. Карась потребовал рюмку для Ванды Михайловны и ей налил.

– Не полную, не полную, – кричала Ванда.

Василиса, отчаянно махнув рукой, подчиняясь Карасю, выпил одну рюмку.

– Ты не забывай, Вася, что тебе вредно, – нежно сказала Ванда.

После авторитетного разъяснения Карася, что ни-

кому абсолютно не может быть вреден коньяк и что его дают даже малокровным с молоком, Василиса выпил вторую рюмку, и щеки его порозовели, и на лбу выступил пот. Карась выпил пять рюмок и пришел в очень хорошее расположение духа. «Если б ее откормить, она вовсе не так уж дурна», – думал он, глядя на Ванду.

Затем Карась похвалил расположение квартиры Лисовичей и обсудил план сигнализации в квартиру Турбиных: один звонок из кухни, другой из передней. Чуть что – наверх звонок. И, пожалуйста, выйдет открывать Мышлаевский, это будет совсем другое дело.

Карась очень хвалил квартиру: и уютно, и хорошо меблирована, и один недостаток – холодно.

Ночью сам Василиса притащил дров и собственноручно затопил печку в гостиной. Карась, раздевшись, лежал на тахте между двумя великолепнейшими простынями и чувствовал себя очень уютно и хорошо. Василиса в рубашке, в подтяжках пришел к нему и присел на кресло со словами:

– Не спится, знаете ли, вы разрешите с вами немного побеседовать?

Печка догорела, Василиса, круглый, успокоившийся, сидел в креслах, вздыхал и говорил:

– Вот-с как, Федор Николаевич. Все, что нажито упорным трудом, в один вечер перешло в карманы



каких-то негодяев... путем насилия... Вы не думайте, чтобы я отрицал революцию, о нет, я прекрасно понимаю исторические причины, вызвавшие все это.

Багровый отблеск играл на лице Василисы и застужках его подтяжек. Карась в чудесном коньячном расслаблении начинал дремать, стараясь сохранить на лице вежливое внимание...

– Но, согласитесь сами. У нас в России, в стране, несомненно, наиболее отсталой, революция уже выродилась в пугачевщину... Ведь что ж такое делается... Мы лишились в течение каких-либо двух лет всякой опоры в законе, минимальной защиты наших прав человека и гражданина. Англичане говорят...

– М-ме, англичане... они, конечно, – пробормотал Карась, чувствуя, что мягкая стена начинает отделять его от Василисы.

– ...А тут, какой же «твой дом – твоя крепость», когда вы не гарантированы в собственной вашей квартире за семью замками от того, что шайка, вроде той, что была у меня сегодня, не лишит вас не только имущества, но, чего доброго, и жизни?!

– На сигнализацию и на ставни наляжем, – не очень удачно, сонным голосом ответил Карась.

– Да ведь, Федор Николаевич! Да ведь дело, голубчик, не в одной сигнализации! Никакой сигнализацией вы не остановите того развала и разложения, которые

свили теперь гнездо в душах человеческих. Помилуйте, сигнализация – частный случай, а предположим, она испортится?

– Починим, – ответил счастливый Карась.

– Да ведь нельзя же всю жизнь строить на сигнализации и каких-либо там револьверах. Не в этом дело. Я говорю вообще, обобщая, так сказать, случай. Дело в том, что исчезло самое главное, уважение к собственности. А раз так, дело кончено. Если так, мы погибли. Я убежденный демократ по натуре и сам из народа. Мой отец был простым десятником на железной дороге. Все, что вы видите здесь, и все, что сегодня у меня отняли эти мошенники, все это нажито и сделано исключительно моими руками. И, поверьте, я никогда не стоял на страже старого режима, напротив, признаюсь вам по секрету, я кадет, но теперь, когда я своими глазами увидел, во что все это выливается, клянусь вам, у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно... – Откуда-то из мягкой пелены, окутывающей Карася, донесся шепот... – Самодержавие. Да-с... Злейшая диктатура, какую можно только себе представить... Самодержавие...

«Эк разнесло его», – думал блаженный Карась.

– М-да, самодержавие – штука хитрая». Эхе-мм... – проговорил он сквозь вату.

– Ах, ду-ду-ду-ду – хабеас корпус, ах, ду-ду-ду-ду.  
Ай, ду-ду... – бубнил голос через вату, – ай, ду-ду-ду, напрасно они думают, что такое положение вещей может существовать долго, ай ду-ду-ду, и восклицают «многие лета». Нет-с! Многие лета это не продолжится, да и смешно было бы думать, что...

– Крепость Ивангород, – неожиданно перебил Василису покойный комендант в папаше, – многая лета!

– И Ардаган и Карс, – подтвердил Карась в тумане, – многая лета!

Реденький почтительный смех Василисы донесся издали.

– Многая лета!! —

радостно спели голоса в Карасевой голове.

## 16

Многая ле-ета. Многая лета,  
Много-о-о-о-га-ая ле-е-е-т-а...

вознесли девять басов знаменитого хора Толмашевского.

Мн-о-о-о-о-о-о-о-о-о-гая л-е-е-е-е-е-та... —

разнесли хрустальные дисканты.

Многая... Многая... Многая... —

рассыпаясь в сопрано, ввинтил в самый купол хор.

– Бачь! Бачь! Сам Петлюра...

– Бачь, Иван...

– У, дурень... Петлюра уже на площади...

Сотни голов на хорах громоздились одна на другую, давя друг друга, свешивались с балюстрады между древними колоннами, расписанными черными фресками. Крутясь, волнуясь, напирая, давя друг друга, лезли к балюстраде, стараясь глянуть в бездну собора, но сотни голов, как желтые яблоки, висели тесным, тройным слоем. В бездне качалась душная тысячеголовая волна, и над ней плыл, раскаляясь, пот и пар, ладанный дым, нагар сотен свечей, копоть тяжелых лампад на цепях. Тяжкая завеса серо-голубая, скрипя, ползла по кольцам и закрывала резные, витые, векового металла, темного и мрачного, как весь мрачный собор Софии, царские врата. Огненные хвосты свечей в паникадилах потрескивали, колыхались, тянулись дымной ниткой вверх. Им не хватало воздуха. В приделе алтаря была невероятная кутерьма. Из боковых алтарских дверей, по гранитным истертым

плитам сыпались золотые ризы, взмахивали орари. Лезли из круглых картонок фиолетовые камилавки, со стен, качаясь, снимались хоругви. Страшный бас протодиакона Серебрякова рычал где-то в гуще. Риза, безголовая, безрукая, горбом витала над толпой, затем утонула в толпе, потом вынесло вверх один рукав ватной рясы, другой. Взмахивали клетчатые платки, свивались в жгуты.

– Отец Аркадий, щеки покрепче подвяжите, мороз лютей, позвольте, я вам помогу.

Хоругви кланялись в дверях, как побежденные знамена,плыли коричневые лики и таинственные золотые слова, хвосты мело по полу.

– Посторонитесь...

– Батюшки, куда ж?

– Манька! Задавят...

– О ком же? (бас, шепот). Украинской Народной Республике?

– А черт ее знает... (шепот).

– Кто ни поп, тот батька...

– Осторожно...

Многая лета!!! —

зазвенел, разнесся по всему собору хор... Толстый, багровый Толмашевский угасил восковую жид-

кую свечу и камертон засунул в карман. Хор, в коричневых до пят костюмах, с золотыми позументами, колыша белобрысыми, словно лысыми, головенками дискантов, качаясь кадыками, лошадиными головами басов, потек с темных, мрачных хор. Лавинами из всех пролетов, густея, давя друг друга, закипел в водоворотах, зашумел народ.

Из придела выплывали стихари, обвязанные, словно от зубной боли, головы с растерянными глазами, фиолетовые, игрушечные, картонные шапки. Отец Аркадий, настоятель кафедрального собора, маленький щуплый человек, водрузивший сверх серого клетчатого платка самоцветами искрящуюся митру, плыл, семеня ногами в потоке. Глаза у отца были отчаянные, тряслась борода.

– Крестный ход будет. Вали, Митька.

– Тише вы! Куда лезете? Попов подавите...

– Туда им и дорога.

– Православные!! Ребенка задавили...

– Ничего не понимаю...

– Як вы не понимаете, то вы б и шлы до дому, бо тут вам робыть нема чога...

– Кошелек вырезали!!!

– Позвольте, они же социалисты. Так ли я говорю?

При чем же здесь попы?

– Выбачайте.

– Попам дай синенькую, так они дьяволу обедню отслужат.

– Тут бы сейчас на базар, да по жидовским лавкам ударить. Самый раз...

– Я на вашей мови не размовляю.

– Душат женщину, женщину душат...

– Га-а-а-а... Га-а-а-а...

Из боковых заколонных пространств, с хор, со ступени на ступень, плечо к плечу, не повернуться, не шелохнуться, тащило к дверям, вертело. Коричневые с толстыми икрами скоморохи неизвестного века неслись, приплясывая и наигрывая на дудках, на старых фресках на стенах. Через все проходы, в шорохе, гуле, несло полузадушенную, опьяненную углекислотой, дымом и ладаном толпу. То и дело в гуще вспыхивали короткие болезненные крики женщин. Карманные воры с черными кашне работали сосредоточенно, тяжело, продвигая в слипшихся комках человеческого давленого мяса ученые виртуозные руки. Хрустели тысячи ног, шептала, шуршала толпа.

– Господи Боже мой...

– Иисусе Христе... Царица Небесная, матушка...

– И не рад, что пошел. Что же это делается?

– Чтоб тебя, сволочь, раздавило...

– Часы, голубчики, серебряные часы, братцы родные. Вчера купил...

– Отлитургисали, можно сказать...

– На каком же языке служили, отцы родные, не пойму я?

– На божественном, тетка.

– От строго заборонють, щоб не було бильш московской мови.

– Что ж это, позвольте, как же? Уж и на православном, родном языке говорить не разрешается?

– С корнями серьги вывернули. Пол-уха оборвали...

– Большевика держите, казаки! Шпиен! Большевицкий шпиен!

– Це вам не Россия, добродию.

– Ох, боже мой, с хвостами... Глянь, в галунах, Маруся.

– Дур... но мне...

– Дурно женщине.

– Всем, матушка, дурно. Всему народу чрезвычайно плохо. Глаз, глаз выдушите, не напирайте. Что вы, взбесились, анафемы?!

– Геть! В Россию! Геть с Украины!

– Иван Иванович, тут бы полиции сейчас наряды, помните, бывало, в двенадесятые праздники... Эх, хо, хо.

– Николая вам кровавого давай? Мы знаем, мы все знаем, какие мысли у вас в голове находятся.



– Отстаньте от меня, ради Христа. Я вас не трогаю.

– Господи, хоть бы выход скорей... Воздуху живого глотнуть.

– Не дойду. Помру.

Через главный выход напором перло и выпихивало толпу, вертело, бросало, роняли шапки, гудели, крестились. Через второй боковой, где мгновенно выдавили два стекла, вылетел, серебряный с золотом, крестный, задавленный и ошалевший, ход с хором. Золотые пятна плыли в черном месиве, торчали камилавки и митры, хоругви наклонно вылезали из стекол, выпрямлялись и плыли торчком.

Был сильный мороз. Город курился дымом. Соборный двор, топтанный тысячами ног, звонко, непрерывно хрустел. Морозная дымка веяла в остывшем воздухе, поднималась к колокольне. Софийский тяжелый колокол на главной колокольне гудел, стараясь покрыть всю эту страшную, вопящую кутерьму. Маленькие колокола тявкали, заливаясь, без ладу и складу, вперебой, точно сатана влез на колокольню, сам дьявол в рясе и, забавляясь, поднимал гвалт. В черные прорези многоэтажной колокольни, встречавшей некогда тревожным звоном косых татар, видно было, как метались и кричали маленькие колокола, словно яростные собаки на цепи. Мороз хрустел, курился. Расплавляло, отпускало душу на покаяние, и чер-

ным-черно разливался по соборному двору народушко.

Старцы Божии, несмотря на лютый мороз, с обнаженными головами, то лысыми, как спелые тыквы, то крытыми дремучим оранжевым волосом, уже сели рядом по-турецки вдоль каменной дорожки, ведущей в великий пролет старософийской колокольни, и пели гнусавыми голосами.

Слепцы-лирники тянули за душу отчаянную песню о Страшном суде, и лежали донышком книзу рваные картузы, и падали, как листья, засаленные карбованцы, и глядели из картузов трепанные гривны.

Ой, когда конец века искончается,  
А тогда Страшный суд приближается...

Страшные, щиплющие сердце звуки плыли с хрустящей земли, гнусаво, пискливо вырываясь из желтозубых бандур с кривыми ручками.

– Братики, сестрички, обратите внимание на убожество мое. Подайте, Христа ради, что милость ваша будет.

– Бегите на площадь, Федосей Петрович, а то опоздаем.

– Молебен будет.

– Крестный ход.

- Молебствие о даровании победы и одоления революционному оружию народной украинской армии.
- Помилуйте, какие же победы и одоление? Победили уже.
- Еще побеждать будут!
- Поход буде.
- Куды поход?
- На Москву.
- На какую Москву?
- На самую обыкновенную.
- Руки коротки.
- Як вы казали? Повторить, як вы казали? Хлопцы, слухайте, що вин казав!
- Ничего я не говорил!
- Держи, держи его, вора, держи!!
- Беги, Маруся, через те ворота, здесь не пройдем. Петлюра, говорят, на площади. Петлюру смотреть.
- Дура, Петлюра в соборе.
- Сама ты дура. Он на белом коне, говорят, едет.
- Слава Петлюри! Украинской Народной Республике слава!!!
- Дон... дон... дон... Дон-дон-дон... Тирли-бом-бом. Дон-бом-бом, – бесились колокола.
- Воззрите на сироток, православные граждане, добрые люди... Слепому... Убогому...
- Черный, с обшитым кожей задом, как ломаный жук,

цепляясь рукавицами за затоптанный снег, полз безногий между ног. Калеки, убогие выставляли язвы на посиневших голенях, трясли головами, якобы в тике и параличе, закатывали белесые глаза, притворяясь слепыми. Изводя душу, убивая сердце, напоминая про нищету, обман, безнадежность, безысходную дичь степей, скрипели, как колеса, стонали, выли в гущу проклятые лиры.

Вернися, сиротко, далекий свит зайдешь...

Косматые, трясущиеся старухи с клюками совали вперед иссохшие пергаментные руки, выли:

- Красавец писаный! Дай тебе Бог здоровечка!
- Барыня, пожалей старуху, сироту несчастную.
- Голубчики, милые, Господь Бог не оставит вас...

Салопницы на плоских ступнях, чуйки в чепцах с ушами, мужики в бараньих шапках, румяные девушки, отставные чиновники с пыльными следами кокард, пожилые женщины с выпяченным мысом животом, юркие ребята, казаки в шинелях, в шапках с хвостами цветного верха, синего, красного, зеленого, малинового с галуном, золотыми и серебряными, с кистями золотыми с углов гроба, черным морем разливались по соборному двору, а двери собора все источали и источали новые волны. На воздухе в игольчатом мо-

розе воспрянул духом, глотнул силы крестный ход, перестроился, подтянулся, и поплыли в стройном чине и порядке обнаженные головы в клетчатых платках, митры и камилавки, буйные гривы дьяконов, скуфьи монахов, острые кресты на золоченых древках, хоругви Христа-Спасителя и Божьей Матери с младенцем, и поплыли разрезные, кованые, золотые, малиновые, писанные славянской вязью хвостатые полотнища.

То не серая туча со змеиным брюхом разливается по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам – то сила Петлюры несметная на площадь старой Софии идет на парад.

Первой, взорвав мороз ревом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла густыми рядами синяя дивизия.

В синих жупанах, в смушковых, лихо заломанных шапках с синими верхами шли галичане. Два двуцветных прапора, наклоненных меж обнаженными шашками, плыли следом за густым трубным оркестром, а за прапорами, мерно давя хрустальный снег, молодецки гремели ряды, одетые в добротное, хоть немецкое, сукно. За первым батальоном валили черные в длинных халатах, опоясанных ремнями, и в тазах на головах, и коричневая заросль штыков колючей тучей лезла на парад.

Несчитанной силой шли серые обшарпанные полки

сечевых стрельцов. Шли курени гайдамаков, пеших, курень за куренем, и, высоко танцуя в просветах батальонов, ехали в седлах brave полковые, куренные и ротные командиры. Удалые марши, победные, ревущие, выли золотом в цветной реке.

За пешим строем, облегченной рысью, мелко прыгая в седлах, покатали конные полки. Ослепительно резнули глаза восхищенного народа мятые, заломленные папахы с синими, зелеными и красными шлыками с золотыми кисточками.

Пики прыгали, как иглы, надетые петлями на правые руки. Весело гремящие бунчуки метались среди конного строя, и рвались вперед от трубного воя кони командиров и трубачей. Толстый, веселый, как шар, Болботун катил впереди куреня, подставив морозу блестящий в сале низкий лоб и пухлые радостные щеки. Рыжая кобыла, кося кровавым глазом, жуя мундштук, роняя пену, поднималась на дыбы, то и дело встряхивая шестипудового Болботуна, и гремела, хлопая ножнами, кривая сабля, и колол легонько шпорами полковник крутые нервные бока.

Бо старшины з нами,  
З нами, як з братами! —

разливаясь, на рыси пели и прыгали лихие гайда-

маки, и трепались цветные оселедцы.

Трепля простреленным желто-блакитным знаменем, гремя гармоникой, прокатил полк черного, остроусого, на громадной лошади, полковника Козыря-Лешко. Был полковник мрачен и косил глазом и хлестал по крупу жеребца плетью. Было от чего сердиться полковнику – побили Най-Турсовы залпы в туманное утро на Брест-Литовской стреле лучшие Козырины взводы, и шел полк рысью и выкатывал на площадь сжавшийся, поредевший строй.

За Козырем пришел лихой, никем не битый черноморский конный курень имени гетмана Мазепы. Имя славного гетмана, едва не погубившего императора Петра под Полтавой, золотистыми буквами сверкало на голубом шелке.

Народ тучей обмывал серые и желтые стены домов, народ выпирал и лез на тумбы, мальчишки карабкались на фонари и сидели на перекладинах, торчали на крышах, свистали, кричали: ура... ура...

– Слава! Слава! – кричали с тротуаров.

Лепешки лиц громоздились в балконных и оконных стеклах.

Извозчики, балансируя, лезли на козлы саней, взмахивая кнутами.

– Ото казалы, банды... Вот тебе и банды. Ура!

– Слава! Слава Петлюри! Слава нашему Батько!

– Ур-ра...

– Маня, глянь, глянь... Сам Петлюра, глянь, на серой. Какой красавец...

– Що вы, мадам, це полковник.

– Ах, неужели? А где же Петлюра?

– Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы.

– Що вы, добродию, сдурели, яких послов?

– Петлюра, Петр Васильевич, говорят (шепотом), в Париже, а, видали?

– Вот вам и банды... Меллиен войску.

– Где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть.

– Петлюра, сударыня, сейчас на площади принимает парад.

– Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза.

– Якому президенту?! Чего вы, добродию, распространяете провокацию.

– Берлинскому президенту... По случаю республики...

– Видали? Видали? Який важный... Вин по Рыльскому переулку проехал у кареты. Шесть лошадей...

– Виноват, разве они в архиереев верят?

– Я не кажу, верят – не верят... Кажу – проехал, и больше ничего. Самы истолкуйте факт...



– Факт тот, что попы служат сейчас...

– С попами крепче...

– Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра...

Гремели страшные тяжкие колеса, тархтели ящики, за десятью конными куренями шла лентами бесконечная артиллерия. Везли тупые, толстые мортиры, катились тонкие гаубицы; сидела прислуга на ящиках, веселая, кормленая, победная, чинно и мирно ехали ездовые. Шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые, сытые кони, крепкие, крутокрупные, и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох, коняки. Легко громыхала конно-горная легкая, и пушечки подпрыгивали, окруженные бравыми всадниками.

– Эх... эх... вот тебе и пятнадцать тысяч... Что же это наврало нам. Пятнадцать... бандит... разложение... Господи, не сочтешь. Еще батарея... еще, еще...

Толпа мяла и мяла Николку, и он, сунув птичий нос в воротник студенческой шинели, влез наконец в нишу в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно:

– Держитесь за меня, панычу, а я за кирпич, а то звалимся.

– Спасибо, – уныло просопел Николка в заиндевавшем воротнике, – я вот за крюк буду.

– Де ж сам Петлюра? – болтала словоохотливая бабенка. – Ой, хочу побачить Петлюру. Кажуть, вин кра-савец неописуемый.

– Да, – промычал Николка неопределенно в ба-рашковом мехе, – неописуемый. «Еще батарея... Вот, черт... Ну, ну, теперь я понимаю...»

– Вин на автомобиле, кажуть, проехав, – тут... Вы не бачили?

– Он в Виннице, – гробовым и сухим голосом отве-тил Николка, шевеля замерзшими в сапогах пальца-ми. «Какого черта я валенки не надел. Вот мороз».

– Бачь, бачь, Петлюра.

– Та який Петлюра, це начальник Варты.

– Петлюра мае резиденцию в Билой Церкви. Те-перь Била Церковь буде столицей.

– А в Город они разве не придут, позвольте вас спро-сить?

– Придут своевременно.

– Так, так, так...

Лязг, лязг, лязг. Глухие раскаты турецких бараба-нов неслись с площади Софии, а по улице уже полз-ли, грозя пулеметами из амбразур, колыша тяжелыми башнями, четыре страшных броневика. Но румяного энтузиаста Страшкевича уже не было внутри. Лежал

еще до сих пор не убранный и совсем уже не румяный, а грязно-восковой, неподвижный Страшкевич на Печерске, в Мариинском парке, тотчас за воротами. Во лбу у Страшкевича была дырочка, другая, запекавшаяся, за ухом. Босые ноги энтузиаста торчали из-под снега, и глядел остекленевшими глазами энтузиаст прямо в небо сквозь кленовые голые ветви. Кругом было очень тихо, в парке ни живой души, да и на улице редко кто показывался, музыка сюда не достигала от старой Софии, поэтому лицо энтузиаста было совершенно спокойно.

Броневики, гудя, разламывая толпу, уплыли в поток туда, где сидел Богдан Хмельницкий и булавой, чернея на небе, указывал на северо-восток. Колокол еще плыл густейшей масляной волной по снежным холмам и кровлям Города, и бухал, бухал барабан в гуще, и лезли остервеневшие от радостного возбуждения мальчишки к копытам черного Богдана. А по улицам уже гремели грузовики, скрипя цепями, и ехали на площадках в украинских кожухах, из-под которых торчали разноцветные плахты, ехали с соломенными венками на головах девушки и хлопцы в синих шароварах под кожухами, пели стройно и слабо...

А в Рыльском переулке в то время грохнул залп. Перед залпом закружились метелицей бабьи визги в толпе. Кто-то побежал с воплем:

– Ой, лышечко!

Кричал чей-то голос, срывающийся, торопливый, сиповатый:

– Я знаю. Тримай их! Офицеры. Офицеры. Офицеры... Я их бачив в погонах!

Во взводе десятого куреня имени Рады, ожидавшего выхода на площадь, торопливо спешили хлопцы, врзались в толпу, хватая кого-то. Кричали женщины. Слабо, надрывно вскрикивал схваченный за руки капитан Плешко:

– Я не офицер. Ничего подобного. Ничего подобного. Что вы? Я служащий в банке.

Хватили с ним рядом кого-то, тот, белый, молчал и извивался в руках...

Потом хлынуло по переулку, словно из прорванного мешка, давя друг друга. Бежал ошалевший от ужаса народ. Очистилось место совершенно белое, с одним только пятном – брошенной чьей-то шапкой. В переулке сверкнуло и трахнуло, и капитан Плешко, трижды отрекшийся, заплатил за свое любопытство к пародам. Он лег у палисадника церковного софийского дома навзничь, раскинув руки, а другой, молчаливый, упал ему на ноги и откинулся лицом в тротуар. И тотчас лязгнули тарелки с угла площади, опять попер народ, зашумел, забухал оркестр. Резнул победный голос: «Кроком рушь!» И ряд за рядом, блестя хвоста-

тыми галунами, тронулся конный курень Рады.

\* \* \*

Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон, и показалось в мутной мгле внезапное солнце. Было оно так велико, как никогда еще никто на Украине не видал, и совершенно красно, как чистая кровь. От шара, с трудом сияющего сквозь завесу облаков, мерно и далеко протянулись полосы запекшейся крови и сукровицы. Солнце окрасило в кровь главный купол Софии, а на площадь от него легла странная тень, так что стал в этой тени Богдан фиолетовым, а толпа мятущегося народа еще чернее, еще гуще, еще смятеннее. И было видно, как по скале поднимались на лестницу серые, опоясанные лихими ремнями и штыками, пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита. Но бесполезно скользили и срывались с гранита штыки. Скачущий же Богдан яростно рвал коня со скалы, пытаюсь улететь от тех, кто навис тяжестью на копытах. Лицо его, обращенное прямо в красный шар, было яростно, и по-прежнему булавой он указывал в дали.

И в это время над гудящей растекающейся толпой напротив Богдана, на замерзшую, скользкую чашу фонтана, подняли руки человека. Он был в темном

пальто с меховым воротником, а шапку, несмотря на мороз, снял и держал в руках. Площадь по-прежнему гудела и кишела, как муравейник, но колокольня на Софии уже смолкла, и музыка уходила в разные стороны по морозным улицам. У подножия фонтана сбилась огромная толпа.

- Петька, Петька. Кого это подняли?...
- Кажись, Петлюра.
- Петлюра речь говорит...
- Що вы брешете... Це простой оратор...
- Маруся, оратор. Гляди... Гляди...
- Декларацию объявляют...
- Ни, це Универсал будут читать.
- Хай живе вильна Украина!

Поднятый человек глянул вдохновенно поверх тысячной гущи голов куда-то, где все явственнее вылезал солнечный диск и золотил густым, красным золотом кресты, взмахнул рукой и слабо выкрикнул:

- Народу слава!
- Петлюра... Петлюра.
- Да який Петлюра. Що вы, сказились?
- Чего на фонтан Петлюра полезет?
- Петлюра в Харькове.
- Петлюра только что проследовал во дворец на банкет...
- Не брешить, никаких банкетов не буде.

– Слава народу! – повторял человек, и тотчас прядь светлых волос прыгнула, соскочила ему на лоб.

– Тише!

Голос светлого человека окреп и был слышен ясно сквозь рокот и хруст ног, сквозь гуденье и прибой, сквозь отдаленные барабаны.

– Видели Петлюру?

– Как же, господи, только что.

– Ах, счастливица. Какой он? Какой?

– Усы черные кверху, как у Вильгельма, и в шлеме. Да вот он, вон он, смотрите, смотрите, Марья Федоровна, глядите, глядите – едет...

– Що вы провокацию робите! Це начальник Городской пожарной команды.

– Сударыня, Петлюра в Бельгии.

– Зачем же в Бельгию он поехал?

– Улаживать союз с союзниками...

– Та ни. Вин сейчас с эскортом поехал в Думу.

– Чого?...

– Присяга...

– Он будет присягать?

– Зачем он? Ему будут присягать.

– Ну, я скорей умру (шепот), а не присягну...

– Та вам и не надо... Женщин не тронут.

– Жидов тронут, это верно...

– И офицеров. Всем им кишки повыпустят.

– И помещиков. Долой!!

– Тише!

Светлый человек с какой-то страшной тоской и в то же время решимостью в глазах указал на солнце.

– Вы чулы, громадяне, братья и товарищи, – заговорил он, – як козаки пели: «Бо старшины з нами, з нами, як з братами». З нами. З нами воны! – Человек ударил себя шапкой в грудь, на которой алел громадной волной бант. – З нами. Бо тии старшины з народу, з ним родились, з ним и умрут. З нами воны мерзли в снегу при облоге Города и вот доблестно узяли его, и прапор червонный уже висит над теми громадами...

– Ура!

– Який червонный? Що вин каже? Жовто-блакитный.

– У большаков тэ ж червонный.

– Тише! Слава!

– А вин погано розмовляе на украинской мови...

– Товарищи! Перед вами теперь новая задача – поднять и укрепить новую незалежну Республику, для счастья усих трудящих элементов – рабочих и хлеборобов, бо тильки воны, полившие своею свежею кровью и потом нашу ридну землю, мають право владеть ею!

– Верно! Слава!

– Ты слышишь, «товарищи» называет? Чудеса-а...



– Ти-ше.

– Поэтому, дорогие граждане, присягнем тут в радостный час народной победы, – глаза оратора начали светиться, он все возбужденнее простирает руки к густому небу и все меньше в его речи становилось украинских слов, – и дадим клятву, що мы не зложим оружие, доки червонный прапор – символ свободы – не буде развеваться над всем миром трудящихся.

– Ура! Ура! Ура!.. Интер...

– Васька, заткнись. Что ты сдурел?

– Щур, что вы, тише!

– Ей-богу, Михаил Семенович, не могу выдержать – вставай... прокл...

Черные онегинские баки скрылись в густом бобровом воротнике, и только видно было, как тревожно сверкнули в сторону восторженного самокатчика, сдавленного в толпе, глаза, до странности похожие на глаза покойного прапорщика Шполянского, погибшего в ночь на четырнадцатое декабря. Рука в желтой перчатке протянулась и сдавила руку Щура...

– Ладно. Ладно, не буду, – бормотал Щур, въедаясь глазами в светлого человека.

А тот, уже овладев собой и массой в ближайших рядах, вскрикивал:

– Хай живут Советы рабочих, селянских и казачьих депутатов. Да здравствует...

Солнце вдруг угасло, и на Софии и куполах легла тень; лицо Богдана вырезалось четко, лицо человека тоже. Видно было, как прыгал светлый кок над его лбом...

– Га-а. Га-а-а, – зашумела толпа...

– ...Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Пролетарии всех стран, соединяйтесь...

– Как? Как? Что?! Слава!!

В задних рядах несколько мужских и один голос тонкий и звонкий запели «Як умру, то...».

– Ур-ра! – победно закричали в другом месте. Вдруг вспыхнул водоворот в третьем.

– Тримай його! Тримай! – закричал мужской надтреснутый и злобный и плаксивый голос. – Тримай! Це провокация. Большевик! Москаль! Тримай! Вы слухали, що вин казав...

Всплеснули чьи-то руки в воздухе. Оратор кинулся набок, затем исчезли его ноги, живот, потом исчезла и голова, покрываясь шапкой.

– Тримай! – кричал в ответ первому второй тонкий тенор. – Це фальшивый оратор. Бери его, хлопцы, берить, громадяне.

– Га, га, га. Стой! Кто? Кого поймали? Кого? Та никого!!!

Обладатель тонкого голоса рванулся вперед к фон-

тану, делая такие движения руками, как будто ловил скользкую большую рыбу. Но бестолковый Щур в дубленом полушубке и треухе завертелся перед ним с воплем: «Тримай!» – и вдруг гаркнул:

– Стой, братцы, часы срезали!

Какой-то женщине отдавили ногу, и она взвыла страшным голосом.

– Кого часы? Где? Врешь – не уйдешь!

Кто-то сзади обладателя тонкого голоса ухватил за пояс и придержал, в ту минуту большая, холодная ладонь разом и его нос, и губы залепила тяжелой оплеухой фунта в полтора весом.

– Уп! – крикнул тонкий голос, и стал бледный как смерть, и почувствовал, что голова его голая, что на ней нет шапки. В ту же секунду его адски резнула вторая оплеуха, и кто-то взвыл в небесах:

– Вот он, воруга, марвихер, сукин сын. Бей его!!

– Що вы?! – взвыл тонкий голос. – Що вы меня бьете?! Це не я! Не я! Це большевика держать треба! Оо! – завопил он...

– Ой, боже мой, боже мой, Маруся, бежим скорей, что же это делается?

В толпе, близ самого фонтана, завертелся и взбесился винт, и кого-то били, и кто-то выл, и народ раскидывало, и, главное, оратор пропал. Так пропал чудесно, колдовски, что словно сквозь землю провалился.

Кого-то вынесло из винта, а впрочем, ничего подобного, оратор фальшивый был в черной шапке, а этот выскочил в папаше. И через три минуты винт улегся сам собой, как будто его и не было, потому что нового оратора уже поднимали на край фонтана, и со всех сторон слушать его лезла, наслаиваясь на центральное ядро, толпа мало-мало не в две тысячи человек.

\* \* \*

В белом переулке у палисадника, откуда любопытный народ уже схлынул вслед за расходящимся войском, смешливый Щур не вытерпел и с размаху сел прямо на тротуар.

– Ой, не могу, – загремел он, хватаясь за живот. Смех полетел из него каскадами, причем рот сверкал белыми зубами, – сдохну со смеху, как собака. Как же они его били, Господи Иисусе!

– Не очень-то расслаживайтесь, Щур, – сказал спутник его, неизвестный в бобровом воротнике, как две капли воды похожий на знаменитого покойного прапорщика и председателя «Магнитного Триолета» Шполянского.

– Сейчас, сейчас, – затормошился Щур, приподнимаясь.

– Дайте, Михаил Семенович, папироску, – сказал

второй спутник Щура, высокий человек в черном пальто. Он заломил папаху на затылок, и прядь волос светлая налезла ему на брови. Он тяжело дышал и отдувался, словно ему было жарко на морозе.

– Что? Натерпелись? – ласково спросил неизвестный, отогнул полу пальто и, вытащив маленький золотой портсигар, предложил светлому безмундштучную немецкую папироску; тот закурил, поставив щитком руки, от огонька на спичке и, только выдохнув дым, молвил:

– Ух! Ух!

Затем все трое быстро двинулись, свернули за угол и исчезли.

В переулочек с площади быстро вышли две студенческие фигуры. Один маленький, укладистый, аккуратный, в блестящих резиновых галошах. Другой высокий, широкоплечий, ноги длинные циркулем и шаги чуть не в сажень.

У обоих воротники надвинуты до краев фуражек, а у высокого даже и бритый рот прикрыт кашне; немудрено – мороз. Обе фигуры словно по команде повернули головы, глянули на труп капитана Плешко и другой, лежащий ничком, уткнувши в сторону разметанные колени, и, ни звука не издав, прошли мимо.

Потом, когда из Рыльского студенты повернули к Житомирской улице, высокий повернулся к низкому и

молвил хрипловатым тенором:

– Видал-миндал? Видал, я тебя спрашиваю?

Маленький ничего не ответил, но дернулся так и так промычал, точно у него внезапно заболел зуб.

– Сколько жив буду, не забуду, – продолжал высокий, идя размашистым шагом, – буду помнить.

Маленький молча шел за ним.

– Спасибо, выучили. Ну, если когда-нибудь встретится мне эта самая каналья... гетман... – из-под кашне послышалось сипение, – я его, – высокий выпустил страшное трехэтажное ругательство и не кончил. Вышли на Большую Житомирскую улицу, и двум преградила путь процессия, направляющаяся к Старо-Городскому участку с каланчой. Путь ей с площади был, в сущности говоря, прям и прост, но Владимирскую еще запирала не успевшая уйти с парада кавалерия и процессия дала крюк, как и все.

Открывалась она стаей мальчишек. Они бежали и прыгали задом и свистали пронзительно. Затем шел по истоптанной мостовой человек с блуждающими в ужасе и тоске глазами в расстегнутой и порванной бекеше и без шапки. Лицо у него было окровавлено, а из глаз текли слезы. Расстегнутый открывал широкий рот и кричал тонким, но совершенно осипшим голосом, мешая русские и украинские слова:

– Вы не маете права! Я известный украинский поэт.

Моя фамилия Горболаз. Я написал антологию украинской поэзии. Я жаловаться буду председателю Рады и министру. Це неописуемо!

– Бей его, стерву, карманщика, – кричали с тротуаров.

– Я, – отчаянно надрываясь и поворачиваясь во все стороны, кричал окровавленный, – зробив попытку задержатъ большевика-provokatora...

– Что, что, что, – гремело на тротуарах.

– Кого это?!

– Покушение на Петлюру.

– Ну?!

– Стрелял, сукин сын, в нашего батько.

– Так вин же украинец.

– Сволочь он, не украинец, – бубнил чей-то бас, – кошельки срезал.

– Ф-юх, – презрительно свистали мальчишки.

– Что такое? По какому праву?

– Большевика-provokatora поймали. Убить его, па-даль, на месте.

Сзади окровавленного ползла взволнованная толпа, мелькал на папaxe золотогалунный хвост и концы двух винтовок. Некто, туго перепоясанный цветным поясом, шел рядом с окровавленным развалистой походкой и изредка, когда тот особенно громко кричал, механически ударял его кулаком по шее; тогда зло-

получный арестованный, хотевший схватить неуловимое, умолкал и начинал бурно, но беззвучно рыдать.

Двое студентов пропустили процессию. Когда она отошла, высокий подхватил под руку низенького и зашептал злорадным голосом:

– Так его, так его. От сердца отлегло. Ну, одно тебе скажу, Карась, молодцы большевики. Клянусь честью – молодцы. Вот работа, так работа! Видал, как ловко орателя сплавил? И смелы. За что люблю – за смелость, мать их за ногу.

Маленький сказал тихо:

– Если теперь не выпить, повеситься можно.

– Это мысль. Мысль, – оживленно подтвердил высокий. – У тебя сколько?

– Двести.

– У меня полтора. Зайдем к Тамарке, возьмем полторы...

– Заперто.

– Откроет.

Двое повернули на Владимирскую, дошли до двухэтажного домика с вывеской: «Бакалейная торговля», а рядом «Погреб – замок Тамары». Нырнув по ступеням вниз, двое стали осторожно постукивать в стеклянную двойную дверь.



Заветной цели, о которой Николка думал все эти три дня, когда события падали в семью, как камни, цели, связанной с загадочными последними словами распостертого на снегу, цели этой Николка достиг. Но для этого ему пришлось весь день перед парадом бегать по Городу и посетить не менее девяти адресов. И много раз в этой беготне Николка терял присутствие духа, и падал, и опять поднимался, и все-таки добился.

На самой окраине, в Литовской улице, в маленьком домишке он разыскал одного из второго отделения дружины и от него узнал адрес, имя и отчество Няя.

Николка боролся часа два с бурными народными волнами, пытаясь пересечь Софийскую площадь. Но площадь нельзя было пересечь, ну просто немислимо! Тогда около получаса потерял иззябший Николка, чтобы выбраться из тесных клещей и вернуться к исходной точке – к Михайловскому монастырю. От него по Костельной пытался Николка, дав большого крюку, пробраться на Крещатик, вниз, а оттуда окольными, нижними путями на Мало-Провальную. И это оказалось невозможным! По Костельной вверх, густейшей

змеей, шло, так же как и всюду, войско на парад. Тогда еще больший и выпуклый крюк дал Николка и в полном одиночестве оказался на Владимирской горке. По террасам и аллеям бежал Николка, среди стен белого снега, пробираясь вперед. Попадал и на площадки, где снегу было уже не так много. С террас был виден в море снега залегающий напротив на горах Царский сад, а далее, влево, бесконечные черниговские пространства в полном зимнем покое за рекой Днепром – белым и важным в зимних берегах.

Был мир и полный покой, но Николке было не до покоя. Борясь со снегом, он одолевал и одолевал террасы одну за другой и только изредка удивлялся тому, что снег кое-где уже топтан, есть следы, значит, кто-то бродит по Горке и зимой.

По аллее спустился, наконец, Николка, облегченно вздохнул, увидел, что войска на Крещатике нет, и устремился к заветному, искомому месту. «Мало-Провальная, 21». Таков был Николкой добытый адрес, и этот незаписанный адрес крепко врезан в Николкином мозгу.

\* \* \*

Николка волновался и робел... «Кого же и как спросить получше? Ничего не известно...» Позвонил у

двери флигеля, приютившегося в первом ярусе сада. Долго не откликались, но, наконец, зашлепали шаги, и дверь приоткрылась немного под цепочкой. Выглянуло женское лицо в пенсне и сурово спросило из тьмы передней:

– Вам что надо?

– Позвольте узнать... Здесь живут Най-Турс?

Женское лицо стало совсем неприветливым и хмурым, стекла блеснули.

– Никаких Турс тут нету, – сказала женщина низким голосом.

Николка покраснел, смутился и опечалился...

– Это квартира пять...

– Ну да, – неохотно и подозрительно ответила женщина, – да вы скажите, вам что.

– Мне сообщили, что Турс здесь живут...

Лицо выглянуло больше и пытливо шмыгнуло по садику глазом, стараясь узнать, есть ли еще кто-нибудь за Николкой... Николка разглядел тут полный, двойной подбородок дамы.

– Да вам что?... Вы скажите мне.

Николка вздохнул и, оглянувшись, сказал:

– Я насчет Феликс Феликсовича... у меня сведения.

Лицо резко изменилось. Женщина моргнула и спросила:

– Вы кто?

– Студент.

– Подождите здесь, – захлопнулась дверь, и шаги стихли.

Через полминуты за дверью застучали каблук, дверь открылась совсем и впустила Николку. Свет проникал в переднюю из гостиной, и Николка разглядел край пушистого мягкого кресла, а потом даму в пенсне. Николка снял фуражку, и тотчас перед ним очутилась сухонькая другая невысокая дама, со следами увядшей красоты на лице. По каким-то незначительным и неопределенным чертам, не то на висках, не то по цвету волос, Николка сообразил, что это мать Ная, и ужаснулся – как же он сообщит... Дама на него устремила упрямый, блестящий взор, и Николка пуще потерялся. Сбоку еще очутился кто-то, кажется, молодая и тоже очень похожая.

– Ну, говорите же, ну... – упрямо сказала мать...

Николка смял фуражку, взвел на даму глазами и вымолвил:

– Я... я...

Сухонькая дама – мать метнула в Николку взор черный и, как показалось ему, ненавистный и вдруг крикнула звонко, так, что отозвалось сзади Николки в стекле двери:

– Феликс убит!

Она сжала кулаки, взмахнула ими перед лицом Ни-

колки и закричала:

– Убили... Ирина, слышишь? Феликса убили!

У Николки в глазах помутилось от страха, и он отчаянно подумал: «Я ж ничего не сказал... Боже мой!» Толстая в пенсне мгновенно захлопнула за Николкой дверь. Потом быстро, быстро подбежала к сухонькой даме, охватила ее плечи и торопливо зашептала:

– Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь... – Нагнулась к Николке, спросила: – Да, может быть, это не так?... Господи... Вы же скажите... Неужели?...

Николка ничего на это не мог сказать... Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла.

– Тише, Марья Францевна, тише, голубчик... Ради бога... Услышат... Воля Божья... – лепетала толстая.

Мать Най-Турса валилась навзничь и кричала:

– Четыре года! Четыре года! Я жду, все жду... Жду! – Тут молодая из-за плеча Николки бросилась к матери и подхватила ее. Николке нужно было бы помочь, но он неожиданно бурно и неудержимо зарыдал и не мог остановиться.

\* \* \*

Окна завешаны шторами, в гостиной полумрак и полное молчание, в котором отвратительно пахнет

лекарством...

Молчание нарушила наконец молодая – эта самая сестра. Она повернулась от окна и подошла к Николке. Николка поднялся с кресла, все еще держа в руках фуражку, с которой не мог разделаться в этих ужасных обстоятельствах. Сестра поправила машинально завиток черных волос, дернула ротом и спросила:

– Как же он умер?

– Он умер, – ответил Николка самым своим лучшим голосом, – он умер, знаете ли, как герой... Настоящий герой... Всех юнкеров вовремя прогнал, в самый последний момент, а сам, – Николка, рассказывая, плакал, – а сам их прикрыл огнем. И меня чуть-чуть не убили вместе с ним. Мы попали под пулеметный огонь, – Николка и плакал, и рассказывал в одно время, – мы... только двое остались, и он меня гнал и ругал и стрелял из пулемета... Со всех сторон наехала конница, потому что нас посадили в западню. Положительно, со всех сторон.

– А вдруг его только ранили?

– Нет, – твердо ответил Николка и грязным платком стал вытирать глаза и нос и рот, – нет, его убили. Я сам его ощупывал. В голову попала пуля и в грудь.

Еще больше потемнело, из соседней комнаты не доносилось ни звука, потому что Мария Францевна умолкла, а в гостиной, тесно сойдясь, шептались трое: сестра Ная – Ирина, та толстая в пенсне – хозяйка квартиры Лидия Павловна, как узнал Николка, и сам Николка.

– У меня с собой денег нет, – шептал Николка, – если нужно, я сейчас сбегая за деньгами, и тогда поедем.

– Я денег дам сейчас, – гудела Лидия Павловна, – деньги-то это пустяки, только вы, ради бога, добейтесь там. Ирина, ей ни слова не говори, где и что... Я прямо и не знаю, что и делать...

– Я с ним поеду, – шептала Ирина, – и мы добьемся. Вы скажете, что он лежит в казармах и что нужно разрешение, чтобы его видеть.

– Ну, ну... Это хорошо... хорошо...

Толстая – тотчас засеменила в соседнюю комнату, и оттуда послышался ее голос, шепчущий, убеждающий:

– Мария Францевна, ну, лежите, ради Христа... Они сейчас поедут и все узнают. Это юнкер сообщил, что он в казармах лежит.

– На нарах?... – спросил звонкий и, как показалось опять Николке, ненавистный голос.

– Что вы, Марья Францевна, в часовне он, в часовне...

– Может, лежит на перекрестке, собаки его грызут.

– Ах, Марья Францевна, ну что вы говорите... Лежите спокойно, умоляю вас...

– Мама стала совсем ненормальной за эти три дня... – зашептала сестра Ная и опять отбросила непокорную прядь волос и посмотрела далеко куда-то за Николку, – а впрочем, теперь все вздор.

– Я поеду с ними, – раздалось из соседней комнаты...

Сестра моментально встрепенулась и побежала.

– Мама, мама, ты не поедешь. Ты не поедешь. Юнкер отказывается хлопотать, если ты поедешь. Его могут арестовать. Лежи, лежи, я тебя прошу...

– Ну, Ирина, Ирина, Ирина, Ирина, – раздалось из соседней комнаты, – убили, убили его, а ты что ж? Что же?... Ты, Ирина... Что я буду делать теперь, когда Феликса убили? Убили... И лежит на снегу... Думаешь ли ты... – Опять началось рыдание, и заскрипела кровать, и послышался голос хозяйки:

– Ну, Марья Францевна, ну, бедная, ну, терпите, терпите...

– Ах, господи, господи, – сказала молодая и быстро



пробежала через гостиную. Николка, чувствуя ужас и отчаяние, подумал в смятении: «А как не найдем, что тогда?»

\* \* \*

У самых ужасных дверей, где, несмотря на мороз, чувствовался уже страшный тяжелый запах, Николка остановился и сказал:

– Вы, может быть, посидите здесь... А... А то там такой запах, что, может быть, вам плохо будет.

Ирина посмотрела на зеленую дверь, потом на Николку и ответила:

– Нет, я с вами пойду.

Николка потянул за ручку тяжелую дверь, и они вошли. Вначале было темно. Потом замелькали бесконечные ряды вешалок пустых. Вверху висела тусклая лампа.

Николка тревожно обернулся на свою спутницу, но та – ничего – шла рядом с ним, и только лицо ее было бледно, а брови она нахмурила. Так нахмурила, что напомнила Николке Най-Турса, впрочем, сходство мимолетное – у Ная было железное лицо, простое и мужественное, а эта – красавица, и не такая, как русская, а, пожалуй, иностранка. Изумительная, замечательная девушка.

Этот запах, которого так боялся Николка, был всюду. Пахли полы, пахли стены, деревянные вешалки. Ужасен этот запах был до того, что его можно было даже видеть. Казалось, что стены жирные и липкие, а вешалки лоснящиеся, что полы жирные, а воздух густой и сытный, падалю пахнет. К самому запаху, впрочем, привыкнешь очень быстро, но уже лучше не присматриваться и не думать. Самое главное не думать, а то сейчас узнаешь, что значит тошнота. Мелькнул студент в пальто и исчез. За вешалками слева открылась со скрипом дверь, и оттуда вышел человек в сапогах. Николка посмотрел на него и быстро отвел глаза, чтобы не видеть его пиджака. Пиджак лоснился, как вешалка, и руки человека лоснились.

– Вам что? – спросил человек строго...

– Мы пришли, – заговорил Николка, – по делу, нам бы заведующего... Нам нужно найти убитого. Здесь он, вероятно?

– Какого убитого? – спросил человек и поглядел исподлобья...

– Тут вот на улице, три дня, как его убили...

– Ага, стало быть, юнкер или офицер... И гайдамаки попадали. Он – кто?

Николка побоялся сказать, что Най-Турс именно офицер, и сказал так:

– Ну да, и его тоже убили...

– Он офицер, мобилизованный гетманом, – сказала Ирина, – Най-Турс, – и пододвинулась к человеку.

Тому было, по-видимому, все равно, кто такой Най-Турс, он боком глянул на Ирину и ответил, кашляя и плюя на пол:

– Я не знаю, як тут быть. Занятия уже кончены, и никого в залах нема. Другие сторожа ушли. Трудно искать. Очень трудно. Бо трупы перенесли в нижние кладовки. Трудно, дуже трудно...

Ирина Най расстегнула сумочку, вынула денежную бумажку и протянула сторожу. Николка отвернулся, боясь, что честный человек сторож будет протестовать против этого. Но сторож не протестовал...

– Спасибо, барышня, – сказал он и оживился, – найти можно. Только разрешение нужно. Если профессор дозволит, можно забрать труп.

– А где же профессор?... – спросил Николка.

– Они здесь, только они заняты. Я не знаю... доложить?...

– Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас же, – попросил Николка, – я его сейчас же узнаю, убитого...

– Докложить можно, – сказал сторож и повел их. Они поднялись по ступенькам в коридор, где запах стал еще страшнее. Потом по коридору, потом влево, и запах ослабел, и посветлело, потому что коридор был

под стеклянной крышей. Здесь и справа и слева двери были белы. У одной из них сторож остановился, постучал, потом снял шапку и вошел. В коридоре было тихо, и через крышу сеялся свет. В углу вдали начинало смеркаться. Сторож вышел и сказал:

– Зайдите сюда.

Николка вошел туда, за ним Ирина Най... Николка снял фуражку и разглядел первым делом черные пятна лоснящихся штор в огромной комнате и пучок страшного острого света, падавшего на стол, а в пучке черную бороду и изможденное лицо в морщинах и горбатый нос. Потом, подавленный, оглянулся по стенам. В полутьме поблескивали бесконечные шкафы, и в них мерещились какие-то уроды, темные и желтые, как страшные китайские фигуры. Еще вдали увидел высокого человека в жреческом кожаном фартуке и черных перчатках. Тот склонился над длинным столом, на котором стояли, как пушки, светлея зеркалами и золотом в свете спущенной лампочки, под зеленым тюльпаном, микроскопы.

– Что вам? – спросил профессор.

Николка по изможденному лицу и этой бороде узнал, что он именно профессор, а тот жрец меньше – какой-то помощник.

Николка кашлянул, все глядя на острый пучок, который выходил из лампы, странно изогнутой – блестя-

щей, и на другие вещи – на желтые пальцы от табаку, на ужасный отвратительный предмет, лежащий перед профессором, – человеческую шею и подбородок, состоящие из жил и ниток, утыканных, увешанных десятками блестящих крючков и ножниц...

– Вы родственники? – спросил профессор. У него был глухой голос, соответствующий изможденному лицу и этой бороде. Он поднял голову и прищурился на Ирину Най, на ее меховую шубку и ботинки.

– Я его сестра, – сказала Най, стараясь не смотреть на то, что лежало перед профессором.

– Вот видите, Сергей Николаевич, как с этим трудно. Уж не первый случай... Да, может, он еще и не у нас. В чернорабочую ведь возили трупы?

– Возможно, – отозвался тот высокий и бросил какой-то инструмент в сторону...

– Федор! – крикнул профессор...

\* \* \*

– Нет, вы туда... Туда вам нельзя... Я сам... – робко молвил Николка...

– Сомлеете, барышня, – подтвердил сторож. – Здесь, – добавил он, – можно подождать.

Николка отвел его в сторону, дал ему еще две бу-мажки и попросил его посадить барышню на чистый

табурет. Сторож, пыхтя горячей махоркой, вынес табурет откуда-то, где стояли зеленая лампа и скелеты.

– Вы не медик, панычу? Медики, те привыкают сразу, – и, открыв большую дверь, щелкнул выключателем, Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шел тяжкий запах. Цинковые столы белели рядами. Они были пусты, и где-то со стуком падала вода в раковину. Под ногами гулко звенел каменный пол. Николка, страдая от запаха, оставшегося здесь, должно быть, навеки, шел, стараясь не думать. Они со сторожем вышли через противоположные двери в совсем темный коридор, где сторож зажег маленькую лампу, затем прошли немного дальше. Сторож отодвинул тяжелый засов, открыл чугунную дверь и опять щелкнул. Холодом обдало Николку. Громкие цилиндры стояли в углах черного помещения и доверху, так, что выпирало из них, были полны кусками и обрезками человеческого мяса, лоскутами кожи, пальцами, кусками раздробленных костей. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему:

– Понюхайте, панычу.

Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь – запах нашатыря из склянки.

Как в полусне, Николка, сощурив глаз, видел вспыхнувший огонек в трубке Федора и слышал сладостный дух горячей махорки. Федор возился долго с замком

у сетки лифта, открыл его, и они с Николкой стали на платформу. Федор дернул ручку, и платформа пошла вниз, скрипя. Снизу тянуло ледяным холодом. Платформа стала. Вошли в огромную кладовую. Николка мутно видел то, чего он никогда не видел. Как дрова в штабелях, одни на других, лежали голые, источающие несносный, душащий человека, несмотря на нашатырь, смрад, человеческие тела. Ноги, заоченевшие или расслабленные, торчали ступнями. Женские головы лежали со взбившимися и разметанными волосами, а груди их были мятыми, жеванными, в синяках.

– Ну, теперь будем ворочать их, а вы смотрите, – сказал сторож, наклоняясь. Он ухватил за ногу труп женщины, и она, скользкая, со стуком сползла, как по маслу, на пол. Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой. Глаза ее были раскрыты и глядели прямо на Федора. Николка с трудом отвел глаза от шрама, опоясывающего ее, как красной лентой, и глядел в стороны. Его мутило, и голова кружилась при мысли, что нужно будет разворачивать всю эту многослитную грудку слипшихся тел.

– Не надо. Стойте, – слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман, – вон он. Нашел. Он сверху. Вон, вон.

Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не по-

скользнуться на полу, ухватил Най-Турса за голову и сильно дернул. На животе у Ная ничком лежала плоская широкобедрая женщина, и в волосах у нее тускло, как обломок стекла, светился в затылке дешевенький, забытый гребень. Федор ловко попутно выдернул его, бросил в карман фартука и перехватил Ная под мышки. Голова того, вылезая со штабеля, размоталась, свисла, и острый небритый подбородок задрался кверху, одна рука соскользнула.

Федор не швырнул Ная, как швырнул женщину, а бережно, под мышки, сгибая уже расслабленное тело, повернул его так, что ноги Ная загребли по полу, к Николке лицом, и сказал:

– Вы смотрите – он? Чтобы не было ошибки...

Николка глянул Наю прямо в глаза, открытые, стеклянные глаза Ная отозвались бессмысленно. Левая щека у него была тронута чуть заметной зеленью, а по груди, животу расплылись и застыли темные широкие пятна, вероятно, крови.

– Он, – сказал Николка.

Федор так же под мышки втащил Ная на платформу лифта и опустил его к ногам Николки. Мертвый раскинул руки и опять задрал подбородок. Федор взошел сам, тронул ручку, и платформа ушла вверх.



В ту же ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел, и совесть его была совершенно спокойна, но печальна и строга. При анатомическом театре в часовне, голой и мрачной, посветлело. Гроб какого-то неизвестного в углу закрыли крышкой, и тяжелый, неприятный и страшный чужой покойник сосед не смущал покоя Ная. Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу.

Най – обмытый сторожами, довольными и словоохотливыми, Най – чистый, во френче без погон, Най – с венцом на лбу под тремя огнями, и главное, Най – с аршином пестрой георгиевской ленты, собственно-ручно Николкой уложенной под рубаху на холодную его вязкую грудь. Старуха мать от трех огней повернула к Николке трясущуюся голову и сказала ему:

– Сын мой. Ну, спасибо тебе.

И от этого Николка опять заплакал и ушел из часовни на снег. Кругом, над двором анатомического театра, была ночь, снег, и звезды крестами, и белый Млечный Путь.

Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря. День этот был мутноват, бел и насквозь пронизан отблеском грядущего через два дня Рождества. В особенности этот отблеск чувствовался в блеске паркетного пола в гостиной, натертого совместными усилиями Анюты, Николки и Лариосика, бесшумно шаркавших накануне. Так же веяло Рождеством от переплетиков лампадок, начищенных Анютиными руками. И, наконец, пахло хвоей, и зелень осветила угол у разноцветного Валентина, как бы навеки забытого над открытыми клавишами...

Я за сестру...

Елена вышла около полудня из двери турбинской комнаты не совсем твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчании сидели Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся при ее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелая портьера тотчас улеглась неподвижно.

Мышлаевский шевельнулся.

– Вот, – сиплым шепотом промолвил он, – все хоро-

шо сделал командир, а Алешку-то неудачно пристроил...

Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгал глазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках.

– Э... черт, – добавил еще Мышлаевский, встал и, покачиваясь, подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся, подмигнул на дверь Елены. – Слушайте, ребята, вы посматривайте... А то...

Он потоптался и вышел в книжную, там его шаги замерли. Через некоторое время донесся его голос и еще какие-то странные ноющие звуки из Николкиной комнаты.

– Плачет Никол, – отчаянным голосом прошептал Лариосик, вздохнул, на цыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, но ничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся на Карася, стал делать ему знаки, беззвучно спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потом стукнул все-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал:

– Елена Васильевна, а Елена Васильевна...

– Ах, не бойтесь вы, – донесся глуховато Еленин голос из-за двери, – не входите.

Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба верну-

лись на свои места – на стулья под печкой Саардама – и затихли.

Делать Турбиным и тем, кто с Турбинами был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там и так стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой, молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и, наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинской семье нерадостные вести, сразу, как только он появился шестнадцатого декабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу как-то сквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всего назад вышел с Еленой в гостиную и там, на ее упорный вопрос, вопрос не только с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых прядей, сказал, что надежды мало, и добавил, глядя в Еленины глаза, глазами очень, очень опытного и всех поэтому жалеющего человека, – «очень мало». Всем хорошо известно и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакой нет и, значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к брату и долго стояла, глядя ему в лицо, и тут отлично и сама поняла, что, значит – нет надежды. Не обладая искусством седого и доброго старика, можно было знать, что умирает доктор Алексей Турбин.

Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, который вот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странные восковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то черта безнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно ясно проступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо в гнойном камфарном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло.

Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом, через оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь струю воздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понимал того, что происходило вокруг него. Елена стояла, посмотрела. Профессор тронул ее за руку и шепнул:

– Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.

Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не стал больше делать.

Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел в лицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.

– Безнадежен, – очень тихо сказал на ухо бритому профессор, – вы, доктор Бродович, оставайтесь возле него.

– Камфару? – спросил Бродович шепотом.

– Да, да, да.

– По шприцу?

– Нет, – глянул в окно, подумал, – сразу по три грамма. И чаще. – Он подумал, добавил: – Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода, – такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозь завесу бреда и тумана не воспринял их, – в клинику. Если же этого не будет, я приеду сейчас же после лекции.

\* \* \*

Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них двадцать четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная набок, гля-

дела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский, беззвучный день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер, Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевого паркета и, молча, положила первый земной поклон.

В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал себе-себе:

– Помирает... – набрал воздуха.

– Вот что, – заговорил Мышлаевский, – не позвать ли священника? А, Никол?... Что ж ему так-то, без покаяния...

– Лене нужно сказать, – испуганно ответил Николка, – как же без нее. И еще с ней что-нибудь сделается...

– А что доктор говорит? – спросил Карась.

– Да что тут говорить. Говорить более нечего, – просипел Мышлаевский.

Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный отуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что ему

это безразлично, потому что больной все равно без сознания и ничему это не повредит.

– Глухую исповедь...

Шептались, шептались, но не решились пока звать, а к Елене стучали, она через дверь глухо ответила: «Уйдите пока... я выйду...»

И они ушли.

Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом:

– Слишком много горя сразу посылаешь, Мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что? ... Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что?... Как мы будем вдвоем с Николом?... Посмотри, что делается кругом, ты посмотри... Мать-заступница, неужто ж не сжалишься?... Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то?

Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить:

– На тебя одна надежда, Пречистая Дева. На Тебя. Умоли Сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо...

Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в сло-



вах, но речь ее была непрерывна, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, неслышным прошел плещущий гавот в три часа дня, и совершенно неслышным пришел тот, к кому через заступничество смуглой Девы взывала Елена. Он появился рядом у развороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение – стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, маслячные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор.

– Мать-заступница, – бормотала в огне Елена, – упроси Его. Вон Он. Что же Тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут Твои дни, Твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, да и Тебя умолю за грехи.

Пусть Сергей не возвращается... Отымаешь – отымай, но этого смертью не карай... Все мы в крови повинны, но ты не карай. Не карай. Вон Он, вон Он...

Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно, длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лице, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и больше не поднималась.

\* \* \*

По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога, на цыпочках, через столовую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь, возник шепот: «Елена... Елена... Елена...» Елена, вытирая тылом ладони холодный скользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, как дикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцем прошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, и Никол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Елену в ужасе, ему не хватало воздуха.

– Ты знаешь, Елена... ты не бойся... не бойся... иди туда... кажется...

Доктор Алексей Турбин, восковой, как ломаная, мятая в потных руках свеча, выбросив из-под одеяла костистые руки с нестриженными ногтями, лежал, задрав кверху острый подбородок. Тело его оплывало липким потом, а высохшая скользкая грудь вздымалась в прорезах рубахи. Он свел голову книзу, уперся подбородком в грудину, расцепил пожелтевшие зубы, открыл глаза. В них еще колыхалась рваная завеса тумана и бреда, но уже в клочьях черного глянул свет. Очень слабым голосом, сиплым и тонким, он сказал:

– Кризис, Бродович. Что... выживу?... А-га.

Карась в трясущихся руках держал лампу, и она освещала вдавленную постель и комья простынь с серыми тенями в складках.

Бритый врач не совсем верной рукой сдавил в щипок остатки мяса, вкалывая в руку Турбину иглу маленького шприца. Мелкие капельки выступили у врача на лбу. Он был взволнован и потрясен.

## 19

Пэтурра. Было его жития в Городе сорок семь дней. Пролетел над Турбинами закованный в лед и снегом

запорошенный январь 1919 года, подлетел февраль и завертелся в метели.

Второго февраля по турбинской квартире прошла черная фигура, с обритой головой, прикрытой черной шелковой шапочкой. Это был сам воскресший Турбин. Он резко изменился. На лице, у углов рта, по-видимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи восковой, глаза запали в тених и навсегда стали не улыбочными и мрачными.

В гостиной Турбин, как сорок семь дней тому назад, прижался к стеклу и слушал, и, как тогда, когда в окнах виднелись теплые огонечки, снег, опера, мягко слышны были дальние пушечные удары. Сурово сморщившись, Турбин всю тяжестью тела налег на палку и глядел на улицу. Он видел, что дни колдовски удлинились, свету было больше, несмотря на то, что за стеклом валилась, рассыпаясь миллионами хлопьев, вьюга.

Мысли текли под шелковой шапочкой, суровые, ясные, безрадостные. Голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой на плечах коробкой, и мысли эти приходили как будто извне и в том порядке, как им самим было желательно. Турбин рад был одиночеству у окна и глядел...

«Пэтурра... Сегодня ночью, не позже, свершится, не будет больше Пэтурры... А был ли он?... Или это

мне все снилось? Неизвестно, проверить нельзя. Лариосик очень симпатичный. Он не мешает в семье, нет, скорее нужен. Надо его поблагодарить за уход... А Шервинский? А, черт его знает... Вот наказание с бабами. Обязательно Елена с ним свяжется, всене-пременно... А что хорошего? Разве что голос? Голос превосходный, но ведь голос, в конце концов, можно и так слушать, не вступая в брак, не правда ли... Впрочем, неважно. А что важно? Да, тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на папах... Вероятно, жуть будет в Городе? О да... Итак, сегодня ночью... Пожалуй, сейчас обозы уже идут по улицам... Тем не менее я пойду, пойду днем... И отнесу... Брынь. Тримай! Я убийца. Нет, я застрелил в бою. Или подстрелил... С кем она живет? Где ее муж? Брынь. Малышев. Где он теперь? Провалился сквозь землю. А Максим... Александр Первый?»

Текли мысли, но их прервал звоночек. В квартире никого не было, кроме Анюты, все ушли в Город, торопясь кончить всякие дела засветло.

– Если это пациент, прими, Анюта.

– Хорошо, Алексей Васильевич.

Кто-то поднялся вслед за Анютой по лестнице, в передней снял пальто с козым мехом и прошел в гостиную.

– Пожалуйста, – сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточенны. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет.

– Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

– У меня сифилис, – хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина и прямо, и мрачно.

– Лечились уже?

– Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.

– Кто направил вас ко мне?

– Настоятель церкви Николая Доброго, отец Александр.

– Как?

– Отец Александр.

– Вы что же, знакомы с ним?...

– Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение, – объяснил посетитель, глядя в небо. – Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом взгляделся в зрачки пациенту и первым делом стал исследовать

рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

– Вот что, – сказал Турбин, отбрасывая молоток, – вы человек, по-видимому, религиозный.

– Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю.

– Это, конечно, очень хорошо, – отозвался Турбин, не спуская глаз с его глаз, – и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею-фикс. А в вашем состоянии это вредно. Вам нужны воздух, движение и сон.

– По ночам я молюсь.

– Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

– Кокаин нюхали?

– В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не

пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

– Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

– Хорошо, доктор.

– Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщин тоже...

– Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, – говорил больной, застегивая рубашку, – злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

– Батюшка, нельзя так, – застонал Турбин, – ведь вы в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

– Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками. Он уехал в царство антихриста в Москву, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

– Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя... Вы бром будете пить. По столовой



ложке три раза в день...

– Он молод. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем дьяволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.

– Трощого?

– Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.

– Серьезно вам говорю, если вы не прекратите это, вы, смотрите... у вас мания развивается...

– Нет, доктор, я нормален. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

– Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой». Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я за курс, как все. Если будете лечиться у меня, оставьте задаток.

– Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

– У вас, может быть, денег мало, – пробурчал Турбин, глядя на потертые колени. – «Нет, он не жулик... нет... но свихнется».

– Нет, доктор, найдутся. Вы облегчаете по-своему человечество.

– И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

– Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там, – больной вдохновенно указал в беленький потолок. – А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

– Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

– Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, – бормотал больной, напяливая козий мех в передней, – ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слышал это... Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу – прелесть».

– Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно. Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Анюта, выпусти, пожалуйста...

\* \* \*

– Вы не откажетесь принять это... Мне хочется, чтобы спасшая мне жизнь хоть что-нибудь на память обо мне... это браслет моей покойной матери...

– Не надо... Зачем это... Я не хочу, – ответила Рейсс и рукой защищалась от Турбина, но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий, кованый и тем-

ный браслет. От этого рука еще больше похорошела и вся Рейсс показалась еще красивее... Даже в сумерках было видно, как розовеет ее лицо.

Турбин не выдержал, правой рукой обнял Рейсс за шею, притянул ее к себе и несколько раз поцеловал ее в щеку... При этом выронил из ослабевших рук палку, и она со стуком упала у ножки стола.

– Уходите... – шепнула Рейсс, – пора... Пора. Обо-  
зы идут на улице. Смотрите, чтоб вас не тронули.

– Вы мне милы, – прошептал Турбин. – Позвольте  
мне прийти к вам еще.

– Придите...

– Скажите мне, почему вы одни и чья это карточка  
на столе? Черный, с баками.

– Это мой двоюродный брат... – ответила Рейсс и  
потупила свои глаза.

– Как его фамилия?

– А зачем вам?

– Вы меня спасли... Я хочу знать.

– Спасла, и вы имеете право знать? Его зовут Шпо-  
лянский.

– Он здесь?

– Нет, он уехал... В Москву. Какой вы любопытный.

Что-то дрогнуло в Турбине, и он долго смотрел на  
черные баки и черные глаза... Неприятная, сосущая  
мысль задержалась дольше других, пока он изучал

лоб и губы председателя «Магнитного Триолета». Но она была неясна... Предтеча. Этот несчастный в козьем меху... Что беспокоит? Что сосет? Какое мне дело. Ангелы... Ах, все равно... Но лишь бы прийти еще сюда, в странный и тихий домик, где портрет в золотых эполетах.

– Идите. Пора.

\* \* \*

– Никол? Ты?

Братья столкнулись нос к носу в нижнем ярусе таинственного сада у другого домика. Николка почему-то смутился, как будто его поймали с поличным.

– А я, Алеша, к Най-Турсам ходил, – пояснил он и вид имел такой, как будто его поймали на заборе во время кражи яблок.

– Что ж, дело доброе. У него мать осталась?

– И еще сестра, видишь ли, Алеша... Вообще.

Турбин покосился на Николку и более расспросам его не подвергал.

Полпути братья сделали молча. Потом Турбин прервал молчание.

– Видно, брат, швырнул нас Пэтурра с тобой на Мало-Провальную улицу. А? Ну, что ж, будем ходить. А что из этого выйдет – неизвестно. А?

Николка с величайшим интересом прислушался к этой загадочной фразе и спросил в свою очередь:

– А ты тоже кого-нибудь навещал, Алеша? В Мало-Провальной?

– Угу, – ответил Турбин, поднял воротник пальто, скрылся в нем и до самого дома не произнес более ни одного звука.

\* \* \*

Обедали в этот важный и исторический день у Турбиных все – и Мышлаевский с Карасем, и Шервинский. Это была первая общая трапеза с тех пор, как лег раненый Турбин. И все было по-прежнему, кроме одного – не стояли на столе мрачные, знойные розы, ибо давно уже не существовало разгромленной конфетницы «Маркизы», ушедшей в неизвестную даль, очевидно, туда, где покоится и мадам Анжу. Не было и погон ни на одном из сидевших за столом, и погоны уплыли куда-то и растворились в метели за окнами.

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта пришла из кухни и прислонилась к дверям.

– Какие такие звезды? – мрачно расспрашивал Мышлаевский.

– Маленькие, как кокарды, пятиконечные, – рассказывал Шервинский, – на папах. Тучей, говорят,

идут... Словом, в полночь будут здесь...

– Почему такая точность: в полночь...

Но Шервинскому не удалось ответить – почему, так как после звонка в квартире появился Василиса.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, – подумал Николка и мысленно пофилософствовал: – Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные».

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик у двери, и вот оно. «Счел своим долгом. Честь имею кланяться». Василиса, подпрыгивая, попрощался.

Елена ушла с письмом в спальню...

«Письмо из-за границы? Да неужели? Вот бывают

же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло. Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет. Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Вар... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой, серенькой бумаги лежал в пучке света.

«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве – он уезжает в Париж, вместе с семьей Герц; говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:  
– От Тальберга?

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»

У него на лице заиграли различные краски. Так – общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные.

– С каким бы удовольствием... – процедил он сквозь зубы, – я б ему по морде съездил...

– Кому? – спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

– Самому себе, – ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, – за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

– Сделай ты мне такое одолжение, – продолжал Турбин, – убери ты к чертовой матери вот эту штуку, –



он рукоятью ткнул в портрет на столе. Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну, что ж... не сердись... не сердись, Матерь Божия», – подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

– Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слышали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш: «Двуглавый орел», и слышался смех.

## 20

Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был его страшней.

В ночь со второго на третье февраля у входа на Цепной Мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по снегу два хлопца, а пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавлен-

ный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сипло:

– Ух... а...

– А, жидовская морда! – исступленно кричал пан куренной, – к штабелям его, на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться. Я т-тебе покажу! Что ты робив за штабелем? Шпион!..

Но окровавленный не отвечал яростному пану куренному. Тогда пан куренной забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от взлетевшей, блестящей трости. Пан куренной не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то в ней крякнуло, черный не ответил уже «ух»... Повернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной и унавоженной земли. Пальцы крючковато согнулись и загребли грязный снег. Потом в темной луже несколько раз дернулся лежащий в судороге и стих.

Над поверженным шипел электрический фонарь у входа на мост, вокруг поверженного метались встревоженные тени гайдамаков с хвостами на головах, а выше было черное небо с играющими звездами.

И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась

в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила.

Вслед звезде черная даль за Днепром, даль, ведущая к Москве, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом. И тотчас синяя гайдамацкая дивизия тронулась с моста и побежала в Город, через Город и навеки вон.

Следом за синей дивизией, волчьей побейкой прошел на померзших лошадях курень Козыря-Лешко, проплясала какая-то кухня... потом исчезло все, как будто никогда и не было. Остался только стынущий труп еврея в черном у входа на мост, да утопанные хлопья сена, да конский навоз.

И только труп и свидетельствовал, что Пэтурра не миф, что он действительно был... Дзынь... Трень... гитара, турок... кованый на Бронной фонарь... девичьи косы, метущие снег, огнестрельные раны, звериный вой в ночи, мороз... Значит, было.

Он, Гриць, до работы...

В Гриця порваны чоботы...

А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь?

Нет. Никто.

Просто растает снег, взойдет зеленая украинская трава, заплетет землю... выйдут пышные всходы... задрожит зной над полями, и крови не останется и следов. Дешева кровь на червонных полях, и никто выкупать ее не будет.

Никто.

\* \* \*

С вечера жарко натопили Саардамские изразцы, и до сих пор, до глубокой ночи, печи все еще держали тепло. Надписи были смыты с Саардамского Плотника, и осталась только одна:

...Лен... я взял билет на Аид...

Дом на Алексеевском спуске, дом, накрытый шапкой белого генерала, спал давно и спал тепло. Сонная дрема ходила за шторами, колыхалась в тенях.

За окнами расцветала все победоноснее студеная ночь и беззвучно плыла над землей. Играли звезды, сжимаясь и расширяясь, и особенно высоко в небе была звезда красная и пятиконечная – Марс.

В теплых комнатах поселились сны.

Турбин спал в своей спальне, и сон висел над ним, как размытая картина. Плыл, качаясь, вестибюль, и император Александр I жег в печурке списки дивизио-

на... Юлия прошла и поманила и засмеялась, проскакали тени, кричали: «Тримай! Тримай!»

Беззвучно стреляли, и пытался бежать от них Турбин, но ноги прилипали к тротуару на Мало-Провальной, и погибал во сне Турбин. Проснулся со стоном, услышал храп Мышлаевского из гостиной, тихий свист Карася и Лариосика из книжной. Вытер пот со лба, опомнился, слабо улыбнулся, потянулся к часам.

Было на часиках три.

– Наверно, ушли... Пэтурра... Больше не будет никогда.

И вновь уснул.

\* \* \*

Ночь расцветала. Тянуло уже к утру, и погребенный под мохнатым снегом спал дом. Истерзанный Василиса почивал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой революции не было, все была чепуха и вздор. Во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето и вот Василиса купил огород. Моментально выросли на нем овощи. Грядки покрылись веселыми завитками, и зелеными шишками в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое

заходящее солнышко, почесывая живот, и бормотал:  
– Так-то оно лучше... А то революция. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций производить нельзя...

Тут Василисе приснились взятые круглые глобусом, часы. Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко часов, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получалось.

И вот в этот хороший миг какие-то розовые, круглые поросята влетели в огород и тотчас пяточковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные – у них острые клыки. Они стали наскакивать на Василису, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю, и перед Василисой всплыла черная, сыроватая его спальня...

\* \* \*

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над Городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя стороной крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до

станции Дарницы и задержалась над ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо, до колес, были зажаты площадки в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вываливался огненный плат, разлегаясь на рельсах, и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и шурилось в приднепровские леса. С последней площадки в высь, черную и синюю, целилось широченное дуло в глухом наморднике верст на двенадцать и прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму, и светилась в ней осовевшими от вечернего грохота глазками желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах. В стороне от бронепоезда и сзади, растянувшись, не спал, перекликался и гремел дверями теплушек эшелон.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона, ходил, как маятник, чело-

век в длинной шинели, в рваных валенках и остроко-  
нечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял  
на руке, как уставшая мать ребенка, и рядом с ним  
ходила меж рельсами, под скупым фонарем, по сне-  
гу, острая щепка черной тени и теневой беззвучный  
штык. Человек очень сильно устал и зверски, не по-  
человечески озяб. Руки его, синие и холодные, тщет-  
но рылись деревянными пальцами в рвани рукавов,  
ища убежища. Из окаймленной белой накипью и ба-  
хромой неровной пасти башлыка, открывавшей мох-  
натый, обмороженный рот, глядели глаза в снежных  
космах ресниц. Глаза эти были голубые, страдальче-  
ские, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык, и ду-  
мал только об одном, когда же истечет, наконец, мо-  
розный час пытки и он уйдет с озверевшей земли  
вовнутрь, где божественным жаром пышут трубы, гре-  
ющие эшелоны, где в тесной конуре он сможет сва-  
литься на узкую койку, прильнуть к ней и на ней  
распластаться. Человек и тень ходили от огненного  
всплеска броневоего брюха к темной стене первого бо-  
евого ящика, до того места, где чернела надпись:

Бронепоезд «Пролетарий».

Тень, то вырастая, то уродливо горбятясь, но неиз-  
менно остроголовая, рыла снег своим черным шты-  
ком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу чело-



века. Две голубоватые луны, не грея и дразня, горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его; стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Марс, сияющую в небе впереди под Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал, и черная стена бронепоезда не уходила из этого сна, не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединялись новые. Вырастал во сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь одетый Марсами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный, непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня – Малые Чугры. Он, человек, у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

– Жилин? – говорил беззвучно, без губ, мозг человека, и тотчас грозный сторожевой голос в груди вы-

стукивал три слова:

– Пост... часовой... замерзнешь...

Человек уже совершенно нечеловеческим усилием отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирали ноги и шел опять.

Вперед – назад. Вперед – назад. Исчезал сонный небосвод, опять одевало весь морозный мир синим шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

\* \* \*

Металась и металась потревоженная дрема. Летела вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и упала над Подолом. На нем очень давно погасли огни. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании, в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевой гостиницы, комнате, сидел голубоглазый Русаков у лампы под стеклянным горбом колпака. Перед Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидал я мертвых и великих, стоящих

перед Богом, и Книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть Книга Жизни; и судимы были мертвые по написанному в Книгах сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим.

...

и кто не был записан в Книге Жизни, тот был брошен в озеро огненное.

...

и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет».

По мере того как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе, и в мире он дошел до слов:

«...слезу с очей, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Выпуклые глаза развязно улыбались.

– Я демон, – сказал он, щелкнув каблуками, – а он не вернется, Тальберг, – и я пою вам...

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клубов выходило ярко-кукольным. Он пел пронзительно, не так, как наяву:

– Жить, будем жить!!

– А смерть придет, помирать будем... – пропел Николка и вошел.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно подумала, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи:

– Николка. О, Николка?

И долго, всхлипывая, слушала бормотание ночи.

И ночь все плыла.

И, наконец, Петька Щеглов во флигеле видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни демоном. И сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мечутся, пытаются оторвать ноги от трясины. Детские же ноги резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, задохнувшись от радостного смеха, схватил его руками. Шар обдал Петьку сверкающими брызгами. Вот весь сон Петьки. От удовольствия он расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, легкие и радостные сны, а сверчок все пел и пел свою песню, где-то в щели, в белом углу за ведром, оживляя сонную, бормочущую ночь в семье.

Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавес Бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат слу-

жили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

*1923–1924 г.*

*Москва*

# НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА

Доктор N, мой друг, пропал. По одной версии, его убили, по другой – он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей – он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе.

Как бы там ни было, чемодан, содержащий в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры.

Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно»... (Дальше женские рассуждения на тему «о пользе чтения», пересыпанные пятнами от слез.)

Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно – некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переиме-

новав их.

Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там.



# I. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ – ПРОСТО ВОПЛЬ

За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: «Зато вам будет что порассказать вашим внукам!» Болван такой! Как будто единственная мечта у меня – это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе!..

И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что, если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени...

К черту внуков. Моя специальность – бактериология. Моя любовь – зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.

У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии.

А между тем...

Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллезных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в

переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть.

...

## II. ЙОД СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

### *Вечер... декабря.*

Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это – «ихние». На западной пулеметы – «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще – вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут...»

«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу – какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:

– Держи его! Держи!

Я оглянулся – кого это?

Оказывается – меня!

Тут только я сообразил, что надо было делать, – просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок! А там сад. Забор. Я на забор.

Те кричат:

– Стой!

Но как я ни «не» опытен во всех этих войнах, а по-

нял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах! И вот откуда-то злобный, взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с йодом (200 gr.). Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой...

...До сих пор не могу отдышаться!

...Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это – уж не знаю. Безумно йода жаль.

### III. В НОЧЬ СО 2 НА 3

Происходит что-то неопишное... Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава Богу. Слава Богу. Слава...

Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посередине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась – вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я – доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса, притаившись, в чужом дворе! Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я убежден, что, попадись эти мои заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что

я все это выдумал.

Под утро стреляли из пушек.

## IV. ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАРМОНИКА

### ***15 февраля.***

Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На сопках Маньчжурии»), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон...

Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово!

### ***17 февраля.***

Спал сегодня ночью – граммофон внизу сломался. Достал бумажки с 18 печатями (о) том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.

### ***21 февр.***

Меня уплотнили...

### ***22 февр.***

...И мобилизовали.

***...марта.***

Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение!

Из пушек стреляли под утро...



V

...

...

# **VI. АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ПОДГОТОВКА И САПОГИ**

...

...

## VII

Кончено. Меня увозят.

...

...

...Из пушек

...

...

...И...

## VIII. ХАНКАЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ

### *Сентябрь.*

Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наворотил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезах гор грозовые тучи. И бурно плещет по камням

...мутный вал.

Злой чечен ползет на берег,

Точит свой кинжал.

Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизлярогребенские казаки стали на левом фланге, гусары на правом. На вытопанных кукурузных полях батареи. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках.

Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся

две сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят водой.

Пулеметы гремят дружно целой стаей.

Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты...

С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытоптаннами, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских казачков.

Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли.

### ***Ночь.***

Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает, безграничная, черная, ползучая. Шалит, ругает. Ущелье

длинное. В ночных бархатах – неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... аминь!

Тьфу, черт возьми!

– Поручиться нельзя, – философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзости этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок, – заскочить с хлангу. Бывало.

Ах, типун на язык! «С хлангу!» Господи Боже мой! Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок в огненных отблесках. «Поручиться нельзя!» Туманы в тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле...

Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности. При чем здесь я!!

Заваливаюсь на брезент, съезживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеваых листьях, стены кабинета... Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкальском ущелье...

Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали!

...Да нет! Это чудится... Все тихо. Пофыркивают лошади, рядами лежат черные бурки – спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет.

Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь – свинец. Пропадает из глаз умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница...

Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. «Тебя я, вольный сын эфира». Склянка-то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глуше, темней. Сон.

## IX. ДЫМ И ПУХ

*Утро.*

Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал.

Взяли Чечен-аул...

И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым улочкам метет пламенная вьюга, отдельные дымки свиваются в одну тучу, и ее тихо относит на задний план к декорации оперы «Демон».

Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси.

У нас на стоянке с утра идет лукулловский пир. Пятнадцать кур бухнули в котел. Золотистый, жирный бульон – объединение. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев.

А там, в таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Узун со всадниками.

Голову даю на отсечение, что все это кончится



скверно. И поделом – не жги аулов.

Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный.

Я всегда говорил, что фельдшер Голендюк – умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство. Начальство приказало мне «произвести расследование». С удовольствием. Сажу на ящике с медикаментами и произвожу. Результат расследования: фельдшер Голендюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка.

# Х. ДОСТУКАЛСЯ И ДО ЧЕЧЕНЦЕВ

## *Жаркий сентябрьский день.*

...Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый, здесь все может произойти. Что угодно. Коротко говоря: нет отряда.

Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка. Забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное – ни души. Ну ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейсса – ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками, и чеченцы. Если б не дымок от догорающего в верстах пяти Чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало.

Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180°, посмотрел и направо, и назад, и вперед, и вверх и слез со словами:

– Паршиво.

Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили пять аулов, предсказать нетрудно. Для этого не нужно быть пророком...

Что же, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно.

Поехали наобум.

...Ворон взмыл кверху. Другой вниз. А вон и третий. Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом. Голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги голые. Кинжала нет. Патронов в газырях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа:

– И веревочка пригодится.

Под левой скулой черная дыра, от нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Разлаженные вороны вьются невысоко, покривают...

Дальше!

...Цейсс галлюцинирует! Холм, а на холме, на самой вышине, – венский стул! Кругом пустыня! Кто на гору затащил стул? Зачем?...

...Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит.

Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил.

***Под вечер.***

Готово! Налетели. Вот они, горы, в двух шагах. Вон ущелье. А из ущелья катят. Кони-то, кони! Шашки в серебре... Интересно, кому достанется моя записная книжка? Так никто и не прочтет! У Шугаева лицо цве-

та зеленоватого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет! Шугаев дернулся. Хотел погнать лошадей и замер.

Глупости. Кони у них – смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложится, и кончен бал.

– Э-хе-хе, – только и произнес Шугаев.

Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали. Зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свиданья, солнышко...

...И чудеса в решетке!.. Наскакали, лошади кругом танцуют. Не хватают... галдят:

– Та-ла-га-га!

Черт их знает, что они хотят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел. Схватят – суну в рот. Так оно лучше. Так научили.

А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают вдаль.

– А-ля-ма-мя... Болгатозэ-э!

– Шали-аул! Га-го-гыр-гыр.

Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке:

– Шали, говоришь. Так, так. Наша Шали-аул пошла? Так, так. Болгатозэ. А наши-то где? Там?

Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают.

Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.

– Мирные! Мирные, господин доктор! Замирили их. Говорят, что наши через Болгатое на Шали-аул пошли. Проводить хотят! Да вот и наши! С места не сойти, наши!

Глянул – внизу у склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейсса видит.

У чечен лица любовные. Глаз с Цейсса не сводят.

– Понравился бинок, – хихикнул Шугаев.

– Ох, и сам я вижу, что понравился. Ох, понравился. Догнать бы скорей колонну!

Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает.

– Не извольте беспокоиться. Тут не тронут. Вон они, наши! Вон они! Но ежели бы версты две подальше, – он только рукой махнул.

А кругом:

– Гыр... гыр!

Хоть бы одно слово я понимал! А Шугаев понимает и сам разговаривает. И руками, и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем...

## XI. У КОСТРА

Горит аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджавши ноги и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренные, покорившиеся. Наши союзники. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше...

...

## XIII

### *Декабрь.*

Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18°. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью глубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же, в самом деле, людям! Колыхнулась теплушка, залязгало, застучало внизу. Покатились.

Не помню, как я заснул и как я выскочил. Но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливались, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд...

Шугаева жалко. Ногу переломил.

До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых...

Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо. Посмотрел кругом...

Тень фельдшера Голендюка встала передо



мной... Но куда, к черту! Я интеллигент.

## XIV. ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ

### *Февраль.*

Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку... Безумие какое-то.

И сюда накатила волна...

...

Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голендюк! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Риду на десять томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом...

Довольно!

Все ближе море! Море! Море!

...

Проклятие войнам отныне и вовеки!

# КРАСНАЯ КОРОНА

(*Historiamorbi* <sup>13</sup>)

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером я слышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, № 27. Никто не может ко мне прийти. Но, чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей,

---

<sup>13</sup> История болезни (лат.).

повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью. Но то совсем другое. Он был преступник-большевик, и синяя печать была преступная печать. Она его загнала на фонарь, а фонарь стал причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:

– Господин генерал, вы – зверь! Не смейте вешать людей!

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

\* \* \*

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой

крышей – огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки – страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что, если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.

\* \* \*

Старуха мать сказала мне:

– Я долго так не проживу. Я вижу: безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль:

– Найди его. Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это – безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

– Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он – мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

– Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо:

– Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

Но я, безумный человек, поклялся:

– Клянусь.

\* \* \*

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему 19 лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и на-

шел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: первая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

– Коля! Коля! – Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве. Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы.

– А..., брат! – крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда – брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. – Стой. Стой здесь, – продолжал он, – у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу остановить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все – безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

– Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда и навсегда.

– Что ты, брат?

– Молчи, – говорил я, – молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

\* \* \*

Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них – правый – то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-ключьями.

Всадник – брат мой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешился, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:



– Эх, вольноопределяющего нашего... осколком.  
Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

– С-с... Что ж, брат, доктора. Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

\* \* \*

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне – значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшился кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

– Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами и говорит одно и то же. Честь. Затем:

– Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он испугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю

здорово: раз в венчике – убитый, а если убитый приходит и говорит – значит, я сошел с ума.

\* \* \*

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клочок волос свисал на лоб. Он кивал головой:

– Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и время угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав: «Иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил мне говорить вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

– Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя, – за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и не ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены, так же как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот, грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Ва-

сильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в № 27-м. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

– Безнадежен.

\* \* \*

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна – старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

– Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

# **КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ**

**6 картин вместо рассказа**

# I. РЕКА И ЧАСЫ

Это был замечательный ходя, настоящий шафран-ный представитель Небесной империи, лет 25, а может быть, и сорока? Черт его знает! Кажется, ему было 23 года.

Никто не знает, почему загадочный ходя пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной. На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганные штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки. Видно было, что у ходи немножко кривые, но жилистые ноги. Денег у ходи не было ни гроша.

Лохматый, как ушастая шапка, пренеприятный ветер летал под зубчатой стеной. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы убедиться, что это дьявольски холодная, чужая река. Позади ходи была пустая трамвайная линия, перед ходей – ноздреватый гранит, за гранитом, на откосе, лодка с пробитым днищем, за лодкой – эта самая проклятая река, за рекой – опять гранит, а за гранитом дома, каменные дома, черт знает сколько домов. Дурацкая река зачем-то затекла в самую середину города.

Полюбовавшись на длинные красные трубы и зеле-

ные крыши, ходя перевел взор на небо. Ну, уж небо было хуже всего. Серое-пресерое, грязное-прегрязное... и очень низко, цепляясь за орлы и луковицы, торчащие за стеной, ползли по серому небу, выпятив брюхо, жирные тучи. Ходю небо окончательно пристукнуло по лохматой шапке. Совершенно очевидно было, что если не сейчас, то немного погода все-таки пойдет из этого неба холодный, мокрый снег, и вообще ничего хорошего, сытного и приятного под таким небом произойти не может.

– О-о-о! – что-то пробормотал ходя и еще тоскливо прибавил несколько слов на никому не понятном языке.

Ходя зажмурил глаза, и тотчас же всплыло перед ним очень жаркое круглое солнце, очень желтая пыльная дорога, в стороне, как золотая стена, – гаолян, потом два раскидистых дуба, от которых на растрескавшейся земле лежала резная тень, и глиняный порог у фанзы. И будто бы ходя, маленький, сидел на корточках, жевал очень вкусную лепешку, свободной левой рукой гладил горячую, как огонь, землю. Ему очень хотелось пить, но лень было вставать, и он ждал, пока мать выйдет из-за дуба. У матери на коромысле два ведра, а в ведрах студеная вода...

Ходю, как бритвой, резнаю внутри, и он решил, что опять он поедет через огромные пространства. Ехать

– как? Есть – что? Как-нибудь. Китай-са... Пусти ваг-о-о-н.

За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперемежку, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками, на серой длинной башне. Часы поиграли, поиграли и смолкли. Ходя глубоко вздохнул, проводил взглядом тархтящую ободранную мотоциклетку, въехавшую прямо в башню, глубже надвинул шапку и ушел в неизвестном направлении.



## II. ЧЕРНЫЙ ДЫМ. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Вечером ходя оказался далеко, далеко от черных часов с музыкальным фокусом и серых бойниц. На грязной окраине в двухэтажном домике во втором проходном дворе, за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнатке по вонючему коридору, за дверью, обитой рваной в клочья клеенкой, в печурке красноватым зловещим пламенем горели дрова. Перед заслонкой с огненными круглыми дырочками на корточках сидел очень пожилой китаец. Ему было лет 55, а может быть, и восемьдесят. Лицо у него было как кора, и глаза, когда китаец открывал заслонку, казались злыми, как у демона, а когда закрывал – печальными, глубокими и холодными. Ходя сидел на засаленном лоскутном одеяле на погнувшейся складной кровати, в которой жили смелые и крупные клопы, испуганно и настороженно смотрел, как колышутся и расхаживают по закопченному потолку красные и черные тени, часто передергивал лопатками, засовывал руку за ворот, яростно чесался и слушал, что рассказывает старый китаец.

Старик надувал щеки, дул в печку и тер кулаками глаза, когда в них залезал едкий дым. В такие моменты рассказ прерывался. Затем китаец захлопывал за слонку, потухал в тени и говорил на никому, кроме ходя, не понятном языке.

Из слов старого китаезы выходило что-то чрезвычайно унылое и короткое.

По-русски было бы так: хлеб – нет. Никакой – нет. Сам – голодный. Торговать – нет и нет. Кокаин – мало есть. Опиум – нет. Последнее старый хитрый китаец особенно подчеркнул. Нет опиума. Опиума – нет, нет. Горе, но опиума нет. Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в раскосые щели, и огни из печки не могли пробить их таинственную глубину.

– Что есть? – Ходя спросил отчаянно и судорожно пошевелил плечами.

– Есть? – Было, конечно, кое-что, но все такое, от чего лучше и отказаться. – Холодно – есть. Чека ловила – есть. Ударили ножом на пустыре за пакет с кокаином. Отнимал убийца, негодяй – Настькин сволочь.

Старый ткнул пальцем в тонкую стену. Ходя, прислушавшись, разобрал сиплый женский смех, какое-то шипенье и клокотание.

– Самогон – есть.

Так пояснил старик и, откинув рукав засаленной кофты, показал на желтом предплечье, перевитом

узловатыми жилами, косо́й свежий трехвершковый шрам. Очевидно было, что это след от хорошо отточенного финского ножа. При взгляде на багровый шрам глаза старого китая затуманились, сухая шея потемнела. Глядя в стену, старик прошипел по-русски:

– Бандит – есть!

Затем наклонился, открыл заслонку, всунул в огненную пасть две щепки и, надув щеки, стал похож на китайского нечистого духа.

Через четверть часа дрова гудели ровно и мощно и черная труба начинала краснеть. Жара заливала комнату, и ходя вылез из полушубка, слез с кровати и сидел на корточках на полу. Старый китаец, раздобрев от тепла, поджав ноги, сидел и плел туманную речь. Ходя моргал желтыми веками, отдувался от жары и изредка скорбно и недоуменно лопотал вопросы. А старый бурчал. Ему, старому, все равно. Ленин – есть. Самый главный очень есть. Буржуи – нет, о, нет! Зато Красная Армия есть. Много – есть. Музыка? Да, да. Музыка, потому что Ленин. В башне с часами – сиди, сиди. За башней? За башней – Красная Армия.

– Домой ехать? Нет, о, нет! Пропуск – нет. Хороший китаец смирно сиди.

– Я – хороший! Где жить?

– Жить – нет, нет и нет. Красная Армия – везде жить.

– Карас-ни... – оторопев, прошептал ходя, глядя в

огненные дыры.

Прошел час. Смолкло гудение, и шесть дыр в заслонке глядели, как шесть красных глаз. Ходя, в зыбких тенях и красноватом отблеске сморщившийся и постаревший, валялся на полу и, простирая руки к старику, умолял его о чем-то.

Прошел час, еще час. Шесть дыр в заслонке ослепли, и в прикрытую оконную форточку тянул сладкий черный дым. Щель над дверью была наглухо забита тряпками, а дырка от ключа залеплена грязным воском. Спиртовка тощим синеватым пламеньком колыхалась на полу, а ходя лежал рядом с нею на полушубке на боку. В руках у него была полуаршинная желтая трубка с распластанным на ней драконом-ящерицей. В медном, похожем на золотой, наконечнике багровой точкой таял черный шарик. По другую сторону спиртовки, на рваном одеяле, лежал старый китайский хрыч, с такой же желтой трубкой. И вокруг него, как вокруг ходи, таял и плыл черный дым и тянулся к форточке.

Под утро на полу, рядом с угасающим язычком пламени, смутно виднелись два оскала зубов – желтый с чернью и белый. Где был старик – никому не известно. Ходя же жил в хрустальном зале под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки обегали круг. Звон пробуждал смех в

хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте, с огромной блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелку-маятник и гнал ее вправо – тогда часы звенели на лево, а когда гнал влево – колокола звенели направо. Прогремев в колокола, Ленин водил ходю на балкон – показывать Красную Армию. Жить – в хрустальном зале. Тепло – есть. Настька – есть. Настька, красавица неописанная, шла по хрустальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в ноздрю. А Настькин сволочь, убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но ходя встал, страшный и храбрый, как великан, и, взмахнувши широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для ходи громоносную мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и вызвонили наконец на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над головой – круглое жаркое солнце и резную тень у дуба... И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода.

### **III. СНОВ НЕТ – ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ**

Неизвестно, что было в двухэтажном домике в следующие четыре дня. Известно, что на пятый день постаревший лет на пять ходя вышел на грязную улицу, но уже не в полушубке, а в мешке с черным клеймом на спине «цейх № 4712» и не в желтых шикарных ботинках, а в рыжих опорках, из которых выглядывали его красные большие пальцы с перламутровыми ногтями. На углу под кривым фонарем ходя посмотрел сосредоточенно на серое небо, решительно махнул рукой, пропел, как скрипка, сам себе:

– Карас-ни...

И зашагал в неизвестном направлении.

## IV. КИТАЙСКИЙ КАМРАД

И оказался ходя через два дня после этого в гигантском зале с полукруглыми сводами, на деревянных нарах. Ходя сидел, свесив ноги в опорках, как бы в бельеэтаже, а в партере громоздились безусые и усатые головы в шишаках с огромными красными звездами. Ходя долго смотрел на лица под звездами и наконец, почувствовав, что необходимо как-нибудь отозваться на внимание, первоначально изобразил на своем лице лучшую из своих шафранных улыбок, а затем певуче и тонко сказал все, что узнал за страшный пробег от круглого солнца в столицу колокольных часов:

– Хлеб... пусти вагон... карасни... китай-са... – и еще три слова, сочетание которых давало изумительную комбинацию, обладавшую чудодейственным эффектом. По опыту ходя знал, что комбинация могла отворить дверь теплушки, но она же могла и навлечь тяжкие побои кулаком по китайской стриженной голове. Женщины бежали от нее, а мужчины поступали очень различно: то давали хлеба, то, наоборот, порывались бить. В данном случае произошли радостные последствия. Громовой вал смеха ударил в сводчатом зале и взмыл до самого потолка. Ходя ответил на первый

раскат улыбкой № 2 с несколько заговорщическим оттенком и повторением трех слов. После этого он думал, что он оглохнет. Пронзительный голос прорезал грохот:

– Ваня! Вали сюда! Вольноопределяющийся китаец по матери знаменито кроет!

Возле ходи бушевало, потом стихло, потом ходе сразу дали махорки, хлеба и мутного чаю в жестяной кружке. Ходя во мгновение ока с остервенением съел три ломтя, хрустящих на зубах, выпил чай и жадно закурил вертушку. Затем ходя предстал пред неким человеком в зеленой гимнастерке. Человек, сидящий под лампой с разбитым колпаком возле пишущей машины, на ходю взглянул благосклонно, голове, просушшейся в дверь, сказал:

– Товарищи, ничего любопытного. Обыкновенный китаец...

И немедленно после того, как голова исчезла, вынул из ящика лист бумаги, в руку взял перо и спросил:

– Имя? Отчество и фамилия?

Ходя ответил улыбкой, но от каких бы то ни было слов удержался.

На лице у некоего человека появилась растерянность.

– К-хэм... ты что, товарищ, не понимаешь? По-русски? А? Как звать? – он пальцем ткнул легонько по на-



правлению ходи, – имя? Из Китая?

– Китаи-са... – пропел ходя.

– Ну! ну! Китаец, это я понимаю. А вот звать как тебя, камрад? А?

Ходя замкнулся в лучезарной и сытой улыбке. Хлеб с чаем переваривались в желудке, давая ощущение приятной истомы.

– Ак-казия, – пробормотал некий, озлобленно почесав левую бровь.

Потом он подумал, поглядел на ходю, лист спрятал в ящик и сказал облегченно:

– Военком приедет сейчас. Ужо тогда.

## V. ВИРТУОЗ! ВИРТУОЗ!

Прошло месяца два. И когда небо из серого превратилось в голубое с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что, как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии, ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи, затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает на 2 тысячи шагов. Головы не головы, но, действительно, было исключительно 100 % попадания. Рождалась мысль о непрочности и условности 100! Может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу.

На стрельбище приезжал на огромной машине важный в серой шинели, пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами в даль, давил ручки гремевшего «максима» и резал рощу, как баба – жнет хлеб.

– Действительно, черт знает что такое! В первый раз вижу, – говорил пушистоусый, после того как стих раскаленный «максим». И, обратившись к ходе, доба-

вил со смеющимися глазами: – Виртуоз!

– Вирту-зи... – ответил ходя и стал похож на китайского ангела.

Через неделю командир полка говорил басом командиру пулеметной команды:

– Сукин сын какой-то! – И, восхищенно пожимая плечами, прибавил, поворачиваясь к Сен-Зин-По: – Ему премиальные надо платить.

– Пре-ми-али... палати, палати, – ответил ходя, испуская желтоватое сияние.

Командир громыхнул как в бочку, пулеметчики ответили ему раскатами. В этот же вечер в канцелярии под разбитым тюльпаном некий в гимнастерке доложил, что получена бумага ходю откомандировать в интернациональный полк. Командир залился кровью и стукнул в нижнее до:

– А фи не хо? – и при этом показал колоссальных размеров волосатую фигу. Некий немедленно сел сочинять начерно бумагу, начинающуюся словами: «Как есть пулеметчик Сен-Зин-По железного полка гордость и виртуоз...»

## VI. БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Месяц прошел, на небе не было ни одного маленького облачка, жаркое солнце сидело над самой головой. Синие перелески в двух верстах гремели, как гроза, а сзади и налево отходил железный полк, уйдя в землю, перекатывался дробно и сухо. Ходя, заваленный грудой лент, торчал на пологом склоне над востроносим пулеметом. Хоудино лицо выражало некоторую задумчивость. Временами он обращал свой взор к небу, потом всматривался в перелески, иногда поворачивал голову в сторону и видел тогда знакомого пулеметчика. Голова его, а под ней лохматый красный бант на груди выглядывали из-за кустиков шагах в сорока. Покосившись на пулеметчика, ходя вновь глядел, прищурившись, на солнышко, которое пекло ему фуражку, вытирал пот и ожидал, какой оборот примут все эти клокочущие события.

Они развернулись так. Под синими лесочками вдали появились черные цепочки и, то принижаясь до самой земли, то вырастая, ширясь и густея, стали приближаться к пологому холму. Железный полк сзади и налево ходи загремел яростней и гуще. Пронзительный голос взвился за ходей над холмом:

– А-гонь!

И тотчас пулеметчик с бантом загрохотал из кустов. Отозвалось где-то слева, и перед вырастающей цепочкой из земли стал подыматься пыльный туман. Ходя сел плотнее, наложил свои желтые виртуозные руки на ручки пулемета, несколько мгновений молчал, чуть поводя ствол из стороны в сторону, потом прогремел коротко и призывно, стал... прогремел опять и вдруг, залившись оглушающим треском, заиграл свою страшную рапсодию. В несколько секунд раскаленные пули заплевали цепь от края до края. Она припала, встала, стала прерываться и разламываться. Восхищенный охрипший голос взмыл сзади:

– Ходя! Строчи! Огонь! А-гонь!

Сквозь марево и пыль ходя непрерывным ливнем посылал пули во вторую цепь. И тут справа, вдали, из земли выросли темные полосы и столбы пыли встали над ними. Ток тревоги незримо пробежал по скату холма. Голос, осипши, срываясь, прокричал:

– По наступающей ка-ва-лери...

Гул закачал землю до самого ходя, и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент, как ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадил бледным огнем, что-то бросило ходю грудью прямо на ручки, и ходя перестал что-либо видеть.

Когда он снова воспринял солнце и снова перед

ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вспыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, ходя, повернувшись, увидел сзади летящую в туче массу всадников, которые обрушились туда, где гремел железный полк. Пулеметчик справа исчез. А к холму, огибая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их наплечья поблескивали золотыми пятнами. С каждым мигом их становилось все больше, и ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед ходей. Справа зато они выросли и неслись к ходе. Рядом появился командир пулеметного взвода. Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал ходе. Вытянувшись во весь рост, он протянул правую руку и сухо выстрелил в набегавших. Затем, на глазах пораженного ходи, сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходя смолк на мгновенье. Потом прогремел опять.

Держа винтовку на изготовку, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сен-Зин-По меднолицый юнкер.

– Бро-сай пулемет... чертова китаеза!! – хрипел он,

и пена пузырями вскакивала у него на губах, – сдавайся...

– Сдавайся!! – выло и справа, и слева, и золотые пятна и острые жала запрыгали под самым скатом. – А-р-ра-па-ха! – в последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, усилием воли задавил в себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснила сердце. В последние мгновенья чудесным образом перед ним, под жарким солнцем, успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень и поросль золотого гаоляна. Ехать, ехать домой. Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарные венчики и, теперь уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу:

– Премиали... карасни виртузи... палати! Палати!

И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжело размахнувшись штыком, в горло, так, что перебил ему позвоночный столб. Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и вокруг ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.

# НАЛЕТ

## (В волшебном фонаре)

Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные, темные лошадиные морды.

Храп. Потом ударило огнем второй раз, Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук... Стоптаный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами, столбах.

Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу прошел очень сухой жар, и жар этот уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это обозначает смертельный страх.

Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видал. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.

– Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь, – сказал сверху голос, и Абрам понял, что это – голос с лошади.



Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене – зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам, пугливо и настороженно, стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья казались сваленные в груду щиты. Совсем близко показался темный, бесформенный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а третий, Щукин, пропал.

– Якого полку? – сипло спросил голос.

Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало черным и холодным, винт свивался ввысь – неба там не было никакого.

– Ну, ты мне заговоришь! – сказало тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услышал сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная обжигающая боль раздробила ему челюсти, мозг и зубы; и показалось, что в огне треснула вся голова.

– А... а-га-а, – судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.

Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика, и еще совершенно явственно обозначился третий часовой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе.

– Якого?! – визгнула метель.

Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, вздохнувши, ответил:

– Караульного полка.

Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.

Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.

– Тю! Жида взяли! – резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидел кровь на своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из деревянной кобуры.

– Жид, жид! – радостно пробурчал ураган за спиной.

– И другой? – жадно откликнулся бас.

Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертва щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль про-

шла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал, слабо в порохе метели:

– У-у, бандитье. Язви вашу душу.

Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.

\* \* \*

Оба – Абрам и Стрельцов – стояли рядом у высокой груды щитов все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними металась, спешивались люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папaxe, то брэнчащий, зажеванный в беловой пенке, мундштук.

Светились два огня – белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу, на той стороне, за полотном. Мело все реже, все жиже и не гудело и не шарахало, высыпая в лицо и за шею сухие, холодные тучи, летела ровно и плавно в конусе слабеющая метель.

Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной

маской, – его били долго и тяжело за дерзость, размотив всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом зрячим и ненавистным, а другим зрячим багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью, говорил:

– Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, всех расстреляют, – всех...

Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и била рукоятью Стрельцова. Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.

– Скорийше!

– Скорей!

Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал.

– Ну, бей, бей же скорей! – сипло вскрикивал Стрельцов, – нечего людей мучить зря.

Стрельцов стоял в одной рубаше и желтых стеганых штанах; шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носа так же, как и всегда.

Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.

– Жид смеется! – удивилась тьма за конусом.

– Он мне посмеется, – ответил бас.

У Абрама сами собой не щекотно и не больно вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.

«Так вот все и кончилось, – думал он, – как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня. И ничего не случится. Нечего ждать – конец».

– А ну, – предостерегла тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых в дырочках винтовок притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал сползать – ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.

\* \* \*

Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко, над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный, коварный отсвет и рельсы струились вдаль, а

груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции слабел, а желтоватый, низенький был неизменен. Его первым увидел Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и щурится.

Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые – о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне...

Ноги он волочил, как перебитые, работая локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго: минут пять – пять шагов. Когда дополз, рукой ощупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.

\* \* \*

– Кто же это? Господи, кто? – Женщина спросила в испуге, цепляясь за скобу двери. – Одна я, ей-богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.

– Пусти меня, пусти. Я ранен, – настойчиво повто-

рил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и со-скакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщи-на закроет дверь. – Ранен я, слышите, – повторил он.

– Ой, лишечко, – ответила женщина и приоткрыла дверь.

Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщи-ны провалились в кругах глаза, и она смотрела на пол-зущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.

\* \* \*

Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Сту-деная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами звезды сидели над погребенной землей и в самой высшей точке, и далеко за молчащими леса-ми, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба, у луны.

В сторожке у полотна был душный жар, и огонек, по-прежнему неутомимый и желтый, горел скупно, с ши-пеньем.

Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, гля-дела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и ба-раньим тулупом с сипением жило тело Абрама.

Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слышал, он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел губительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри горевшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом, наоборот, холод вместо жара шел от головы к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, в перебой и нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха и хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.



Прошли годы. И случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие: в клуб привезли дрова. Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются – загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды, на полу и на лице Броня. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Броня была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел.

Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как ораторствовал Грузный. Як басом рассказал про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно, он был храбрый. Когда он кончил, плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого табаку.

– Теперь Абрам, – сказала Броня, – сущий профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересенькое. Ваша очередь, Абрам, – она говорила с за-

пинкой, потому что Абрам единственный, недавний, приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы».

Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лабазники, и замечательные на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны, коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого Абрамового чулка.

Обладатель брюк был глух и поэтому, на лице всегда сохраняя вежливую конфузливую улыбку, в нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.

– Ваша очередь, Абрам, – распорядилась Броня громко, как все говорили с ним, – вы, вероятно, не во-евали, так вы расскажите что-нибудь вообще...

Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь, а надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка, говорил, жалостли-

во поднимая брови, как недострелили одного из них и он пополз прямо, все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правой указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь и рисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал:

– Вот как...

Все помолчали.

Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал:

– Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине... А это с кем произошло?

Воробей помолчал и ответил стыдливо:

– Это со мной произошло.

Потом помолчал и добавил:

– Ну, я пойду в библиотеку.

И ушел, по своему обыкновению прихрамывая. Все головы повернулись ему вслед, и все долго смотрели не отрываясь на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.

# Я УБИЛ

Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:

– Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило 2-ое число.

– Пожалуйста, пожалуйста, – ответил я.

Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрой «2» и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.

«Что он там разыскал?» – подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр, и о театре если расска-

зывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас, у меня в гостях, прежде всего обувью. Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый, и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирюльника».

Дело, конечно, не в обуви, а в другом: интересовал он меня одним необычайным свойством своим – молчаливый и, несомненно, очень скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и блеяния «мня-я» и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фатоватый врач как бы загорался, правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе, никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью: «Врач ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей до-

роге, и быть тебе нужно только писателем...»

И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а щурился на цифру «2», на неизвестную даль.

«Что он там разыскал? Картинка, что ли». Я покопился через плечо и увидел, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: «Сравнительная величина лошади (1 сила) и мотора (500 лошадиных сил)».

– Все это вздор, товарищи, – заговорил я, продолжая беседу, – обывательская пошлятина. Валят они, черти, на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами: человек 100 раз делает аппендицит, а на сто первый у него больной и померет на столе. Что же, он его зарезал, что ли?

– Обязательно скажут, что зарезал, – отозвался доктор Гинс.

– И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять, – уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся, и мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинике.

– Терпеть не могу, – продолжал я, – фальшивых и покаянных слов: «Я убил, ах, я зарезал». Никто никого не режет, а если и убивает, у нас в руках, больного,

убивает несчастная случайность. Смешно, в самом деле! Убийство несвойственно нашей профессии. Какой черт!.. Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманном намерением, ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке – это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу.

Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал:  
– Я к вашим услугам.

При этом он пальцем ткнул себе в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта.

Мы посмотрели на него с удивлением.

– То есть как? – спросил я.

– Я убил, – пояснил Яшвин.

– Когда? – нелепо спросил я.

Яшвин указал на цифру «2» и ответил:

– Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь, и вижу 2-е число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и... – Яшвин вынул черные часы, поглядел, – ...да... час в час почти, в ночь с 1-го на 2-е февраля я убил его.

– Пациента? – спросил Гинс.

– Пациента, да.

– Но не умышленно? – спросил я.

– Нет, умышленно, – отозвался Яшвин.

– Ну, догадываюсь, – сквозь зубы заметил скептик Плонский, – рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной дозе...

– Нет, морфий тут ровно ни при чем, – ответил Яшвин, – да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать, звезды... Ах, какие звезды на Украине. Вот семь лет почти живу в Москве, а все–таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно в поезд... и туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом, Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев.

Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съезжился в кресле и продолжал:

– Грозный город, грозные времена... и видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19 году, как раз вот 1-го февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За стран-ным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу, над маленьким чемоданчиком, запи-хиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

– Бежать, бежать...

Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсень-



кий, подштанники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжело так тянет – бу-у... гу-у... Тяжелые орудия. Пойдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно, я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска, – виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу:

– Дай, дай, еще дай.

Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот– вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал – с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве, в этот последний месяц их пребывания, – уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили и в них люди с красными галунными шлыками на папах, пушки вдали не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, гла-

за у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шарахался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из подворотен, грозили кулаками в небо и кричали:

– Ну, погодите. Придут, придут большевики.

Омерзителен и жалок был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли.

Итак...

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один— одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины, из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же,

на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом:

«С одержанием сего...»

Кратко, в переводе на русский язык:

«С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения...»

Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батько Петлюра, погромы – и я с красным крестом на рукаве в этой компании... Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю – фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики – миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит...

Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой Красного Креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ощупью, среди

сумеречных теней, вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку.

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами.

Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки.

У меня сердце стукнуло.

– Вы ликарь Яшвин? – спросил первый кавалерист.

– Да, я, – ответил я глухо.

– С нами поедете, – сказал первый.

– Что это значит? – спросил я, несколько оправившись.

– Саботаж, вот що, – ответил гроыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво, – ликаря не хочут мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница... улица...

– Куда же вы меня ведете? – спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.

– В первый конный полк, – ответил тот, со шпорами.

– Зачем?

– Як зачем? – удивился второй, – назначаетесь к нам ликарем.

– Кто командует полком?

– Полковник Лещенко, – с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня.

«Сукин я сын, – подумал я, – мечтал над чемоданчиком. Из-за каких-то подштанников... Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше...»

Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах ярко полыхало электричество. Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями.

«А ведь это кровь», – подумал я, и сердце мне неприятно сжало.

– Пан полковник, – негромко сказал тот, со шпорами, – ликаря доставили.

– Жид? – вдруг выкликнул голос, сухой и хриплый, где-то.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек.

Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским пояском с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горе-

ла огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.

– Нет, не жид, – ответил кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

– Вы не жид, – заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке – смеси русских и украинских слов, – но вы не лучше жида. И, як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить! – приказал он кавалеристу. – И дать ликарю коня.

Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:

– Змилуйтесь, пан полковник...

Я мутно увидел трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.

– Дезертир? – пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой, – их ты, зараза, зараза.

Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятку ударил в

лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы...

А потом сгинул белый заиндевевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк.

В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное нарощим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же, как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке.

Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет и я не понадоб-

люсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека...

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгнула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большею частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвой оставил меня. «Бежать», – я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом книзу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого–нибудь избивали шомпо-



лами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный.

– За что вы их? – спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил:

– Организация попалась в Слободке. Коммунисты и жида. Полковник допрашивает.

Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира:

– Пан полковник вас требует.

Я поднялся, под изумленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидел полковника Лещенко в свете фонаря.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая

шпорами.

– Сволочь, – процедил полковник, потом обратился ко мне: – Ну, пан ликарь, перевязывайте меня. Хлопец, выйди, – приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Орудия», – подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

– От чего это?

– Перочинным ножом, – ответил полковник хмуро.

– Кто?

– Не ваше дело, – отозвался он с холодным, злобным презрением и добавил: – Ой, пан ликарь, нехорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: «Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть...»

– Снимите марлю, – сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот, возня, грубый голос закричал:

– Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться

в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

– Уйди, хлопец, уйди, – приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

– За что мужа расстреляли?

– За що треба, за то и расстреляли, – отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алел под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я стал, не отрываясь, глядеть ей в глаза. Не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

– А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.

– Ай, ай, – продолжала она, и глаза ее пылали, – ай, ай. Какой вы подлец... вы в университете обучались – и с этой рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злощастной докторской жизни.

– Вы мне говорите? – спросил я и почувствовал, что

дрожу. – Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:

– Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно:

– Дайте ей двадцать пять шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе.

– Женщину? – спросил я совершенно чужим голосом.

Гнев загорелся в его глазах.

– Эге-ге... – сказал он и глянул зловеще на меня. – Теперь я вижу, якую птицу мне дали вместо ликаря...

.....  
Одну из пуль я, по–видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бежала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустил седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть...» – думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно,

выбив стекло ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Уличка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел в кирпичной норе и молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами. А когда стихло, чуть— чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, — я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к месту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге...

И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

— Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

– Ночью ушли. В Киеве ревком.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

– Идите, доктор, домой.

И я пошел.

–

После молчания я спросил у Яшвина:

– Он умер? Убили вы его или только ранили?

Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой:– О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.

# ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

*Плавающим, путешествующим и  
страдающим писателям русским*

# Часть первая

## I. Кавказ

---

## II. Тиф возвратный

Сотрудник покойного «Русского слова», в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «в 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой:

– Фью-ю!

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

До Тифлиса сорок миль...

Кто продаст автомобиль?

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингль:



– Тэк-с, тэк-с!.. Я так и знал! Возможно, что придется отчалить. Ну, что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. *Credito Italiano*<sup>14</sup>. Что? Шесть... И, в сущности, я итальянский офицер! Да-с. *Finita la comedia!*<sup>15</sup>

И еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.

– Стойте! – завопил я, опомнившись. – Стойте! Какое *Credito*? *Finita*?!

Что? Катастрофа?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что же меня мучит? *Credito* непонятное? Сутолока? Нет, не то... Ах, да. Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту – наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть... Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но

---

<sup>14</sup> «Итальянский кредит» (итал.) – название банка.

<sup>15</sup> Комедия окончена (итал.).

ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руки поднять. Вот, полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

– Мишуня, поставьте термометр!

– Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

– Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А?

Этот туман...

– Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

– Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?

– С ума сошли!..

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горя-

чая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего – еду! Еду! Не надо распускаться! Пустячная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полочку. Вмиг полегчало бы... А потом – голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже<sup>16</sup>... Какое хорошее, солидное, государственное слово – по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

Взбранной воеводе победительная!..

– Ах, нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где, бишь, монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..

– Ла-риса Леонтьевна, где монашки?!

– ...Бредит... бредит, бедный!..

---

<sup>16</sup> Потому что, ибо (др. – русск.).

– Ничего подобного. И не думаю бре-дить. Монашки! Ну, что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон, с третьей полки.

Мельников-Печерский...

– Мишуня, нельзя читать!..

– Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!

– Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

– Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там в скиту фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки-канашки мои!..

– Лариса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него... Пой-ми-те!

– Понимаю, понимаю, молчите!

Туман. Жаркий, красноватый туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься – и снимет,

как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть – вовсе не хвоя, а простыня.

– Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?..

Пи-ить!

– Сейчас, сейчас!..

– А-ах, теплая, дрянная!

– ...ужасно! Опять сорок и пять!

– ...пузырь со льдом...

– Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ла-рочк-а-а! Достаньте!..

– Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Го-ло-ва!..

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все – все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна. ....

### III. Что мы будем делать?!

Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твенем мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызенный, и под мышкой – дыра. На ногах – серые обмотки. Одна – длинная, другая – короткая. Во рту – двухкопеечная трубка. В глазах – страх с тоской в чехарду играют.

– Что же те-перь бу-дет с нами? – спросил я и не узнал своего голоса.

После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

– Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

– Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

– Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

– Боже мой? Осетины?! Тогда это ужасно!

– Ка-кая разница?..

– Как какая? Впрочем, вы ведь не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины грабят и убивают...

– Всех будут убивать? – деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

– Ах, боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще...

Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

– Я не волнуюсь...

– Пустяки, – сухо отрезал Слезкин, – пустяки!

– Что? Пустяки?

– Да это... Осетины там и другое. Вздор, – он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

Мама! Мама! Что мы будем делать?!

– В самом деле. Что мы будем делать?

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

– Подотдел искусств откроем!

– Это... что та-кое?

– Что?

– Да вот... подудел?

– Ах, нет. Под-от-дел!

– Под?

– Угу!

– Почему под?

– А это... Видишь ли, – он шевельнулся, – есть от-наробраз или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!

– Наро-браз. Дико-браз. Барбюс. Барбос.

Взметнулась хозяйка.

– Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить нач-нет...

– Вздор! – строго сказал Юра, – вздор! И все эти мингрельцы, имери... Как их? Черкесы. Просто дура-ки!

– Ка-кие?

– Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут гра-бить...

– А что с нами? Бу-дет?

– Пустяки. Мы откроем...

– Искусств?

– Угу. Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

– Не по-ни-маю.

– Мишенька, не разговаривайте! Доктор...



– Потом объясню! Все будет! Я уже заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы – искусство!

– А жить?

– Деньги за ковер будем бросать!

– За какой ковер?

– Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене.

Мы, бывало, с женой, как получим жалованье, за ковер деньги бросали.

Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.

– А я?

– Ты завлито будешь. Да.

– Какой?

– Мишуня! Я вас прошу!..

## **IV. Лампадка**

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито – литераторы. Несчастные

мы. Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отбирают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!

– О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду.

– Молчите, Мишенька милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

Ма-а-ма. Ма-а-ма!

## **V. Вот он – подотдел**

Солнце. За колесами пролеток пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате на четвертом этаже два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами то на машинках громко стучат, то курят.

С креста снятый сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него. И денег требуют.

После возвратного – мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю.

Зав. Лито. Осваиваюсь.

– Завподиск. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни глянет – все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням – ничего! Барышням – страх не свойствен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа – кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

– Завлито?

– Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом.

Стихи принесла.

Та, та, там, там.

В сердце бьется динамо-снаряд.

Та, та, там.

Стишки – ничего... Мы их... того... как это... в концерте читаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего – барышня. Но почему чулки не подвяжет?

## VI. Камер-юнкер Пушкин

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина. Александра Сергеевича, царствие ему небесное!

Так дело было:

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках, да с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году зачавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно выходил смелый с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трек в бывшее летнее собрание.

Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:

Довольно пели вам луну и чайку!

Я вам спою чрезвычайку!

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском. И обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем спе-

циальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за «камер-юнкерство и холопскую стихию», вообще, за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми. Улыбка не воробей!

– Выступайте оппонентом.

– Не хочется.

– У вас нет гражданского мужества.

– Вот как? Хорошо, я выступлю.

И я выступил, чтобы меня черти взяли. Три дня и три ночи готовился.

Сидел у открытого окна у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

...Ложная мудрость мерцает и тлеет

Пред солнцем бессмертным ума...

Говорил Он:

Клевету приемли равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал. Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

– Дожми его! Дожми!

.....

Но зато потом!! Но потом...

Я – «волк в овечьей шкуре». Я – «господин». Я – «буржуазный подголосок».

Я – уже не завлито. Я – не завтео.

Я – безродный пес на чердаке. Скорчившись сижую. Ночью позвонят – вздрагиваю.

.....

О пыльные дни. О душные ночи!..

И было в лето от Р. Х. 1920-е из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскуртант вин. В книжечке – его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что...

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит. Но тому что! Он там, идеже несть...

А я пропаду, как червяк.

## **VII. Бронзовый воротник**

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В бронзовом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!  
.....

Беллетриста Слезкина выгнали к черту, несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его место. Вот тебе и изо, мизо. Вот тебе и деньги за ковер.

.....

## **VIII. Мальчики в коробке**

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через

несколько часов погаснут звезды и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать.

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечно-зверино-тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

M-me Marie. Modes et Robes<sup>17</sup>.

И он скулит в коробке.  
Бедный ребенок.  
Не ребенок. Мы бедные.

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, далеко на севере бескрайние равнины... На юг – ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе море. Над ним светит Золотой Рог. . . . .

...Мух на tangle-foot'e<sup>18</sup> видели?

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка!

Мерзость! Но выпьешь – и легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает

---

<sup>17</sup> Мадам Мари. Шляпы и платья (фр.).

<sup>18</sup> Tangle-foot (англ.) – липкая бумага от мух.



мне свою новую повесть.

Некому читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся.

Какие имена на иссохших наших языках! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!..

.....

Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

## **IX. Сквозной ветер**

Евреинов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели в вашей судьбе...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впились глазами.

Евреинов находчивый человек:

– А вот «Музыкальные гримасы»...

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полнейшей негодности.

Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один – из Керчи в Вологду, другой – из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

– Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

– В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

– Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

– В Тифлисе лучше.

Третий – Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконочностью:

– Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

– ...но денег не пла... – начал было я и не успел закончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

– В Ростове лучше?

– Нет, я отдохнуть!!

Оригинал – золотые очки.

Серафимович – с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

– Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой – платок... Этикет-

ку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул – сверху другое поставил. Подумал – еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза, как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут! Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз – то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех in согоре<sup>19</sup> под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее! Уехал Серафимович... Антракт.

## **Х. История с великими писателями**

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре – яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, гроздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыб-

---

<sup>19</sup> В полном составе (лат.).

нулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфужено сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие.

Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:

– Чтоб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

– Пиши вторую программу!

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».

Любовно с Юрием составляли программу.

– Этот болван не умеет рисовать, – бушевал Слезкин, – отдадим Марии Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого Н. (Ее немедленно назначили заведую-

щей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жижее другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он гроыхнет хохотом и скажет:

– А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

– Вам, по-видимому... э... не нравится?

– Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень. Только вот... бакенбарды...

– Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

– Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

– Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

– Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

– А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

– Я на вас пожалуюсь в подотдел!

Что было! Что было!.. Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

– Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слышал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло *crescendo*<sup>20</sup>... Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта – театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Bis!!»

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал!.. На столбе газета, а в ней на четвертой

---

<sup>20</sup> По нарастающей (итал.).

полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН!

Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника (каким, положим, он и был) с бакенбардами...

И т. д.

Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо!

Кончено. Все кончено! Вечера запретили...

...Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!

## **XI. Портянки и черная мышь**

.....

Голодный, поздним вечером, иду в темноту по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:



– Александр Пушкин. Lumen coeli Sancta rosa<sup>21</sup>. И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну.

Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

## **XII. Не хуже Кнута Гамсуна**

Я голодаю.....

## **XIII. Бежать. Бежать!**

– Сто тысяч... У меня сто тысяч!.. Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

– У меня тоже нет денег. Выход один – пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

– Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни

---

<sup>21</sup> Свет небес, Святая Роза (лат.).

революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется. У меня нет способности к литературе.

Он ответил:

– Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт – чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того времени мы стали писать. У него была круглая жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

– Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из

каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожать! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя – никогда! Конечно! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Конечно!

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, – после того, как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, – кричали:

– Ва! Подлец! Так ему и надо!

И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!»

За кулисами пожимали руки.

– Пирикрасная пьеса!

И приглашали в аул...

...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать от-

сюда. Вперед. К морю.

Через море и море, и Францию – сушу – в Париж!

...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз – домой...

...Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...

## XIV

.....

Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят... Цихидзири. Махинджаури. Зеленый Мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения. Чаква. Цихидзири. Зеленый Мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков

я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?

На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинается, до поздней ночи болит голова. И вот ночь на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог.

.....

Слезы такие же соленые, как морская вода.

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. Он три дня не ел... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался.

Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?..

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведывающий».

Он вошел и заявил:

– Па иному пути пайдем! Не нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сачиним.

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..

Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

## **XV. Домой**

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег пешком. Но домой.

Жизнь погублена. Домой!..

В Москву! В Москву!

В Москву!

.....

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеле-

ный Мыс!

# Часть вторая

## М о с к в а

### Московская бездна. Дювлам

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это – Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу чуткие раскаты:

– C'est la lu-u-tte fina-a-le!  
...L'Internationa-a-ale!!<sup>22</sup>

И здесь – так же хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме – теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

---

<sup>22</sup> Это последний бой! Интернационал!



Вниз, решившись, наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

– Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

– Позвольте, я возьму.

На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

– Три пуда... Утапывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то

слева. Но выбрались, наконец, из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядит. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

– А вы куда?

– А не знаю.

– То есть, как?

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устройтесь...

– О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых. Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные, яркие буквы. Слово. Батюш-

ки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо! А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие, подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира, с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор Конан-Дойль. Любимая опера – «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного коменданта, и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темно-

те, от страху, показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?..»

Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из крошечного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубь.

***Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7***

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестиэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта.

Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля Мелькнула комната, полная женщина в дыму Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

– Где Лито? – спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая – не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь – ванная. А на другой двери – маленький клочок. Прибит косо, и край завернулся.

Ли. А, слава богу Да, Лито Опять сердце Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыл глаза на секунду и мысленно представил себе Там. Там – вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь – вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно... кто? Лито? В Москве? Да Горький Максим. На дне. Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это

Брюсов с Белым?..

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: – Да! Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры – сломал! Опять постучал. «Да! Да!»

– Не могу войти! – крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

– Вверните ручку вправо, потом налево, вы нас заперли...

Вправо, влево, дверь мягко подалась, и...

## **После Горького я первый человек**

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой – седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами был в папаше, солдатской шинели. На ней не было места без дыры и карманы висели ключьями. Обмотки серые и лакированные, бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборван-

ными проводами была глуха. Tout<sup>23</sup>. Как-то косноязычно:

– Это... Лито?

– Да.

– Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

– Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, высыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

– Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.

Старик:

– Так вы?..

Я ответил:

– Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

---

<sup>23</sup> Всё (фр.).

– Великолепно!.. Знаете!..

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом: ду-ду-ду... Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

– Пишите заявление.

Заявление было у меня за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

– Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

– Прошу назначить секретарем Лито. Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк. Молодой дернул меня за рукав:

– Идите наверх, скорей, пока он не уехал. Скорей!

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн. секр.» Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказала: «Мейерхольд. Октябрь театра»...

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал:

– Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:



– Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

– Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

– Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

– Деловой парняга! Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

Назн. секр. Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне. Шехерезада... Мать.

Молодой потрянул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

– Это вам. Четверть пайка.

## **Я включаю Лито**

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занимались три человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый – стихи) и я (ни-

чего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый, пожелтевший золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва, 1899 г.».

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно хлоппали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

– Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

– Я узнала, что вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после этих двух лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

– Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

– Мо-мент... – говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

– Удрал он? Ну и плюньте.

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь.

Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально

популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «в Изо».

– А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: «секретарь». Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

– А ведь, верно, Лито... – сказала первая.

Вторая отозвалась:

– Им, Лидочка, есть бумага.

– Почему же вы ее не прислали? – спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

– Мы думали – вас нет.

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень.

Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь.

Написал бумагу в хозяйственный отдел: дайте машину.

Через два дня пришел человек, пожал плечами:

– Разве вам нужна машина?

– Я думаю, что больше чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

– В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам хлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалованье. Лито зацепилось за общий ход. Моему будущему биографу: это сделал я.

## **Первые ласточки**

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн».

– Чем могу вам служить?

– Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается 18 человек.

Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т. д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович

и т. д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прощании Шторна: «пр. назн. INSTR. За завед.» Буква. Завитушка.

– Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизне-  
радостный поэт Скарцев.

– Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный в оч-  
ках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

– Идите наверх...

Но он ответил:

– Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул  
четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими  
строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь и вошел в хорошем, теплом паль-  
то и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмот-  
рел внимательно комнату, задумчиво потрогал вися-  
щий оборванный провод, заглянул зачем-то в шкаф.  
Вздыхнул.

Подсел ко мне – конфиденциально:

– Деньги будут?..

# Мы развиваем энергию

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя – король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

– Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только предполагалось – есть писатели. Лозунги должны были посылатся со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е., печальная жена разбойника) должны были составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория.

На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 час. 26 мин. этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но – у старика была маленькая заветная сумма: на разъезды. Поэтому:

а) Лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо;

б) комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо;

с) за лозунги уплатить по 15 тыс. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 час. 50 мин., а в 3 час. лозунги были готовы. Каждый успел выдать из себя по 5–6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.



Я – писавший лозунги – не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

у старика – 3 лозунга,

у молодого – 3 лозунга,

у меня – 3 лозунга

и т. д. и т. д.

Словом: каждому 45 тыс.

У-у, как дует... Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

## **Неожиданный кошмар**

...Клянусь, это сон!!! Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидел: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно...

Давно уже мне кажется, что крутом мираж. Зыбкий

мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера?! Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова да-ча!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли) пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

1836

МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В  
ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ  
ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН  
ЯКОВЛЕВИЧ...

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

– Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

– Ах, какое Лито... Я не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

– Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь, если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня – душевнобольного.

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестиэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти, из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые неэкономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил во тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Ли-

то. Безнадёжно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

## ***2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, ком. 40***

Огненная надпись:

ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА ВО ВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...

Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось немного яснее в голове!

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то

делось... ну так значит нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36. 36 раз по 2 квартиры = 72. 72 раза по 6 комнат = 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда – да. Конец.

У 2-го подъезда носом к носу – Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

– Зачем?!

– Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик

волновался.

– Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись?  
Оставили бы записку на двери.

– Да мы думали – вам скажут...

Я скрипнул зубами.

– Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн сказал:

– Это верно.

## **Полным ходом**

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. Пр. назн. делопроизв.

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. Пр. назн. секрет, бюро художествен, фельетонов.

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.» Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

## **Деньги! Деньги!**

12 таблеток сахарину и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жаловании ни слуху ни духу.

....Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

– Позвольте нашу ведомость проверить.

– Зачем вам?

– Хочу посмотреть, все ли внесены?

– Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала, побледнев:

– Она затерялась.

Пауза.

– И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

– Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается – уму непостижимо. Семь раз писала ведомость – возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

– Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

– Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито – старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

– Вы, вероятно, не писали анкету?

– Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет – 113 анкет.

– Значит, затерялась. Пишите наново.

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помелом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок!

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу ни-



где второй день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

Денег не будет раньше, чем через две недели.

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги...

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

– Неправильно по форме. Надо задержать ведомость. Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

– Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

– А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Закорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.

Потом опомнился: деньги!

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.

Дома – чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

## **О том, как нужно есть**

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной По-

ляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю.

И все время приходят люди и говорят:

– Пожалуйста обедать.

А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

– Иди. Вегетарианский обед.

И вдруг я рассердился.

– Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

– Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?

– Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите займы деньги у буржуа (без от-

дачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не надейтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и 1/4 фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не уйду.

Наконец хозяйка говорит:

– А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

– Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе – котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Нахо-

дят золотые монеты в кальсонах в комод. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

## Гроза. Снег

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

– Против меня интрига.

Лишь это я услышал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5–6 дней.

Старик вошел шумно и радостно.

– Я разбил их интригу, – сказал он. Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

– Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

С такого-то числа Лито ликвидируется.

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела – Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники, стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили. Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.

# БОГЕМА

## I. КАК СУЩЕСТВОВАТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЛИТЕРАТУРЫ. ВЕРХОМ НА ПЬЕСЕ В ТИФЛИС

Как перед истинным Богом, скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.

Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.

Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!.. «грозный призрак»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю – грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев – светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.

Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически:

– Что ж это вы так приуныли? (Это Гензулаев.)

– Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...

– Не спорю. Владикавказ – паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?

– Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.

– За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно. Хотят посадить – значит, я подозрительный.)

– За насмешки.

– Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что...

И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу,



и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев на зубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.

Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.

– Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.

– Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.

Мы ее написали в  $7\frac{1}{2}$  дней, потратив, таким образом, на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.

Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, впрочем... впрочем... вспоминаю сейчас некоторые пьесы 1921–1924 годов и начинаю сомневаться...), ну, не первую, – вторую или третью.

Словом: после написания этой пьесы на мне несмываемое клеймо, и единственно, на что я надеюсь, – это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто – мне. Сто – Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вы-

зывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи: «Да здравст...» и полос тумана.

Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.

\* \* \*

Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:

- 1) в Тифлисе открыты все магазины.
- 2) – «– есть вино.
- 3) – «– очень жарко и дешевы фрукты.
- 4) – «– много газет, и т. д., и т. д.

Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество – одеяло, немного белья и керосинку.

В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 г. Именно нельзя было так ездить: снялся и поехал,

черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом:

– Ежели каждый начнет ездить, то что же это получится?

Нужно было поэтому получить разрешение. Я немедленно подал, куда следует, заявление и в графе, в которой спрашивается:

– А зачем едешь?

Написал с гордостью:

– В Тифлис для постановки моей революционной пьесы.

Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял, как пришитый, у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.

Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным:

– Зачем едете?

– Для постановки моей революционной пьесы.

Тогда юноша запечатал ордер в конверт и конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив:

– В особый отдел.

– А зачем? – спросил я.

На что юноша не ответил.

Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:

– Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать. Грех выйдет.

– Если бы вы даже упрашивали меня сделать это, я не сделаю, – ответил я совершенно искренно.

И угостил его папиросой.

Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел. Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось – три.

1) В 1907 году, получив 1 р. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф.

2) В 1913 г. женился, вопреки воле матери.

3) В 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.

Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.

Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромный, невероятных размеров письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнурки зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человек в военной форме, с очень

симпатичным лицом.

Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.

Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться по очереди то в меня, то в нее.

– Э, нет. Это не я, – поспешно заявил я.

– Усы сбрить можно, – задумчиво отозвался симпатичный.

– Да, но вы всмотритесь, – заговорил я, – этот черный, как вакса, и ему лет сорок пять. А я блондин, и мне двадцать восемь.

– Краска? – неуверенно сказал маленький.

– А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас обратить внимание на нос.

Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.

– Верно. Не похож.

Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.

– Вы бухгалтер?

– Боже меня сохрани.

Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.

– А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро,

не задумываясь, – скороговоркой проговорил маленький.

– Для постановки моей революционной пьесы, – скороговоркой ответил я.

Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.

– Пьесы сочиняете?

– Да. Приходится.

– Ишь ты. Хорошую пьесу написали?

В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:

– Да, хорошую.

Да. Да. Да. Это четвертое преступление, и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:

– Нет. Она не хорошая пьеса. Она – дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.

Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.

Маленький сказал тому с винтовкой:

– Проводи литератора наружу.

\* \* \*

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.

Но забудь!!!

## II. ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

В 1924 году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.

Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидел у открытой теплушки человека в ночных туфлях и в бороде веером. Он полоскал чайник и повторял слово «Баку».

– Возьмите меня с собой, – попросил я.

– Не возьму, – ответил бородатый.

– Пожалуйста, для постановки революционной пьесы, – сказал я.

– Не возьму.

Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.

– А какая пьеса? – спросила она.



– Вот.

Я развязал одеяло и вынул пьесу.

– Сами написали? – недоверчиво спросил владелец теплушки.

– Еще Гензулаев.

– Не знаю такого.

– Мне необходимо уехать.

– Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из политпросвета.

– Я не буду выкомаривать, – сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное, – на полу могу.

Бородатый сказал, сидя на нарах:

– У вас провизии нету?

– Денег немного есть.

Бородатый подумал.

– Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?

– Все что угодно, – уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.

– Даже фельетон? – спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.

– Фельетон – моя специальность.

Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня.

– Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын, – басом сказали ноги, – я пущу товарища фельетониста.

– Ну, пусть, – растерянно сказал Федор с бородой. – А какой фельетон вы напишете?

– Вечные странники.

– Как будет начинаться? – спросили нары. – Да вы полезайте к нам чай пить.

– Очень хорошо – вечные странники, – отозвался Федор, снимая сапоги, – вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.

\* \* \*

Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера – сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши – равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ!

# ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Когда солнце начало садиться за орешневские сосны и бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала:

– Иона Васильич! А Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хвораю она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

– Аль зубы? – сострадательно прошамкал Иона.

– Зу-убы... – вздохнуло белое.

– У... у... у... вот она, история, – пособолезновал Иона, – беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покой-

нику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куриный помет нужно прикладывать к щеке – как рукой снимет.

– Иона... Иона Васильич, – слабо сказала Татьяна Михайловна, – день-то показательный – среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

– Ну, что ж... Велика мудрость. Пуцдай. И сами управимся. Присмотрим. Самое главное – чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать – кому? Нам. Картину – ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

– Дуняша с вами пойдет – сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

– Ладно, ладно. А вы – пометом. Доктора – у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

– Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

\* \* \*

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом:

УСАДЬБА-МУЗЕЙ  
ХАНСКАЯ СТАВКА

Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям  
от 6 до 8 час. веч.

И в половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках-хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.

И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные – правая толще левой, и обе разрисованы на

голеньях узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразил и удивил.

Голый между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородака подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думая о чашках, и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хриплой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл – истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный, – злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, – принесла нелегкая. И чего Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пушай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый вы-

сокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колесами, широком светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на не известном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот обрвал вой, заскулил и пропал.

\* \* \*

– Ноги о половичок вытирайте, – сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь...» – и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подыматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернув-

шись, увидели пройденный провал лестницы, и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетающая куда-то, вились и розовели амурсы.

– Смотри, смотри, Верочка, – зашептала толстая мать, – видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

– Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.

– Какой Растрелли? – отозвался Иона, тихонько кашлянув. – Строил князь Антон Иоаннович, Царствие ему Небесное, полтора ста лет назад. Вот как, – он вздохнул. – Прапрапрадед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

– Вы не понимаете, очевидно, – ответил голый, – при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, Царствия Небесного не существует и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще, я не понимаю, где руководительница?

– Руководительница, – начал Иона и засопел от ненависти к голому, – с зубами лежит, помирает, к утру



кончится. А насчет царствия – это вы верно. Для койкого его и нету. В Небесное Царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

– Однако, я вам скажу, ваши симпатии к Царству Небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

– Бросьте, товарищ Антонов, – примирительно сказал в толпе девичий голос.

– Семен Иванович, оставь, пускай! – прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздья кенкетов глядели со стен, и, точно вчера потушенные, были в них обгоревшие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, от-

делившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

– Кто паркет делал?

– Крепостные крестьяне, – ответил неприязненно Иона, – наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

– Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости господи», – вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II, в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князя Тугай-Бег-Ордын-

ские со своими родственниками.

Отливая глянец, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник – повелитель Малой Орды Хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы – ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бег-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдо-

вой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца гайдука...

Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

– Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону.

– Это бог знает что такое... Верочка, смотри, какие портреты предков...

– Любовница Николая Палкина, – продолжал голый, поправляя пенсне, – о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имении вытворяла – уму непостижимо. Ни одного не было смазливового парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...

Иона перекошил рот, глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуха. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями – группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканые сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игровой, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы:

– Это кто же такой?

– Последний князь, – вздохнув, ответил Иона, – Антон Иоаннович, в квалегардской форме. Они все в ка-

валегардах служили.

– А где он теперь? Умер? – почтительно спросила дама.

– Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале, – Иона заикнулся от злости, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

– Да плюнь, Семен... старик он...

И голый заикнулся.

– Как? Жив? – изумилась дама, – это замечательно!.. А дети у него есть?

– Деток нету, – ответил Иона печально, – не благословил Господь... Да. Братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных гренадерах служил... Он нездешний. У того имение в Самарской губернии было...

– Классный старик... – восхищенно шепнул кто-то.

– Его самого бы в музей, – проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще, в эту ночь, спали в ней два тела. Жилым все

казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете, и портрет последней княгини на мольберте – княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя... Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через биллиардную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.

\* \* \*

Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневом засвистели пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы – гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз – на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко дворцу, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях.

Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы, как назло, не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел.

Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли боскетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто, вперевой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда, – мелькнуло в голове у старика. – Вот оно, вещее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бе-



жать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

– Что вы? Господин? – в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью. – Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи Боже мой... – Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски:

– Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

– Один... – переведя дух, молвил Иона, – да вы зачем, Царица Небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

– Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

– Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыга-

ли золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстух, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.

– Успокойся, Иона, успокойся, Бога ради, – бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо, – услышать может кто-нибудь...

– Ба... батюшка, – судорожно прошептал Иона, – да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

– И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!

Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

– Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.

– Ах, как ты подряхлел, Иона, Боже, до чего ты ста-

ренький! – заговорил князь, волнуясь. – Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза...

– Ну, полно, полно, перестань...

– Как... как же вы приехали, батюшка? – шмыгая носом, спрашивал Иона. – Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и борода... И как же вы вошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

– Через малую веранду из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

– Княгинюшка-то, господи, княгинюшка с вами, что ли?

Лицо у князя мгновенно постарело.

– Умерла княгиня, умерла в прошлом году, – ответил он и задергал ртом, – в Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу мо-

лилась. Видишь, Бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом доньшке таял закат.

– Царствие Небесное, Царствие Небесное, – дрожащим голосом пробормотал он, – панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

– Нету?

– Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

– Ну вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

– В самом деле, ваше сиятельство, – он умоляюще поглядел на князя, – как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны – с правой.

– Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал:

– Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуточку и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние... Народное... (Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой). Народное – так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже и лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? – Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржаво закрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по са-

мую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.

– Цел-то цел кабинет, – бормотал Иона, – да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

– Кем запечатан?

– Эртус Александр Абрамович из комитета...

– Эртус? – картаво переспросил Тугай-Бег. – Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

– Из комитета он, батюшка, – виновато ответил Иона, – из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

– Ах, вот как! Библиотеку, – князь ощерился, – что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

– Хватит, ваше сиятельство, – растерянно хрипнул Иона, – ведь видимо-невидимо книг-то у вас, – мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковин-

но похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

– Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

– Этого Эртуса я повешу вон на той липе, – князь белой рукой указал в окно, – что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

– А рядышком, – продолжал Тугай нечистым голосом, – знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен. Семен Антонов, – он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. – Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подойдет до той поры или если его не повесят в общем по-

рядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне, – Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками, – ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышишь, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

– Ты верный слуга, и сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? – Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдал из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показала в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. – Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем, Иона, большее... Получше, – князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил



холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползли в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы.

– Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что, – у князя в руках очутился бумажник, – бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

– Ни за что не возьму, – прохрипел Иона и замахал руками.

– Бери! – строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. – Только смотри тут не меняй, а то пристанут – откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

– Печать-то, батюшка, – жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

– Вздор, – сказал Тугай, – ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Верись моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на кресле и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано:

Алекс. Эртус  
История Ханской ставки  
ниже:  
1922–1923

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глаза-

ми глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь неподвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.

– У-у, проклятая собака, – проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа на встречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

– Фу, – прошептал он, – с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

– Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стоя-

ли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были вполоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

– Не может быть, – громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. – Это сон. – Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: – одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидел идущего к шкафу, подумал невольно: «Я постарел», – опять забормотал:

– По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я – тень? Но ведь я живу, – Тугай вопросительно посмотрел на Александра I, – я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего

ярость. – Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам, – я жалею, что я не застрелил. Жалею. – Ярость начала кипеть в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

– Ах, боже мой, – шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у Хана на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

– А т... чума! – хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Приоткрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, трещало, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

– Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну, так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

– Теперь надежно, – сказал Тугай и заторопился. Он прошел боскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Юны из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму...

# № 13. – ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА

## Рассказ

Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерно клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...

Однажды, например, в десять вечера стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.



В квартире № 3 генерала от кавалерии Де-Баррейн он до трех гостил.

До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон Венгерской рапсодии, *cariccioso*, – то цыганские буйные взрывы:

Сегодня пьем! Завтра пьем!  
Пьем мы всю неде-е-лю – эх!  
Раз... еще раз...

До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у Де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.

Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.

А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулеву шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной

в шеншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком... Да что говорить. Был дом... Большие люди – большая жизнь.

В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то большими, не то уголовными, глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам...

Большое было время...

И ничего не стало. Sic transit gloria mundi<sup>24</sup>!

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, господи?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!

Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.

Эльпит сам ушел в чем был.

Вот тогда у ворот рядом с фонарем (огненный «№ 13»), прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:

– Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!

В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...

\* \* \*

Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуны топили.

---

<sup>24</sup> Все проходит (лат.).

Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.

Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери Де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой – «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастью громадой, а не упала бы в прах.

И вот, Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около 1/10 того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатухах на другом конце Москвы.

– Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! – страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. – Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!

Христи верил, кивал стриженной сидящей голо-

вой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.

А главное – топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.

– Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...

\* \* \*

Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.

– Нилушкина Егора туда вселить...

– Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.

В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.

И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным окном. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет...

Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:

– А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.

И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:

– Мань! А Ма-ань! Где ты?

Опять к монтеру ходили:

– Сво-о-лочь ты! Пяндрыга. Христи пожалуемся.

И от одного имени Христи свет волшебным образом загорался.

Да-с, Христи был человек.

Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:

– Которые тут гадют, всех в 24 часа!

И с уличных брал дань.

\* \* \*

И вот жили, жили, а в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:

– Дадим через неделю.

Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:

– Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?

И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замученные глаза. У стального Христи.

Эльпит страстно ответил:

– Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом, к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани – печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Иванычу.

В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:

– Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...

И правление соглашалось:

– Конечно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.

И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наста-

вили черных буржук, не вывели бы труб в отверстия, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.

И Нилушкин Егор ходил:

– Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.

\* \* \*

На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:

– Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают – самогон лакают. А как обзаботиться топить – их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету, не позволять! Косой черт» (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..

И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:

– Ах, зануда баба... Ну, и зануда ж!

Но все же оборачивался и гулко отстреливался:

– Я те затоплю! В двадцать четыре...

Сверху:

– Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить



рабочего человека!

Не осуждайте. Пытка – мороз. Озверевает всякий. . . . .

В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5, стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.

– Ах, тяга хороша! – восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие, – замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.

И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак...

Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...

– Пречистенскую даешь! Царица Небесная! Товарищи!! – Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели – змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники-святители! Во-ой! Двери за-

били, как пулеметы, вперербой... Барышня! Ох, барышня!! Один – ох – двадцать два... восемнадцать. 18... Краснопресненскую даешь!..

...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.

– По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!

Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-красных шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская, с искрами, с огнями, с касками...

Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!

... Еще много, много раз...

А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не сарприцио, а страшно – brioso. Сретенская с переулка – да-е-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской – салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной как траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.

Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49 номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники божие! Ванюшка сгорел. Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса – черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!

Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило, и третьему перебило позвоночный столб.

С самоваром в одной руке, в другой – тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!! Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.

И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так,

что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные, – бенц! Бенц!

Трубки в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что – резерв! Уже к среднему на десять саженой не подходит! Глаза лопнут...

В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.

Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:

– Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.

Но Христи еще раз качнул головой.

– Поезжайте... Я сейчас.

Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на блед-

невшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...

...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.

То шептала чепуху какую-то:

– Засудят... Засудят, головушка горькая...

То всхлипывала.

Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжественно разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.

Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.

Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...»

Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу разма-

зывала сажу, носом шмыгала.

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез. И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 дом Эльпит-Рабкоммуна.

# ПСАЛОМ

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:

– Можно зайти?

– Можно, пожалуйста.

Поют дверные петли.

– Иди и садись на диван!

(От двери.) – А как я по паркету пойду?

– А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?

– Нициво.

– Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?

(Тягостная пауза.) – Я ревел.

– Почему?

– Меня мать наслепала.

– За что?

(Напряженная пауза.) – Я Сурке ухо укусил.

– Однако.

– Мама говорит, Сурка – негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.

– Все равно, таких декретов нет, чтоб из из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.

(Обида.) – Я с тобой не возусь.

– И не надо.

(Пауза.) – Папа придет, я ему скажу. (Пауза.) – Он тебя застрелит.

– Ах, так. Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелят...

– Нет, ты чай делай.

– А ты выпьешь со мной?

– С конфетами? Да?

– Непременно.

– Я выпью.

На корточках два человеческих тела – большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джерома Джерома.

– Стихи-то ты, наверное, забыл?

– Нет, не забыл.

– Ну, читай.

– Ку...куплю я себе туфли...

– К фраку.

– К фраку, и буду петь по ночам...

– Псалом.

– Псалом... И заведу... себе собаку...

– Ни...

– Ни-ци-во-о...

– Как-нибудь проживем.



– Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.

– Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.

(Глубокий вздох.) – Пра-зи-ве-ем.

Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.

– Ты одинокий.

Джером падает на паркет. Страница угасает.

(Пауза.) – Это кто же тебе говорил?

(Безмятежная ясность.) – Мама.

– Когда?

– Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. При-  
сивает, присивает и говорит Натаске...

– Так-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя об-  
варю... Ух!..

– Горячий, ух!

– Конфету какую хочешь, такую и бери.

– Вот я эту больсую хоцу.

– Подуй, подуй, и ногами не болтай.

(Женский голос за сценой.) – Славка!

Стучит дверь. Петли поют приятно.

– Опять он у вас. Славка, иди домой!

– Нет, нет, мы с ним чай пьем.

– Он же недавно пил.

(Тихая откровенность.) – Я... не пил.

– Вера Ивановна. Идите чай пить.

– Спасибо, я недавно...

– Идите, идите, я вас не пушу...

– Руки мокрые... Белье я вешаю...

(Непрошенный заступник.) – Не смей мою маму тянуть.

– Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садитесь...

– Погодите, я белье повешу, тогда приду.

– Великолепно. Я не буду тушить керосинку.

– А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.

– Я не месаю. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

– Ты уже спать хочешь?

– Нет, я не хоцу. Ты мне сказку Расскажи.

– А у тебя уже глаза маленькие.

– Нет. Не маленькие. Расскажи.

– Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

– Про мальчика, про того...

– Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя, так и быть...

Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

– Как меня?

– ...Довольно красивый, но был он, к величайше-

му сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало – кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

– Она сама дерется...

– Погоди. Это не о тебе речь идет.

– Другой Славка?

– Совершенно другой. На чем бишь я остановился? Да... Ну, естественно, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, не долго думая, хватя его зубами за ухо, и пол-уха как не бывало. Гвалт тут поднялся. Шурка орет. Славку порют, он тоже орет... Кой-как приклеили Шуркино ухо синтетиконом. Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг – звонок... И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я Славка». – «Ну, вот что, – говорит, – Славка, я – надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, –

говорит, – что дрался, я и на лестнице играл в копейки, а маме бессовестно наврал, сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». – «Ну, – говорит надзиратель, – это – другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, чего твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл...

(Сладкий, сонный бас.) – Велосипет?

– Да, да, вспомнил – велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед, и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...

– Уже?..

Петли поют. Коридир. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

– Боже мой. Давайте, я его раздену.

- Приходите же. Я жду.
- Поздно...
- Нет, нет... и слышать не хочу...
- Ну, хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен – лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни – пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, и три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть.

Как радостно спели петли...

Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник.

Свет лампы тысячью маленьких звуков глядит

сквозь реденький сатинет.

– Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.

– Вот поеду в Петербург, опять буду играть...

– Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

– Не целуйте меня... Не целуйте... Мне нужно уходить... Поздно...

– Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.

– Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?

– Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска... тоска...

– Что я делаю... Что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла. Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фраку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

# ТАРАКАН

Ах, до чего замечательный город Москва! Знаменитый город! И сапоги знаменитые!

Эти знаменитые сапоги находились под мышкой у Василия Рогова. А сам Василий Рогов находился при начале Новинского бульвара, у выхода со Смоленского рынка. День был серый, с небом, похожим на портянку, и даже очень легко моросило. Но никакой серости не остановить смоленского воскресенья! От Арбата до Новинского стоял табор с шатрами. Восемь гармоний остались в тылу у Василия Рогова, и эти гармонии играли разное, отравляя душу веселой тоской. От Арбата до первых чахнувших, деревьев в три стены стоял народ и торговал вразвал чем ни попало: и Львом Толстым, босым и лысым, и гуталином, и яблоками, штанами в полоску, квасом и Севастопольской обороной, черной смородиной и коврами.

Если у кого деньги, тот чувствует себя, как рыба в море, на Смоленском рынке. Искупался Василий Рогов в океане и выплыл с сапогами и финским ножом. Сапоги – это понятно. Сапоги давно нужно было купить, ну а финский нож к чему? Купился он сам собой как-то.

Когда Рогов отсчитал два червя за сапоги в палат-

ке, вырос из-под земли человек с кривым глазом и почему-то в генеральской шинели и заметил гнусаво:

– Сапоги купили, папаша? Отличные сапоги. Ну а такой финский нож вы видали?

И тот сверкнул перед Роговым убийственной сталью.

– Не нужно, – сказал Рогов, уминая под мышку сапоги.

– Шесть рублей финка стоит, – сообщил человек, – а я отдаю за четыре, и только по случаю ликвидации лавки.

– Никакой у тебя лавки нету, – возразил с презрением Рогов и подумал: «Сколько этих жуликов на Смоленском! Ах, боже мой!»

– Таким ножом, если махнуть человека под ребро, – сладостно заговорил человек, пробуя пальцем коварное лезвие, – то любого можно зарезать.

– Ты смотри, тут и милиционеры есть, – ответил Рогов, пробираясь в чаще спин.

– Берите ножик, отец, за три с полтиной, – гнусавил человек, и дыхание его коснулось крутой шеи Василия Рогова, получившего неизвестно за что в пекарне обидное прозвище Таракан. – Вы говорите цену, папаша! На Смоленском молчать не полагается.

В это время гармония запела марш и весь рынок залила буйною тоской.



– Рубль! – сказал, хихикнув, Таракан, чувствуя счастье благодаря сапогам.

– Берите! – крикнул человечешко и нож всунул в голенище новых Таракановых сапог.

И сам не зная как, Таракан выжал из-за пазухи кошель, крепко зажал меж пальцами левой руки пять червонцев, – примеры всякие бывают на Смоленском рынке! – а правой выдернул желтый рубль.

Таким образом, наградили Таракана финкой. Видимо, караулила пекаря беда.

Страшно расстроен был Таракан вследствие покупки ненужной вещи. «Что я, в самом деле, людей, что ли, резать им буду?» Поэтому пришлось Таракану зайти в пивную. Выпив две бутылки пива, Таракан почувствовал, что ножик не так уж не нужен. «Молодецкая вещь – финка», – подумал пекарь и вышел на Новинский бульвар.

До чего здесь было оживленно! Фотограф снимал на фоне экрана, изображающего Кремль над густой и синей рекой – Москва-рекой, девицу с розой в волосах. Стоял человек с трахомой и пел тоскливо и страшно. Китаец вертел погремушкой, и шел народ и назад, и вперед. И тут услышал Таракан необыкновенный голос, всем заявляющий громко и отчетливо:

– У меня денег воз – дядя из Японии привез.

А потом голос так сказал:

– А сам не кручу, не верчу, только денежки плачу.

И действительно, сам он не крутил. Деревянный восьмигранный волчок крутил тот, кто ставил. А ставить можно было на любой из восьми номеров. А номер на доске, а доска на обыкновенном ящике, а полукружием вокруг ящика мужчины.

– Игра, – заметил голос, – без обману и шансов. Каждый может выиграть жене на печенку, себе на саmogонку. Детишкам на молочишко.

Как родной голос совсем звучал. Как дома. Потная молодая личность в кепке все ставила по три копейки на 8-й номер, а он все не выпадал. А потом, как выпал, – выдал голос кепке пятиалтынный. Кепка потной рукой поставила пяточок и – хлоп – 8! Двадцать пять копеек. Он – гривенник (кепка) – и 8! Чудеса – подряд. Полтинник. Голосу хоть бы что, хоть бы дрогнул – платит и платит. Кепка опять гривенник на 8-й, только он уже не выпал. Нельзя же вечно!

Еще кто-то три копейки поставил на 2-й номер. А на волчке вышло 3.

– Эх, рядом надо было! – сказал кто-то.

– Не угадаешь.

Таракан уже был у самого ящика. Финку переложил из голенища за пазуху к кошелю для верности – все бывает на Новинском бульваре!

Кепка поставила гривенник на 7-й, выпал 7-й. Опять

полтинник.

– За гривенник – даю полтинник, а за двугривенный – рубль! – равнодушно всех оповестил голос.

Таракан молодецки усмехнулся, бодрый от пива, и смеху ради поставил на 3-й номер три копейки, но вышел 5-й.

– Чем дальше играешь, тем игра веселей! – голос сказал.

Таракан пяточок мелкой медью поставил на 4-й номер и угадал. Голос выдал Таракану четвертак.

– Ишь ты! – шепнули в полукружии.

Таракан как-то удивился, сконфузился и гривенник бросил на 8-й. Теперь сердце в нем екнуло, пока волчок, качаясь, кривлялся на доске. И упало холодно. Не упал 8-й, а 1-й вместо него. Жаль стало почему-то гривенника. «Эх, не нужно было ставить, забрал бы четвертак и ушел. А тут казись!»

Через четверть часа полукружие стало плотнее, гуще в два ряда. И все отшились, до того всех размахом забил Таракан. Теперь Таракан ничего не видел вокруг, только лепешки без глаз вместо лиц. Но лицо голоса видел отлично – на лице, словно постным маслом вымазанном, бритом с прыщом на скуле, были агатовые прехолодные глаза. Спокоен был голос, как лед. А Таракан оплывал. Не узнала бы Таракана родная мать. Постарел, углы губ обвисли, кожа на лице

стала серая и нечистая, а водянистые глаза зашли к небу.

Таракан доигрывал пятый, последний червонец. Серый червонец, вылежавшийся за пазухой. Таракан вынул, и владелец ящика его разменял так: рваный рубль, новый рубль, зеленая трешка и тоненькая, как папиросная бумага, выдавшая виды пятерка. Таракан поставил рубль, еще рубль, не взял. «Что ж я по рублю да по рублю?» – вдруг подумал и почувствовал, что падает в бездну. Трешку! И трешка не помогла. Тогда Таракан шлепнул пятерку, и все мимо поплыло по Новинскому бульвару, когда лапа голоса, похожая на воронью, смахнула пятерку с доски. Никто не шелохнулся вокруг, весь мир был равнодушен к злостной Таракановой судьбе. Владелец же ящика вдруг снял доску, взял ее под одну мышку, а ящик под другую – и в сторону.

– Постой! – хрипло молвил Таракан и придержал голос за рукав. – Погоди-ка!

– Чего годить-то? – ответил голос. – Ставок больше нет. Домой пора.

– Еще сыграю, – чужим голосом заметил Таракан, вынул сапоги и сразу в тумане нашел покупателя.

– Купи сапоги, – сказал он и увидел, что продает сапоги той кепке, что первая начала игру. Кепка презрительно оттопырила губу, и тут поразился Таракан

тому, что у кепки было такое же масляное лицо, как и у голоса.

– Сколько? – спросила кепка, постукивая по подошве расщепленным больным ногтем.

– Двадцать! – кашлянув, вымолвил Таракан.

– 12, – нехотя сказала кепка и повернулась уходить.

– Давай, давай! – отчаянно попросил Таракан.

Кепка, свистя через губу, крайне вяло вынула из кармана стального френча червь и два рубля и дала их Таракану. Ящик вернулся на место, и легче немного стало Таракану. Он проиграл по рублю пять раз подряд. На счастливый 3-й номер поставил рубль и получил пять. Тут испуг червем обвил сердце Таракана. «Когда же я отыграюсь?» – подумал он и поставил пять на 6-й.

– Запарился парень! – далеко заметил кто-то.

Через минуту чисто было перед Тараканом. Ящик уплыл, доска уплыла, и люди разошлись. Бульвар жил, равнодушный к Таракану, китаец стрекотал погремушкой, а вдали переливались свистки – пора рынок кончать.

Воспаленными глазами окинул Таракан бульвар и ныряющей волчьей походкой догнал кепку, уносившую сапоги. Пошел рядом, кепка покосилась и хотела свернуть вон с бульвара.

– Нет, ты так не уходи! – не узнав своего голоса,

молвил Таракан. – Как же это так?

– Чего тебе надо? – спросила кепка, и трусливо забегали его глаза.

– Ты какой же червонец мне дал за сапоги? А? Отвечай!

Свет отчаянья вдруг озарил Тараканову голову, и он все понял. На червонце было чернильное пятно, знакомое Таракану. Вчера это пятно на червонце получил Таракан в жалованье в пекарне. Он голосу проиграл этот червонец, как же он оказался у того, кем звалась кепка, и Таракан понял, что она, кепка, заодно с голосом. Значит, червонец голос передал кепке? Не иначе.

– Отойди от меня, пьяница! – сурово сказала кепка.

– Я пьяница? – голос Таракана стал высок и тонок. – Я-то не пьяница. А вы сообщники. Злодеи! – выкрикнул Таракан.

Прохожие брызнули в стороны.

– Я тебя не знаю! – неприязненно отозвалась кепка, и Таракан понял, что она ищет лаз в газоне.

Таракан вдруг заплакал навзрыд.

– Погубили меня, – содрогаясь, говорил он, – убили человека. Деньги профсоюзные... Мне их сдавать в кассу. Под суд идти! – Весь мир заволкло слезами, и кепка смягчилась.

– Что ты, голубчик? – задушевно заговорила она. –

Я сам, голубчик мой, проигрался. Сам лишился всего. Ты иди, проспись.

– Сапог мне не жалко, – мучаясь выговорил Таракан, – а пятьдесят не мои. Делегат я. Сироту погубили. Жулики! – внезапно тоненько закричал Таракан. Кепка нахмурилась.

– Пошел ты от меня к чертовой матери! – рассердилась она лицом, а глаза по-прежнему бегали. – Я тебя в первый раз в жизни вижу.

– Верни этого с ящиком! – не помня себя, бормотал Таракан, наступая на кепку. – Поддай мне его сейчас! А то я вас власти отдам! Куда же это милиция смотрит? – в ужасе спросил Таракан у любопытной старушечьей мордочки в платке.

Наложила на себя мордочка крестное знамение и мгновенно провалилась в газон. Мальчишки засвистели кругом, как соловьи.

– А ты дай ему, дай, что долго разговаривать! – посоветовал чей-то гнилой голос.

Кепкины глаза теперь ходуном ходили, вертелись, как мыши.

– Отцепись от меня, падаль! – сквозь зубы просвистела кепочка. – Никакого я ящика не видел.

– Врешь! Мошенник! Я вас насквозь вижу! – рыдающим голосом воскликнул Таракан. – Мои сапоги за мой же червонец купил!

– Что на них, свои клейма, что ли? – спросила кепочка и косо подалась в сторону. – Я их купил совсем у другого человека, высокого роста, с бельмом, а ты маленький – т-таракан! Обознался, гражданин! – сладко заметила кепочка, улыбаясь любопытным зрителям одними постными щеками. – А теперь мне голову морочит. Ну, отойди, зараза! – вдруг фыркнула она кошачьим голосом и, как кошка, пошла – легко, легко. Клеш замотался над тупоносыми башмаками.

– Говорю, лучше остановись! – глухо бубнил Таракан, цепляясь за рукав. – Предаю тебя ответственности! Люди добрые...

– Эх, надоел! – сверкнув глазами, крикнула кепочка и сухим локтем ударила Таракана в грудь.

Воздуху Таракану не хватило. «Погибаю я, делегат злосчастный, – подумал он. – Уходит... злодей...»

– Ты остановишься? – белыми губами прошептал Таракан и поймал кошачий зрачок отчаянным своим глазом. В зрачке у кепки была уверенность, решимость, не боялась кепка коричневого малого Таракана. Вот сейчас вертушка-турникет, и улизнет кепочка с Новинского!

– Стой, стой, разбойник! – сипел Таракан, закручивая двумя пальцами левой руки скользкий рукав. Кепка молча летела к турникету. – Милиция-то где же? – задыхаясь шепнул Таракан.



Таракан увидел мир в красном освещении. Таракан вынул финку и в неизбыточной злобе легко ударил ею кепку в левый бок. Сапоги выпали из кепкиных рук на газон. Кепка завернулась на бок, и Таракан увидел ее лицо. На нем теперь не было и признаков масла, оно мгновенно высохло, похорошело, и мышинные глазки превратились в огромные черные сливы. Пена клоком вылезла изо рта. Кепка, хрипнув, возвела руки к небу и качнулась на Таракана.

– Ты драться?.. – спросил Таракан, отлично видя, что кепка драться не может, что не до драки кепке, не до сапог, ни до чего! – Драться?.. Ограбил и драться? – Таракан наотмашь кольнул кепку в горло, и пузыри выскочили розового цвета на бледных губах. Экстаз и упоение заволокли Таракана. Он полоснул кепку по лицу и еще раз, когда кепка падала на траву, чуркнул по животу. Кепка легла в зеленую новинскую траву и заляпала ее пятнами крови. «Финка – знаменитая... вроде как у курицы кровь человечья», – подумал Таракан.

Бульвар завизжал, заревел, и тысячные, как показалось, толпы запрыгали, заухали вокруг Таракана.

«Погиб я, делегат жалкий, – помыслил Таракан, – черная моя судьба. Кто ж это мне, дьявол, ножик продал и зачем?»

Он швырнул финку в траву, прислушался, как кеп-

ка, вся в пузырях и крови, давится и умирает. Таракану стало жалко кепку и почему-то того жулика с ящиком... «Понятное дело... он на хлеб себе зарабатывает... Правда, жулик... но ведь каждый крутится, как волчок...»

– Не бейте меня, граждане, – тихо попросил пропащий Таракан, боли от удара не почувствовав, а только догадавшись по затемненному свету, что ударили по лицу, – не бейте, товарищи! Делегат я месткома пекарни № 13... Ох, не бейте. Профсоюзные деньги проиграл, жизнь загубил свою. Не бейте, а вяжите! – молвил Таракан, руками закрывая голову.

Над головой Таракана пронзительно, как волчки, сверлили свистки.

«Ишь, сколько милиции... Чрезвычайно много набежало, – думал Таракан, отдаваясь на волю чужим рукам, – раньше б ей надо было быть. А теперь все равно...»

– Пускай бьют, товарищ милицейский, – глотая кровь из раздавленного носа, равнодушно сказал Таракан, понимая только одно, что его влекут сквозь животы, что ноги его топчут, но уже по голове не бьют. – Мне это все равно. Я неожиданно человека зарезал вследствие покупки финского ножа.

«Как в аду суматоха, – подумал Таракан, – а голос распорядительный...»

Голос распорядительный, грозный и слышный до Кудринских, ревел:

– Извозчик, я тебе покажу – отъезжать! Мерзавец...  
В отделение!!!

# ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ

*Посвящается всем редакторам  
еженедельных журналов*

В правом кармане брюк лежали 9 копеек – два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки – брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд – 1 рубль».

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

– Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тон-

КИМ ГОЛОСОМ:

Ата-цвели уж давно-о!  
Хэ-ри-зан-темы в саду-у!..

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

– Гуманный иностранец, пожалуйста и мне 9 копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

– Профессор, окажите любезность...

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

У Калуцкой заставы  
Жил разбойник и вор – Камаров!

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:

– Предположим, так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой молодой,

голубые, глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: «Мальчик, мальчик». А что дальше? Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик...

«И в фартуке», – вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?» – спросил я у мозгов удивленно. «Да этот, твой детдом».

«Дураки», – ответил я мозгам.

«Ты сам дурак. Бесталанный, – ответили мне мозги, – посмотрим, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»

«Не в фартуке, а в халате...»

«Почему он в халате, ответь, кретин?» – спросили мозги.

«Ну, предположим, что он только что работал, например – делал перевязку ноги больной девочке, и вышел купить папирос „Трест“. Тут же можно описать моссельпромщицу. И вот он говорит: „Мальчик, мальчик...“ А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает» про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ: «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия».

«Па-аршивенький рассказ, – весело бухнуло под

фуражкой, – и тем более что мы где-то уже это читали!»

«Молчать, я погибаю!» – приказал я мозгам и открыл глаза.

Передо мною не было адмирала и Черномора и не было моих часов в кармане брюк.

Я пересек улицу и подошел к милиционеру, высоко поднявшему жезл.

– У меня часы украли сейчас, – сказал я.

– Кто? – спросил он.

– Не знаю, – ответил я.

– Ну, тогда пропали, – сказал милиционер.

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды.

– Сколько стоит один стакан сельтерской? – спросил я в будочке у женщины.

– 10 копеек, – ответила она.

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует.

«Предположим – милиционер. И вот подходит к нему гражданин...»

«Нуте-с?» – осведомились мозги.

«Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: „Стой!! Ты украл, подлец“. Свистит. Все бегут. Ловят вора-реци-

дивиста. Кто-то падает. Стрельба».

«Все?» – спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове.

«Все».

«Замечательно, прямо-таки гениально, – рассмеялась голова и стала стучать, как часы, – но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный городской. Нес-па?<sup>25</sup> товарищ Бенвенутто Челлини».

Дело в том, что мой псевдоним – Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они пометили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

«Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили».

«Мы этого извозчика помним, – сказали, остервенясь, воспаленные мозги, – еще по приложениям к марксовской „Ниве“. Раз пять мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом, только се-

---

<sup>25</sup> Не так ли? (от фр.: N'est-ce pas?).



док служил тогда не в Сахаротросте, а в министерстве внутренних дел. Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»

По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!  
За кирпичики  
Полюбила кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары, в тесной комнате сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

– Кирпичики кирпичиками, – сказал заведующий, – а вот где обещанный рассказ?

– Представьте, какой гротеск, – сказал я, улыбаясь весело, – у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

– Вы мне обещали сегодня дать денег, – сказал я и вдруг в зеркале увидел, что я похож на пса под трамваем.

– Нету денег, – сухо ответил заведующий, и по лицам я увидел, что деньги есть.

– У меня есть план рассказа. Вот чудак вы, – заговорил я тенором, – я в понедельник его принесу к половине второго.

– Какой план рассказа?

– Хм... В одном доме жил священник...

Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.

– Ну?

– И умер.

– Юмористический? – спросил редактор, сдвигая брови.

– Юмористический, – ответил я, утопая.

– У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал, – сказал редактор. – Дайте что-нибудь авантюрное.

– Есть, – ответил я быстро, – есть, есть, как же!

– Расскажите план, – сказал, смягчаясь, заведующий.

– Кхе... Один нэпман поехал в Крым... – Дальше~с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

– Ну, и у него украли бандиты чемодан.

– На сколько строк это?

– Строк на триста. Л впрочем, можно и... меньше.

Или больше.

– Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенутто, – сказал заведующий, – но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги

никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

– Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых.

– Дайте, дайте, – приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филиппова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт, – говорил я кружке, – если они не оживут после пива, – значит, конец. Они померли, мои мозги, вследствие писания рассказов и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получают обратно аванс».

Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.

– Живы? – спросил я.

– Живы, – ответили они шепотом.

– Ну, теперь сочиняйте рассказ!

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью: «Граждане, помогите глухонемому».

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланскими ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пеннистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавился асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

– Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!

«Предположим, так, – начал я, пламенея. – „Улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый переплетенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!..“

«Здорово пошло дело, – заметили выздоровевшие мозги, – спрашивай еще пиво, чини карандаш, сыпь дальше... Вдохновенье, вдохновенье».

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта – Таузига, под хлопанье, тарелок, под звон серебра.

Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,  
Вдохновенье мне дано?  
Как ваше мнение?!  
Жара! Жара!

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль.

Эта мысль настойчивая.

Она – темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа.

Она проста: а что же будет с нами дальше?

Появление ее естественно.

Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли.

Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть.

Не видеть!

Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее.

В самом деле: что же будет с нами?..

Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала.

Я долго, как зачарованный, глядел на чудно исполненные снимки.

И долго, долго думал потом...

Да, картина ясна!

Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят...

Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушая, ковали могущество победы.

На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.

Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!

И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.

А мы?

Мы опоздаем...

Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы

догоним их и догоним ли вообще?

Ибо мы наказаны.

Нам немыслимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача – завоевать, отнять свою собственную землю.

Расплата началась.

Герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.

И все, все – и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жметя сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.

И ее освободят.

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.

Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одураченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба.

Нужно драться.

И вот пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы.

Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки.



Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца.

Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...

А мы... Мы будем драться.

Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это.

Мы будем завоевывать собственные столицы.

И мы завоюем их.

Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы.

И мы доберемся.

Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.

И война кончится.

Тогда страна окровавленная, разрушенная начнет вставать... Медленно, тяжело вставать.

Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше...

Нужно будет платить за прошлое невероятным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все!

И мы выплатим.

И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас впустили опять в версальские залы.

Кто увидит эти светлые дни?

Мы?

О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!

# В КАФЭ

Кафе в тыловом городе.

Покрытый грязью пол. Туман от табачного дыма.  
Липкие грязные столики.

Несколько военных, несколько дам и очень много штатских.

На эстраде пианино, виолончель и скрипка играют что-то разухабистое.

Пробираюсь между столиками и усаживаюсь.

К столику подходит барышня в белом передничке и вопросительно смотрит на меня.

– Будьте любезны, дайте стакан чаю и два пирожных.

Барышня исчезает, потом возвращается и с таким видом, как будто делает мне одолжение, ставит предо мной стакан с желтой жидкостью и тарелочку с двумя сухими пирожными.

Смотрю на стакан.

Жидкость по виду отдаленно напоминает чай.

Желтая, мутная.

Пробую ложечкой.

Тепленькая, немного сладкая, немного противная.

Закуриваю папиросу и оглядываю публику.

За соседний столик с шумом усаживается компа-

ния: двое штатских господ и одна дама.

Дама хорошо одета, шуршит шелком.

Штатские производят самое благоприятное впечатление: рослые, румяные, упитанные. В разгаре призывного возраста. Одеты прелестно.

На столике перед ними появляется тарелка с пирожными и три стакана кофе «по-варшавски».

Начинают разговаривать.

До меня обрывками долетают слова штатского в лакированных ботинках, который сидит поближе ко мне.

Голос озабоченный.

Слышно:

– Ростов... можете себе представить... немцы... китайцы... паника... они в касках... сто тысяч конницы...

И опять:

– Ростов... паника... Ростов... конница...

– Это ужасно, – томно говорит дама. Но видно, что ее мало тревожит и стотысячная конница, и каски. Она, щурясь, курит папироску и блестящими глазами оглядывает кафе.

А лакированные ботинки продолжают шептать.

Фантазия моя начинает играть.

Что было бы, если я внезапно чудом, как в сказке, получил бы вдруг власть над всеми этими штатскими господами?

Ей-Богу, это было бы прекрасно!

Тут же в кафе я встал бы и, подойдя к господину лакированных ботинок, сказал:

– Пойдемте со мной!

– Куда? – изумленно спросил бы господин.

– Я слышал, что вы беспокоитесь за Ростов, я слышал, что вас беспокоит нашествие большевиков.

– Это делает вам честь.

– Идемте со мной, – я дам вам возможность записаться немедленно в часть. Там вам моментально дадут винтовку и полную возможность проехать на казенный счет на фронт, где вы можете принять участие в отражении ненавистных всем большевиков.

Воображаю, что после этих слов сделалось бы с господином в лакированных ботинках.

Он в один миг утратил бы свой чудный румянец, и кусок пирожного застрял бы у него в горле.

Оправившись немного, он начал бы бормотать.

Из этого несвязного, но жаркого лепета выяснилось бы прежде всего, что наружность бывает обманчива.

Оказывается, этот цветущий, румяный человек болен... Отчаянно, непоправимо, неизлечимо вдребезги болен! У него порок сердца, грыжа и самая ужасная неврастения. Только чуду можно приписать то обстоятельство, что он сидит в кофейной, поглощая пирожные, а не лежит на кладбище, в свою очередь погло-

щаемый червями.

И наконец, у него есть врачебное свидетельство!

– Это ничего, – вздохнувши, сказал бы я, – у меня у самого есть свидетельство, и даже не одно, а целых три. И тем не менее, как видите, мне приходится носить английскую шинель (которая, к слову сказать, совершенно не греет) и каждую минуту быть готовым к тому, чтоб оказаться в эшелоне, или еще к какой-нибудь неожиданности военного характера. Плюньте на свидетельства! Не до них теперь! Вы сами только что так безотрадно рисовали положение дел...

Тут господин с жаром залепетал бы дальше и стал бы доказывать, что он, собственно, уже взят на учет и работает на оборону там-то и там-то.

– Стоит ли говорить об учете, – ответил бы я, – попасть на него трудно, а сняться с него и попасть на службу на фронт – один момент!

Что же касается работы на оборону, то вы... как бы выразиться... Заблуждаетесь! По всем внешним признакам, по всему вашему поведению видно, что вы работаете только над набивкой собственных карманов царскими и донскими бумажками. Это, во-первых, а во-вторых, вы работаете над разрушением тыла, шляясь по кофейным и кинематографам и сея своими рассказами смуту и страх, которыми вы заражаете всех окружающих. Согласитесь сами, что из такой

работы на оборону ничего, кроме пакости, получиться не может!

Нет! Вы, безусловно, не годитесь для этой работы. И единственно, что вам остается сделать, это отправиться на фронт!

Тут господин стал бы хвататься за соломинку и заявил, что он пользовался льготой (единственный сын у покойной матери, или что-то в этом роде), и наконец, что он и винтовки-то в руках держать не умеет.

– Ради Бога, – сказал бы я, – не говорите вы ни о каких льготах.

Повторяю вам, не до них теперь!

Что касается винтовки, то это чистые пустяки! Уверю вас, что ничего нет легче на свете, чем выучиться стрелять из винтовки. Говорю вам это на основании собственного опыта. Что же касается военной службы, то что ж поделаешь! Я тоже не служил, а вот приходится... Уверю вас, что меня нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойства и бедствия.

Но что поделаешь! Мне самому не очень хорошо, но приходится привыкать!

Я не менее, а может быть, даже больше вас люблю спокойную мирную жизнь, кинематографы, мягкие диваны и кофе по-варшавски!

Но, увы, я не могу ничем этим пользоваться

всласть!

И вам и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне, иначе нахлынет на нас красная туча, и вы сами понимаете, что будет...

Так говорил бы я, но, увы, господина в лакированных ботинках я не убедил бы.

Он начал бы бормотать или наконец понял бы, что он не хочет... не может... не желает идти воевать...

– Ну-с, тогда ничего не поделаешь, – вздохнув, сказал бы я, – раз я не могу вас убедить, вам просто придется покориться обстоятельствам!

И, обратившись к окружающим меня быстрым исполнителям моих распоряжений (в моей мечте я, конечно, представил и их как необходимый элемент), я сказал бы, указывая на совершенно убитого господина:

– Проводите господина к воинскому начальнику!

Покончив с господином в лакированных ботинках, я обратился бы к следующему...

Но, ах, оказалось бы, что я так увлекся разговором, что чуткие штатские, услышав только начало его, бесшумно, один за другим, покинули кафе.

Все до одного, все решительно!

.....  
Трио на эстраде после антракта начало «Танго». Я вышел из задумчивости. Фантазия кончилась.



Дверь в кафе все хлопала и хлопала.

Народу прибывало. Господин в лакированных ботинках постучал ложечкой и потребовал еще пирожных...Я заплатил двадцать семь рублей и, пробравшись между занятыми столиками, вышел на улицу.

# ФИНАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ «ЖУРНАЛЬНОЙ» РЕДАКЦИИ РОМАНА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

## 19

– Шаркни ножкой, скажи дяде: здравствуй, дядя, – научила Елена, наклоняясь.

– Драсту, дядя, – недоверчиво и вздохнув сказал Петька Щеглов Мышлаевскому.

– Здравствуй, – мрачно ответил ему Мышлаевский, потом покосился вниз и добавил: – Судя по твоей физиономии, ты большой шалун.

Петька Щеглов тотчас же взялся за юбку Елены, засопел, губы выпятил кувшинчиком, нахмурился.

– Ну балбес, ну балбес длинный, чего ребенка дразнишь?

– Чиво дразнишь, – выговорил и Петька неприязненно.

Шервинский, Карась, сама Елена захохотали, а Петька спрятался за юбку, так что выглядывала левая его нога в тупоносом ботинке и праздничной лиловой штанине.

– Не слушай их, не слушай, маленький, они нехорошие, – говорила Елена, извлекая Петьку из складок, – гляди на елку, смотри, какие огоньки.

Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, сверкал дед.

– Дать ему апельсин, – растрогался Мышлаевский, – дать.

– Потом апельсин, – распорядилась Елена, – а теперь танцевать давайте. Все. Танцевать хочешь? Ну, ладно.

Колыхнулась портьера, и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо стриженная во время тифа, чуть-чуть начала обрастать, гладко выбритое лицо было лимонного оттенка, он опирался на палку. Блестящие глаза его еще больше заблестели от елочных огней. Следом за Турбиным явился Лариосик, и тоже в смокинге. И, главное, добытом неизвестно где: всем отлично было известно, что в багаже Лариосика этого одеяния не было. Как большой хомут на Лариосиковой шее сидел отложной крахмальный воротник с лентой черной бабочкой, и из рукавов вылезали твердые манжеты с запонками в виде лошадиной морды с хлыстом. Ла-

риосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки смокинг, узнав, что это дело принципиальное. Петлюра – каналья. Пусть хоть десять Петлюр в Городе, а здесь, в стенах Анны Владимировны, он не властен. Пусть стены еще пахнут формалином, пусть из-за этого чертова формалина провалилась первая елка в сочельник, не провалится вторая и последняя, сегодня – в крещенский сочельник. Она будет, она есть, и вот он, Турбин, встал вчера, желтый. И рана его заживает чудесно. Сверхъестественно. Это даже Янчевский сказал, а он, все видевший на своем веку, знает, что сверхъестественного не бывает в жизни. Ибо все в ней сверхъестественно.

На Мышлаевском смокинг сидит, как не на каждом сядет. И не поймешь, в чем дело. И не нов, и пластрон не первоклассный, а между тем все как-то к месту. Вероятно, штаны первоклассные. Вот, например, Лариосику трудно как-то в смокинге, выражение лица трудно как-то подобрать к смокингу, и все время кажется, что подтяжки выскочат в прорез жилета, а Мышлаевский ворочается свободно, размашисто, никаких выражений лица не устраивает, а между тем его хоть в кинематографе снимай. И портит его только одно. Не свойственная Мышлаевскому дума, довольно тревожная. Она улеглась в трех складках на патрицианском лбу и в беспокойных глазах. И так: то оживит-

ся Мышлаевский, то вдруг нахмурится и задумается. В чем дело – неизвестно. Во всяком случае, когда Николка на печке в столовой изобразил свежую своевременную надпись китайской тушью:

Пор. Мышлаевский сделал попытку воспитать ребенка в крещенский сочельник 1919 года. Он хороший семьянин, -

Мышлаевскому эта надпись не понравилась. Он нахмурился, как облако, пожевал губами.

– Ты что-то много последнее время острить стал.

Николка густо покраснелся.

– Если, Витенька, тебе не нравится, я сотру. Ты обиделся?

– Нет, не обиделся, а просто интересуюсь, чего это ты распрыгался так. Что-то больно весел. Манжетки выставил... на жениха похож.

Николка расцвел малиновым огнем, и глаза его утонули в озере смущения.

– На Мало-Провальную слишком часто ходишь, – продолжал Мышлаевский добивать противника шестидюймовыми снарядами, – это, впрочем, хорошо. Рыцарем нужно быть, поддерживай турбинские традиции.

– Не понимаю, Витенька, про что ты говоришь, – забормотал Николка, – на какую такую Провальную?..

– Вот такую самую... Иди встречай.

Звонок протрещал в передней высоко и в сердце Николки. В гостиной оборвалась на клавишах фриска из 2-й рапсодии под пальцами Елены.

– Очень рада. Очень. Позвольте же вас познакомиться. Все белогвардейцы.

– У вас так нагадно, я не знала. Пгамо смутишься...

– Что вы. Не обращайтесь внимания. Только свои. Смокинги – это они принципиально. По поводу Петлюры.

– Социальной революции, – вставил Мышлаевский.

Ирина Най, вся в черном и траурном, худая блекла рядом с пышной Еленой, отливающей золотом, и в елочных огнях казалась креповой свечой. Николка без толку мыкался где-то сзади представляющихся. Ему казалось, что руки и ноги у него привинчены неудобно и неудачно и некуда их пристроить. Воротничок резал шею. Он был в студенческом, еще на Карасе не было смокинга, а визитка и полосатые брюки, благодаря которым плотный Карась был похож на удачливого молодого подрядчика. И Шервинский был не в смокинге. Но зато Шервинский один мог затмить всех в смокингах. Шервинский во фраке. Но зато уже фрак. Будьте благонадежны. Во-первых, правая сторона пластро-на у него гофрирована, с вашего разрешения, как бумажная сборка на окороке, в полулунии жилета встав-

лено что-то сверкающее шелковыми красками, похожее на звездный флаг величественных Соединенных Штатов. Запонки бриллиантовые, каждая – карат. Значит, 2 карата. Брюки заутюжены и вздернуты, так что видны ажурные чулки. И, наконец, туфли открытые с черными бантами. Будьте покойны. Через месяц будет дебютировать в Оперном, невзирая на этого мужлана с его оравой. Демона будет петь. Re... la... fa... re! Экм... Чем он хорош... Че-е-е-ем.

– Голос действительно поразительный.

– Как же, я слышала. Мне говогили пго вас. Это вы пели на гетманском вечеге в купеческом.

– Он самый.

– Пожалуйста, спойте. Очень пгошу. Демона.

– Де-мо-на. (Изображение галерки Николкой. Весьма сходно.)

– Говогят, что у вас гоос как у Баттистини.

– И даже немного хуже.

– Не плачь, дитя... (С галерки.)

– Он не гордый. Споеет.

– Ирина Феликсовна, близко не садитесь. Абсолютно невозможно слушать.

– Его лучше слушать из другой комнаты.

– А еще лучше с другой улицы.

Черными нотными значками, густыми, встал Демон над стогубой клавиатурой и вытеснил Валентина в

сторону, под розовый абажур. Все равно Валентина скоро убьют и даже уже убили. Будет царить коварный Демон. Но Демон не воцарился, и перешиб его Василиса. На Василисе, конечно, никаких смокингов. И даже ботинки не праздничные, а деловые, обыкновенные. Праздничные ушли на ногах Немоляки в неизвестную тьму.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, – подумал Николка и мысленно пофилософствовал: – Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. И я, в сущности, симпатичен. Но горе в том, что я некрасив. Эх... эх!..»

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. И елочка... Хе, хе. Как это вы умеете все это, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел за тем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик в двери, и вот оно. Счел своим долгом. Честь



имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался, на Ирину Най покосился внимательнейшим образом. «Ишь тоже смотрит, – сурово подумал Николка, – в сущности, и ловелас этот Василиса. Жалко, Ванды нет, небось не посмотрел бы».

Елена просит извинения.

– Пожа-пожа-пожалуйста, – пели разные голоса.

– Никол, играй марш пока.

Одну секунду.

«Письмо из-за границы. Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет? Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Var... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то свернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки.

Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света.

«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве – он уезжает в Париж вместе с семьей Герц; говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV-ым. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

– От Тальберга?

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»

У него на лице заиграли различные краски. Так –

общий фон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные. В общем это бывало с доктором Турбиным редко, в общем он был человек мягкий, совершенно излишне мягкий.

– С каким бы удовольствием... – процедил он сквозь зубы, – я б по морде съездил...

– Кому? – спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

– Самому себе, – ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, – за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

– Сделай ты мне такое одолжение, – продолжал Турбин, – убери ты, к чертовой матери, вот эту штуку. – Он рукоятью ткнул в портрет на столе.

Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадочка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну что ж... не сердись... не сердись, Мать Божия», – подумала Елена. Турбин испугался:

– Тише, ну тише... услышат они, чего хорошего?

Но в гостиной не слышали. Пианино под пальца-

ми Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый орел» и слышался топот ног. Потом долетел взрыв смеха.

– Я на службу поступлю, – растерянно бормотала Елена, давясь слезами.

– А ну тебя со службой, – сипло шептал Турбин.

\* \* \*

Елена, напудренная, с подмазанными поблекшими глазами, вышла в гостиную. Все двинулись к ней. Шервинский выпихнул на середину Петьку Щеглова. Тот, ошеломленный огнями, пляской и неизвестными веселыми людьми, готовый на все, выступил и выложил Елене с таким видом, как будто ему все равно:

– Папа мажет...

– Йодом... (Шепот суфлера.)

– Йодом бок, мама пляшет кек-вок.

– Господа!!

\* \* \*

Ходить можно только до двенадцати часов ночи. Почему – неизвестно. Но до двенадцати. Поэтому ровно в четверть двенадцатого поднялась Ирина Най

и стала прощаться. Огни на елке догорели, разогретая хвоя источала лесной дух, на полу блестело в двух местах олово конфет, пахло апельсинными корками.

– Приходите, приходите к нам еще, – говорила Елена, – мы все так рады были познакомиться с вами.

– Сейчас мы вас проводим, будьте спокойны, – говорил Мышлаевский, улыбаясь Ирине и косясь на Николку, – кто-нибудь проводит. Я или Федор Николаевич...

Николка побледнел и засопел. «Какая свинья... – подумал он слезливо, – чего он на меня взъелся и портит мне жизнь».

– Или, может быть, Никол Васильевич? – сжалился Мышлаевский. – Никол, ты можешь?.. Или ты будешь хозяйничать?

– Нет, я могу, конечно. Я... – не своим голосом ответил Николка и тотчас же надел фуражку.

– Да, я могу... сию минуту... – встрял Лариосик, хотя его никто и не просил, и тотчас начал щурить глаза, разыскивая свою шапку.

«Вот несчастье, Господи... вот несчастье», – подумал Николка и торопливо, оборвав вешалку на шинели, полез в рукава.

– Нет, Ларион, уж Никол проводит, он оделся, – оторвался с колен Мышлаевский, он застегивал пуговицы на серых ботах Ирины Най, – ты, пожалуй-

ста, останься. Ты специалист по разведению спирта. Я спирту принес.

– Я?.. Ага?.. Да... – в высшей степени изумленно отозвался Лариосик, ни разу в жизни не разводивший спирта.

– Господа, нагасно вы беспокоитесь, я сама дойду. Я нисколько не боюсь.

– Нет уж, это нельзя, – скрепил Мышлаевский, – так мы вас отпустить не можем. А с Николом вы будете как за каменной стеной.

Был ясный, сильный мороз, пустынная улица. Как только они вышли и дверь прогремела сложными запорами под руками Лариосика, глаза Ирины Най провалились в черных кольцах, а лицо побелело; потом брызнул из-за угла свет высокого фонаря, и они миновали дощатый забор, ограждавший двор № 13, и стали подниматься вверх по спуску. Ирина зябко передернула плечами и уткнула подбородок в мех. Николка шагал рядом, мучаясь страшным и непреодолимым: как предложить ей руку. И никак не мог. На язык как будто повесили гирю фунта в два. «Идти так нельзя. Невозможно. А как сказать?.. Позвольте вам... Нет, она, может быть, что-нибудь подумает. И, может быть, ей неприятно идти со мной под руку?.. Эх!..»

– Какой мороз, – сказал Николка.

Ирина глянула вверх, где в небе многие звезды и в

стороне на скате купола луна над потухшей семинарией на далеких горах, ответила:

– Очень. Я боюсь, что вы замегзнете.

«На тебе. На, – подумал тяжело Николка, – не только не может быть и речи о том, чтобы взять ее под руку, но ей даже неприятно, что я с ней пошел. Иначе никак нельзя истолковать такой намек...»

Ирина тут же поскользнулась, крикнула «ай» и ухватилась за рукав шинели. Николка захлебнулся. Но такой случай все-таки не пропустил. Ведь уж дураком нужно быть. Он сказал:

– Позвольте вас под руку...

– А где ваши пегчатки?.. Вы замегзнете... Не хочу.

Николка побледнел и твердо поклялся звезде Венере: «Приду и тотчас же застрелюсь. Кончено. Позор».

– Я забыл перчатки под зеркалом...

Тут ее глаза оказались поближе возле него, и он убедился, что в этих глазах не только чернота звездной ночи и уже тающий траур по картавому полковнику, но лукавство и смех. Она сама взяла правой рукой его правую руку, продернула ее через свою левую, кисть его всунула в свою муфту, уложила рядом со своей и добавила загадочные слова, над которыми Николка продумал целых двенадцать минут до самой Мало-Провальной:

– Нужно быть половчей...

«Царевна... На что я надеюсь? Будущее мое темно и безнадежно. Я неловок. И университета еще даже не начинал... Красавица...» – думал Никол. И никакой красавицей Ирина Най вовсе не была. Обыкновенная миловидная девушка с черными глазами. Правда, стройная, да еще рот недурен, правилен, волосы блестящие, черные.

У флигеля, в первом ярусе таинственного сада, у темной двери остановились. Луна где-то вырезывалась за переплетом деревьев, и снег был пятнами, то черный, то фиолетовый, то белый. Во флигеле все окошки были черны, кроме одного, светящегося уютным огнем. Ирина прислонилась к черной двери, откинула голову и смотрела на Николку, как будто чего-то ждала. Николка в отчаянии, что он, «о, глупый», за двадцать минут ничего ровно не сумел ей сказать, в отчаянии, что сейчас она уйдет от него в дверь, в этот момент, как раз когда какие-то важные слова складываются у него в никуда не годной голове, осмелел до отчаяния, сам залез рукой в муфту и искал там руку, в великом изумлении убедившись, что эта рука, которая всю дорогу была в перчатке, теперь, оказывается, без перчатки. Кругом была совершенная тишина. Город спад.

– Идите, – сказала Ирина Най очень негромко, – идите, а то вас петлюговцы агестуют.



– Ну и пусть, – искренне ответил Николка, – пусть.

– Нет, не пусть. Не пусть. – Она помолчала. – Мне будет жалко...

– Жал-ко?.. А?.. – И он сжал руку в муфте сильнее.

Тогда Ирина высвободила руку вместе с муфтой, так, с муфтой, и положила ему на плечо. Глаза ее сделались чрезвычайно большими, как черные цветы, как показалось Николке, качнула Николку так, что он прикоснулся пуговицами с орлами к бархату шубки, вздохнула и поцеловала его в самые губы.

– Может быть, вы хгабгый, но такой неповоготливый...

Тут Николка, чувствуя, что он стал безумно храбрым, отчаянным и очень поворотливым, охватил Най и поцеловал в губы. Ирина Най коварно закинула правую руку назад и, не открывая глаз, ухитрилась позвонить. И тотчас шаги и кашель матери послышались во флигеле, и дрогнула дверь... Николкины руки разжались.

– Завтга пгиходите, – зашептала Най, – вечегом. А сейчас уходите, уходите...

По совершенно пустым улицам, хрустя, вернулся Николка, и почему-то не по тротуару, а по мостовой посредине, близ рельсов трамвая. Он шел как пьяный, расстегнув шинель, заломив фуражку, чувствуя, что мороз так и щиплет уши. В голове и на языке гуде-

ла веселая фриска из рапсодии, а ноги шли сами. Город был бел, ослеплен луной, и тьма-тьмущая звезд красовалась над головой. Ни один черт их не подсчитает. Да и надобности нет считать их, знать по именам. Кажется, сидела среди них одна пастушеская вечерняя Венера да еще мерцал безумно далекий, зловещий и красный Марс.

\* \* \*

Рана Турбина заживала сверхъестественно. Круглые дырки перестали источать гной. Затем они стали зарастать. Турбин перестал носить разрезанные рубахи, уменьшилась повязка, а 24 января Николка спустился по лестнице, все двери прошел и снял заклею с таблицы. Таблица выглянула на свет Божий. Ясным ровным молочным январским днем в кабинете Турбина горел синим лохматым пламенем примус; Турбин возился в белом кабинетике, звеня инструментами, пересматривая и перекладывая какие-то склянки. Вечер 24 января прошел мирно и тихо, и никто не появился из пациентов. Турбин походил по гостиной, очень часто поглядывая на карманные часы, в восемь вечера оделся и ушел из квартиры, неопределенно сказав:

– Вернусь в половине десятого или в одиннадцать.

И вечер пошел своим порядком. Понятное дело, появился и Шервинский, и Мышлаевский. Карась бывал редко. Карась решил плюнуть на все и, запасшись студенческим документом, а офицерские запрятав куда-то, так что сам черт бы их не нашел, ухитрился поступить в петлюровскую продовольственную управу. Изредка Карась появлялся в турбинском убежище и рассказывал, какой нехороший украинский язык.

– Какой он украинский?.. – сипел Мышлаевский. –  
Никогда на таком языке никакой дьявол не говорил. Это его твой этот, как его, Винниченко выдумал...

– Почему он мой?.. – протестовал Карась. – Я ничего общего с ним не желаю иметь.

– И не имей, – говорил Мышлаевский, выставляя ноги на середину комнаты, – подозрительная личность этот Винниченко, а ты джентльмен.

– Выбачайте, панове, – говорил по-украински Николка и делал при этом маленькие глаза.

Если при этом присутствовал Турбин, он говорил:

– Я тебя покорнейше прошу не говорить на этом языке.

– Выбачаюсь, – отвечал Николка.

Потом с Николкой происходила резкая перемена. Он переставал шутить, становился серьезным и выбирался к себе в комнату; там дольше, чем обычно, делал туалет, там же надевал пальто и уходил,

стараясь сделать это незаметно. Но, несмотря на все это, все прекрасно знали, куда направляется Николка. Да и знать это было нетрудно. Николка приобрел страсть к крахмальным воротничкам. Щеткой чистил локти, которые у него вечно были в мелу, и один раз неожиданно побрился, взяв для этой цели бритву у Лариосика. Вежливый и отзывчивый Лариосик охотно снабдил Николку всеми принадлежностями, необходимыми для бритья, но не удержался, чтобы не сказать, щурясь и моргая:

– Ты, Николка, светлый, тебе, в сущности, можно и не бриться. Ничего не заметно. А щеку ты подпирай языком...

Николка, косясь в зеркало, подпер густо намыленную щеку языком, и тотчас по щеке, смешиваясь с белым мылом, потекла вишневая кровь.

Итак, братья Турбины большею частью отсутствовали по вечерам. Мышлаевский же и Шервинский прочно обосновались в убежище и ночевали почти каждую ночь. Благодаря присутствию Мышлаевского все трапезы, как дневные, так и вечерние, превратились в закусывания, при которых горячие блюда были второстепенными добавлениями. В фокусе стали селедки под острым соусом, огурцы и лук, и в столовой, в конце концов, утвердился прочный запах небольшого и уютного ресторана.

– Ты, Виктор, такую массу водки пьешь, что у тебя склероз делается, – говорила золотая Елена, плавая в струях синего табачного дыма.

– Шампанского для нас еще Петлюра не припас, – хрипел Мышлаевский, исчезая в облаках ядовитого дыма, – вся надежда на большевиков, теперь, может, они напоят.

\* \* \*

Глубокими вечерами или ночью, когда уже все сходилось, и Турбин, таинственно погруженный в свои склянки и бумаги, сидел, окрашенный зеленым светом, у себя в спальне, из комнаты Николки доносились гитарные звоны-переливы, и часто, сидя по-турецки на кровати, слушал Николка, как Лариосик декламирует ему свои стихи.

И падает время,  
И падает время... —

глухим голосом читал Лариосик, выкатывая глаза, —

Как капли в пещере...

– Очень хорошо, Ларион, очень, – одобрял Никол-

ка.

Да, время падало совершенно незаметно, как капли в пещере. Пролетали белые дни то с вертящимися метелями, то закованные в белый мороз, медленно протекали жаркие вечера. Из гостиной часто слышалось медовое пение Демона:

К тебе я стану прилетать...

Демон каждый вечер в бобровой шапке и шубе приезжал в трамвае из далекого Дикого переулка. И пел. Голос его становился все лучше и лучше, как будто бы даже с каждым днем.

«В сущности, дрянь малый, беспринципный, – думала Елена в тихой печали, глядя в окно на оперные огни, – но голос изумительный, Бог его знает, приспособленный. Нет, этот не пропадет, будьте покойны».

Огни подмигивали ложно, как будто стараясь уверить, что все хорошо и спокойно в Городе, что Петлюра – это так, вздор, – Петтура, а соль вся здесь, в теплых стенах, в полутемной гостиной. И чувствовалось, что это ложно, увы, нет там, в небесах, покоя, где горит дрожащий Марс. Нужно ловить каждую эту минутку, что падает, как капля, в жарком доме, скатываясь с часов; а то кто поручится, что не разломятся небеса змеевидной шрапнельной ракетой, не заворчит опять

даль.

– Оставьте руку, Шервинский, – вяло говорила Елена полушепотом, – оставьте.

Но Шервинский не отставал, пальцы его играли на кисти, потом пробирались к локтю, к плечу. Изредка он наклонялся к плечу, норовил гладкими бритыми губами поцеловать в плечо.

– Ах, наглец, наглец, – шепотом говорила Елена. Гитара... трэнь... трэнь... Неопределенно... глухо... потому что, видите ли, ничего еще не известно.

«Не было печали, – думал под зеленым абажуром Турбин, – от одной дряни избавились, и обязательно будет другая. Вот чертовы бабы... Никогда их к хорошему человеку не потянет. Он, правда, особенного ничего плохого не сделал, но ведь какой же он, к черту, муж? Врун, каких свет не производил, идейки никакой в голове. Только что голос. Но ведь голос можно и так слушать, не выходя замуж. Да... А, черт...»

Турбин вставал, ходил, курил, дергал ртом, и все прогулки по комнате неизменно заканчивались одним и тем же: Турбин доставал из ящика письменного стола кабинетный портрет, откидывал папиросную бумагу и вглядывался в лицо женщины с черными бровями и светлыми волосами. Вздыхал, рот кривил. Говорил – «не пойду...» Стискивал зубы и немедленно уезжал.

Глубокими вечерами сидел в пыльной, низкой, со

старинным запахом комнате и бормотал, глядя то на эполеты сороковых годов, то в глаза Юлии Марковны:

– Скажи мне, кого ты любишь?

– Никого, – отвечала Юлия Марковна и глядела так, что сам черт не разобрал бы, правда ли это или нет.

– Выходи за меня... выходи, – говорил Турбин, стискивая руку.

Юлия Марковна отрицательно качала головой и улыбалась.

Турбин хватал ее за горло, душил, шипел:

– Скажи, чья это карточка стояла на столе, когда я раненый был у тебя?.. Черные баки...

Лицо Юлии Марковны наливалось кровью, она начинала хрипеть. Жалко – пальцы разжимаются...

– Это мой двою... троюродный брат.

– Где он?

– Уехал в Москву.

– Большевик?

– Нет, он инженер.

– Зачем он в Москву поехал?

– Дело у него.

Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Интересно, что можно прочесть в хрустале? Ничего нельзя.

– Почему тебя муж оставил?

– Я его оставила.



– Почему?

– Он – дрянь.

– Ты дрянь и лгунья. Я тебя люблю, гадину.

Юлия Марковна улыбалась.

Так вечера и так ночи. Турбин уходил около полуночи через многоярусный сад, с искусанными губами. Смотрел на дырявый закоростеневший переплет деревьев, что-то шептал.

– Деньги нужны...

И однажды напоролся на Николку. Николка, блестя воротничком и пуговицами шинели, шел, заломив голову и изучая звезды. Так и столкнулись нос к носу в нижнем ярусе сада у начала кирпичной дорожки, ведущей к мшистой калитке. Произошла пауза.

– Ты, Никол? Ты где был? Гм...

– Я к Най-Турсам ходил, – сообщил Николка, убирав глаза куда-то в сторону, – расписание поездов носил.

– Разве они уезжают?

– Нет, они нет, – ответил неожиданно навравший про расписание Николка и сам же испугался. Как это так – уезжают? Кто уезжает? Даже жутко. – Нет, это, видишь ли, Алеша, старушка-хозяйка.

– Ну, ладно. Не важно... Так они тут во флигеле?

– Ей-Богу, – сказал Николка.

– Ну, идем вместе.

Братья заскрипели по снегу. Захлопнули калитку.

– А ты, Алеша, здесь тоже был?

– М-да, – слышалось в воротнике.

– По делам или к больному?

– К... угу, – ответил воротник.

– Оригинальный сад, – начал занимать Николка брата разговором, – все ярусы, ярусы, флигеля...

– Угу.

\* \* \*

Турбин дал себе слово не читать газет, тем более украинских. Сидел дома, смутно слышал о том, что говорится в Городе; за вечерним чаем, лишь только начинался разговор о Петлюре, начинал речь о том, что это, конечно, миф и что продолжаться это долго не может.

– А что же будет? – спросила Елена.

– А будут, кажется, большевики, – ответил Турбин.

– Господи, Боже мой, – сказала Елена.

– Пожалуй, лучше будет, – неожиданно вставил Мышлаевский, – по крайней мере, сразу поотвинчивают нам всем головы, и станет чисто и спокойно. Зато на русском языке. Заберут в эту, как их, чеку, по матери обложат и выведут в расход.

– Что ты гадости какие-то говоришь?

– Извини, Леночка, но, кажется, что-то здорово с Москвы ветром потянуло.

– Да, будьте любезны, – присоединился к разговору и Демон-Шервинский и выложил на стол газету – «Вести».

– Вот сволочь, – ответил Турбин, – как же она уцелела?

Действительно, эта бессмертная газета была единственной уцелевшей на русском языке. Полмесяца жила газета тем, что поносила покойного гетмана и говорила о том, что Петлюра имеет здоровые корни и что мобилизация идет у нас блестяще. Вторые полмесяца она печатала приказы таинственного Петлюры на двух языках – ломаном украинском и параллельно ломаном русском, а третьи – передовые о том, что большевики негодяи и покушаются на здоровую украинскую государственность, и еще какие-то таинственные и мутные сводки, из которых можно было при внимательном чтении узнать, что какая-то чепуха вновь закипает на Украине и где-то, оказывается, идет драка с поляками, где-то идет драка с большевиками, причем...

– Позвольте... позвольте...

Р-раз... и нарушил Турбин свое честное слово. Впился в газету...

«...врачам и фельдшерам явиться на

регистрацию... под угрозой тягчайшей ответственности...»

– Начальник санитарного управления у этого босяка Петлюры доктор Курицкий...

– Ты смотри, Алексей, лучше зарегистрируйся, – насторожился Мышлаевский, – а то влипнешь как пить дать. Ты на комиссию подай.

– Покорнейше благодарю, – Турбин указал на плечо, – а они меня разденут и спросят, кто вам это украшение посадил? Дырки-то свежие. И влипнешь еще хуже. Вот что придется сделать. Ты, Никол, снеси за меня эту идиотскую анкету, сообщишь, что я немного нездоров. А там видно будет.

– А они тебя катанут в полк, – сказал Мышлаевский, – раз ты здоровым себя покажешь.

Турбин сложил кукиш и показал его туда, где можно было предполагать мифического и безликого Петлюру.

– В ту же минуту на нелегальное положение, и буду сидеть, пока этого проходимца не вышибут из Города.

– Уберут, – сказал уверенно Карась.

– Кто?

– Об этом товарищ Троцкий позаботится, можешь быть уверен, – пояснил мрачный Мышлаевский.

Деньги. Черт возьми, практика лопнула. Позвольте. Звонок. Ну-ка, Никол. Открывай.

Первый пациент появился 30 января вечером, часов около шести. Вежливо приподняв шапку Николке, он поднялся с ним вместе по лестнице, в передней снял пальто с козым мехом и попал в гостиную. Обитатели квартиры сошлись в столовой и повели тихую беседу, как всегда бывало, когда Алексей начал принимать.

– Пожалуйста, – сказал Турбин.

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате постороился и пропустил его в кабинет.

– Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

– У меня сифилис, – хрипловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина прямо и мрачно.

– Лечились уже?

– Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало.

– Кто направил вас ко мне?

– Настоятель церкви Николая Доброго отец Александр.

– Как?

– Отец Александр.

– Вы что же, знакомы с ним?

– Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла мне душевное облегчение, – объяснил посетитель, глядя в небо. – Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне Богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что это я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом впился в зрачки пациенту и первым делом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

– Вот что, – сказал Турбин, отбрасывая молоток, – вы человек, по-видимому, религиозный?

– Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю...

– Это, конечно, очень хорошо, – осторожно перебил Турбин, не спуская глаз с его глаз, – и я отношусь к этому с уважением, но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею-фикс. А в вашем состоянии это будет, безусловно, вредно. Вам нужен воздух, движение и сон.

– По ночам я молюсь.

– Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

– Кокаин вы не нюхали?

– В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного большой знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

– Вот видите, дермографизм у вас есть. Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое влияние.

– Хорошо, доктор.

– Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщины тоже...

– Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, – говорил больной, застегивая рубашку, – злой

гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

– Батюшка, нельзя так, – застонал Турбин, – ведь вы же в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

– Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками.

– Как вы говорите? С черными баками? А скажите, пожалуйста, где он живет?

– Он уехал в царство антихриста, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

– Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя... – «Баки...» – Вот что...

Ammon. bromat.

Kal. bromat.

Natr. bromat.

Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза в день... Какой он из себя... этот ваш предтеча?

– Он черный...

– Молодой?

– Да, он молодой. Но мерзости в нем как в тысяче-летнем диаволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных



полчищ, и виден над полями лик сатаны...

– Троцкого?!

– Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит – губитель.

– Ну, батюшка, серьезно вам говорю: если вы не прекратите это, вы смотрите... у вас мания развивается...

– Нет, доктор, я нормален. Вы не думайте. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

– Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я 400 за первый курс, который продолжается около полутора месяцев. Если будете лечиться у меня, оставьте часть в задаток.

– Очень хорошо.

Френч расстегнулся.

– У вас, может быть, денег мало, – пробурчал Турбин, глядя на потертые колени, – «Нет, он не жулик... нет... но свихнется». – Тогда можете меньше оставить.

– Нет, доктор, зачем же. Вы облегчаете по-своему человечество.

– И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

– Полное облегчение, уважаемый доктор, мы полу-

чим только там. – Больной вдохновенно указал в беленький потолок. – А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

– Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

– Нельзя зарекаться, доктор, ох, нельзя, – бормотал больной, напяливая козий мех в передней, – ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источник вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слышал это?.. Ах, ну конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу – прелесть».

– Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно... Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Никол, будь добр, выпусти.

\* \* \*

Однажды вечером Шервинский вдохновенно поднял руку и молвил:

– Ну-с? Здорово? И когда стали их поднимать, оказалось, что на папах у них красные звезды...

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Аня прислонилась к дверям.

– Какие такие звезды? – мрачайшим образом

спросил Мышлаевский.

– Маленькие, как кокарды, пятиконечные. На всех папах. А в середине серп и молоточек. Прут, как саранча, так и лезут. Первую дивизию Петлюрину побили, к чертям.

– Да откуда это известно? – подозрительно спросил Мышлаевский.

– Очень хорошо известно, если они уже есть раненые в госпиталях в Городе.

– Алеша, – вскричал Николка, – ты знаешь, красные идут! Сейчас, говорят, бои идут под Бобровицами.

Турбин первоначально перекошил злобно лицо и сказал с шипением:

– Так и надо. Так ему, сукину сыну, мрази, и надо. – Потом остановился и тоже рот открыл. – Позвольте... это еще, может быть, так, утки... небольшая банда...

– Утки? – радостно спросил Шервинский. Они развернул «Весть» и маникюрным ногтем отметил:

«На Бобровицком направлении наши части доблестным ударом отбросили красных».

– Ну, тогда действительно гроб... Раз такое сообщено, значит, красные Бобровицы взяли.

– Определенно, – подтвердил Мышлаевский.

Эполеты на черном полотне. Старая кушетка.

– Ну-с, Юленька, – молвил Турбин и вынул из заднего кармана револьвер Мышлаевского, взятый напрокат на один вечер, – скажи, будь добра, в каких ты отношениях с Михаилом Семеновичем Шполянским?

Юлия попятилась, наткнулась на стол, абажур звякнул... дзинь... В первый раз лицо Юлии стало неподдельно бледным.

– Алексей... Алексей... что ты делаешь?

– Скажи, Юлия, в каких ты отношениях с Михаилом Семеновичем? – повторил Турбин твердо, как человек, решившийся наконец вырвать измучивший его гнилой зуб.

– Что ты хочешь знать? – спросила Юлия, глаза ее шевелились, она руками закрылась от дула.

– Только одно: он твой любовник или нет?

Лицо Юлии Марковны ожило немного. Немного крови вернулось к голове. Глаза ее блеснули странно, как будто вопрос Турбина показался ей легким, совсем нетрудным вопросом, как будто она ждала худшего. Голос ее ожил.

– Ты не имел права мучить меня... ты, – заговорила она, – ну хорошо... в последний раз говорю тебе – он

моим любовником не был. Не был. Не был.

– Поклянись.

– Клянусь.

Глаза у Юлии Марковны были насквозь светлы, как хрусталь.

Поздно ночью доктор Турбин стоял перед Юлией Марковной на коленях, уткнувшись головой в колени, и бормотал:

– Ты замучила меня. Замучила меня, и этот месяц, что я узнал тебя, я не живу. Я тебя люблю, люблю... – страстно, облизывая губы, он бормотал...

Юлия Марковна наклонялась к нему и гладила его волосы.

– Скажи мне, зачем ты мне отдалась? Ты меня любишь? Любишь? Или же нет?

– Люблю, – ответила Юлия Марковна и посмотрела на задний карман стоящего на коленях.

\* \* \*

Когда в полночь Турбин возвращался домой, был хрустальный мороз. Небо висело твердое, громадное, и звезды на нем были натисканы красные, пятиконечные. Громаднее всех и всех живее – Марс. Но доктор не смотрел на звезды.

Шел и бормотал:

– Не хочу испытаний. Довольно. Только эта комната. Эполеты. Шандал.

В три дня все повернулось наново, и испытание – последнее перед началом новой, неслыханной и невиданной жизни – упало сразу на всех. И вестником его был Лариосик. Это произошло ровно в четыре часа дня, когда в столовой собрались все к обеду. Был даже Карась. Лариосик появился в столовой в виде несколько более парадном, чем обычно (твердые манжеты торчали), и вежливо и глухо попросил:

– Не можете ли вы, Елена Васильевна, уделить мне две минуты времени?

– По секрету? – спросила удивленная Елена, шурша поднялась и ушла в спальню.

Лариосик приплелся за ней.

– Придумал Ларион что-то интересненькое, – задумчиво сказал Николка.

Мышлаевский, с каждым днем мрачневший, мрачно оглянулся почему-то (он разбавлял на буфете спирт).

– Что такое? – спросила Елена.

Лариосик потянул носом воздух, прищурился на окно, поморгал и произнес такую речь:

– Я прошу у вас, Елена Васильевна, руки Анюты. Я люблю эту девушку. А так как она одинока, а вы ей вместо матери, я, как джентльмен, решил довести об

этом до вашего сведения и просить вас ходатайствовать за меня.

Рыжая Елена, подняв брови до предела, села в кресло. Произошла большая пауза.

– Ларион, – наконец, заговорила Елена, – решительно не знаю, что вам на это и сказать. Во-первых, простите, ведь так недавно еще пережили вашу драму... Вы сами говорили, что это неизгладимо...

Лариосик побагровел.

– Елена Васильевна, я вычеркнул ту дурную женщину из своего «сердца». И даже карточку ее разорвал. Кончено. – Лариосик ладонью горизонтально отрезал кусок воздуха.

– Потом... Да вы серьезно говорите?

Лариосик обиделся.

– Елена Васильевна... Я...

– Ну простите, простите... Ну если серьезно, то вот что. Все-таки, Ларион Ларионыч, вы не забывайте, что вы по происхождению вовсе не пара Анюте...

– Елена Васильевна, от вас, с вашим сердцем, я никак не ожидал такого возражения.

Елена покраснела, запуталась.

– Я говорю это только вот к чему – возможен ли счастливый брак при таких условиях? Да и притом, может быть, она вас не любит?

– Это другое дело, – твердо вымолвил Лариосик, –

тогда, конечно... Тогда... Во всяком случае, я вас прошу передать ей мое предложение...

– Почему вы ей сами не хотите сказать?

Лариосик потупился.

– Я смущаюсь... я застенчив...

– Хорошо, – сказала Елена, вставая, – но только хочу вас предупредить... мне кажется, что она любит кого-то другого...

Лариосик изменился в лице и затопал вслед за Еленой в столовую. На столе уже дымился суп.

– Начинайте без меня, господа, – сказала Елена, – я сейчас...

В комнате за кухней Анюта, сильно изменившаяся за последнее время, похудевшая и похорошевшая какой-то наивной зрелой красотой, попятилась от Елены, взмахнула руками и сказала:

– Да что вы, Елена Васильевна. Да не хочу я его.

– Ну что же... – ответила Елена с облегченным сердцем, – ты не волнуйся, откажи, и больше ничего. И живи спокойно. Успеешь еще.

В ответ на это Анюта взмахнула руками и, прислонившись к косяку, вдруг зарыдала.

– Что с тобой? – беспокойно спросила Елена. – Анюточка, что ты? Что ты? Из-за таких пустяков?

– Нет, – ответила, всхлипывая, Анюта, – нет, не пустяки... Я, Елена Васильевна, – она фартуком разма-



зывала по лицу слезы и в фартук сказала, – беременна.

– Что-о? Как? – спросила ошалевшая Елена таким тоном, словно Анюта сообщила ей совершенно невероятную вещь. – Как же это? Анюта?

\* \* \*

В спальне под соколом поручик Мышлаевский впервые в жизни нарушил правило, преподанное некогда знаменитым командиром тяжелого мортирного дивизиона, – артиллерийский офицер никогда не должен теряться. Если он теряется, он не годится в артиллерию.

Поручик Мышлаевский растерялся.

– Знаешь, Виктор, ты все-таки свинья, – сказала Елена, качая головой.

– Ну уж и свинья?.. – робко и тускло молвил Мышлаевский и поник головой.

\* \* \*

В сумерки знаменитого этого дня 2 февраля 1919 года, когда обед, скомканный к черту, отошел в полном беспорядке, а Мышлаевский увез Анюту с таин-

ственной запиской Турбина в лечебницу (записка была добыта после страшной ругани с Турбиным в белом кабинетике Еленой), а Николка, сообразивший, в чем дело, утешал убитого Лариосика, в спальне у себя Елена в сумерках у притолоки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее рук:

– Какие вы все прохвосты...

– Ничего подобного, – ответил шепотом Демон, нимало не смущаясь, и, притянув Елену, предварительно воровски оглянувшись, поцеловал ее в губы (в первый раз в жизни, надо сказать правду).

– Больше не появляйтесь в доме, – неубедительно шепнула Елена.

– Я не могу без вас жить, – зашептал Демон и неизвестно, что бы он еще нашептал, если бы не брызнул в передней звонок.

\* \* \*

Двое вооруженных в сером толклись в передней, не спуская глаз с доктора Турбина. Николка в крайней степени расстройства метался возле него и все-таки успел не только нашептать ему: «При первой возможности беги, Алеша... у них уже эвакуация...», но и всунуть ему в карман револьвер Мышлаевского. Тур-

бин, щурясь и стараясь не волноваться в присутствии хлопцев, глядел в бумагу. В ней по-украински было написано:

«С одержанием съего препонуется вам негойно...»

Одним словом: явиться в I-й полк синей дивизии в распоряжение командира полка для назначения на должность врача. А за неявку на мобилизацию согласно объявления третьего дня, подлежите военному суду.

– Плевать, – совершенно беззвучно шептал Никола, отдавливая Турбина к двери в столовую, – в первый момент беги. Беги сейчас? А?

– Нельзя. Елену возьмут, – одними губами, – лучше с дороги...

– Так я сам приеду, – мрачно говорил Турбин.

– Ни, – хлопцы качали головами, – приказано вас узять под конвой.

– Где же этот полк?

– Сейчас из Города выступает в Слободку, – пояснил один из хлопцев.

– Кто командует?

– Полковник Мащенко.

Турбин еще раз перечел подпись – «Начальник Санитарного Управления лекарь Курицький».

– Вот тебе и кит и кот, – возмущенно и вслух сказал

—

## 21

Пан куренный в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим – паном куренным: – В бога и в мать!!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь. И если ты не поморозив, так я тебя расстреляю, бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, нависшую над Слободкой и давнул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно-весело ударил грохот из руки пана куренного и пять же раз, весело кувыркнувшись – трах-тах-тах-тах-дах, взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Турбина сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черною стеной, гнилой парапет крикнул, лопнул, больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и доктор

Турбин, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Так – снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб – он горячий как кипяток.

Доктор Турбин вонзился как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на руках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) и, наконец, твердая обледеневшая покатость. На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал о колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом безукоризненная темно-синяя ночь, густо усыпанная звездами.

К дрожащим звездам Турбин обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта.

– Я – дурак!

Слезы выступили на глазах у доктора и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

– Дураков надо учить. Так мне и надо. За то, что не удрал...

Закоченевшей рукой он вытащил кой-как из кармана брюк платок и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

– Господи, если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту. Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт. Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы. Ну и мерзавцы. Господи, дай так, чтобы большевики сейчас же вон отсюда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Турбин сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают как ураган и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке – полковник Мащенко. Оба они, конечно, падают на колени.

– Змилуйтесь, добродию, – вопят они.

Но тут доктор Турбин выступает вперед и говорит:

– Нет, товарищи, нет. Я – монар...

Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да, против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь, в этой ку-терье, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Это – негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

– А-а – ...так... – зловеще отвечают матросы.

– Д-да, т-товарищи. Я сам застрелю их.

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине и доктор Турбин опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгнули в загадочной Слободке. Шагах в двух от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

– Скидай, скидай, зануда, – говорил он. На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевиков. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз. Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизая, пятнистая заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзкую тряпку.

«Убьет... убьет... – гудело в голове, – ведь целы ноги у этого идиота. Господи, чего же он молчит? Вме-

шаться? Не поможет, самого, чего доброго... Ах, я сволочь». Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил, наконец, омерзительную ветошку, медленно обеими руками поднес ногу к самому носу пана куренного. Торчала совершенно замороженная белая корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло решимость с круглого лица пана куренного.

– До лазарету. Пропустить його.

Больничные халаты расступились и сечевик, ковыляя, пошел на мост. Турбин глядел, как человек с бошой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним. Тут. Вот он – Город – тут. Горит на горах за рекой Владимирский крест и в небе лежит фосфорически бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой. О мир. О благостный покой.

Звериный визг внезапно вырвался из белого здания. Визг. Потом уханье. Визг.

– Жида порют, – негромко и сочно звякнул голос.

Турбин застыл в морозной пудре и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, случайно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом. Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто



вся Слободка полна воем тысячи человек.

– Что это такое? – звонко выкрикнул чей-то голос. Только когда широкоскулое подобие оказалось у самых глаз Турбина, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще минута человеческого воя и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане, пораженное выходкой врага.

– За что же вы его бьете?!

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме и самого Турбина. Новая толпа дезертиров-сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренный, пятясь, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

– Сыняя Дывызия! Покажи себе, – как колотушка стукнул голос полковника Мащенко. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, хрипя от налезавшей щетины штыков, встал на дыбы.

– Кроко... руш!!

Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного пара-

пета, ввалился в черное устье и погнал перед собой ошалевших сечевиков. В грохоте смутно слышался голос:

– Хай живе батько Петлюра!!

\* \* \*

О звездные родные украинские ночи.  
И мир и благостный покой.

\* \* \*

В десять часов вечера, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора и вообще все к черту, там – в Городе за рекой в чудной квартире был обычный мир в вещах и смятение в душах. Елена ходила от одного черного окна к другому и всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в темной гуще с огоньками Слободку и брата. Николка и Леонид Юрьевич ходили за ней по пятам.

– Да брось, Леля! Ну чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случится. Ведь догадается же он удрать!

– Ей-Богу, ничего не случится, – утверждал и Леонид Юрьевич, и намасленные перья стояли у него ды-

бом на голове.

– Ах, ну к чему эти утешения. Поймите, они его в Галицию утащат.

– Ну, что ты, в самом деле! Придет он...

– Елена Васильевна.

– Хорошо, я проакомпанирую... Поз-вольте, – Елена взяла Леонида Юрьевича за плечи и повернула к свету. – Боже мой! Что это за гадость? Что за перья? Да вы с ума сошли. Где пробор?

– Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.

– Ничего подобного, – залившись густой краской, солгал Леонид Юрьевич.

Это, однако, была сушая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной полотняной вывеской «Голярня», Леонид Юрьевич зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Леонид Юрьевич вправо и тот вправо, влево и влево... Наконец разминулись.

– Подумаешь – украинский барин. Полпанели занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу...

Вдумчивый и внимательный Леонид Юрьевич обернулся, смерил черную замасленную спину, улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма и про-

бормотал:

– Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в Городе.

Махнув знаменитой палкой, он вдруг изменил маршрут. На трамвае вернулся на Львовскую, а оттуда к себе в Дикий переулок. Приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свэтр с дырой на животе; палка была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Леонид Юрьевич размочил сооружение Жана из голярни и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего. Так, идейный молодой человек с бегающими глазами. Ничего офицерского.

– Уезжаю к Турбиным, у них и ночевать буду, – крикнул Леонид Юрьевич, возясь в передней и примеряя еще какую-то мерзость.

И, вот, теперь, когда волосы высохли и поднялись... Господи, Боже мой.

– Уберите это. Я не буду аккомпанировать. Черт знает... папуас.

– Чистый воды команч Вождь Соколиный Глаз.

Затравленный Леонид Юрьевич низко опустил голову.

– Ну, хорошо, я перечешусь.

– Я думаю, перечешетесь. Николка, отведи его в свою комнату.

Николка распахнул дверь и заиграл марш на пианино. Шервинский прошел мимо багровый с шепотом:

– Мерзавец ты...

Когда вернулись, Леонид Юрьевич был по-прежнему не команч, а гладенько причесанный гвардейский офицер.

Го-род пре-крас-ный.

Го-о-род счастли-и-вый.

Лава, как штука аметистового бархата, без всякого напряжения потекла и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-о-о-ород...

Шервинский не удержался и выпустил, постепенно открывая, свое знаменитое *mi*. Аметист мгновенно превратился в серебряный сверлящий поток. Гостиная загремела, как деревянная коробка, бесчисленными отражениями от стен и стекол. Николка съежился в кресле и от ужаса и наслаждения втянул голову в плечи.

– Эт-то голосок, – не удержался он, чтобы не шепнуть.

И только когда приглаженный команч, притушив звук и властвуя над покоренным аккомпанементом, вывел меццо-воче

Месяц сия-а-ает...

и Николка и Елена расслышали дьявольски грозный звук тазов. Аккорд оборвался, но под педалью еще гудело до, оборвался и голос. Николка вскочил.

– Голову даю на отрез, что это Василиса! Он, он проклятый.

– Боже мой...

– Спокойно, спокойно, Елена Васильевна.

– Голову даю. И как такого труса земля терпит.

За окнами плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Николка заметался, втискивая в карман парабеллум Мышлаевского.

– Николенька, брось револьвер. Никол, прошу тебя.

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш на секунду ворвался в комнаты. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разливался, потрясая морозный воздух, качающийся тревожный грохот.

– Никол, не ходи со двора. Леонид, не пускайте его...

Николка угадал. Именно Василиса и был причиной

тревоги. Николка, ведавший в качестве секретаря домового комитета списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в смутную ночь на 3-е число поставить на дежурство именно Василису в паре с рыхлой и сдобной женщиной Авдотьей Семеновной – женой сапожника. Поэтому в графе:

2 – число

От 8 до 10 час. вечера

Авдотья и Василиса

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Николка учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамеечке под стеной обмякший и с помутневшими глазами, а Николка с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попасть ими в Василису. Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке смущенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

– Вы посматривайте Васл... ис... Иванович, – уныло озабоченно бросил Николка. – В случае чего... того... на мушку, – и он зловеще подмигнул на карабин. Авдотья плюнула.

– Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после

ухода Николки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер. Отчаяние овладело Василисой при самом окончании его срока. В 10 часов, когда в Городе начали замирать звуки жизни и Авдотья категорически заявила, что ей необходимо отлучиться на пять минут. И она отлучилась. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке над крышей сарая, к которому уступами сбегал запушенный снегом сад, явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло и вот он – Василиса – лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту весь Алексеевский спуск завывал медными угрожающими голосами, а в № 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, заоченел с палкой в руках.

Месяц сия-а-о...

Загремела дверь и выскочил, натаскивая пальто в



рукава, Николка, за ним Шервинский.

– Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая на сарай. Николка и Шервинский осторожно обошли его, поднялись по лесенке и заглянули в калитку черного сада. Предохранитель тихонько щелкнул в руке Николки. Но пусто и молчаливо было в саду, и Авдотьин блудливый кот давно удрал, ошалев от дьявольского грохота.

– Вы первый ударили? (строго)

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

– Нет, кажется, не я...

Николка закрыл предохранитель, возвел глаза к небу и произнес в сторону:

– О, что это за человек?

Затем он, несмотря на запрещение Елены, выбежал в калитку и пропадал минут десять. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, в 19-м и только долго-долго какой-то неугомонный гражданин стрелял в конце улицы, но перестал, в конце концов, и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Николка, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Щеглова с женой (10–12 часов) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в гостиную, он не дал Елене обрушиться

на него с укорами, выкатил глаза и крикнул суфлерским шепотом:

– Ур-ра. Радуйся, Елена! Ура! Гонят Петлюру. Красноиндейцы идут по пятам.

– Да что ты?

– Слушайте... Я сейчас выбежал за ворота и слышал скрип. Обозы идут, батюшки, обозы! Хвосты уходят! Петлюре каюк!!

– Ты не врешь?

– Чудачка, какая же мне корысть?

Елена встала с кресла.

– Неужели Алексей вырвется?

– Да, конечно же. Не идиот же он. Ты слушай: я уверен, что их выдавили уже из Слободки... Хорошо-с. Как только их погонят, куда они пойдут? Ясно на Город, обратно через мост. Когда они будут проходить Город, тут Алексей и даст ходу.

– А если они не пустят?

– Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть бежит.

– Ясно. Другого пути нет, – подтвердил Шервинский и тихонько, с лицом, изображающим в комическом виде священный ужас перед грядущим, пошел к пианино.

– Поздравляю вас, товарищи, – мгновенно изобразил Николка оратора на митинге, – таперича наши

идут. Троцкий, Луначарский и прочие, – он заложил руку за борт блузы и оттопырил левую ногу. – Правильно, – ответил он сам себе от имени невидимой толпы, а затем зажал рот руками и изобразил, как солдаты на площади кричат «Ура».

– У а а а а!!

Шервинский ткнул пальцами в клавиши:

Соль.....до.

Проклятьем заклеянный...

В ответ оратору заиграл духовой оркестр. Иллюзия получилась настолько полная, что Елена вначале подавилась смехом, а потом пришла в ужас.

– Вы с ума сошли оба. Петлюровцы на улице!

– У-а-а-а! Долой Петлю!.. ап!

Елена бросилась к Николке и зажала ему рот.

\* \* \*

Первое убийство в своей жизни доктор Турбин увидел секунда в секунду на переломе ночи со 2-го на 3-е число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто с лицом, синим и черным в потеках крови, волокни по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполлом по

спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в ключья пальто и каждому удару отвечало сиплое:

– Ух... а...

Ноги Турбина стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

– А-а, жидовская морда! – иступленно кричал пан куренный, – к штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться. Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?..

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди и хлопцы отскочили, чтобы самим увернуться от залетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже... ух... Как-то странно подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Турбин видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Турбин всхлипнул, по-

шел, пьяно шатаюсь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше светило опять черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла, наконец, в помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

\* \* \*

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренный, исчез полковник Мащенко. Осталась позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И Город прекрасный, Город счастливый выплывал навстречу на горах.

\* \* \*

У белой церкви с колоннами доктор Турбин вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе. Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено. Нет ни души. Куда бежать? Куда? вот оно сзади, наконец, знакомое страшное:

– Стый!

Ближе колонны. Сердца нет.

– Стый! Сты-ый!

Тут доктор Турбин сорвался и кинулся бежать так, что засвистало лицо.

– Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше – сеть переулков кривых и черных. Прощайте навсегда! Прощай Петтура! Петтура!!.....

\* \* \*

В пролом стены вдавился доктор Турбин. С минуты ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развевал по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першого полку синей дывызии». На случай, если в пустом Городе встретится красный первый патруль. Кто знает?..

\* \* \*

Около 3 ночи в квартире залился оглушительный звонок.

– Ну, я ж говорил! – заорал Николка, – перестань реветь, перестань.

– Елена Васильевна. Это он. Полноте.

Николка сорвался и полетел открывать.

– Боже ты мой!

Лена рыжая кинулась к Турбину и отшатнулась.

– Да ты... да ты седой.

Турбин тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернув щекой. Затем, поморщившись, с помощью Николки стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис, как ме-

шок. Елена глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Леонид Юрьевич и Николка, открыв рты, глядели в затылок на белый вихор.

Турбин обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько минут вглядывался в свое изображение в блестящей грани.

– Да, – наконец выдавил он из себя бессмысленно.

Николка, услышав это первое слово, решился спросить:

– Слушай, ты... Бежал, конечно? Да ты скажи, что ты у них делал?

– Вы знаете, – медленно ответил Турбин, – они, представьте, в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Турбин, но вместо речи получилось неожиданное... Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Елена, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Леонид Юрьевич и Николка растерялись до того, что даже побледнели. Николка опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой, а Леонид Юрьевич сказал, прочистив горло, неизвестно к чему.

– Да, каналья этот Петлюра.

Турбин же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, вскрикнул:



– Бандиты!! Но я... я... интеллигентская мразь, – и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Николка дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

\* \* \*

В половине четвертого жизнь семьи кольцом свилась опять у той же жаркой площади Саардамского Плотника. Натопили с вечера, но и до сих пор печь все еще держала тепло. Полустертые обреченные надписи по-прежнему глядели с блестящей поверхности, и кремовые шторы были задернуты. Часы шли, как тридцать лет тому назад – тонк-танк и в их бое в эту ночь была какая-то важность и значительность.

Зеленый ломберный стол поставили углом к печке – иначе он не влезал, и рыжую важную Лену, пережившую все испытания, какие может пережить женщина за полтора лихих и страшных месяца, поместили в кресло у печки с тем, чтобы ее не беспокоить и не пересаживать, как бы ни сложились карты в конце роббера. Пуховой платок обнимал Елену, и белые ее руки лежали на зеленой равнине стола, и Шервинский, не отрываясь, глядел на них. В длинных пальцах была женская мощь и какая-то уверенность, примирение и спокойствие.

И Лариосик, напившись чаю с бутербродами, пригрелся у левой руки Елены рыжей, стал забывать Анюту и новый удар и все свое внимание сосредоточил на атласном крапе любимой турбинской колоды.

Николка играл сосредоточенно и напористо – у него была тайная мыслишка – выиграть карбованов тридцать у Шервинского... у него денег – ого-го! Всегда есть. Несмотря на эти соображения, уши Николка навострил и слушал внимательно – не раздастся ли стук в ворота, не отзовутся ли громом цепи? Все Николкой было налажено, как следует, как все, что его приучили делать в инженерном высшем училище. Ну, конечно, иногда не выходит... ну, что же сделаешь – не везет иногда.

Во всяком случае, все сделано честь честью. Ход из кухни заперт только на один легкий крючок. А ключ от калитки на улицу самолично Николкой прикарманен. Если кинутся искать доктора, бежавшего из полка, и прибегут по его адресу, тотчас Алексея поднимают и через черный ход во двор, а там узкой щелью между двумя сараями, где Николкой расшиты доски, под гору и среди снежных канав Алексей проникнет в соседний 15-й номер и там в темной, лепящейся под горой усадевке, переждет, пока уйдут.

Что они сделают?

Ни черта они сделать не могут.

«Где доктор?» Доктор мобилизован и ушел с полком. Его в полку нет. Ну, это уж не наше дело. Мы сами волнуемся, мы сами встревожены».

\* \* \*

Но никто не придет, никто. Это чувствуется по всему, даже по рукам Елены, теплым, белым, чувствуется и часами... Тонк-томк. Чувствуется и Лариосиком, погруженным в божественную игру винт. Чувствуется и при взгляде на печку. Лоснится, пылает белый изразец – таинственная, мудрая скала – благодатная жаркая...

Времечко-то времечко... Эх, эх... Ну ничего... ничего... пережили и еще переживем... И Николка сквозь зубы напевает:

Бескозырки тонные,  
Сапоги фасонные...

Но гитара уже не идет маршем, не сыплет со струн инженерная рота. Нет больше этого ничего... Надвигается новое, совершенно неизведанное. Страшное. Тихонько, господа, тихонечко... Эх... эх...

Съемки примерные,

\* \* \*

Никто не придет. Никто. И напрасно Алексей мучится там тревожным сном. Ныне отпускаеши раба твоего с миром... Кончено... Что будет дальше, неизвестно... А сейчас с миром... И напрасно, напрасно мучится человек... Просто даже если в окна посмотреть, сразу чувствуется, что ничего уже не будет... Петурра... Петурра!.. петурра... петурра... храпит Алексей... Но Петурры уже не будет... Не будет, конечно. Вероятно где-то в небе петухи уже поют, предутренние, а значит вся нечистая сила растаяла, унеслась, свилась в клубок в далях за Лысой Горой и более не вернется. Кончено. Во всяком случае посидим, покараулим, покараулим... пусть спит Алексей, пусть, а на рассвете ляжем и мы и крепко заснем...

\* \* \*

Руки Шервинского вдруг наполнились красными картами. Дрогнув, он хищно скосил глаз на прикуп и сказал:

– Две в червях.

– Везет им, черт возьми, – скрипнул Николка, полный мелких пик и любуясь на трефовую даму, похожую на Ирину Най, и, чтоб перебить, он крикнул:

– Четыре черви!

– Пять бубен, – сказала Елена.

– Пять червей, – рискнул Лариосик и так выкатил глаза, что Николка перекрестился демонстративно.

– Не дадим играть, – рявкнул Николка и заявил, выкатывая глаза, – малый в пиках!

– В червях, – купила Елена.

– Э-эх... – вздохнул Николка, – бери, бери.

Зашуршали карты. Шервинский дрогнул, получив от Елены четыре червы. Он разнес три трефки, подумал «черт, не напороться на ренонс» и торжественно бухнул в колокол:

– Большой шлем в червях.

Лариосик подумал, подумал и хлестко выложил туза пик. Была слабая надежда, что Николка убьет, но, увы, Николка был полон пик. И Шервинский червонной тройкой убил туза. Затем он, торжествуя, веером развернул двенадцать карт. Они были сплошь красные. Червонные сердца загорелись на зеленом лугу над белыми знаками цифр. Одиннадцать червонных карт светились на столе и лишь двенадцатая была бубновый туз.

– Видали? – победоносно спросил Шервинский.

Партнеры были убиты.

Далеко за окнами медленно и важно ударил пушечный выстрел. Расширились глаза у четырех игроков. За первым ударом пришел второй, третий.

– Бой?

– Бой.

Но удары шли через правильные интервалы, изредка тихо, тихо вздрагивала застекленная веранда. Стреляли недалеко, где-то у Днепра на Подоле. Возможно на самом берегу, Шервинский стоял и, тихо шевеля губами, считал – 29... 30... 31...

И удары смолкли. Все недоуменно переглянулись. Глаза Шервинского торжественно заблестали.

– Вы знаете, что это такое? – спросил он победоносно и ответил сам себе. – Это салют. Тридцать один выстрел. – Он торжественно встал и, выгнув грудь колесом, сказал:

– Поздравляю Вас, господа. Большевики заняли Город. Это их батарея стреляет где-то на Днепре.

Черные часы шли и шли. Показывали они начало четвертого часа 3-го февраля 1919 года.

А в четыре маленький двухэтажный дом на Алексеевском спуске спал после треволнений глубоким сном. Ночь теплая, семейная в еще не разрушенном очаге Анны Владимировны. Сонная дрема ходила в черной гостинной, колыхалась в слоистых тенях. Печи

еще отдавали тепло, грели старые комнаты. А за окнами расцветала все победоноснее и победоноснее студеная ночь и беззвучно шла над землей. Путь серебряный, млечный, как перевязь сидел на небе, играли звезды, сжималась и расширялась звезда Венера.

В теплых комнатах поселились сны. В своей комнате спал старший Турбин. Неизменная лампочка маленькая, малюсенькая – верный друг ночей (Турбин не мог спать в темноте) горела у кровати на стуле. Тикали карманные часы. Сон развернулся во всю. Видел Турбин тяжкий больной, ревнивый сон. Был он в своей страшной ясности – сон вещей. Ах! Замучила Юлия Алексея Васильевича Турбина. Любит Алексей Васильевич Юлию таинственную.

Была какая-то скверная ночь. Понимаете, ночь, а видно, как днем. И в то же время темно. И вот крадется, крадется Алексей по ступеням этого лучшего в мире садика к флигельку, к этому флигельку. Крадется за неизвестным человеком; у человека прекрасный соболий воротник, дорогое пальто, ноги в гетрах. И мелькнет странно временами бок лица. Будто на нем черные баки. Черные баки у ненавистного Онегина. Крадется Турбин, полный злобы, подозрения и отваги, и верный браунинг у него в кармане... Ах, если бы разглядеть лицо этого проклятого человека! Но лицо

не дается. Не дается. Нет у человека лица. О, сны вещице! Ой, слушайте снов. Если кто скажет, что

Верить снам – позорно и смешно,  
ой, не слушайте. Вещие сны бывают.

И вот, пересек человек без лица маленький дворик-сад, укрытый ветвями, и прямо подошел к заветной двери. Дверь распахнулась перед ним сама собой и впустила человека к Юлии в дом. «Вот оно что, – в бешеной злобе во сне подумал Турбин, – вот оно что. Убью его.»

За ним в дверь, в гостиную. И видит, целует Юлию неизвестный заколдованный Онегин. И лица опять нет. А Юлия зубы оскалила, улыбается, любовь у нее на лице. Турбин знал, что ревность бессмысленна. Револьвером не добудешь любовь. Покорил Юлию неизвестный безликий. А он, Турбин, не мог – что же сделаешь... но это наяву. А во сне злая злоба. Убью! Эх, доктор Турбин. Не нужно, забудьте Юлию, бросьте, плохая она женщина! Ждут вас лучшие, хорошие<sup>26</sup>.

Он врывается в гостиную вслед за Онегиным и видит: целует Онегин Юлию и валит ее на диван. Сует руку в карман Турбин, вытаскивает браунинг. Юлия в

---

<sup>26</sup> Далее в машинописи вычеркнута фраза: Будут они у вас на пути, но не здесь, а далеко на теплом юге, куда кинет вас судьба.



ужасе кричит, Онегин поворачивается и, вот, все-таки лица у него нет. Мелькнут пурпуровые губы, покажется нос, но нельзя их слить в целое. Не составляется целое лицо никак. И браунинг изменяет Турбин: жмет он гашетку, она сгибается как восковая свеча в руках, скрипит браунинг, пружина внутри его воет, а не стреляет. Безликое же лицо становится грозным и опасным. Опасен этот, окаймленный баками Онегин, и чувствуется за ним грозная поддержка. Ни звука не произносит коварный Онегин, но Турбин уже чувствует, что пришла чрезвычайная комиссия по его Турбинскую душу. Озирается Турбин, как волк – что же он делать-то будет, если браунинг не стреляет? Голоса смутные в передней – идут. Идут! Чекисты идут. И начинает Турбин отступать и чувствует, что подлый страх заползает к нему в душу. Что ж!.. Страшная ревность, страстная неразделенная любовь и измена, но Че-ка страшнее всего на свете. – Ах, ты... хрипит Турбин Юлии.

Хожу ли я,  
Брожу ли я,  
Плюю ли я!  
Все Юлия, да Юлия!!

и грозит пистолетом. Но что значит не стреляющий пистолет! И отступает Турбин в дверь, дверь провали-

вається в чорну мрачну діру – сарай, а в кінці його загоряється світ – с фонарями ідуць – іщуть Турбіна. І ужаснее всего то, що середі чекистів один в сером, в папахі. І це той самий, якого Турбін ранив в декабрі на Мало-Провальній улиці. Турбін в диком ужасі. Турбін нічого не розуміє. Да, вель той був петлюровець, а ці чекисти-більшовики?! Вель они же врази? Врази, черт их взьми! Неужели же теперь они соединились? О, если так, Турбін пропав!

– Берите его, товарищи! – рычит кто-то. Бросаются на Турбіна. – Хватай его! Хватай! – орет недостреленный окровавленный оборотень, – тримай його! Тримай!

Все мешается. В кольце событий, сменяющих друг друга, одно ясно – Турбін вельгда при пиковом интересі – Турбін вельгда и вельсем враг. Турбін холодеет.

Просыпается. Пот. Нету! Какое счастье. Нет ни этого недостреленного, ни чекистів, нікого нет.

На стуле у постели мирно и ровно горит лампочка, выстукивают часики, лежит портсигар. Тепло в комнате. А на столе в тени стоит на блестящем подрамнике в лакированной раме Юлия. В тени.

– Во-первых... во-первых, – бормочет Турбін, – что же это я сплю... а как же петлюровцы? А вдруг придут за мной?

Он тянется к часикам. На них без четверти пять.

Ночь совершенно спокойна, и сонную дрему не колыхнет ничто. Плывет слоистый дым от папирос Турбина. Папироса потухла сама собой во рту. Выронил ее Турбин, она упала и прожгла дыру в пятак в простыне. Потом края, потлев немного, угасли. Турбин оказался в глубоком сне. Портрет же Юлии бессонной все стоял в резкой тени и глубокими подведенными глазами глядел на спящего любовника.

\* \* \*

Ночь расцветала и расцветала. Тянуло к утру, и погребенный под мохнатым снегом спал дом. Истерзанный Василиса спал в холодных простынях, согревая их своим похудевшим телом. Видел Василиса сон нелепый и круглый. Будто бы никакой революции не было, все это была чепуха и вздор. Во сне. Сомнительное, зыбкое счастье наплывало на Василису. Будто бы лето и, вот, Василиса купил огород. Ментально выросли на нем огурцы. Грядки покрылись веселыми зелеными завитками и зелеными шишами в них выглядывали огурцы. Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот, и бормотал:

– Так-то оно лучше... А то революции. Нет, знаете ли, с такими свиньями никаких революций произво-

дить нельзя...

Часы... а?..

Тут Василисе приснились взятые круглые глобусом часы: Василисе хотелось, чтобы ему стало жалко, но солнышко так приятно сияло, что жалости не получилось.

И вот, в этот хороший миг какие-то розовые круглые поросята влетели на огород и тотчас пяточковыми своими мордами взрыли грядки. Фонтанами полетела земля. Василиса подхватил с земли палку и собирался гнать поросят, но тут же выяснилось, что поросята страшные – у них острые клыки. Они стали на скакивать на Василису, причем подпрыгивали на аршин от земли, потому что внутри у них были пружины. Василиса взвыл во сне. Черным боковым косяком накрыло поросят, они провалились в землю и перед Василисой всплыла черная, сыроватая его спальня...

\* \* \*

Ночь расцветала. Сонная дрема прошла над Городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя стороной сияющий крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги. Доплыла до станции Дарницы и задержалась на ней. На третьем пути стоял бронепоезд. Наглухо до ко-

лес были зажаты вагоны в серую броню. Паровоз чернел многогранной глыбой, из брюха его вывалился огненный плат, разлегся на рельсах и со стороны казалось, что утроба паровоза набита раскаленными углями. Он сипел тихонько и злобно, сочилось что-то в боковых стенках, тупое рыло его молчало и шурилось в приднепровские леса. Закрытые площадки, где сквозь щели-амбразуры торчали пулеметы и острые иглы света, переходили в последнюю тяжкую открытую площадку. С нее в высь, черную и синюю, широченное дуло в глухом наморднике целилось верст на двенадцать прямо в полночный крест.

Станция в ужасе замерла. На лоб надвинула тьму, и светились в ней осовевшие от вечернего грохота глазки желтых огней. Суета на ее платформах была непрерывная, несмотря на предутренний час. В низком желтом бараке телеграфа три окна горели ярко, и слышался сквозь стекла непрекращающийся стук трех аппаратов. По платформе бегали взад и вперед, несмотря на жгучий мороз, фигуры людей в полушубках по колено, в шинелях и черных бушлатах<sup>27</sup>. В стороне от бронепоезда и сзади растянувшись не спал, перекликался и гремел дверями теплушек эшелон. Били снопы света на черные рельсы и шпалы, усеянные по снегу разноцветным шлаком. Торчали писто-

---

<sup>27</sup> В машинописи бушматах.

летные дула из кобур, мотались сумки.

А у бронепоезда, рядом с паровозом и первым железным корпусом вагона ходил, как маятник, человек в длинной шинели, в рваных валенках и остроконечном куколе-башлыке. Винтовку он нежно лелеял на руке, как уставшая мать ребенка, и рядом с ним ходила меж рельсами под скупым фонарем по снегу острая щепка черной тени и теневой беззвучный штык. Человек очень сильно устал и зверски, нечеловечески озяб. Руки его синие и холодные тщетно рылись деревянными пальцами в рвани рукавов, ища убежища. Из окаймленной белой накипью и бахромой неровной пасти башлыка, открывавшей мохнатый обмороженный рот, в верхней части глядели глаза над снежными космами ресниц. Глаза эти были голубые, страдальческие, сонные, томные.

Человек ходил методически, свесив штык, и думал только об одном, когда же истечет, наконец, морозный час пытки и он уйдет с озверевшей от мороза земли во внутрь, где божественным жаром пышут трубы, греющие теплушки бронепоезда, где в тесной конуре он может свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться. Человек и тень ходили от огненного выплеска броневого брюха к темной стене первого боевого ящика до того места, где чернела надпись:

Бронепоезд «Пролетарий».

Тень, то вырастая, то уродливо горбятся, но неизменно остроголовая, рыла снег своим черным штыком. Голубоватые лучи фонаря висели в тылу человека. Две голубоватые луны не грея и дразня горели на платформе. Человек искал хоть какого-нибудь огня и нигде не находил его, стиснув зубы, потеряв надежду согреть пальцы ног, шевеля ими, неуклонно рвался взором к звездам. Удобнее всего ему было смотреть на звезду Венеру, сияющую в небе впереди над Слободкой. И он смотрел на нее. От его глаз шел на миллионы верст взгляд и не упускал ни на минуту красноватой живой звезды. Она сжималась и расширялась, явно жила и была пятиконечная. Изредка, истомившись, человек опускал винтовку прикладом в снег, остановившись, мгновенно и прозрачно засыпал. Черная стена бронепоезда не уходила из этого сна, и не уходили и некоторые звуки со станции. Но к ним присоединились новые. Вырастал во сне небосвод невиданный... Весь красный, сверкающий и весь одетый Венерами в их живом сверкании. Душа человека мгновенно наполнялась счастьем. Выходил неизвестный непонятный всадник в кольчуге и братски наплывал на человека. Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня Малые Чугры, и почему-то настойчиво. Он, человек, у околицы

Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

– Жили, – говорил беззвучно, без губ, мозг человека, и тотчас грозный сторожевой голос в груди выступивал три слова:

Пост... часовой... замерзнешь...

Человек уже совершенно нечеловеческими усилиями отрывал винтовку, вскидывал на руку, шатнувшись, отдирает ноги и шел опять.

Вперед – назад. Вперед – назад. Исчезал небосвод, исчезал, опять одевало весь морозный мир шелком неба, продырявленного черным и губительным хоботом орудия. Играла Венера красноватая, а от голубой луны фонаря временами поблескивала на груди человека ответная звезда. Она была маленькая и тоже пятиконечная.

\* \* \*

Металась и металась потревоженная дрема. Лётом вдоль Днепра. Пролетела мертвые пристани и понеслась над Подолом. На нем давно уже, очень давно погасли все окна. Все спали. Только на углу Волынской в трехэтажном каменном здании в квартире библиотекаря, в узенькой, как дешевый номер дешевой гостиницы, «комнате» сидел голубоглазый Русаков



у лампы под стеклянным горбом колпака. Пред Русаковым лежала тяжелая книга в желтом кожаном переплете. Глаза шли по строкам медленно и торжественно.

«И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и Книги раскрыты были, и иная Книга раскрыта, которая есть Книга Жизни; и судимы были мертвые по написанному в Книгах, сообразно с делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

.....  
И кто не был записан в Книге Жизни, тот был брошен в озеро огненное.

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет».

По мере того, как он читал потрясающую книгу, ум его становился как сверкающий меч, углубляющийся в тьму.

Болезни и страдания казались ему неважными, несущественными. Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу, отсохшей ветви. Он видел синюю бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение. Мир становился в душе и в мире он дошел до слов:

«...слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

\* \* \*

Смутная мгла расступилась и пропустила к Елене поручика Шервинского. Размасленные волосы стояли дыбом. Выпуклые глаза развязно улыбались.

– Честь имею, – сказал он, щелкнув каблуками, – командир стрелковой школы – товарищ Шервинский.

Он вынул из кармана огромную сусальную звезду и нацепил ее на грудь с левой стороны. Туманы сна ползли вокруг него, его лицо из клуба входило ярко-кучельным.

– Это ложь, – вскрикнула во сне Елена. – Вас стоит повесить.

– Не угодно ли, – ответил кошмар, – рискните, мадам.

Он свистнул нахально и раздвоился. Левый рукав покрылся ромбом, и в ромбе запылала вторая звезда – золотая. От нее брызгали лучи, а с правой стороны на плече родился бледный уланский погон. Правая стала «синей»<sup>28</sup>, левая в рыжем френче. Правая

---

<sup>28</sup> Пропущено слово в машинописи.

нога в синей тонкого сукна рейтузе с кантами, левая в черной. И лишь сапоги были одинаковые блестящие, неподражаемые тонные...

Сапоги фасонные, —

Запел Николка под гитару.

На голове был убор двусторонний.

Левая его половина, защитно зеленая, с половиной красной звезды, правая ослепительно блестящая с «кокардой»<sup>29</sup>.

— Поеду<sup>30</sup>, — во сне сказала Елена с презрением и ужасом.

— Искусник, — ответил Шервинский.

— Кондотьер! Кондотьер, — кричала Елена.

— Простите, — ответил двуцветный кошмар, — всего по два, всего у меня по два, но шея-то у меня одна и та не казенная, а моя собственная. Жить будем.

А смерть придет,  
Помирать будем... —

пропел Николка и вышел.

---

<sup>29</sup> Пропущено слово в машинописи.

<sup>30</sup> Явная опечатка машинистки. По смыслу более подходит слово: предал.

В руках у него была гитара, но вся шея в крови, а на лбу желтый венчик с иконками. Елена мгновенно поняла, что он умрет, и горько зарыдала и проснулась с криком в ночи.

И ночь все плыла да плыла.

\* \* \*

И, наконец, Петька видел сон.

Петька был маленький, поэтому он не интересовался ни большевиками, ни Петлюрой, ни любовью взрослых. Поэтому и сон привиделся ему простой и радостный, как солнечный шар.

Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу, а на том лугу лежал сверкающий алмазный шар больше Петьки. Во сне взрослые, когда им нужно бежать, прилипают к земле, стонут и мучатся, пытаясь оторвать ноги от трясины. Детские же ноги и резвы и свободны. Петька добежал до алмазного шара и, всхлипнув от радостного смеха, охватил его руками. Шар обдал Петьку дождем сверкающих брызг. Вот и весь сон Петьки. От удовольствия Петька расхохотался в ночи. И ему весело стрекотал сверчок за печкой. Петька стал видеть иные, но тоже легкие и радостные сны, а сверчок пел и пел свою песню, где-то в щели в белом

углу и за ведром, «всю»<sup>31</sup> бормочущую ночь в семье во флигеле.

Снаружи ночь расцветала и расцветала. Во второй половине ее вся тяжелая синева, занавесь Бога, облекающего мир, покрылась звездами. Похоже было, что в неизмерной высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали и зажигали огоньки, и они проступали на занавесе отдельными трепещущими огнями, и целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.

Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Звезды будут также неизменны, также трепетны и прекрасны. Нет ни одного человека на земле, который бы этого не знал. Так почему же мы не хотим мира, не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?

*Конец.*

---

<sup>31</sup> В машинописи пропущено слово.

# КОММЕНТАРИИ

## АВТОБИОГРАФИЯ

Автобиография написана Булгаковым в октябре 1924 г.

Печатается по: Н и к и т и н а Е. Ф. Русская литература от символизма до наших дней. М., 1926.

С. Как-то ночью, в 1919 году <...> отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. – Видимо, подразумевается статья «Грядущие перспективы».

С. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. – В 1920–1921 гг. во Владикавказском театре были поставлены написанные Булгаковым пьесы «Самооборона», «Братья Турбины», «Сыновья муллы».

С. ...служил репортером и фельетонистом в газетах... – В 1922–1926 гг. Булгаков публиковал репортажи, очерки и фельетоны в газетах. «Рабочий» («Рабочая газета»), «Гудок», «Бакинский рабочий», «Красная газета», «Заря Востока» (Тифлис).

С. В берлинской газете «Накануне» в течение двух лет писал большие сатирические и юмористические

фельетоны. – В «Накануне» Булгаков печатался в  
1922–1924 гг.

# БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

Центральной темой творчества Булгакова первой половины 1920-х гг. стала история испытаний, пережитых интеллигентной семьей в условиях гражданской войны. Косвенное подтверждение тому, что работа над романом, который впоследствии получит заглавие «Белая гвардия», началась не позже 1920 г., содержится в романе «Столовая гора» (опубликован в 1925 г. под названием «Девушка с гор»), написанном приятелем Булгакова Юрием Слезкиным (1885–1947). Действие этого произведения происходит в 1920 г. во Владикавказе, а главный герой с «турбинским» именем Алексей Васильевич – «журналист, кой-что маракующий в медицине» – пишет роман «Дезертир». Прототипом этого персонажа послужил Булгаков. Трудно с уверенностью сказать, отразился ли здесь действительный факт владикавказского периода булгаковской биографии или же Слезкин перенес в обстановку 1920 г. реалии уже московской жизни Булгакова 1921–1922 гг. Но как бы то ни было, еще до переезда в Москву будущий автор «Белой гвардии» действительно работал над неким крупным прозаическим произведением – например, в письме двоюродному брату Константину Булгакову 1 февраля 1921 г.



сообщал: «Пишу роман, единственная за все это время продуманная вещь»; в письме к матери 16 февраля Булгаков тоже упоминает о работе над романом.

К тому же 26 апреля 1921 г. он присылает родным в Киев «три обрывочка из рассказа с подзаголовком “Дань восхищения”» – вырезки из текста, опубликованного в феврале 1920 г. (еще при белых) в какой-то северокавказской газете. Один из персонажей рассказа поет юнкерскую песню «Съемки», а кроме того, речь идет об октябрьских боях 1917 г. в Киеве. На сегодняшний день это наиболее ранние дошедшие до нас наброски будущего романа.

Бесспорно и то, что именно во Владикавказе у писателя возник образ семьи Турбиных: Булгаков пишет четырехактную пьесу «Братья Турбины», которая была поставлена во владикавказском театре (премьера состоялась 21 октября 1920 г.) – программу спектакля автор тоже прислал в Киев. Текст пьесы не сохранился, но судя по воспоминаниям, она не имела почти ничего общего ни с романом «Белая гвардия», ни с драмой «Дни Турбиных». Хотя постановка имела успех, Булгаков не был удовлетворен своим произведением и намеревался радикально его переработать – так, 2 июня 1921 г. писал сестре Надежде: «“Турбиных” переделываю в большую драму» (по-видимому, работа не была доведена до конца).

В сентябре 1921 г. Булгаков приезжает в Москву. Интересно, что всего через несколько дней он в одном из писем сообщает о том, что намерен сделать инсценировку «Войны и мира». Замысел остался нереализованным (к инсценировке эпопеи писатель вернется лишь в 1931 г.), но можно предположить, что влияние Л. Толстого было велико уже на раннем этапе работы над романом, в 1920–1921 гг.; не менее важным останется оно и в дальнейшем. Через несколько лет, 28 марта 1930 г., Булгаков в письме «Правительству СССР» скажет, что одной из важнейших черт романа «Белая гвардия» и пьесы «Дни Турбиных» является «изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях “Войны и мира”».

Новый этап работы начнется уже в 1922 г. (одним из важных для Булгакова стимулов стала смерть матери, ознаменовавшая окончание «киевской» эпохи в его биографии). Появляются рассказы, тематически и текстуально связанные с романом: «Необыкновенные приключения доктора» и «Красная корона (Historia morbi)». Кроме того, в конце 1922 г. увидел свет отрывок «В ночь на 3-е число» с подзаголовком «Из романа “Алый мах”» – фактически финальный фрагмент «Белой гвардии». В марте 1923 г. в журна-

ле «Россия» говорилось: «Булгаков заканчивает роман “Белая гвардия”, охватывающий эпоху борьбы с белыми на юге», – видимо, в то время в нем присутствовали и кавказские эпизоды (ср., например, рассказ «Красная корона»).

31 августа 1923 г. Булгаков сообщает писателю Ю. Слезкину: «Роман я кончил, но он еще не переписан, лежит грудой, над которой я много думаю. Кое-что исправляю». Весной 1924 г. газета «Накануне» информирует, что Булгаков «закончил первую часть трилогии “Белая гвардия” – роман “Полночный крест”». Машинистка И. Раабен, которая до весны 1924 г. печатала булгаковские произведения, утверждала, что роман перепечатывался от начала до конца не менее четырех раз: «Работа была очень большая... В первой редакции Алексей погибал в гимназии. Погибал и Николка – не помню, в первой или во второй редакции. Алексей был военным, а не врачом, а потом все это исчезло».

В конце 1923 – середине 1924 г. Булгаков публикует в газетах и журналах несколько рассказов и отрывков, связанных с завершенным (хотя бы вчерне) романом («Петлюра идет на парад», «Вечерок у Василисы», «Конец Петлюры»). 9 марта 1924 г. в газете «Накануне» появилась небольшая рецензия Слезкина – первый печатный отклик на еще не опубликованную кни-

гу: «Роман “Белая гвардия” является первой частью трилогии и прочитан был автором в течение четырех вечеров в литературном кружке “Зеленая лампа”. <...> Вещь эта признана всеми слушателями исключительной по широте замысла, четкости, яркости выполнения, динамичности построения, уверенной лепке героев. <...> Мелкие недочеты, отмеченные некоторыми, бледнеют перед несомненными достоинствами этого романа, являющегося первой попыткой создания великой эпопеи современности».

В апреле 1924 г. автор заключил договор на печатание романа с редактором журнала «Россия» И. Лежневым. В четвертом и пятом номерах «России» за 1925 г. было напечатано 13 глав (примерно 60 % текста). Однако шестой номер так и не вышел (летом 1925 г. издатель «России» Каганский покинул СССР, в 1926 г. был выслан за границу и Лежнев). Однако неопубликованный роман не остался незамеченным. Так, М. Волошин 25 марта 1925 г. писал редактору альманаха «Недра» Н. Ангарскому: «...Эта вещь представилась мне очень крупной и оригинальной; как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого». Через Ангарского Волошин передал Булгакову приглашение приехать в Коктебель, и летом 1925 г. Булгаков с женой провели три недели в гостях в доме Волошина.

При прощании Волошин подарил Булгакову сборник своих стихов «Иверни» с наказом: «Дорогой Михаил Афанасьевич, доведите до конца трилогию “Белой гвардии”», – а на одной из подаренных акварелей написал: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу, первому, кто запечатлел душу русской усобицы, с любовью».

С начала 1925 г. началась работа Булгакова над пьесой по мотивам «Белой гвардии» и под тем же названием; в конце концов она получит заглавие «Дни Турбиных». Премьера спектакля состоялась во МХАТе 5 октября 1926 г. Что касается попыток Булгакова издать роман в СССР отдельной книгой, они ни к чему не привели. Вместе с тем в 1927 г. в Риге появилось «пиратское» издание, в котором заключительные главы романа, не вышедшие в журнале «Россия», были кем-то дописаны по последнему действию «Дней Турбиных».

В этот же период начинаются контакты Булгакова с парижским издательством «Concorde», намеревавшимся выпустить роман в авторской редакции. Это издание было осуществлено, причем финал «Белой гвардии» подвергся изменению. Печатаемая в журнале «Россия», автор предполагал, что окончил лишь первую часть трилогии, – теперь же перед ним встала задача превратить книгу «с продолжением» в законченное произведение. Для этого Булгаков восполь-

зовался не только текстом собственно романа, но и некоторыми мотивами своих рассказов и отрывков, опубликованных в 1922–1924 гг. Две заключительных главы «журнальной» редакции 1925 г. были переработаны и превратились в одну.

В 1927 и 1929 гг. в издательстве «Concorde» роман был издан двумя книгами; вторая из них (под заголовком «Конец белой гвардии») вышла в 1929 г. и в Риге – после истории с изданием 1927 г. ее появление здесь имело значение как акт восстановления авторской воли.

Не завершённый публикацией роман остался в СССР практически незамеченным и почти не вызвал откликов – особенно на фоне бури, вскоре разразившейся вокруг «Дней Турбиных». Вполне характерным представляется суждение критика М. Майзеля (недаром он послужил одним из прототипов барона Майгеля в «Мастере и Маргарите»), писавшего про «Белую гвардию» через несколько лет после ее неудавшегося явления: «Это была удивительная попытка оправдать белое движение путем введения в роман субъективно честных белогвардейцев <...> Из “Белой гвардии” можно сделать тот единственный вывод, что монархическое движение было обречено на гибель благодаря измене вождей. Самая же белая идея рисуется Булгаковым как идея высокого пафоса. / Апология

чистой белогвардейщины – таков внутренний смысл романа Булгакова» (М а й з е л ь М. Новобуржуазное течение в советской литературе. Л., 1929. С. 45–46).

Что касается парижского издания романа, оно вышло уже в ту пору, когда передача произведений за границу стала считаться предосудительным для советского автора поступком. Таким образом, рецензии на полный текст «Белой гвардии» могли появиться лишь в зарубежных изданиях – отношение эмигрантской критики к книге Булгакова было в основном позитивным (см.: Я н г и р о в Р. Русская эмиграция о романе «Белая гвардия»: 1920-1930-е гг. // Михаил Булгаков на исходе XX века. СПб., 1999.).

На родине автора роман впервые был полностью опубликован лишь в 1966 г. По словам Е. Булгаковой, вдовы писателя, сам он настаивал на том, чтобы печатать «Белую гвардию» по «парижской» редакции; однако для исправления ряда ошибок, имевшихся в том издании, потребовалось обращение и к публикации в журнале «Россия».

Текст романа печатается по: Б у л г а к о в М.  
А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1991. Т. 1.

При составлении комментариев был использован ряд мемуарных изданий и специальных работ (в большинстве случаев они цитируются без ссылок):

Бурмистренко С., Rogozovskaya T. Сорок семь дней из жизни Города: Хроника конца 1918 – начала 1919 года // Collegium (Киев). 1995. № 1–2.

Весь Булгаков в воспоминаниях и фотографиях. Киев, 2006.

Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1998.

Г у л ь Р. Киевская эпопея (ноябрь–декабрь 1918 г.) // Архив русской революции, издаваемый И. В. Гессеном. Берлин, 1921. Т. 2.

З е м с к а я Е. А. Михаил Булгаков и его родные: Семейный портрет. М., 2004.

Из семейной хроники Михаила Булгакова<sup>32</sup> // Паршин Л. Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. М., 1991.

К и с е л ь г о ф Т. Годы молодости // Литературная газета. 1991. № 20. 13 мая.

Л а к ш и н В. Я. Мир Михаила Булгакова // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

Л а к ш и н В. Я. О прозе Михаила Булгакова и о нем самом // Булгаков М. Избранная проза. М., 1966.

Л е с с к и с Г. А. Триптих М. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», «Записки покойника», «Мастер и Маргарита». Комментарии. М., 1999.

---

<sup>32</sup> Воспоминания Т. Кисельгоф



Л у р ь е Я. С. «Белая гвардия» // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

Л у р ь е Я. С., Р о г и н с к и й А. В. «Белая гвардия» // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

М я г к о в Б. Родословия Михаила Булгакова. М., 2003.

П е т р о в с к и й М. Мастер и Город: Киевские контексты Михаила Булгакова. Киев, 2001.

Р о г о з о в с к а я Т. А. В поисках компаса: Из «Дома Турбиных» к «Белой гвардии» // Булгаковский сб. Таллинн, 2001. Вып. 4.

Страницы молодости: из воспоминаний Т. Н. Кисельгоф // Булгаков М. Записки юного врача. Киев, 1995.

Т и н ч е н к о Я. Белая гвардия Михаила Булгакова. Киев; Львов, 1997.

Ч у д а к о в а М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. 2-е изд. М., 1988.

Ш к л о в с к и й В. Сентиментальное путешествие. М., 1990.

Я н о в с к а я Л. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983.

Я б л о к о в Е. А. Роман Михаила Булгакова «Белая гвардия». М., 1997.

M i l n e L. Mikhail Bulgakov: A Critical Biography. Cambridge, 1990.

С. Белая гвардия – В ходе работы над романом за-

главие несколько раз менялось – из разных источников известны варианты «Белый крест», «Алый мах», «Желтый прапор», «Полночный крест».

Название «Белая гвардия» было взято студенческими боевыми дружинами в Москве, который 27 октября 1917 г. вместе с юнкерскими и кадетскими отрядами выступили на защиту власти Временного правительства.

«Цветовые» обозначения вооруженных отрядов разных политических лагерей в России появились еще в 1905 г. (красная гвардия, черная сотня); «белой гвардией» в то время иногда называли боевую дружину Союза русского народа в Одессе. Однако аналогичное название, возникшее в 1917 г., никак с этим не связано – в данном случае белый цвет воспринимался прежде всего как цвет монархии (традиция, восходящая к французской истории: лилия – символ королевского дома Бурбонов). К тому же в романе Булгакова важны сакральные, «небесные» ассоциации: белая гвардия призвана сыграть роль святого войска, дать отпор адским силам (в этом сказывается и ирония автора).

Словосочетание «белая гвардия» вызывает ассоциации, в частности, со стихотворным триптихом М. Цветаевой «Дон» (1918) из цикла «Лебединый стан»:

Белая гвардия, путь твой высок:  
Черному дулу – грудь и висок.  
Божье да белое твое дело:  
Белое тело твое – в песок.  
Не лебедей это в небе стая:  
Белогвардейская рать святая  
Белым видением тает, тает...

(Ц в е т а е в а М. Собрание стихотворений, поэм  
и драматических произведений: В 3 т. М., 1990. Т. 1.  
С. 374)

*Посвящается Любви Евгеньевне Белозерской.* –  
Л. Е. Белозерская (1895–1987) – жена Булгакова в  
1924–1932 гг. Первая жена писателя Татьяна (впо-  
следствии носила фамилию Кисельгоф) вспоминала  
о ее жизни после развода с Булгаковым (они разо-  
шлись в 1924 г., и вскоре писатель женился на Любо-  
ви Белозерской): «Булгаков присылал мне деньги или  
сам приносил. Он довольно часто заходил. Однажды  
принес “Белую гвардию”, когда напечатали. И вдруг я  
вижу – там посвящение Белозерской. Так я ему бро-  
сила эту книгу обратно. Столько ночей я с ним сидела,  
кормила, ухаживала... он сестрам говорил, что мне  
посвятит... Он же когда писал, то даже знаком с ней  
не был».

Кстати, в 1918–1919 гг. Белозерская тоже находи-

лась в Киеве. В начале 1980-х гг. она вспоминала, что обстановка в городе периода гражданской войны отразилась в булгаковском романе в существенно смягченном виде: «Там ведь было что-то ужасное! Тогда я ничего не боялась – а теперь я вспоминаю то, что видела, – мне даже иногда это снится – вспоминаю, и меня охватывает страх!»

*В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем.* – Цитата из гл. 2 «Капитанской дочки» (1833) А. Пушкина (П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1995. Т. 8. Кн. 1. С. 287). Этот эпитаф вводит в роман образ «потопа» – вышедшего из берегов «моря житейского». В начале 1920-х годов В. Ходасевич писал о Пушкине: «С дурной погодой, с бурей, с ураганом сравнивает он все, что лежит вне поля воздействия отдельной личности. Злое правительство, народный мятеж, война, государственная необходимость, насилие массы над личностью, все, что сковывает индивидуальную свободу, все, что за стенами дома, – все это – дурная погода. Она – судьба» (Х о д а с е в и ч В. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924. С. 59).

*И судимы были мертвые по написанному в Книгах сообразно с делами своими...* – Цитата из Апокалипсиса (Откр 20: 12).

С. 179. Велик был год и страшен год по Рождестве

Христовом 1918, от начала же революции второй. – В. Лакшин отмечает переключку с начальными строками романа Г. Сенкевича «Огнем и мечом»: «Год 1647 был год особенный, ибо многообразные знамения в небесах и на земле грозили неведомыми напастями и небывалыми событиями. <...> Летом случилось великое затмение солнца, а вскоре и комета запылала в небесах» (С е н к е в и ч Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 2. С. 7).

С. ...*звезда пастушеская – вечерняя Венера*... – Эпитет «пастушеская» заставляет вспомнить, что Венера унаследовала от греческой Афродиты функции богини плодородия, вечной весны и жизни, а потому может быть представлена как покровительница крестьян; такая трактовка имеет проекцию на политическую ситуацию в романе, поскольку Городу противостоит именно крестьянская Украина. Как отмечает М. Чудакова, в «Белой гвардии» актуализируется образ звезды скорее утренней, чем вечерней: «...Предзвездное появление Венеры на небосклоне было знаком для пастухов, чтобы выпускать овец из овчарни на пастбище» (Ч у д а к о в а М. О. Антихристианская мифология советского времени: Появление и закрепление в государственном и общественном быту красной пятиконечной звезды как символа нового мира. Випперовские чтения – 1995: Библия в культуре и ис-

кусстве. М., 1996. Вып. 28. С. 355). Венера может быть воспринята и как путеводная (пастух = пастырь) звезда – начало романа вызывает в памяти евангельский мотив поклонения пастухов (Лк 2: 8-20).

С. ...*красный, дрожащий Марс* – В. Лакшин проводит аналогии с тютчевским стихотворением 1820-х годов «Цицерон», в котором закат Марса – «кровавой звезды» Рима – символизирует крах античной цивилизации. Однако человек, присутствующий при подобной катастрофе, оказывается причастен вечности, т. е. богоравен:

Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.

(Т ю т ч е в Ф. И. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 59).

С. ...и молодые Турбины не заметили... – Турбины – родовая фамилия автора романа (девичья фамилия бабки Булгакова по материнской линии). Л. Милн отмечает, что данная фамилия может быть понята и как «латинская»: лат. turbo, turbinis – вихрь, ураган, буря.

С. *Мама, светлая королева, где же ты?* – Мать писателя Варвара Михайловна (род. 1869), скоропостижно скончалась от тифа 1 февраля 1922 г. Ее

смерть послужила для Булгакова важным стимулом в работе над романом.

С. ...*дочь Елена...* – Одну из сестер автора «Белой гвардии» действительно звали Еленой (1902–1954; в замужестве – Светлаева); однако основным прототипом героини романа явилась другая сестра писателя, Варвара (1895–1954), в замужестве – Карум. После гимназии она училась в Киевской консерватории (которую не окончила), давала уроки музыки. Одна из сестер Булгаковых Надежда (1893–1971; в замужестве – Земская) писала о Варваре: «...Была самая энергичная из нас, веселая, хохотунья, музыкантша, любительница танцев и талантливый преподаватель при этом».

Булгаковская героиня ассоциируется с героиней античного мифа Еленой Прекрасной (похищение которой послужило поводом к Троянской войне). К тому же мифическая Елена – покровительница домашнего очага, а также мореплавателей и моряков: это соотносится с булгаковским образом Дома как оплота уюта, семейности в бурном море жизни.

С. ...повенчалась с капитаном Сергеем Ивановичем Тальбергом... – Прототипом Тальберга явился Леонид Сергеевич Карум (1888–1968), муж Варвары Булгаковой. Они поженились в мае 1917 г., а в мае 1918 г., когда начинается действие романа, приехали

из Москвы в Киев, в дом № 13 на Андреевском спуске (куда незадолго до этого вернулись и Булгаков с женой). Т. Кисельгоф вспоминала о Каруме: «Он вообще неприятный был. Его все недолюбливали. <...> Вообще он нехорошо поступил. Он ведь был у белых. <...> Потом пришли красные, он стал у красных <...> Но Варя его любила. Она потом Михаилу такое ужасное письмо прислала: “Какое право ты имел так отзываться о моем муже... Ты вперед на себя посмотри... Ты мне не брат после этого...”» Впоследствии дочь Варвары и Леонида Карумов Ирина поясняла отношение своего отца к шуринам – Михаилу Булгакову: «У него не укладывалось в голове, что работали сестры Михаила Афанасьевича, его жена, а он жил на их счет, ведя фривольный образ жизни! Конечно, в тот период отношения между папой и Михаилом Афанасьевичем были натянутыми. Но мой отец ценил талант шурина. <...> Он очень жалел тетю Тасю (жену Булгакова Татьяну. – Е. Я.), к которой Михаил Афанасьевич относился высокомерно, с постоянной иронией и как к обслуживающему персоналу».

Что касается фамилии «Тальберг», она была хорошо известна в Киеве и вызывала малоприятные ассоциации. Юрист Н. Тальберг при Скоропадском занимал пост вице-директора департамента полиции и был ненавидим как петлюровцами, так и большевиками.



ми.

*С. ...когда старший сын, Алексей Васильевич Турбин, после тяжелых походов, службы и бед вернулся на Украину...* – Образ Алексея Турбина явно автобиографичен; однако автобиографичность романа не следует абсолютизировать – Булгаков пишет не семейную хронику и в ряде случаев явно нарушает историческую «достоверность»: так, детей в семье Булгаковых было не трое (как младших Турбиных в «Белой гвардии»), а семеро – три брата и четыре сестры (Михаил был старшим). К тому же автор романа в годы Первой мировой войны провел на фронте лишь около трех месяцев (в 1916 г. был врачом в прифронтовом госпитале). В Киев же в марте 1918 г. приехал (причем не один, а вместе с женой) из Вязьмы, где служил в местной больнице.

*С. ...в Город...* – Несмотря на узнаваемый облик Киева, в романе он назван Городом. Тем самым намечены аналогии с античным Римом периода упадка (одно из именовании античного Рима – Urbs): это город, противопоставленный «миру», как бы центр мира.

*С. ...снесли по крутому Алексеевскому спуску на Подол...* – Имеется в виду Андреевский спуск в Киеве, по имени Андреевской церкви в честь Андрея Первозванного – «первого из двенадцати апостолов Христовых», который, по преданию, проповедовал русским

язычникам учение Христово и поставил крест на Киевских горах. Однако Булгаков изменяет реальное название улицы – оно перекликается с именем главного героя и воспринимается как намек на «линию» жизни Алексея Турбина. Вместе с тем Алексей Турбин вызывает ассоциации с житийным Алексием – человеком Божьим.

*С. Когда отпевали мать, был май...* – Смерть матери Турбинных совпадает по времени с уходом матери Булгакова Варвары Михайловны из семейной квартиры в доме № 13 на Андреевском спуске ко второму мужу И. П. Воскресенскому (1873–1966), квартира которого находилась неподалеку (Андреевский спуск, 38). По воспоминаниям Т. Кисельгоф, Булгаков изначально был против отношений матери с будущим отчимом, начавшихся еще в конце 1900-х гг. (В. А. Булгакова овдовела в 1907 г., оставшись в 37-летнем возрасте с семьей детьми).

*С. Отец Александр...* – Прототипом послужил А. Глаголев (1872–1937) – священник церкви Николая Доброго в Киеве (в ней Михаил Булгаков и Татьяна Лаппа венчались 26 апреля 1913 г.), друг семьи Булгаковых, профессор Киевской Духовной академии.

*С. 180...Николка...* – Образ Николки Турбина объединил черты двух младших братьев писателя – Николая и Ивана. Н. Булгаков (1898–1966) в 1917 г. стал

студентом медицинского факультета Киевского университета, но вскоре был призван в армию и поступил в Алексеевское инженерное училище, – а в декабре 1917 г. вернулся к учебе в университете. В сентябре 1919 г. его призвали в Добровольческую армию и направили в Одесское Сергиевское артиллерийское училище (которое он и окончил). В октябре 1920 г. училище эвакуировалось в Константинополь, и родные около двух лет не знали о судьбе Н. Булгакова, видимо, считая его погибшим. В январе 1922 г. до Николая, жившего в Загребе, дошло письмо от матери из Киева, и он прислал ей ответ (письмо от 16 января); вскоре о том, что брат нашелся, узнал и Михаил Булгаков. Николай окончил медицинский факультет Загребского университета, стал бактериологом, в 1929 г. переехал в Париж и жил во Франции до конца своих дней. Другой младший брат М. Булгакова, Иван (1900–1969), еще не успевший окончить гимназию, в декабре 1918 г. вместе с Карумом выехал из Киева в Одессу, затем служил в штабе Астраханской армии. Отправившись в 1920 г. в эмиграцию из Крыма, И. Булгаков оказался в Париже, где сначала работал таксистом, затем стал балалаечником в русском оркестре.

«Белая гвардия» имеет множество перекличек с романом Л. Толстого «Война и мир»; так, критик А. Лежнев проводил параллель между Николкой Турбиным

и Петей Ростовым (Л е ж н е в А. Литературные заметки // Красная новь. 1925. № 7. С. 269).

С. ...стояли у ног старого коричневого святителя Николы. – Мать Турбиных отпевают в церкви Николы Доброго, и образ Николки Турбина ассоциируется с Николаем Мирликийским, простонародным Николой.

С. ...*все что ни происходит, всегда так, как нужно, и только к лучшему.* – Возможно, это намек на историю женитьбы М. Булгакова на Т. Лаппа. Мать была против этого брака, но 30 марта 1913 г. писала дочери Надежде, что друг семьи священник Глаголев посоветовал ей не препятствовать сыну: «...Он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что “Бог устроит все к лучшему”».

С. ...*проводили мать через весь громадный город на кладбище, где под черным мраморным крестом давно уже лежал отец.* – Отец автора романа А. И. Булгаков (1859–1907) похоронен на Байковом кладбище в Киеве; там же в 1922 г. похоронили мать писателя.

С. ...*в доме № 13 по Алексеевскому спуску...* – В доме № 13 по Андреевскому спуску (построен в 1889 г.) семья Булгаковых жила с 1906 по 1919 г. В настоящее время – Дом-музей М. А. Булгакова.

С. ...«*Саардамский Плотник*»... – «Саардамский Плотник» (1849) – книга П. Фурмана о юности Петра I

и его пребывании в Саардаме (Голландия).

*С. ...часы играли гавот...* – Гавот – французский народный танец.

*С. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, <...> били в столовой черные стенные башенным боем.* – В «Белой гвардии» немало реминисценций из весьма популярного в начале 1920-х гг. романа Б. Пильняка «Голый год» (1921) – сравним описание: «Часы у зеркала – бронзовые пастух и пастушка (еще уцелевшие) – здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический осьмнадцатый век, им отвечает кукушка из спальни матери, Арины Давидовны» (П и л ь н я к Б. Романы. М., 1990. С. 68).

*С. ...умер отец-профессор...* – А. И. Булгаков был профессором Киевской духовной академии.

*С. ...золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры...* – Как утверждала Т. Кисельгоф, квартира Булгаковых имела не столь респектабельный облик: «...В квартире не такая мебель была, как он описывает. Правда, бархат был, но такой... потертый. Не было этого, чтобы вазы, цветы, мол, стояли. Скромная мебель была».

*С. Давно уже начало мести с севера, и метет, и метет, и не перестает, и чем дальше, тем хуже.* – Помимо вариации на тему бурана из «Капитан-

ской дочери», возникает ассоциация с пушкинским стихотворением «Бесы» (1830):

Хоть убей, следа не видно;  
Сбились мы. Что делать нам!  
В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам

(Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1995. Т. 2. Кн. 1. С. 226).

С. 182. «Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь». – Откр 16: 4.

С. Дом накрыло шапкой белого генерала... – В воспоминаниях К. Паустовского читаем: «Как-то <...> тихим и снежным днем, ко мне в Пушкино приехал Булгаков. Он писал в то время роман “Белая гвардия”, и ему для одной из глав этого романа нужно было обязательно посмотреть “снежные шапки” – те маленькие сугробы снега, что за долгую зиму накапливаются на крышах, заборах и толстых ветках деревьев» (Паустовский К. Булгаков // Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 103–104).

С. 182–183...в нижнем этаже <...> засветился слабенькими желтенькими огнями инженер и трус, буржуй и несимпатичный, Василий Иванович Лисович... – В 1909 г. дом № 13 по Андреевскому спуску, в верх-

нем этаже которого Булгаковы к тому времени жили уже около трех лет, приобрел инженер Василий Павлович Листовничий. По воспоминаниям его дочери И. Кончаковской, две семьи «жили как Монтеки и Капулетти» – причиной, в частности, была врачебная практика Булгакова в 1918–1919 гг.: «Больных принимал, люэтиков (сифилитиков. – Е. Я.) своих. <...> Так вот, у него всегда там почему-то краны были открыты. И все переливалось через край. И протекало. И все на наши головы... <...> Тогда отец мой <...> поднимается наверх и говорит: “Миша, надо все-таки как-то следить за кранами, у нас внизу совсем потоп...” А Миша ответил ему так грубо, так грубо...» (Н е к р а с о в В. Возвращение в дом Турбиных. Киев, 2004. С. 104). Т. Кисельгоф вспоминала про семью домовладельца: «Они Булгакова терпеть не могли и даже побаивались. Говорили про него: “Неудавшийся доктор”. Все время жаловались: “Нет покоя от вас...”»

Листовничий погиб в годы Гражданской войны. Он служил у белых, а с приходом красных был арестован как заложник. Накануне их ухода из Киева, в конце августа 1919 г., его повезли на пароходе по Днепру в сибирскую ссылку; он пытался бежать, однако был убит.

С. 183. *Он сочувствует большевикам.* <...> Улан Леонид Юрьевич. – «Коллаж» надписей и рисунков напоминает «Жалобную книгу» А. Чехова:

Раскрывайте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера!?»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я – морда твоя»

«Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев» (Ч е х о в А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1985. Т. 2. С 34–35).

*С. Рисунок: рожа Момуса.* – Момус (Мом) – боже-ство злословия в греческой мифологии.

*С. Бей Петлюру!* – С. Петлюра в 1912–1917 гг. был редактором журнала «Украинская жизнь» (Москва); после Февральской революции являлся председателем Украинского фронтового комитета, затем военным министром Центральной Рады и главнокомандующим войсками Украинской Народной Республики (УНР). С ноября 1918 г. стал одним из руководителей украинской Директории. 14 ноября 1918 г. Петлюра подписал в Белой Церкви воззвание о восстании против власти гетмана и был провозглашен командующим войсками Директории. 14 декабря петлюровские войска заняли Киев. В начале февраля 1919 г. они ушли из Киева, затем еще дважды (в августе 1919-го



и в мае 1920-го) туда возвращались. Осенью 1920 г. Петлюра эмигрировал в Польшу, а затем во Францию, где в 1926 г. был убит.

С. ...*Мышлаевского*... – Одним из прототипов этого персонажа считается Николай Сынгаевский, с матерью которого дружила В. Булгакова, мать писателя. Семья Сынгаевских жила на Мало-Подвальной улице. В качестве другого прототипа исследователи указывают на приятеля Булгаковых штабс-капитана П. Бржезицкого – в годы Первой мировой войны он находился на фронте, а летом 1918 г. оказался в Киеве.

Фамилия персонажа, вероятно, «заимствована» у известного военного историка и военного деятеля генерала А. Мышлаевского, который в 1900–1909 гг. был начальником Главного штаба, а с марта 1909 г. – начальником Главного управления Генштаба. После Октябрьского переворота, с декабря 1917 г. являлся председателем военно-исторической комиссии по обобщению опыта Первой мировой войны при штабе Кавказского военного округа (Советская военная энциклопедия. М., 1978. Т. 5. С. 455).

С. ...*Карася*... – Как вспоминала Т. Кисельгоф, у Николая Сынгаевского был приятель по прозвищу Карась: «Тоже приходил к Булгаковым. Они все друзьями детства были»; «Невысокого такого роста, толстенький, лицо круглое. Симпатичный был».

С. ...*Шервинского*... – Прототип Шервинского – Юрий Леонидович Гладыревский (1898–1968), его брат Николай (1896–1973) был другом Булгакова. Гладыревские доводились двоюродными братьями Каруму. Подпоручик лейб-гвардии 3-го Стрелкового полка Ю. Гладыревский прошел войну, имел боевые награды, в 1918 г. служил офицером штаба князя Долгорукова, а после прихода красных в феврале 1919 г. остался в Киеве, работая на белогвардейскую разведку; впоследствии эмигрировал, жил в Болгарии, затем во Франции.

Фамилия персонажа, как отметил А. Арьев (А р ь е в А. «Что пользы, если Моцарт будет жив...»: Михаил Булгаков и Юрий Слезкин // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 439), напоминает о романе Ю. Слезкина «Ольга Орг», где соблазнителя и любовника главной героини зовут Владеком Ширвинским (С л е з к и н Ю. Ольга Орг. Берлин, 1922. С. 19 и дал.). Вероятно, сам Слезкин, которого звали Юрием Львовичем, в какой-то мере послужил прототипом булгаковского персонажа. Вместе с тем фамилия ассоциируется с известным переводчиком С. Шервинским (1892–1991), с которым Булгаков был знаком в 1920-1930-х гг.

С. *Кому – на, а кому – не.* – Каламбурное «разложение» слова «коммуна» было популярно в годы Граж-

данской войны – ср. эпизод книги И. Одоевцевой «На берегах Невы»: «Маяковский кричал с эстрады: “Комуна! Кому – на! Кому – нет! Кому зубы прикладом выставила, кому – как мне, – вставила зубы”. ». И улыбался новой великолепной вставной челюстью» (О до е в ц е в а И. На берегах Невы. СПб., 2006. С. 262–263).

С. ...я взял билет на Аиду. – «Аида» (1870) – опера Дж. Верди.

С. (*Нарисован весьма похожий браунинг*). – Браунинг (по фамилии конструктора и промышленника) в данном случае – система автоматических пистолетов.

С. *Июнь. Баркарола*. – Имеется в виду пьеса П. Чайковского «Баркарола (Июнь)» из цикла «Времена года». Ср. в романе «Ольга Орг» эпизод студенческого новогоднего костюмированного бала: «Пьеро, весь белый и грустный, играл баркаролу Чайковского “Июнь”» (С л е з к и н Ю. Ольга Орг. С. 62).

С. *Недаром помнит вся Россия / Про день Бородинна*. – Строки из стихотворения М. Лермонтова «Бородино» (1837).

С. *Я таки приказываю посторонних вещей на печке не писать <...> Комиссар Подольского района. Дамский, мужской и женский портной Абрам Пружинер*. – Ср. «Жалобную книгу»: «Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника

станции Иванов 7-й» (Ч е х о в А. П. Собр. соч. Т. 2. С. 35). Кстати, во время восстания в Киеве в январе-феврале 1918 г. штабом красногвардейцев на Подоле руководили портные Кугель и Цимберг.

*С. ...постаревший и мрачный с 25 октября 1917 года...* – 25 октября (7 ноября) 1917 г. в России произошел большевистский переворот. В Киеве, после нескольких дней боев, 31 октября (13 ноября) власть перешла к Центральной Раде: 7 (20) ноября она провозгласила Украинскую Народную Республику в составе России, а 11 (24) января 1918 г. объявила о выходе из федерации и провозгласила УНР суверенным государством. Рада стремилась к созданию федеративного Украинского государства из девяти южных губерний бывшей Российской империи.

*С. Дружина первая, пехотная, третий ее отдел.* – С октября 1918 г. в Киеве начали формироваться русские воинские части, военнослужащие которых носили форму российской армии. Николка, вероятно, является добровольцем дружины генерала Л. Кирпичева, действительно имевшей разбивку на отделы и подотделы.

*С. Сапоги фасонные, / Бескозырки тонные, / То юнкера-инженеры идут!* – Переделанная на «инженерный» лад песня Николаевского кавалерийского училища «Бутылочка».

*С. Училище. Облупленные александровские колонны, пушки. <...> Испугался генерал Богородицкий и сдался, сдался с юнкерами.* – Младший брат писателя Н. Булгаков был в числе юнкеров, защищавших власть Временного правительства в октябрьских боях 1917 г. Он находился в Алексеевском инженерном училище, защитники которого в начале ноября сдались. В ночь с 29 на 30 октября Н. Булгаков вместе с матерью чуть было не погиб (В. Булгакова рассказывала об этом в письме к дочери Надежде от 10 ноября 1917 г.): в середине дня 29 октября ей удалось разыскать Николая, уже два дня находившегося в Инженерном училище, но когда через несколько часов она отправилась домой и Николай пошел ее провожать, они попали под сильный обстрел. Этот случай отражен в упоминавшемся рассказе Булгакова «Дань восхищения»:

В тот же вечер мать рассказывает мне о том, что было без меня, рассказывает про сына:

– Начались беспорядки... Коля ушел в училище три дня назад и нет ни слуху <...>

...стене какой-то белой... вижу, вдруг что что-то застучало по стене в разных местах и полетела во все стороны штукатурка...

– А Коля... Коленька...

Тут голос матери становится вдруг нежным и теплым, потом дрожит, и она всхлипывает. Потом

утирает глаза и продолжает:

– А Коленька обнял меня, и я чувствую, что он... он закрывает меня... собой закрывает...

Тут мать опять останавливается и опять вытирает глаза.

– Да, закрывает, а сам все бормочет:

Ах, мамочка, ах, мамочка!

Вижу я – выбежала к белой стене какая-то женщина с ребенком маленьким на руках, а за ней военный какой-то и еще какой-то человек.

Военный вдруг с размаху кинулся на землю, а Коля мне кричит:

– Ложись, ложись! – и тянет меня к земле...

Бросились мы все на землю, только вижу – женщина замедлилась... как-то странно качнулась, и вдруг ребенка уронила на землю и сама повалилась.

И как глянула я, что возле нее лужа крови, вдруг чувствую, что тошно, скверно... (Б у л г а к о в М. А. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 2002. Т. 8. С. 27).

В конце концов В. Булгаковой удалось благополучно добраться до дома, а Н. Булгаков провел в училище еще около двух суток.

*С. В окнах настоящая опера «Ночь под Рождество» – снег и огонечки.* – Имеются в виду опера «Ночь перед Рождеством» (1895) Н. Римского-Корсакова или П. Чайковского «Черевички» (1885), написанные по мотивам повести Гоголя.

С. 187... *пила-фраже*... – Пила – здесь: мелкозубчатый нож. Фраже – мельхиоровые изделия (в том числе столовые приборы) с серебряным покрытием.

С. *Застрял где-то Тальберг со своим денежным гетманским поездом*... – В период формирования офицерских дружин в Киеве Карум вступил в одну из них; во время дежурства, в частности, сопровождал поезд с деньгами.

С. *Перед Еленю остывающая чашка и «Господин из Сан-Франциско»*. <...> «...мрак, океан, вьюгу». – Цитируются заключительные слова рассказа И. Бунина «Господин из Сан-Франциско» (1915) – по воспоминаниям В. Катаева, финал этого произведения Булгаков знал наизусть.

С. *Сама уже видела нескольких с красными бантами*. – С началом революции в Германии в ноябре 1918 г. германское командование начало отводить войска с Восточного фронта. 13 декабря 1918 г. Всеукраинский съезд Советов германских солдат в Киеве заключил договор о мире с Директорией, так что гетман Скоропадский полностью лишился поддержки со стороны немцев.

С. 189. Башлык заиндевел... – Башлык – суконный остроконечный капюшон, надеваемый в непогоду поверх какого-либо головного убора; имеет длинные концы для обматывания вокруг шеи. В начале XX в.

являлся элементом военной формы.

С. – Из-под Красного Трактира. – Среди источников, которыми пользовался Булгаков при работе над романом, – воспоминания будущего писателя и литературного критика Р. Гуля (1896–1986) «Киевская эпопея», опубликованные в 1921 г. в Берлине. Осенью 1918 г. Гуль участвовал в обороне Киева от петлюровцев, а после взятия города был депортирован в Германию. В начале 1920-х гг. работал в берлинской редакции газеты «Накануне», в московской редакции которой сотрудничал Булгаков. Одна из глав воспоминаний Гуля носит название «Красный Трактир».

С. 191...самого гетмана всея Украины обложил гнуснейшими площадными словами. – Гетманом Украины в апреле-декабре 1918 г. был П. Скоропадский (1873–1945); после ухода немцев эмигрировал в Германию.

С. 192. – Погоди-ка, он не белградский гусар? – Полк с таким названием не существовало; возможно, подразумевается Белгородский уланский полк, входивший в состав Киевского военного округа. Вместе с тем название ассоциируется с Белогорской крепостью, где происходит действие романа «Капитанская дочка». К тому же в романе «Война и мир» Николай Ростов воюет в Павлоградском гусарском полку (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1930. Т. 9.



С. 155).

С. ...*мужички-богоносцы достоевские!*.. – Слово «богоносец» звучит в романе «Бесы» – оно употребляется Иваном Шатовым, который цитирует мысль, некогда высказанную Николаем Ставрогиным: «Знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ-“богоносец”, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога, и кому единому даны ключи жизни и нового слова...» (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л., 1990. Т. 7. С. 235).

С. 193...*святой землепашец, сеятель и хранитель...* – Цитируется стихотворение Н. Некрасова «Размышления у парадного подъезда»:

Назови мне такую обитель,  
Я такого угла не видал,  
Где бы сеятель твой и хранитель,  
Где бы русский мужик не стонал?

(Н е к р а с о в Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 2. С. 49)

С. *Нашли, наконец, перевязочную летучку...* – Т. е. санитарную повозку.

С. ...*замок Тамары...* – Название винного погребка. Реалия, по-видимому, «перенесена» из Владикавказ – Т. Кисельгоф вспоминала: «Это во Владикавказе

был такой. Водка там была жуткая!»

С. 194...*главная причина этому в двухслойных глазах капитана генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича...* – Как подчеркнула М. Чудакова, фамилией Тальберг явно напоминает толстовского Берга, столь же чуждого духу семьи Ростовых, как и Тальберг – духу Турбиных. Упоминание о «двухслойных глазах» заставляет вспомнить и о Борисе Друбецком: «Глаза Бориса, спокойно и твердо глядевшие на Ростова, были как будто застланы чем-то, какая-то заслонка – синие очки общежития были надеты на них» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1931. Т. 10. С. 41).

С. *Оба значка – академии и университета...* – Карум окончил в 1908 г. Киевское военное училище, в декабре 1917 г. – Александровскую военно-юридическую академию в Петрограде, а в апреле 1918 г. сдал экстерном выпускные экзамены на юридическом факультете Московского университета.

С. *Николка, шмыгнув длинным носом...* – Сопоставляя внешность и полное имя персонажа – Николай Васильевич, исследователи отмечают, что он ассоциируется с Гоголем.

С. 195. *Возможно, разложившиеся сердюки.* – Сердюки – историческое название гетманской казачьей гвардии; при Скоропадском была сформирована сер-

дьюцкая добровольческая дивизия.

С. 196. *Тальберг же бежал* – Как замечает Г. Лескис, мотив бегства мотивирован не только биографией Карума, но и автобиографически: летом 1921 г., отправив жену из Батума в Москву (через Одессу), Булгаков сам намеревался бежать за границу. Т. Кисельгоф вспоминала: «В общем, он говорит: “Нечего тут сидеть, поезжай в Москву”. Поделили мы последние деньги, и он посадил меня на пароход в Одессу. Я была уверена, что он уедет, и думала, что это мы уже навсегда прощаемся».

С. *В марте 1917 года Тальберг был первый, – пойте, первый, – кто пришел в военное училище с широченной красной повязкой на рукаве.* – По воспоминаниям современников, в мае 1917 г. Карум при всех орденах и с красной повязкой на рукаве прибыл на собственную свадьбу, чем очень рассердил родственников невесты.

С. ...при известиях из Петербурга... – М. Петровский обращает внимание на то, что Булгаков в романе нигде не называет Петербург Петроградом, хотя переименование состоялось еще в начале Первой мировой войны.

С. *Тальберг как член революционного военного комитета...* – Карум являлся членом исполнительного комитета Совета военных депутатов; кроме того, был

избран делегатом от Киевского гарнизона на Всероссийское совещание Советов и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, на котором 31 марта 1917 г. произнес речь.

С. ...арестовал знаменитого генерала Петрова. – Имеется в виду генерал-адъютант Н. Иванов (1851–1919), который во время Февральской революции был назначен командующим Петроградским военным округом и послан Николаем II с корпусом войск подавить петроградское восстание. 10 марта 1918 г. Иванов прибыл в Киев, где был помещен под домашний арест. 14 марта Керенский (тогда министр юстиции Временного правительства) приказал доставить Иванова в Петроград – для этого, в частности, был командирован Карум.

С. 197...они останутся здесь, в Городе, ибо это их Город, украинский город, а вовсе не русский... – 4 (17) марта 1917 г. Центральной Радой в Киеве была провозглашена Украинская Народная Республика.

С. ...вышла действительно оперетка – «Поразительно уместно в этом контексте имя Петлюры – видного театрального критика» (К р ю к о в а Г. Об историзме романа М. А. Булгакова «Белая гвардия» // Творчество Михаила Булгакова: К столетию со дня рождения писателя. Киев, 1992. С. 10), печатавшего в столичных журналах «сентиментальные статьи о возрожде-

нии украинского национального театра» (С м е л я н с к и й А. М. Булгаков в Художественном театре. 2-е изд. М., 1989. С. 19).

*С. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве.* – 9 февраля 1918 г. Киев был взят Красной гвардией, которая пришла на помощь начавшемуся 29 января восстанию против Центральной Рады, поднятому Киевским комитетом РСДРП(б). Правительство УНР (во главе с Вс. Голубовичем) переехало в Житомир.

*С. Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы...* – Немецкое наступление на Украине началось 18 февраля 1918 г., и 1 марта германская армия вошла в Киев.

*С. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами.* – По мирному договору РСФСР с Германией (Брестский мир), подписанному 3 марта 1918 г., советские войска были выведены с территории Украины; в условиях немецкой оккупации 7 марта восстановлена власть Центральной Рады, которая действовала до конца апреля 1918 г.

С. ...*в цирке весело гудели матовые электрические шары <...> выбирали «гетьмана всея Украины».* – После того как правительство Центральной Рады было разогнано немецкой военной администрацией, «гетманом всея Украины и войск козацких» был избран П. Скоропадский. Избрание действительно состоялось в киевском цирке – на «Съезде хлеборобов» 29 апреля 1918 г.

С. 198. Тальбергу было бы хорошо, если бы все шло прямо, <...> тщетно Сергей Иванович старался угадать, что будет. – Очевидна соотнесенность Тальберга с пушкинским Германном; в духе героя повести «Пиковая дама» (1833), он хотел бы играть наверняка, не рискуя.

С. – *Я думаю, что мне беспрепятственно удастся пробраться через Румынию в Крым и на Дон.* – После занятия Киева петлюровцами Карум уволили со службы. В конце 1918 г. он принял решение отправиться на Дон, но не через Германию или Румынию, а через Одессу. По просьбе тещи Карум взял с собой Ивана Булгакова (мать беспокоилась, что младшего сына могут мобилизовать петлюровцы). Уехав из Киева 20 декабря, Карум и И. Булгаков 24 декабря прибыли в Одессу, откуда морем отправились в Новороссийск. В 1919 г. Карум служил в Астраханской армии, затем в Екатеринодаре – в Киевском Константинов-

ском военном училище, вместе с которым в августе 1919 г. эвакуировался в Феодосию. 7 сентября Карум вернулся в Киев, где пробыл несколько дней и уехал, забрав с собой жену; вместе с ними уехал и Михаил Булгаков, отправившийся в Добровольческую армию – в Ростов, затем на Северный Кавказ. Карум преподавал в военном училище в Феодосии и после ухода белых из Крыма остался в этом городе. В октябре 1921 г. вместе с женой и дочерью возвратился в Киев.

С. 199... *Деникин был начальником моей дивизии.* – В конце 1917 г. на Северном Кавказе генералы Л. Корнилов, М. Алексеев, А. Деникин начали создавать Добровольческую армию; с апреля 1918 г. ею стал командовать Деникин. В 1908–1916 гг. Карум служил в 19-м Костромском пехотном полку в Житомире; к той же дивизии принадлежал 17-й Архангелогородский пехотный полк, командиром которого являлся Деникин.

С. ... *Я за сестру тебя молю, / Сжался, о, сжался ты над ней! / Ты охраняй ее.* – Слова каватины Валентина (брата Маргариты) из оперы Ш. Гуно «Фауст» (1859). Как вспоминала сестра писателя Н. Земская, в гимназические и студенческие годы Булгаков слушал эту оперу 41 раз. По словам Т. Кисельгоф, он нередко пел фрагменты «Фауста» – чаще всего именно каватину Валентина, а также куплеты Мефистофе-

ля («На земле весь род людской...»). Вместе с тем в период работы над романом «Белая гвардия» оперный Валентин ассоциировался для Булгакова и с писателем Валентином Катаевым (1897–1986), у которого в 1922–1923 гг. был роман с младшей сестрой Булгакова Еленой. Катаев даже просил у Булгакова руки его сестры, однако тот был категорически против этого брака. Тогда же Катаев описал эту историю в рассказе «Зимой» (первоначальное заглавие – «Печатный лист о себе» с подзаголовком «Глава из повести “Похождения трех бездельников”»), выведя Булгакова в образе мещанина-прагматика по имени Иван Иванович.

Впрочем, все эти обстоятельства, видимо, не слишком повлияли на приятельские отношения двух писателей. Судя по воспоминаниям Л. Карума, 21 апреля 1923 г. (буквально через несколько дней после выхода катаевского рассказа) Булгаков с Катаевым вместе поехали в Киев. Двумя годами позже, 2 мая 1925 г., Катаев подарит Булгакову свой сборник «Бездельник Эдуард» (куда вошел и упомянутый рассказ) с надписью: «Дорогому Михаилу Афанасьевичу Булгакову с неизменной дружбой плодовитый Валюн». Через много лет, в середине 1970-х гг., Катаев будет вспоминать историю своих отношений с Еленой и Михаилом Булгаковыми в автобиографической книге «Алмазный



мой венец» (автор «БГ» именуется здесь синеглазым, а его сестра – синеглазкой):

...У меня навсегда сохранился четкий и точный профиль девушки с гладкими пуговичками на манжетах шелковой блузки <...>...Мы слушали «Гугенотов» в оперном театре Зимина, и я чувствовал прикосновение к рукаву ее белой шелковой блузки, до озноба холодной снаружи и по-девичьи горячей внутри, и я не мог себе представить, что скоро она должна уехать в Киев, где, как она уже мне призналась, у нее есть жених, которого она до приезда в Москву любила, а теперь разлюбила и на всю жизнь любит только меня (К а т а е в В. П. Собр. соч.: В 10 т. М., 1985. Т. 7. С. 77–78).

С. ...старший потому, что был человек-тряпка. – Булгаков неоднократно аттестовал своих автобиографических персонажей и себя самого как слабого, безвольного человека. Так, в дневниковой записи от 26 октября 1923 г., размышляя о вере в Бога, он говорит: «Может быть, сильным и смелым он и не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче»; в ином контексте: «Я, к сожалению, не герой». Примечательно, что записку жене 7 августа 1933 г. после ссоры между ними Булгаков, считая себя виноватым, подписывает: «Алексей Турбин».

С. 201...проклиная скупость супруги инженера,

*Ванды Михайловны.* – Жену Листовниченко звали Ядвигой Викторовной (девичья фамилия – Крынская).

*С. ...получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку...* – Т. е. талон на право приобретения определенного количества сахара. Лисович раздает продовольственные карточки как председатель домового комитета – «старший» по дому.

*С. 203. Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 «катеринок», 9 «петров», 10 «николаев I-х»...* – Имеются в виду облигации пятипроцентного государственного займа, а также 100-, 500- и 50-рублевые банкноты.

*С. ...Анна и два Станислава.* – Просторечные названия орденов. Кстати, кавалером именно этих орденов – Св. Станислава и Св. Анны – был отец автора романа А. И. Булгаков.

*С. 204. Все в ящиках эйнемовского печенье...* – Печенье фирмы «Ф. Эйнем» (после революции – фабрика «Красный Октябрь» в Москве).

*С. ...какие-то Тушинские Воры с отмычками вскрыли тайник.* – Тушинский вор – самозванец Лжедмитрий II, чье войско в 1608–1609 гг. стояло в Тушине под Москвой.

*С. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор.* – Червонный валет – преступник, мошенник, плут. В 1860-х гг. в России по-

лучил широкую известность роман П. Понсон дю Террайля «Клуб червонных валетов, или Похождения Рокамболя» – о шайке шантажистов и мошенников, спекулировавших на чужих любовных тайнах. Червонная масть символизировала именно «сердечные» секреты, но постепенно выражение «червонный валет» получило более широкое значение.

С. 205. *На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чертова кукла».* – Имеется в виду газета «Чертова перечница», издававшаяся журналистом И. Василевским (носившим псевдоним Не-Буква). В 1918–1923 гг. его женой была Л. Белозерская, впоследствии (в 1924 г.) вышедшая замуж за Булгакова.

С. *Голым профилем на ежа не сядешь!* – Эпиграф номера «Чертовой перечницы» от 29 ноября 1918 г.: «На ежа – голым профилем не сядешь!»

С. *Арбуз не стоит печь на мыле, <...> Родзянко будет президентом.* – Цитируется «Азбука Чертовой перечницы», сочиненная А. Дейчем и М. Кольцовым. Г. Брейтман – писатель, издатель киевской газеты «Последние новости». М. Родзянко – лидер партии октябристов, в 1911–1917 гг. председатель III и IV Государственной думы.

С. 206... *адъютант в штабе князя Белорукова...* – Князь А. Долгоруков (1873–1948) в конце ноября

1918 г. был назначен главнокомандующим вооруженными силами на Украине.

*С. ...по александровской гимназической кличке... –* 1-я Киевская гимназия, которую окончил Булгаков, с 1912 г. (в ознаменовании 100-летнего юбилея Отечественной войны) называлась Императорской Александровской.

*С. ...а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. –* Мортира – короткоствольное орудие для навесной стрельбы, предназначенное в основном для разрушения оборонительных сооружений.

*С. 207...пел Шервинский эпиталаму богу Гименю... –* Эпиталама (свадебная песня) из оперы А. Рубинштейна «Нерон» (1877). Гименей – бог брака в греческой мифологии.

*С. Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. –* Сравним сцену «Войны и мира», в которой проигравшийся Ростов, вернувшись домой, слышит пение Наташи: «Эх, жизнь наша дурацкая! – думал Николай. – Все это, и несчастье, и деньги, и Долохов, и злоба, и честь – все это вздор... а вот оно – настоящее...» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 59).

*С. Петь он будет в La Scala... –* «Ла Скала» – оперный театр в Милане.

*С. ...я сам видел на Крещатике сербских кварти-*

*рьеров... – Квартирьереры – военнослужащие, заранее подыскивающие квартиры для прибывающей войсковой части. Сербия воевала на стороне Антанты.*

*С. 208...Карасев Стейер... – Стейер (Штейер) – марка австрийского пистолета.*

*С. ...а сингалезов все нет и нет, вероятно, они, как сапоги, черные... – Николка путает сенегальцев (т. е. жителей Сенегала, африканцев) и сингалезов (сингалов), населяющих остров Цейлон.*

*С. Завтра, я уже решил, я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. – Как вспоминала Т. Кисельгоф, Булгаков и его друзья действительно решили принять участие в защите Киева от петлюровцев, однако к тому моменту Киев был уже фактически взят, так что Булгаков вскоре вернулся домой: «Пришел Сынгаевский и другие Мишины товарищи и вот разговаривали, что надо не пустить петлюровцев и защищать город, что немцы должны помочь... а немцы все драпали. И ребята сговаривались на следующий день пойти. Остались даже у нас ночевать, кажется. А утром Михаил поехал. Там медпункт был. <...> И должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы»; «сказал, что все было не готово, генералы их предали, все побросали и ушли. И все*

кончено – петлюровцы уже вошли в город». Младшие же братья Булгаковы, Николай и Иван, остались в здании гимназии, где чуть было не погибли.

*С. ...мы бы Троцкого прихлопнули в Москве, как муху.* – Именно Л. Троцкий фигурирует в «Белой гвардии» как ключевая фигура в большевистском руководстве. После октябрьского переворота он был первым народным комиссаром иностранных дел и в этом качестве подписал от имени России Брестский мир, а в годы Гражданской войны являлся военным комиссаром – командующим армией и флотом. С 1923 г., во время болезни Ленина, началось оттеснение Троцкого со всех руководящих постов, так что его «демонизация» в булгаковском романе вполне соответствовала общей тенденции.

*С. 210. – Пять процентов, а девяносто пять – русских!..* – Л. Милн приводит статистические данные, согласно которым в 1917 г. доля украинского населения в Киеве составляла лишь 16,7 %, в то время как русского – 50,3 %, еврейского – 19 %, польского – 9,3 %.

*С. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь: русская армия, и никаких звезд.* – Теряя власть, Скоропадский из конъюнктурных соображений оставил политику «украинизации» и стал призывать к восстановлению «единой Рос-

сии», пытался наладить связи с командованием Добровольческой армии на Дону.

*С. На Владимирской улице уже развеваются трехцветные флаги.* – Т. е. государственные флаги Российской империи.

*С. 211. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялась свита гетмана?* – Скоропадский ездил к Вильгельму II в сентябре 1918 г.

*С. 212...с ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна.* – Мать Николая II (вдова Александра III) Мария Федоровна после революции действительно жила и умерла в Дании (в 2006 г. ее останки были перезахоронены в Санкт-Петербурге).

*С. – Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно.* – На станции Дно под Псковом 2 (15) марта 1917 г. Николай II подписал манифест об отречении от престола.

*С. ...си-ильный, де-ержавный / царрр-ствуй на славу...* – Строки из государственного гимна Российской империи «Боже, царя храни...» (музыка А. Львова, слова В. Жуковского).

М. Чудакова приводит воспоминания И. Кончаковской, согласно которым эпизод с пением гимна действительно имел место:

Как-то у Булгаковых наверху были гости:

сидим, вдруг слышим – поют «Боже, царя храни...» А ведь царский гимн был запрещен! Папа поднялся к ним и сказал: «Миша, ты уже взрослый, но зачем же ребят под стенку ставить?» И тут вылез Николка: «Мы все тут взрослые, все сами за себя отвечаем!» А вообще-то Николай у них был самый тактичный...

С. 213. – *На Руси возможно только одно: вера православная, власть самодержавная!* – В исторической драме Дм. Мережковского «Павел I» говорится, что «Европа вскоре погрузится в варварство» и лишь «Россия, как некий колосс непоколебимый, стоит, и основание этого колосса – вера православная, власть самодержавная» (М е р е ж к о в с к и й Д. Павел I. СПб., 1908. С. 171). Впочем, историческая ситуация, отразившаяся в булгаковском романе, диаметрально противоположна, так что цитата звучит злой пародией.

С. 215...*как Лиза глядит из «Пиковой дамы».* – Опера Чайковского (1890) по повести Пушкина.

С. 216...*между красивой, рыжей, золотой Еленой...* – Елена Турбина устойчиво ассоциируется с мотивом света – отсюда постоянные эпитеты «рыжеватая», «рыжая», «золотая», «ясная».

С. 217...*а я, действительно, тряпка.* – Как замечает Я. Тинченко, герой как бы соглашается с мнением



повествователя (см. с. ХХХ) – знать о котором, естественно, «не может».

С. «Русскому человеку честь – одно только лишнее бремя...» – Цитируется роман «Бесы», где писатель Кармазинов рассуждает: «Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь – одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым “правом на бесчестье” его скорее всего увлечь можно» (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч. Т. 7. С. 349).

С. ...маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку... – Деталь из романа «Братья Карамазовы»: «двойник»-черт, являющийся к Ивану, одет в клетчатые панталоны (Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л., 1991. Т. 10. С. 140).

С. 218..*царствовал вечный Царский сад*. – Царский сад – парк в Киеве.

С. ...*электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира*... – Высота памятника в Киеве – около 20 м (скульптура – 4,5 м; постамент – 16 м).

В. Турбин сопоставляет роман Булгакова со стихотворением В. Маяковского 1924 г. «Киев» (Т у р б и н

В. Н. Незадолго до Водолея. М., 1994. С. 438), где современность сравнивается с эпохой крещения Руси, а Ленин, соответственно, с князем Владимиром:

Не святой уже —  
другой,  
земной Владимир  
крестит нас  
железом и огнем декретов

(М а я к о в с к и й В. В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1957. Т. 6. С. 11).

С. 219. *Бежали седоватые банкиры со своими женами <...> Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.* — «Апокалиптическое смятение людей, беспорядочно движущиеся переселенцы увидены и представлены автором в образе карнавальной толпы». (Х и м и ч В.В. В мире Михаила Булгакова. Екатеринбург, 2003. С. 60). Как показал М. Петровский, описание «бегущих» в романе явно восходит к «Рассказу об Аке и человечестве» Е. Зозули, опубликованном в киевском журнале «Зори» в 1919 г. (№ 1). Вот фрагмент главки под названием «Бежали» (хотя перечисление «бегущих» в рассказе этим не исчерпывается):

Бежали по улице толпы. Бежали краснощекие

молодые мужчины с беспредельным ужасом на лицах. Скромные служащие контор и учреждений. Женихи в чистых манжетах. Хоровые певцы из любительских союзов. Франты. Рассказчики анекдотов. Биллиардисты. Вечерние посетители кинематографов. Карьеристы, пакостники, жулики с белыми лбами и курчавыми волосами. Потные добряки-развратники. Лихие пьяницы. Весельчаки, хулиганы, красавицы, мечтатели, любовницы, велосипедисты. Широкоплечие спорщики от нечего делать, говоруны, обманщики, длинноволосые лицемеры, грустящие ничтожества с черными печальными глазами, за печалью которых лежала прикрытая молодостью холодная пустота. Молодые скряги с полными улыбающимися губами, беспричинные авантюристы, пенкосниматели, скандалисты, добрые неудачники, умные злодеи (цит. по: П е т р о в с к и й М. Мастер и Город. С. 213–214).

С. 220...открылся знаменитый театр «Лиловый негр»... – Имеется в виду театр-кабаре «Кривой Джимми», гастролировавший в Киеве; словосочетание «лиловый негр» заимствовано из романа А. Вертинского «Где вы теперь?..»

С. ...клуб «Прах» (поэты – режиссеры – артисты – художники)... – Аббревиатура пародирует название киевского клуба, который в 1918 – начале 1919 г. но-

сил название «Клак» (Киевский литературно-артистический клуб), а с приходом красных был переименован в «Хлам» («Художники, литераторы, артисты, музыканты»).

*С. Игралли арапы из клубов Москвы...* – Арап – здесь: мошенник, шулер (ср. «арапа заправлять» – обманывать).

*С. Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. <...> Покупали девкам лак.* – Существенное значение в «Белой гвардии» имеет идея «грешного» города, современного Вавилона. Вероятно, здесь также сказало влияние романа Пильняка «Голый год», где создан образ города, сохранившего воспоминания о многих эпохах, и погибающего по вине эгоистичных обывателей, переставших давать потомство: «Город умирал, без рождения. <...> А люди, разъезжавшие ранее с кокотками по ресторанам, любившие жен без детей, имевшие руки без мозолей и к сорока годам табес, мечтавшие о Монако, с идеалами Поль-де-Кока, с выучкою немцев, – хотели еще и еще ободрать, ограбить город, мертвеца» (П и л ь н я к Б. Романы. С. 127; таёбес – сухотка спинного мозга, хроническое сифилитическое заболевание нервной системы).

*С. 221...и что это за такая новая страна – Польша...* – Польша стала суверенным государством в но-

ябре 1918 г.

С. 223. – *Кавалергард, генерал, сам крупный богатый помещик, и зовут его Павлом Петровичем...* – П. Скоропадский – потомок старинного шляхетского рода, помещик, генерал-лейтенант, командир армейского корпуса. В российском общественном сознании фигура Скоропадского имеет сугубо отрицательную и комичную окраску (в немалой степени – именно вследствие влияния образа, созданного Булгаковым в «Белой гвардии» и особенно в «Днях Турбиных»); однако многие современные историки говорят о ложности подобных стереотипов. «До начала 1918 г. российское общество знало совсем другого Скоропадского. Для одних это был воспитанник привилегированного Пажеского корпуса, блестящий кавалергард, флигель-адъютант царя и командир Конногвардейского полка, наконец – свитский генерал, брат фрейлины императрицы Е. П. Скоропадской и муж другой ее фрейлины – А. П. Дурново. Он был своим в интернациональном высшем петербургском свете <...> Другим он был хорошо известен как участник Русско-японской и Первой мировой войн, боевой командир бригады, дивизии и корпуса, который с августа 1914 г. практически не покидал окопов, герой сражения при Краупишкене, получивший за него самый почетный офицерский орден – Георгиевский крест. <...>

Таким образом, российский генерал до 1917 г. и украинский гетман года 1918 и последующих лет разительно отличались друг от друга» («...Мы пойдем по пути всевозможных социальных экспериментов»: Февральская революция 1917 г. в семейной переписке П. П. Скоропадского // Исторический архив. 2002. № 4. С. 71–72).

С. 224. Так вот-с, нежданно-негаданно появилась третья сила на громадной шахматной доске. – «Шахматные» мотивы вызывают ассоциации с романом «Война и мир». Наполеон накануне Бородина говорит: «Шахматы поставлены, игра начинается завтра» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1932. Т. 11. С. 221). Вспомним также диалог князя Андрея с Пьером, тоже полагающим, что война подобна шахматной игре: «Да, – сказал князь Андрей, – только с тою маленькой разницей, что в шахматах над каждым шагом ты можешь думать сколько угодно, что ты там вне условий времени, и еще с тою разницей, что конь всегда сильнее пешки и две пешки всегда сильнее одной, а на войне один батальон иногда сильнее дивизии, а иногда слабее роты» (Там же. С. 205–206).

С. 225. *Многие видели тут женщин, бегущих в одних сорочках и кричащих страшными голосами. <...> На Лысой Горе произошел взрыв.* – Лысая гора – холм вблизи Киева, которая традиционно считалась

местом ведьмовских шабашей. Б. Гаспаров отмечает здесь переключки с симфонической картиной М. Мусоргского «Ночь на Лысой горе», которая, в свою очередь, ассоциируется с симфонической картиной «Вальпургиева ночь» в опере Гуно «Фауст» (Г а с п а р о в Б. М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX века. М., 1994. С. 100). Взрыв, наряду с явлением «узника из камеры № 666», представит одним из «мистических» факторов дальнейших событий: человеческим вмешательством растревожено «убежище» нечистой силы.

С. 225–226...убили <...> фельдмаршала Эйхгорна. <...> Немцы повесили через двадцать четыре часа после смерти германца не только самого убийцу, но даже извозчика, который подвез его к месту происшествия. – Фельдмаршал Г. Эйхгорн убит левым эсером Б. Донским 30 июля 1918 г. (ранее, 6 июля, левые эсеры убили в Москве германского посла Мирбаха); 10 августа Донской был повешен.

С. 226...растегивая пуговицы чесучовой рубашки... – Чесуча (чесунча) – плотная шелковая ткань полотняного переплетения.

С. 227. Василиса всмотрелся в кривой стан жены, в желтые волосы, костлявые локти и сухие ноги <...> желтые ключицы вылезли вперед, как связанные оглобли... – Образу Явдохи – «ведьмы» недоступной

и соблазнительной – контрастно противостоит вполне реальный для Василисы образ «старой ведьмы». Возможно, эти разновидности ведьмовского образа являются комичной вариацией на тему гоголевского «Вия» (красавица-панночка, предстающая старухой).

С. 228...выпустить из камеры № 666 содержащегося в означенной камере преступника. – Петлюра был арестован немецкими властями в конце июля, а освобожден в ноябре 1918 г. Автор романа пародийно сравнивает его с апокалиптическим Зверем, т. е. антихристом, число которого – 666 (Откр 13: 18). Это напоминает эпизод «Войны и мира», в котором Пьер Безухов по аналогии с «суммой имени» Наполеона-«антихриста» – 666 – комбинирует написание собственного имени и титула так, чтобы подогнать собственную «сумму» под это же число и таким образом получить «подтверждение» своей якобы мистической связи с Наполеоном и избранности (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 77–79). Подобная логика карикатурно изображается и в «Истории одного города»: «...Так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению» (Щ е д р и н Н. (С а л т ы к о в М. Е.) Избр. произв.: В 7 т. М., 1950. Т. 2. С. 332). Деятельность враждебной власти глупов-



цы объясняют просто: «Явился проповедник, который переделал фамилию “Бородавкин” на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву р, то выйдет ббб, то есть князь тьмы» (Там же, с. 307).

*С. Говорили, что он будто бы бухгалтер.* – Реальный Петлюра учился в духовной семинарии, в Харьковском и Львовском университетах, в разное время был бухгалтером, учителем, журналистом и театральным критиком.

*С. Он был уполномоченным союза городов. / – Не союза городов, а земского союза, – отвечали третьи, – типичный земгусар.* – Союз городов и Земский союз – организации, осуществлявшие помощь в снабжении армии. Фронтовые офицеры иронически называли сотрудников этих организаций «земгусарами». Во время Первой мировой войны Петлюра был председателем Главной контрольной комиссии Земского союза по Западному фронту; при гетмане Скоропадском занимал посты председателя Киевского губернского земства и Всеукраинского союза земств.

*С. 229. Гремят торбаны...* – Торбан – басовая лютня, щипковый музыкальный инструмент, родственник бандуре.

*С. ...свищет соловей стальным винтом, засекают шомполами насмерть людей...* – Демоническая сила – петлюровское войско – ассоциируется с бы-

линным Соловьем-разбойником. Кроме того, метафора заставляет вспомнить заглавие стихотворного сборника Н. Асеева «Стальной соловей» (1922) – вместе с Булгаковым Асеев в начале 1920-х гг. посетил собрания кружка «Зеленая лампа».

С. ...едет черношлычная конница... – Шлык – свисающий набок конусообразный суконный верх папахи.

С. *Вещий сон гремит, катится к постели Алексея Турбина.* – В. Лакшин отмечает реминисценции из «Слова о полку Игореве»; ср.: «А Святъславъ мутень сонъ видь в Киевь на горахъ»; «Что ми шумить, что ми звенить – далече рано пред зорями?» (Слово о полку Игореве. М., 1987. С. 38, 35).

С. 230...удары лейтенантских стеков... – Стек – тонкая палочка с ременной петлей на конце, применяемая как хлыст при верховой езде.

С. – *Каждому по 100 десятин.* – Десятина – около 1,1 га.

С. 231...в клунях и коморах... – Клуня – помещение для молотьбы и складывания снопов; комора – кладовая, чулан.

С. *Да не было его. Не было. Так, чепуха, легенда, мираж. Просто слово...* – Я. Лурье отмечает, что Булгаков развивает толстовскую концепцию истории, гиперболически-открыто декларируя мысль Л. Толстого

о том, что исторические деятели являются лишь функциями, «ярлыками» событий.

Как предполагает Б. Соколов, в период пребывания в Добровольческой армии Булгаков мог познакомиться с очерком А. Павловича «Петлюра», опубликованным в апреле 1919 г. в ростовском журнале «Донская волна». Здесь главная черта Петлюры – неопределенность, «эфемерность» облика: «“Петлюра поднял восстание против гетмана!” – “Петлюра мятежник! Петлюра – большевик!” – “Петлюра в Полтаве, Петлюра в Киеве, Петлюра в Фастове”. Везде он воодушевляет войска, везде он произносит речи. И между тем никто не видит и не знает Петлюру... Петлюра нечто мифическое» (цит. по: С о к о л о в Б. Три жизни Михаила Булгакова. М., 1997. С. 212).

*С. 232...и немцы! немцы! попросили пощады.* – 11 ноября 1918 г. по просьбе немцев было подписано перемирие между Германией, потерпевшей поражение в войне, и Антантой (в которую до весны 1918 г. входила и Россия).

*С. – Немцы побеждены, – сказали гады. / – Мы побеждены, – сказали умные гады.* – В слове «гады», помимо бранного смысла, актуализируются мифопоэтические ассоциации. В традиционной культуре так именуют хтонических (связанных с «нижним» миром, inferнальных) животных: крыс, мышей, лягушек, змей

и т. п. Словосочетание «умные гады» вызывает пародийные ассоциации с Книгой Бытия, где о сатане, явившемся к Еве в змеином облике, говорится: «Змей был хитрее всех зверей полевых» (Быт 1: 3). Характерно, что по отношению к явившемуся во сне кошмару из «Бесов» Алексей употребляет слово «гадина».

С. 233...*заведомо срезанный пулеметным огнем вместе с эскадроном белградских гусар в 1916-м году на Виленском направлении.* – В мае 1916 г. русская армия на Юго-Западном фронте предприняла широкомасштабное наступление – «Брусилловский прорыв». Булгаков в это время работал врачом в госпитале в Каменце-Подольском – именно там размещался штаб генерала А. Брусилова.

С. *Они в бригаде крестоносцев теперича...* – Небесный «крестоносец» ассоциируется с архангелом Михаилом – победителем сатаны: «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона <...> И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатанюю» (Откр 12: 7–9).

С. ...ответил вахмистр Жилин... – Возможно, фамилия «заимствована» у одного из героев рассказа Л. Толстого «Кавказский пленник», входящего в состав «Четвертой русской книги для чтения» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. (Юбилейное) собр. соч. М., 1957. Т. 21. С.

304).

С. ...*глаза вахмистра совершенно сходны с глазами Най-Турса – чисты, бездонны, освещены изнутри* (с. 233). – Ср. строки из арии Демона в опере (1871) А. Рубинштейна (и, соответственно, из поэмы Лермонтова): «Небесный свет теперь ласкает / Бесплотный взор его очей; / Он слышит райские напевы...» (Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1969. Т. 2. С. 422).

С. 234...*2-й эскадрон белградских гусар в рай подошел благополучно...* – Как показала Н. Кузякина, в данном эпизоде Булгаков полемически использовал сюжет стихотворной «Повести о том, как 14-я дивизия в рай шла» Демьяна Бедного, вышедшей в 1923 г. в серии «Библиотека “Крокодила”» (Кузякина Н. Михаил Булгаков и Демьян Бедный // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 398–402).

С. 235...*в цвет наших чакчир отливают...* – Чакчиры – рейтузы, элемент гусарской формы.

С. ...*когда брали Перекоп...* – В сне Турбина, относящемся к концу 1918 г., «предсказано» окончание Гражданской войны: 8-10 октября 1920 г. Красная армия взяла штурмом укрепления белых на Перекопском валу; таким образом начался последний этап войны – захват Крыма.

С. 236. *Чудится, что он на тебя самого похож.* –

В «Белой гвардии», как и в ряде других произведений Булгакова, образ «высшей силы» (злой или доброй) по существу предстает как функция традиционных культурных представлений человечества. Ср. диалог из романа «Братья Карамазовы»:

– Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию.

– В таком случае, равно как и бога (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л., 1991. Т. 9. С. 268).

С. 237. *Потом стал отодвигаться и покинул Алексея Васильевича. <...> Доктор отер рукой лицо и почувствовал, что оно в слезах.* – Сон Турбина может быть сопоставлен с состоянием, которое в традиционных народных представлениях именуется «обмиранием»: «Рассказы о посещении того света, как правило, подчиняются одной нарративной схеме: спящий попадает на тот свет, где некий старик показывает и объясняет ему, как воздается мертвым за их поступки на земле. Затем он отпускает путешественника назад, сказав, что его время еще не наступило» (К а б а к о в а Г. И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001. С. 241).

С. *Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам <...> пред-*

*шествовал ей некий корявый мужичонков гнев* – Ср. роман «Голый год»: «По шляху пошел Бунт. <...> И в города народный проселочный Бунт принес – смерть» (П и л ь н я к Б. Романы. С. 126).

*С. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси.* – Пародийная вариация толстовской метафоры «дубина народной войны».

С. ...Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. – Сенкевич Г. (1846–1916) – польский писатель. Одно из наиболее известных его произведений – роман 1884 г. «Огнем и мечом», сюжет которого связан с событиями середины XVII в. – антипольским восстанием на Украине под предводительством Б. Хмельницкого, приведшим к воссоединению Украины с Россией. По мнению Б. Соколова, данный фрагмент «Белой гвардии» варьирует начальный фрагмент этого романа: «Над Варшавой являлись во облаке могила и крест огненный, по каковому случаю началось поститься и раздавали подаяние, ибо люди знающие пророчили, что мор поразит страну и погибнет род человеческий» (Сенкевич Г. Собр. соч. Т. 2. С. 7).

С. 238...*что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина.* – Декларация прав человека и гражданина была принята

во время Великой французской революции, в 1789 г.

*С. ...миф о никогда не существовавшем Наполеоне...* – Имеется в виду пародийное эссе Ж.-Б. Переса «Итак, Наполеон никогда не существовал» (1827; рус. пер. -1912). Заявленный в нем тезис о «несуществовании» Наполеона – реакция на зарождение мифологической школы в исследованиях Евангелия, основатель которой, французский академик Ш. Дюпюи, в своей книге «Происхождение всех культов» (1794) утверждал, будто Иисус, как и Аполлон, – это лишь персонификация солярного мифа, двенадцать апостолов символизируют двенадцать знаков Зодиака и т. п. Высмеивая эти идеи, Перес «применил» теорию Дюпюи к биографии Наполеона, сделав «вывод», что реального императора не существовало, а его жизнеописание – лишь вариация мифа о солнечном боге Аполлоне. Основные «тезисы» Переса таковы. Само имя Наполеон – искаженное «Аполеон», «Аполлон»; о. Корсика, на котором родился император, – это о. Делос, место рождения Аполлона; имя матери Наполеона, Летиция, – имя матери Аполлона, Лето; три сестры Наполеона – легендарное воплощение трех граций (сестер Аполлона), четыре брата – олицетворение четырех времен года, а две его жены – персонификация Луны и Земли (двух жен Солнца). Задуманная императором гидра революции – это Пифон,



побежденный Аполлоном. Двенадцать маршалов во главе армий Наполеона – это 12 знаков Зодиака, а четыре маршала не на действительной службе – четыре главные точки небосвода. Наполеон-Солнце «взошел» на Востоке (Египет), а «закатился» на Западе (о. Св. Елены), и 12 лет его царствования – это «12 часов дня, в течение коих солнце сияет на горизонте». Стало быть, заключает автор, те, кто поверил в существование Наполеона, приняли мифологию XIX в. за реальную историю (П е р е с Ж. Б. Почему Наполеона никогда не существовало, или Великая ошибка, источник бесконечного числа ошибок, которые следует отметить в истории XIX века. М., 1912. С. 5–15).

*С. И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он ни более ни менее, как из австрийской армии...* – Прототип Торопца #8213; бывший хорунжий австро-венгерской армии Е. Коновалец, который в армии Петлюры командовал осадным корпусом при взятии Киева. В 1929 г. Коновалец стал руководителем Организации украинских националистов (ОУН). Убит агентами НКВД в 1938 г.

*С. Затем появился писатель Винниченко...* – В. Винниченко – украинский писатель, политический деятель, социал-демократ. Один из организаторов Центральной Рады; в 1917 – начале 1918 г. – председатель правительства (генерального секретариата) УНР.

При гетмане перешел в оппозицию; с августа 1918 г. – председатель Украинского национального союза. В ноябре 1918 – феврале 1919 г. – номинальный глава Директории. После изгнания Директории из Киева Винниченко едет за границу, порывает с политикой УНР; 14 сентября 1919 г. создает в Вене Заграничную группу Украинской компартии. В 1920 г. некоторое время был заместителем председателя Совета народных комиссаров и наркомом иностранных дел Украины. В сентябре 1920 г. эмигрировал, жил в США.

С. 239. *Неизвестное таинственное имя – консул Энно.* – По настоянию французского консула Э. Энно, имевшего полномочия от стран Антанты, немцы оттягивали заключение соглашения с Петлюрой. Союзники в это время находились в состоянии перемирия с Германией и готовились заменить немцев на Украине, чтобы затем решить вопрос о ее самоопределении.

С. ...*католического прелата...* – Прелат – именование высших духовных лиц в католической и англиканской церквях.

С. ...*решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий, <...> идет брать Город.* – Сопоставление Петлюры с Наполеоном ведет к тому, что история Гражданской войны начинает ассоциироваться с историей войны Отечественной, а булгаковский Город, находящийся в политической оппозиции

к Москве, при этом сам начинает напоминать Москву, обороняющуюся от «наполеоновской» армии.

С. 240. *Магазин «Парижский шик» мадам Анжу...* – Имеется в виду модный салон мадам Ольги, располагавшийся в Киеве по адресу: Театральный пр., 10. Анжу – историческая провинция во Франции.

Подчеркивая «опереточность» политической ситуации, изображенной в булгаковском романе, М. Петровский полагает, что имя хозяйки магазина ассоциируется с героиней оперетты Ш. Лекока «Дочь мадам Анго», в которой пародийно изображается эпоха Наполеона III (70-е гг. XIX в.).

С. ...*с нарисованными двумя скрещенными сева-стопольскими пушками...* Т. е. времен Крымской войны, обороны Севастополя.

С. «Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан». – Перефразированная цитата из стихотворения Н. Некрасова «Поэт и гражданин»: «Поэтом можешь ты не быть, / Но гражданином быть обязан» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 2. С. 10). Р. Гуль писал, что подобные плакаты действительно были расклеены в Киеве в 1918 г.

С. ...*встали почти одновременно после пьяной ночи...* – Вновь некрасовская реминисценция: «Пьяная ночь» – название одной из глав поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

С. 241...залил все кругом на два аршина... – Аршин #8213; 0,71 м.

С. ...голову смазал бриолином... – Бриолин – крем для укладки волос.

С. 242. – Это электрик... – Электрик – голубой или синий с сероватым отливом.

С. «Довлеет днєви злоба его». – «Довольно для каждого дня своей заботы» – слова из Нагорной проповеди (Мф 6: 34).

С. 244...яркие погоны вольноопределяющегося... – Вольноопределяющийся – лицо, имеющее право в силу образовательного ценза добровольно служить рядовым на льготных условиях.

С. 246. – Я, – вдруг бухнул Турбин, дернув щекой, – к сожалению, не социалист, а... монархист. – Эти слова отражают настроения самого Булгакова в определенный период; так, один из его однокашников утверждал, что «Булгаков в гимназические годы был совершенно бескомпромиссный монархист – квасной монархист» (цит. по: Ч у д а к о в а М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 23). Т. Кисельгоф тоже вспоминала: «...По убеждениям он был монархист». Однако в период создания «Белой гвардии» отношение автора романа к монархии в России явно было иным; так, в дневниковой записи Булгакова от 15 апреля 1924 г. читаем: «Черт бы взял всех Романовых! Их не хвата-

ло».

С. А из всех социалистов больше всех ненавижу Александра Федоровича Керенского. – До того, как возглавить Временное правительство, Керенский в марте 1917 г. вступил в партию социалистов-революционеров (эсеров).

*С. В тысяча девятьсот пятнадцатом году, по окончании университета экстерном...* – Сам Булгаков окончил Киевский университет в 1916 г.

*С. ...ординатором тяжелого трехсводного госпиталя.* – Военный госпиталь на Печерске: «Характерная черта архитектуры этого обширного медицинского комплекса – вместительный трехсводный центральный блок в виде огромной буквы “П”» (В и л е н с к и й Ю. Г. Доктор Булгаков. Киев, 1991. С. 51). В годы войны там был развернут госпиталь Красного Креста, в котором Булгаков работал в 1915 г., еще не получив врачебного диплома. Ординатор – врач, проходящий специализацию на базе клиники или отделения больницы, госпиталя.

С. 247. – «Свободные вести»! «Свободные вести»! Ежедневная новая газета «Свободные вести»! – Видимо, подразумевается издававшаяся И. Василевским газета «Свободные мысли»: в 1907–1911 гг. она выходила в Петербурге, в 1918 г. – в Киеве, в 1919 г. – в Одессе, в 1921 г. – в Париже.

С. 248. Венерические болезни и сифилис. / 606–914 – Автор «БГ» занимался частной венерологической практикой в Киеве после возвращения туда весной 1918 г.; как вспоминал Л. Карум, «практика врачебная у Булгакова наладилась хорошо. На передней двери на улицу он соорудил таблицу со своей фамилией, написанную им самим масляными красками, с часами своего приема» (Б у л г а к о в М. Записки юного врача. Киев, 1995. С. 275). Что касается цифр на вывеске Турбина, здесь указаны новейшие в то время разновидности сальварсана – средства, применявшегося для лечения сифилиса. «Сальварсан (606) – мышьячный препарат фирмы “Bayer” для внутривенного введения (с побочным токсичным действием) <...>... сильное болевое ощущение могло кончиться летальным исходом» (Н о ж е н к о С. П., А р о н о в Г. Е., В д о в и н а Л. В. Комментарии // Б у л г а к о в М. Записки юного врача. Киев, 1995. С. 296).

С. ...открыл огонь по пехотному полку сечевых стрелцов. – Сечевыми стрельцами, в подражание Запорожской Сечи XVI–XVII вв., назывались части, сформированные правительством Австро-Венгрии в Галиции (Западной Украине) из военнопленных русской армии – украинцев по национальности. Так же именовалась воинская часть на Украине в конце 1917 г., затем в сентябре 1918 г. – набранная в ос-

новном из украинцев-галичан, сражавшихся ранее в австро-венгерской армии и попавших в русский плен. 14 ноября 1918 г. полк сечевиков под командованием Коновальца (впоследствии разросшийся до корпуса) первым поддержал восстание против гетмана.

*С. ...полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры...* – Прототип Болботуна – полковник П. Болбочан, который в гетманской армии командовал Запорожской дивизией. В ноябре 1918 г. перешел на сторону Директории, захватил власть в Харькове и через Полтаву двинулся на Киев. Однако в город части Болбочана не входили: в конце 1918 г. он возглавил Левобережный фронт, противостоявший Красной армии. В 1919 г. Болбочан был обвинен в измене и расстрелян.

*С. 250...ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всех порезали. <...> Форменно изуродовали...* – М. Чудакова приводит заметку в киевской газете «Вечер» от 26 ноября 1918 г., где опубликован список из 33 офицеров, убитых петлюровцами: «...18 трупов до того обезображены, что опознать их нет никакой возможности. Трупы совершенно раздеты, у них вырезаны языки, отрезаны носы, уши, пальцы рук и разрезано все тело. Сегодня в 12 часов трупы убитых доставлены в анатомический театр».

*С. 252. Ствовосьмидесятиоконным, четырех-*

*этажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия.* – Здание имеет форму буквы «П» (старое название – «покой»).

*С. И ровно восемь же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии.* – Судя по всему, герой окончил гимназию в 1910 г. (на год позже, чем сам автор романа).

*С. ...ут консекутивум...* – Ut consecutivum – конструкция с придаточным следствия, присоединяемым союзом ut в латинском языке.

*С. ...Кай Юлий Цезарь...* – Цезарь Гай (Кай) Юлий (102 или 100-44 гг. до н. э.) – римский диктатор и полководец, начавший свою деятельность как сторонник демократической группировки, однако впоследствии борющийся за единовластие. Разгромив Помпея в 49–45 гг. до н. э., встал во главе государства.

*С. ...кол по космографии...* – Космография – астрономия. В ведомости гимназиста VIII класса Михаила Булгакова за 1908/09 учебный год по космографии выставлена оценка «3» (Д е р и д В. «Надежда и воспоминания как два главных источника радости для человека» // Булгаковский сб. Таллинн, 2001. Вып. 4. С. 142).

*С. ...и когда основан орден иезуитов...* – Монашеский орден иезуитов основал Игнатий Лойола в 1534 г.

*С. ...и высадился Помпей...* – Помпей Гней (106-48



до н. э.) – римский полководец и политический деятель. С 66 г. командовал армией в войне против Митридата VI, в которой римляне одержали победу; в 61 г. высадился со своими легионами в Италии. В 60 г. вступил в соглашение с Крассом и Цезарем (Первый триумvirат), а после его распада начал против своего тестя Цезаря войну, в которой потерпел поражение.

С. 253...*под стенами, крытыми желтой николаевской краской.* – Т. е. имеющими цвет, характерный для эпохи Николая I.

С. 254...*круги для льюисовских пулеметов.* – Дисковые магазины с патронами. И. Льюис – американский конструктор стрелкового оружия.

С. ...*как плауны на воде.* – Плаун – водяное плавучее растение, разновидность мха.

С. 255...*как Радамес в «Аиде».* – Радамес – персонаж оперы Дж. Верди: египетский военачальник, влюбленный в рабыню Аиду.

С. 256...*Меня качали номера.* – Номер – здесь: боец орудейного расчета.

С. ...*крытом царским вальтрапом с вензелями...* – Вальтрап – суконное, ковровое покрывало поверх седла.

С. 257...*лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. <...> взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на Бородинские*

полки. Клубочками ядер одевались Бородинские поля... – Как отмечает М. Петровский, портрет «перевешен» Булгаковым: реальный портрет Александра I висел не на лестнице, а в актовом зале. Парадный зал Александровской гимназии в «Белой гвардии» предстает травестированным Бородинским полем, а защитники Города как бы призваны повторить подвиг тогдашних «богатырей».

С. 258...*шашка с вишневым темляком*... – Темляк – кисть на рукояти.

С. ...*все ударения у Студзинского от волнения полезли на предпоследний слог*. – В польском языке слова имеют ударения на предпоследнем слоге.

С. 259...*а не взводными ящиками*... – «Ящик» – воинская колонна, парадный расчет.

С. 260. *Среди вас владимировцы, константиновцы, алексеевцы*... – Воспитанники соответственно Киевского кадетского св. Владимира корпуса, 1-го Киевского Константиновского пехотного училища, Алексеевского инженерного училища.

С. ...*обкатим этого милого президента шестью дюймами*... – Калибр артиллерийского орудия: шесть дюймов – около 152 мм.

С. 263. *Коренастый Максим, старший педель*... – Педель – надзиратель, следивший за поведением учащихся. В августе 1968 г. Е. Булгакова записала со

слов вдовы Николая Булгакова (брата писателя) рассказ «о том, как педель Максим спас Николку»:

Когда украинцы пришли, они потребовали, чтобы все офицеры и юнкера собрались в Педагогическом музее Первой гимназии (музей, где собирались экспонаты работ гимназистов). Все собрались. Двери заперли. Коля сказал: «Господа, нужно бежать, это ловушка». Никто не решался.

Коля поднялся на второй этаж (помещение этого музея он знал как свои пять пальцев) и через какое-то окно выбросился во двор – во дворе был снег, и он упал в снег. Это был двор их гимназии, и Коля пробрался в гимназию, где ему встретился Максим (педель). Нужно было сменить юнкерскую одежду. Максим забрал его вещи, дал ему надеть свой костюм. И Коля другим ходом выбрался – в штатском – из гимназии и пошел домой.

Другие были расстреляны (Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 316).

Однако как свидетельствует Р. Гуль, тоже оказавшийся в Педагогическом музее, судьба оставшихся там оказалась не столь трагичной.

С. 264...*по случаю радостного приезда господина попечителя...* – Попечитель учебного округа – старший местный начальник учебных заведений, находив-

шихся в ведении Министерства просвещения.

С. – *Нет такого закону, чтобы второклассников безнаказанно уродовать!* – М. Чудакова приводит воспоминания Е. Букреева, однокашника автора романа в младших классах гимназии: «Булгаков был неперемный участник драк».

С. 266...*стоит на страшном тяжелом постаменте уже сто лет чугунный черный Владимир...* – Памятник крестителю Руси (скульпторы И. Демут-Малиновский и П. Клодт, архитектор К. Тон) был открыт в 1853 г. – за 65 лет до описываемых событий.

С. 267...*что предводитель зулусов...* – Зулусы, зулу – народ группы банту в ЮАР.

С. 268. *Полный мизерабль, как у Гюго* – «Les misérables» («Отверженные», 1862) – роман В. Гюго.

С. ...*мимо панорамы...* – Имеется в виду «Голгофа», панорама на евангельский сюжет, открытая в 1902 г. в специальном помещении на Владимирской горке в Киеве.

С. 269. *И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо.* – Резиденция гетмана Скоропадского находилась в Мариинском дворце на Александровской ул.

С. *Они помогли лисьему человеку переодеться* – Как и в случае с Василисой, который из трусости «переменил пол», «лисьи» черты гетмана сопряжены с изменением облика и даже «переменной лично-

сти» (превращением в «майора фон Шратта»).

С. 270...*закутанного в марлю, наглухо запакованного в шинель таинственного майора фон Шратта вынесли на носилках и, откинув стенку специальной машины, заложили в нее*). – В булгаковском романе есть ряд реминисценций из романа А. Грина «Блистающий мир» (1923); в частности, Друд, главный герой «Блистающего мира», похищен, для чего его усыпляют, объявляют больным и запеленывают, как куклу: «...Четыре санитары вынесли на носилках неподвижное тело, окутанное холстом. Лицо также оставалось закрытым. <...> больного уложили в карету» (Г р и н А. С. Собр. соч.: В 5 т. М., 1994. Т. 4. С. 100).

С. 276...*вставал и расходился туман. <...> Да, был виден туман*. – М. Чудакова соотносит данный мотив с заметкой в вечернем выпуске киевских «Последних новостей» 19 ноября 1918 г.: «Снова туман, тяжелый осенний туман навис над нами и давит своей тяжестью. Откуда он пришел, какими ветрами занесло его к нам, говорить не будем, ибо никому это в точности неизвестно. Но туман есть, и жить мы в нем должны». Возможна также реминисценция из романа Достоевского «Подросток»:

Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: «А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет

ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизкий город, подыметесь с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красоты, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?» Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: «Вот они все кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, – и все вдруг исчезнет» (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч. Л., 1990. Т. 8. С. 270).

*С. Полковник Козырь-Лешко...* – Исследователи называют прототипом Козыря-Лешко атамана А. Козыря-Зирку, командира 1-го конно-партизанского полка сечевых стрельцов.

*С. ...в деревне Попелюхе.* – Автор «Белой гвардии» трижды привлекает внимание к данному населенному пункту: ранее в этой деревне был Мышлаевский, и оттуда же привезли убитых офицеров.

*С. Пробуждение Козыря совпало со словом: / – Диспозиция.* – Ср. в романе «Война и мир» комичную сце-

ну, когда генерал Вейротер читает диспозицию, а Ку- тузов в это время засыпает (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 318–322).

*С. 277...пятивершковый жеребец.* – Рост лошади указывался начиная с двух аршин, т. е. со 142 см. Вершок – около 4,4 см.

*С. ...двухцветный прапор – плат голубой, плат желтый...* – Прапор – полковое знамя; плат – здесь: поле знамени. Голубой и желтый – национальные цвета Украины.

*С. Царскую водку любил. Не было ее четыре го- да...* – Разумеется, словосочетание «царская водка» Булгаков употребляет не в терминологическом смысле (в химии так называется смесь концентрированных кислот – соляной и азотной); речь идет о водке, выпускавшейся «при царе», в довоенное время (во время Первой мировой войны в России действовал «сухой закон»).

*С. 278. Были эти люди одеты в передних шерен- гах в синие одинакие жупаны добротного герман- ского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, уме- ло несли винтовки – галичане.* – Имеется в виду 1-й Синезупанный полк. Жупан – суконный полукафтан.

*С. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты...* – Как отмечает Я. Тинченко, бойцы 2-го куреня Синезупанного полка действитель-

но были одеты в темно-синие суконные халаты, которые должны были играть роль жупанов.

С. 280. *План Торопца был хитер...* – Войско Петлюры представлено как стихийная сила, однако руководят им военачальники, тоже напоминающие персонажей «Войны и мира» Ср., например, диспозицию Наполеона на Бородинское сражение, которая, «весьма неясно и спутанно написанная <...>, – заключала в себе четыре пункта – четыре распоряжения. Ни одно из этих распоряжений не могло быть и не было исполнено» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 217). О диспозиции Толя перед Тарутинским сражением говорится: «Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место» (Там же. М., 1933. Т. 12. С. 74). О сражении под Красным: «Толь написал диспозицию <...>. И, как всегда, сделалось все не по диспозиции» (Там же. С. 181).

С. ...*смотрел в цейссовские стекла...* – Бинокль производства немецкой фирмы «Карл Цейс».

С. 282...*в Городе ходят кадеты...* – Кадеты – здесь: воспитанники кадетского корпуса, военного учебного заведения.

С. ...*лихие гайдамаки.* – Гайдамак – легковооруженный воин. В XVIII в. гайдамаками назывались



участники антипольского восстания в Правобережной Украине.

*С. 284. Здесь Болботуна встретил пулемет и жидкий огонь пачками какой-то цепи. <...> Шеренги Болботуна по команде спешили, залегли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами.* – С. Бурмистренко и Т. Рогозовская приводят заметку в киевской газете «Утро» от 15 декабря 1918 г.:

Первые отряды войск Директории вошли в город со стороны Святошинского шоссе. Впереди на автомобиле, разукрашенном национальными флагами, ехало 3 человека. К ним навстречу выехал автомобиль с белым флагом от городской думы. Войска Директории шли, выстроившись по 8 в ряд. <...> Вдруг со стороны Думской пл. послышался пулеметный огонь. В ответ последовали выстрелы со стороны проходивших войск. Стрельба продолжалась минут 10.

*С. 285. – Болботун – великий князь Михаил Александрович. / – Наоборот: Болботун – великий князь Николай Николаевич.* – Михаил Александрович – младший брат Николая II, вслед за ним отрекшийся в 1917 г. от российского престола; Николай Николаевич – внук Николая I, двоюродный дядя Николая II, после гибели которого Николай Николаевич («Николай III») был одним из главных претендентов на престол.

С. 285–286. *Сдурели вы, что ли, Яков Григорьевич, что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела? Да, вид у Якова Григорьевича был такой, как будто он сдурел.* – Говоря об убийстве еврея как о непереносимом атрибуте и своеобразном «символе» народного «подъема» в России, Булгаков не случайно рисует гибель Фельдмана именно в тот самый момент, когда рождается его ребенок: эпизод напоминает роман «Бесы», в котором убийство Шатова совершается непосредственно после рождения ребенка у его возвратившейся жены – под воздействием этого события Шатов накануне своей смерти отказался от прежнего мировоззрения и пришел к идее всечеловеческой любви (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч. Т. 7. С. 551–555).

С. 286...*на самом углу Миллионной улицы <...> уютно висела ржавая с золотом вывеска: / Повивальная бабка Е. Т. Шадурская.* – По мнению С. Боброва, в булгаковском романе имеются реминисценции из романа Вс. Крестовского «Петербургские трущобы» (1866), среди персонажей которого – княгиня Шадурская и ее повивальная бабка; к тому же в «Белой гвардии» встречается ряд «петербургских» названий улиц: Фонарный, Разъезжая, Миллионная (Б о б р о в С. Перикопы «Белой гвардии» // Булгаковский сб. Таллинн, 2001. Вып. 4. С. 36).

С. 287. *Шмаисроэль!* – «Слушай, Израиль!» (ср.: Втор 6: 4) – первые слова ежедневной иудейской молитвы.

С. *В нем был один броневик.* – В киевской газете «Мир» от 15 декабря 1918 г. сообщалось:

Вчера ночью группа просочившихся в Киев сечевиков ворвалась в помещение гетманского броневого отряда на Печерске, обезоружила солдат и захватила два броневых автомобиля. Один из автомобилей удалось задержать, второй же занял Лавру и принял боевое положение. Под защитой броневика повстанцы постепенно стали распространяться по Печерску.

С. ...*прокатила по Печерску удар с хвостом кометы <...> (три дюйма).* – То есть произвела выстрел из трехдюймовой пушки (три дюйма – около 76 мм).

С. 288...в броневой дивизион гетмана <...> попал в качестве командира второй машины не кто иной, как знаменитый прапорщик, лично получивший в мае 1917 года из рук Александра Федоровича Керенского Георгиевский крест, Михаил Семенович Шполянский. – Прототипом этого персонажа является литературовед В. Шкловский (1893–1984) – теоретик формализма и друг Маяковского. Осенью 1918 г. Шкловский по заданию эсеровской партии находился в Киеве и вел подрывную работу в гетманских войсках.

В книге воспоминаний «Сентиментальное путешествие» (1923) он рассказывает историю получения им летом 1917 г. Георгиевского креста, подчеркивая, что награду на фронт привез лично генерал Корнилов; о Керенском же Шкловский отзывается иронически.

Фамилия персонажа «заимствована» у поэта-сатирика и журналиста А. Шполянского (1888–1957), писавшего под псевдонимом Дон-Аминадо. В 1918 г. Шполянский находился в Киеве и позже, в книге воспоминаний «Поезд на третьем пути», описал свои впечатления:

...Киев нельзя было узнать.

Со времен половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства.

На улицах толпы народу. В кофейнях, на террасах не протолпиться.

Изголодавшиеся москвичи и отощавшие петербуржцы набросились на белый хлеб и пожирают его стоя и сидя.

Все друг с другом раскланиваются и, попивая кофеек, рассказывают, как они вырвались, как бежали и что у них отняли и забрали.

Настроение идиотски-праздничное.

На клумбах в Купеческом саду расцветают августовские розы.

Золотая, южная осень ласкает, нежит,

зачаровывает.

На площади перед городской Думой – медь, трубы, литавры, – немецкий духовой оркестр играет военные марши и элегии Мендельсона.

Катит по Крещатику черный лакированный экипаж, запряженный парой белых коней, окруженный кольцом скороспелых гайдуков и отрядом сорокалетнего ландштурма.

В экипаже ясновельможный пан гетман в полковничьем мундире, в белой бараньей шапке с переливающимся на солнце эгретом.

Постановка во вкусе берлинской оперы. Акт первый.

Второго не будет.

В подвале «Метрополя» «Подвал Кривого Джимми», кабаре Агнивцева с осколками Кривого зеркала.

В городском театре тот же Балиев, и вся Летучая Мышь в полном сборе.

Газет тьма-тьмуца (Д о н – А м и н а д о. Поезд на третьем пути. М., 1991. С. 218–219).

После вступления петлюровцев А. Шполянский покинул город (а вскоре и Россию). 23 декабря 1918 г. в киевской газете «Свободные мысли» (ср. газету «Свободные вести», которую читает Алексей Турбин) опубликовано стихотворение Дона-Аминадо «Прощание с Киевом»:

Не негодую, не кляня,  
Бегу под небо голубое.  
Пусть будет чуден без меня  
И Днепр, и многое другое.  
Не так уж тесен Божий мир,  
А мне мила моя свобода.  
Adieu, Аскольд! Прощай и Дир!  
И... хай живе меж вами згода!

Кстати, в январе 1920 г. Шполянский отправился из Одессы в эмиграцию на одном пароходе с Л. Белозерской, которая позже станет второй женой Булгакова и которой посвящен роман «Белая гвардия».

Вместе с тем, по предположению М. Сулимы, в именах «парных» персонажей «Белой гвардии» – Михаила Семеновича Шполянского и Юлии – «присутствуют» имена двух украинских футуристов: имеются в виду поэты Михайль Семенко (1892–1937) и Юлиан Шпол (М. Яловый, 1895–1937).

С. ...*городского поэтического ордена «Магнитный Триолет»*. – Триолет – стихотворная форма, возникшая во Франции в XV в.: восьмистишие с двумя рифмами, в котором тождественны стихи 1, 4, 7 и 2, 8. Как отметил Г. Лескис, в названии «ордена» присутствует намек на Э. Триоле (Triolet, 1896–1970) – французскую писательницу, урожденную Эльзу Каган (родную сестру возлюбленной Маяковского Лили

Брик), которой посвящена книга Шкловского «Зоо, или Письма не о любви, или Третья Элоиза» (1923) – в названии цитируется заглавие романа Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза». Таким образом, два имени – Юлия и Элоиза – как бы отождествляются, и показательно, что Юлией в «Белой гвардии» названа любовница Шполянского-«Шкловского».

С. ...играл в железку... – Железка (от фр. chemin de fer – железная дорога, «железка») – название карточной игры.

С. 289...на рассвете писал научный труд «Интуитивное у Гоголя». – Говоря в книге «Сентиментальное путешествие» об обстановке в Петрограде весной-летом 1918 г., Шкловский рисует собственную жизнь состоявшей из двух частей – службы в бронедивизионе и занятий филологией: «Итак, пришли ко мне и сказали: “Мы готовимся сделать восстание, у нас есть силы, сделайте нам броневой дивизион”. <...> Я подал Луначарскому отставку <...> и начал формировать броневой дивизион»; «К большевикам ушло довольно много народу. <...> А я сидел на Черной речке и писал работу на тему “Связь приемов сюжетосложения с общими приемами стиля”».

С. ...заявил <...> Слоных и Черемшину... – Фамилии образованы путем контаминации фамилий писателя А. Слонимского (1881–1964) и художника М. Черем-

ных (1890–1962).

*С. Мне стало скучно, потому что я давно не бросал бомб.* – В «Сентиментальном путешествии» рассказано о том, как Шкловский в 1920 г. формировал в Херсоне подрывной отряд. «И открыли мы робинзонское подрывное хозяйство. / Учили бросать бомбы»; «Взрыв – это хорошо»; «Жена моя спрашивала каждый день: “Ты не взорвешься?”» В итоге по собственной неосторожности Шкловский был довольно тяжело ранен.

*С. ...Михаила Семеновича, одетого в дорогую шубу с бобровым воротником...* – Очевидна реминисценция из «Евгения Онегина»: «Морозной пылью серебрится / Его бобровый воротник» (П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1995. Т. 6. С. 11). Ввиду «сценичности», «оперности» образа Шполянского его прототипом называют также известного в дореволюционном Киеве оперного артиста Камионского (1869–1917): «Он великолепен! На нем (зимой) полураспахнутая меховая шуба, на голове с лихими кудрями – соболья боярская шапка. <...> Он пришел на Крещатик “не людей посмотреть, а себя показать”. <...> Оскар Камионский часто выступает в роли Евгения Онегина» (П о л у я н с к а я Н. Картинки старого Киева: Городской быт на рубеже XIX–XX веков // Collegium. Киев, 1995. № 1–2. С. 242).



С. ...касались вытертого шевюта... – Шевюот – мягкая, плотная, слегка ворсистая ткань из шерстяной или смешанной пряжи.

С. 290. *Страх скакал в глазах у него, как черт, руки дрожали, и сифилитик говорил, и губы у него прыгали, как у ребенка.* – Болезнь, полученная Иваном Русаковым, мыслится им как следствие общения со Шполянским – разносчиком «московских болезней» (не только большевизма, но и футуризма) и «поставщиком» роковых женщин. Разделяя точку зрения, согласно которой болезнь Русакова имеет «литературное» происхождение, Л. Кацис пишет: «...Можно смело предположить, что сифилисом киевский футурист заразился не от Лельки (ср. с реальным именем возлюбленной и музы Маяковского), а от своего великого московского собрата по литературному направлению: в поэзии раннего Маяковского весь мир заражен сифилисом, от которого, по его заверениям, вселенную могла излечить только Революция» (К а ц и с Л. Ф. «...О том, что никто не придет назад»: II. Предреволюционный Петербург и литературная Москва в «Белой гвардии» М. А. Булгакова // Литературное обозрение. 1996. № 5–6. С. 171). Вспомним, например, строки из стихотворения 1914 г. «А все-таки»: «Улица провалилась, как нос сифилитика»; «Все эти, провалившиеся носами, знают: / Я – ваш поэт» (М а я к о в

с к и й В. В. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 1. С. 62).

*С. В квартире библиотекаря, ночью, на Подоле...* – Возможно, деталь мотивирована тем, что П. С. Гдешинский – отец близких друзей Булгакова, братьев Платона и Саши, – был помощником библиотекаря Духовной академии. «Правда, Саша не был футуристом и богоборческие стихи, кажется, не писал. Он всего лишь бросил духовную семинарию. Под влиянием, между прочим, своего друга Михаила Булгакова» (К о р а б л е в А. Мастер: Астральный роман. Донецк, 1996. Ч. 1. С. 147). А. Гдешинский (1893–1951) продолжал переписываться с Булгаковым в течение всей жизни автора «Белой гвардии» (см.: Переписка М. А. Булгакова с А. П. Гдешинским: 1923–1940 // Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. Л., 1991. Кн. 1).

*С. ...и вот разные зрачки, гнущиеся ноги, потом безумные идиотские речи, а потом – я гнилой, мокрый труп.* – В поздних стадиях сифилиса у больного может развиваться так называемая анизокория – неравенство диаметров левого и правого зрачков. Один из литературных «предшественников» Ивана Русакова – персонаж романа «Голый год» сифилитик Борис Ордынин: «В своей комнате Борис останавливается у печки, прислоняется плечом к холодным ее изразцам, машинально, по привычке, оставшейся еще от зимы,

рукою шарит по изразцам и прижимается грудью, животом, коленами – к мертвому печному холоду»; «вот скоро у меня выпадут зубы и сгниют челюсти, провалится нос» (П и л ь н я к Б. Романы. С. 74–75).

С. – Мне нужно застрелиться. Но у меня на это нет сил, к чему тебе, мой бог, я буду лгать? – Ордынин в «Голом годе» кончает жизнь самоубийством (Там же. С. 92). В качестве более раннего источника реминисценции (возможно, оказавшего влияние и на Пильняка) отметим роман «Братья Карамазовы», где черт рассказывает Ивану историю о застрелившемся сифилитике (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч. Т. 10. С. 152).

С. Стихи: / М. Шполянского. / Б. Фридмана. / В. Шаркевича. / И. Русакова. <...> / Встречаю матерной молитвой. – По предположению М. Чудаковой, сборник стихов, описанный в романе, – это вышедший в Москве в 1919 г. сборник «Явь»; в качестве «коллективного» прототипа Русакова указываются поэты есенинского круга Иван Старцев (1896–1967) и Иван Приблудный (1905–1937), а также сам Есенин. Развивая эту гипотезу, С. Шаргородский пишет, что «фантомистами» Булгаков назвал имажинистов, а стихи Русакова указывают в первую очередь на А. Мариенгофа (1897–1962) – ср. строку из его стихотворения «Кровью плюем зазорно...» (1918): «Молимся Тебе матерщиной».

Б. Фридман – это художник Б. Эрдман (1899–1960), старший брат драматурга Н. Эрдмана, автор ряда обложек и иллюстраций к имажинистским сборникам; В. Шаркевич – поэт В. Шершеневич (1893–1942) (Ш а р г о р о д с к и й С. Заметки о Булгакове: 1. Фантомист-футурист Иван Русаков // Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 262, 264). С другой стороны, исследователи усматривают в стихах Русакова пародию на революционно-футуристические стихи Маяковского – в частности, на поэму «Облако в штанах» (Каганская М. Белое и красное // Литературное обозрение. 1991. № 5. С. 98), а также поэму «Про это» (Ш а р г о р о д с к и й С. Заметки о Булгакове. С. 260), важное значение в которой имеет «медвежья» тема.

Что касается связей с классической литературой, образ Ивана Русакова «генетически» восходит к персонажу романа «Бесы» Ивану Шатову: при одинаковых именах, у героев Достоевского и Булгакова явно «говорящие» фамилии. Нетвердость в убеждениях и готовность поддаваться чужой воле, обозначенная фамилией «Шатов», характерна и для булгаковского персонажа – который вначале находится под воздействием «беса» Шполянского, а затем подпадает под влияние священника отца Александра.

С. 291. *Прости меня, что я решил, будто бы Тебя нет: если бы Тебя не было, я был бы сейчас жалкой*

*паршивой собакой без надежды.* – Образ «бездомного пса» в произведениях Булгакова актуализирует «маяковские» реминисценции. А. Жолковский подчеркивает, что в художественных и публицистических произведениях поэт постоянно соотносил себя с собакой (Ж о л к о в с к и й А. К. О гении и злодействе, о бабе и всероссийском масштабе: Прогулки по Маяковскому // Ж о л к о в с к и й А. К., Щ е г л о в Ю. К. Мир автора и структура текста. Tenafly; N. Y., 1986. С. 325); ср. хотя бы известные строки из финальной части поэмы 1923 г. «Про это»:

Я люблю зверье.  
Увидишь собачонку —  
тут у булочной одна —  
сплошная плешь, —  
из себя  
и то готов достать печенку.  
Мне не жалко, дорогая,  
ешь!

(М а я к о в с к и й В. В. Полн. собр. соч. М., 1957. Т. 4. С. 183)

Горячая и несколько сентиментальная любовь Маяковского была общеизвестна. К тому же Л. Брик в своих воспоминаниях говорит о его внешнем сходстве

с сеттером, которого они нашли щенком и вырастили: «Мы стали звать Владимира Владимировича Щеном» (Б р и к Л. Из воспоминаний // Имя этой теме: любовь!: Современницы о Маяковском. М., 1993. С. 110). «Собачья» тема обильно представлена в письмах Маяковского: постоянные подписи под его письмами – «Счен», «Щен», «Щенок», часто сопровождаемые изображением щенка; иногда рисунок играет роль подписи (Там же. С. 121–127; см. также: М а я к о в с к и й В. В., Б р и к Л. Ю. Переписка: 1915–1930. М., 1991).

С. 292...*сидел на узенькой козетке...* – Козетка – двухместный диванчик.

С. *Руки в перчатках с раструбами, как у Марселя в «Гугенотах»...* – «Гугеноты» – опера Дж. Мейербера по мотивам повести П. Мериме «Хроника царствования Карла IX».

С. 293. – Сахар? / – Угу, – ответил Михаил Семенович. – Сравним фрагмент книги Шкловского «Сентиментальное путешествие»:

Я засахаривал гетмановские машины.

Делается это так: сахар-песок или кусками бросается в бензиновый бак, где, растворяясь, попадает вместе с бензином в жиклер (тоненькое калиброванное отверстие, через которое горючее вещество идет в смесительную камеру).

Сахар, вследствие холода при испарении, застывает и закупоривает отверстие.

Можно продуть жиклер шинным насосом. Но его опять забудет.

*С. 295. К начальнику первой дружины генерал-майору Блохину... – Командиром 1-й офицерской дружины в Киеве был полковник Л. Святополк-Мирский.*

*С. ...среднего роста черный, гладко выбритый, с траурными глазами кавалерист в полковничьих гусарских погонах и отрекомендовался полковником Най-Турсом, бывшим эскадронным командиром второго эскадрона бывшего Белградского гусарского полка. – По мнению Я. Тинченко, в Най-Турсе угадывается единственный герой обороны Киева от войск УНР, личный друг гетмана Скоропадского генерал от кавалерии граф Ф. Келлер. В 1904 г. его назначили командиром 5-го Александрийского драгунского полка. До реформы кавалерии полк был гусарским; за заслуги в войне с Наполеоном александрийцев прозвали «бессмертными гусарами» – их официальная форма была черного цвета, а в качестве эмблемы полка использовался череп с костями. Гусарские погоны Келлер носил постоянно. После одного из ранений он стал прихрамывать, шея была сведена, так что поворачивался только всем корпусом. Весной 1916 г. Келлер был ранен и доставлен в Каменец-Подольский*

госпиталь – где как раз в это время работал врач Булгаков. К тому же в 1919 г. Булгаков будет служить врачом при том самом 5-м Александрийском полку «черных гусар», которым некогда командовал Келлер. 5 ноября 1918 г. Скоропадский поручил Келлеру командование всеми вооруженными силами на территории Украины – однако эту должность генерал занимал очень недолго и был смещен за нелояльность. Днем 14 декабря, в день вступления петлюровцев в Киев, небольшой отряд Келлера столкнулся на Крещатике с входящими частями Днепровской дивизии. Участник событий В. Киселевский вспоминал:

Мы вышли на Крещатик, это главная улица Киева, впереди шел граф Келлер, за ним конвой: мы и другие офицеры, группа войсковая, – и пошли по Крещатику, впереди единственная была подвода, ломовая телега, которая везла казенные деньги и что-то еще, в основном все шли пешком, вооруженные кто винтовкой, кто карабином, кто чем; вышли мы на этот широкий Крещатик и двинулись по нему в сторону юга, не прошли и ста шагов приблизительно, как вдруг перед нами стена петлюровцев, сплошная от дома до дома, все занято, их было очень много... Пешие... на нас двигаются... Мы остановились как вкопанные, и тогда Келлер говорит, я помню эту фразу: «Заворачивай оглобли». Мы



завернули оглобли и пошли обратно, и тут Келлер нам сказал: «Господа, должен вам сказать, что дело наше проиграно, расходитесь по домам, кто куда может». Мы остановились на небольшой площади, окруженные, улицы там проходили наверху над нами... И лестница была в стене вделана... И нас поливают из пулеметов и из ружей сверху, а мы на этой площади как в такой котловине оказались... Келлер говорит: «Надо штурмовать эту лестницу каменную, чтобы выбить тех, кто нас там обстреливает». Мы бросились на лестницу, как ни странно, впереди были: один кадет, мальчишка лет семнадцати, и я, мы вдвоем по этой лестнице пустились, а там сверху нас поливали, при виде этого за нами другие пошли, а увидев, что добровольцы поднимаются по лестнице, наверху сиганули, значит, мы поднялись, и тут был последний момент прощания с Келлером, его надо было спрятать. Было решено спрятать его в каком-то монастыре, и нас осталось при нем только пять человек конвойцев, остальные все рассиропились... и вот мы его, значит, проводили до этого монастыря тут же в городе... проводили до дверей, значит, он вошел, попрощался с нами и говорит: «Теперь тоже разбредайтесь, как можете. <...>...Графа Келлера я больше не видел. Он был очень гордый человек. Немцы его хотели освободить. <...> И эти немцы предложили

Келлеру, что мы вас вывезем. Но ему сказали, что он должен отдать свое оружие... а у графа Келлера была шашка, личный подарок государя с надписью... а он говорит: я ее ни за какие коврижки не отдам... а немцы говорили, что вы должны отдать вашу шашку как эмблему... мы вас тогда вывезем... но он не отдал шашки, и его расстреляли... правда, не немцы, а позднее петлюровцы (К и с е л е в с к и й В. В. Воспоминания: Фрагмент // Дикое Поле. Донецк, 2003. Вып. 3. С. 148–149).

С. 296...*делавшее его чрезвычайно похожим на министра Александра II, Милютин*... – Д. Милютин – военный министр России в 1861–1881 гг.

С. 297...*я тебе из кольта звякну в голову*... – Кольт (по фамилии конструктора и промышленника) – система револьверов.

С. 298. *Солдатская рожа каптенармуса*... – Каптенармус – военнослужащий, отвечающий за учет и хранение оружия и имущества в подразделении.

С. ...*я почувствовал себя плохо... прилив*... – То есть прилив крови, приступ гипертонии.

С. 300...*курень конных гайдамаков*... – Курень – войсковая часть (примерно соответствует полку).

С. 302. *Сегодня утром я слышал, что положение стало немножко посерьезнее*... – Г. Лесскис отмечает неточность автора романа: выше говорилось, что

«до двух часов дня Алексей Васильевич спал мертвым сном», так что «утром» он ничего не мог слышать о положении в городе.

С. 305. *Кармен. Кармен.* – «Кармен» (1875) – опера Ж. Бизе по одноименной новелле П. Мериме.

С. 306... *а там, в музее, в музее...* – В Педагогическом музее около 16 часов 14 декабря 1918 г. состоялась капитуляция защитников Киева.

С. 309...он боялся испугаться... – Ср. ощущения князя Андрея на батарее Тушина во время Шенграбенского сражения: «Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. “Я не могу бояться”, – подумал он» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 236).

С. 310. *Николка <...> справился с собой и, молниеносно подумав: «Вот момент, когда можно быть героем», – закричал своим пронзительным голосом: / – Не смей вставать! Слушать команду!!* – Ср. поведение Болконского во время Аустерлицкого сражения:

...Князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.

– Ребята, вперед! – крикнул он детски-пронзительно. – «Вот оно!» – думал князь Андрей, схватив древко знамени (Там же. С. 343).

С. 314. *Собор Парижской Богоматери. Виктор Гю-*

го. – По воспоминаниям сестры писателя Н. Земской, роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831) Булгаков впервые прочитал в возрасте восьми-девяти лет.

С. *Рыжая борода* <...> *Нерон*. – Нерон (37–68 гг.) – римский император.

С. 315...*тяжело ударил его, рискуя застрелить самого себя, ручкой в зубы*. – Поступок Николки напоминает поведение толстовского Николая Ростова: «Первый в бою пугается и, забыв, что из пистолета можно стрелять, кидает его, как камень, во французских солдат, спасается бегством. Второй же, обороняясь от поднимающего шум дворника, <...> хватается за ствол и бьет дворника рукояткой по зубам» (С к о б е л е в В. П. О функции архаико-эпического элемента в романной структуре «Белой гвардии»: Приватное «Я» и коллективная одушевленность // Возвращенные имена русской литературы: Аспекты поэтики, эстетики, философии. Самара, 1994. С. 42).

С. *Нат Пинкертон в желтом пиджаке и с красной маской на лице лезет по такой же самой лестнице*. – Нат Пинкертон – герой популярных в начале XX в. детективных рассказов, ловкий сыщик.

С. 317. ...*в руках моталась серая кошелка, из нее выдирался отчаянный петух и кричал на всю улицу «Пэтурра, Пэтурра»*. – Данная сцена вызывает раз-

нонаправленные ассоциации, поскольку дама и петух «относятся» к Петлюре по-разному. Петух в кошелке явно предназначен «на заклятие», а потому его крик воспринимается как призыв о помощи, адресованный «Пэтурре» (который, очевидно, должен освободить «пленника»). Но примечательно, что петух – «символ Франции» – фамилию Петлюры произносит так же, как немцы, – с немецким «акцентом».

С. 320. – Будут кошек есть, будут друг друга убивать, как и мы... – Как отмечает Г. Ребель, в этом проклятии, адресованном немцам, явственно откликается угроза-клятва толстовского Кутузова (Р е б е л ь Г. М. Художественные миры романов Михаила Булгакова. Пермь, 2001. С. 27); ср.: «И французы тоже будут! <...> будут у меня лошадиное мясо есть!» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 172).

С. *Например, Париж и Людовик с образками на шляпе, и Клопен Трульефу полз и грелся в таком же огне.* – Клопен Трульефу – персонаж романа «Собор Парижской Богоматери», предводитель нищих и воров.

С. 322...*малюсенькая трехлинейная лампочка...* – Линия – мера длины, равная 0,1 дюйма; три линии – 7,62 мм.

С. Капитан был маленький... Сходный эпизод есть в воспоминаниях Р. Гуля. Вместе с тем Булгаков свое-

образно использует толстовский мотив «забытой» батареи: «маленький капитан» напоминает толстовского Тушина – «маленького человека, с слабыми неловкими движениями», с «маленькой ручкой», со «слабым, тоненьким, нерешительным голоском» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. (Юбилейное) собр. соч. Т. 9. С. 234).

С. 323...п. Турс. 14-го дек. 1918 г. 4 ч. дня – В дневнике Булгакова за 23/24 декабря 1924 г. имеется записка о гибели некоего полковника пять лет назад:

Чтобы не забыть и чтобы потомство не забыло, записываю, когда и как он умер. Он умер в ноябре 19-го года во время похода за Шали-Аул, и последнюю фразу сказал мне так:

– Напрасно вы утешаете меня, я не мальчик.

Меня уже контузили через полчаса после него.

С. 324. *И тут, вообразите, поймалась в эту паутину какая-то бойкая птица и застучала... <...> и еще кто-то плачется на свою судьбу, и опять голос: «Ник! Ник! Николка!!»* – Картина тяжелого сна Николки после бегства и возвращения домой напоминает эпизод романа «Война и мир»:

...князь Андрей услышал (не зная, в бреду или в действительности он слышит это), услышал какой-то тихий, шепчущий голос, неумолкаемо в такт твердивший: «И пити-пити-пити» и потом «и ти-ти» и опять «и пити-пити-пити» и опять «и

ти-ти». Вместе с этим, под звук этой шепчущей музыки, князь Андрей чувствовал, что над лицом его, над самую середину, воздвигалось какое-то странное воздушное здание из тонких иголок или лучинок (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 383).

*С. Николка в ужасе прижался к стене и уставился на видение. Видение было в коричневом френче, коричневых же штанах-галифе и сапогах с желтыми жокейскими отворотами.* – Явление Лариосика Николке сходно со зрелищем «кошмара», ранее посетившего старшего Турбина-старшего.

С. 326. *Лариосика постиг ужасный удар...* – Прототипом Лариосика Суржанского был Николай Судзиловский (1896-?) – племянник Карума, родственник Н. и Ю. Гладыревых. Т. Кисельгоф считала, что Судзиловский довольно точно описан в романе, хотя особых симпатий он не вызывал: «Неприятный тип. Странноватый какой-то, даже что-то ненормальное в нем было. Неуклюжий. Что-то у него падало, что-то билось. Так, мямля какая-то». В 1913 г. Судзиловский вместе с Булгаковым поступил на медицинский факультет Киевского университета, в 1914-м перешел на юридический факультет, а в 1915-м поступил в Константиновское военное училище. В июне 1918 г. подал прошение о восстановлении на II курсе юридическо-

го факультета Киевского университета. Прощение было удовлетворено, и Судзиловский в октябре приехал из Житомира в Киев, к родственникам. Карум пишет, что его кузен «был очень шумливый и восторженный человек», поэтому Коля и Ваня Булгаковы вскоре переехали к матери, которая с дочерью Еленой с мая 1918 г. жила у второго мужа.

*С. ...птица уж, во всяком случае, никому не делает зла.* – Т. Рогозовская отмечает возможную реминисценцию из повести Н. Гоголя «Старосветские помещики» (1835), где Пульхерия Ивановна говорит: «... Кошка тихое творение, она никому не сделает зла» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М., 1976. Т. 2. С. 20).

С. – Это канарейка? <...> – Но какая! – Возможно, полемический выпад Булгакова против Маяковского, в стихотворении которого 1921 г. «О дряни» канарейка объявляется символом мещанства и угрозой коммунизму (М а я к о в с к и й В. В. Полн. собр. соч. М., 1956. Т. 2. С. 74–74). «Три жупела времени – приметы пошлого быта: гитара, абажур и клетка с канарейкой, как некая квинтэссенция “мещанства”, возвращены Булгаковым в ряд законных и даже поэтических предметов» (Л а к ш и н В. Я. Берега культуры. М., 1994. С. 258).

С. 327. Алексей Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках... – Ге-



рой возвращается домой в одежде, принадлежавшей Шполянскому, и как бы перенимает его «колорит» (выше Шполянский назван «черным»).

С. 332...одиннадцать дней ехал от Житомира!.. – Между Житомиром и Киевом около 150 км.

С. *Явились эти петлюровцы, с хвостами... / – Синие? <...> – Красные...* – Я. Тинченко отмечает, что синие шлыки в армии Директории носил 1-й Синежупанный полк 1-й Синежупанной (Синей) дивизии, а красные – 1-й курень червоных казаков, входивший в состав 1-й Днепровской дивизии.

С. 333. *Как будут жить семьсот тысяч людей здесь, в Городе...* – В 1917 г. население Киева составляло 515 тыс. человек. Возможно, Булгаков подразумевает и многочисленных беженцев из большевистской России.

С. ...*колол лед широким косарем.* – Косарь – большой тяжелый нож с толстым и широким лезвием.

С. 335...*«Посмертные записки Пиквикского клуба»...* – Роман (1837) Ч. Диккенса. По воспоминаниям Карума, эту книгу Булгаков считал «непревзойденным произведением».

С. 337...*поддавал тиф на каменку...* – Каменка – раскаленные камни в бане, обдаваемые водой для образования горячего пара.

С. 341...*пистолета системы «Кольт»...* – Как уже

говорилось (см. коммент. к с. ХХХ), «Кольт» – не пистолет, а револьвер (имеет вращающийся барабанный магазин с патронами).

С. ...и карточкой наследника Алексея... – Имеется в виду наследник престола цесаревич Алексей, убитый вместе с другими членами царской семьи летом 1918 г.

С. ...брандмауэр 13-го номера... – Брандмауэр – огнестойкая стена, разделяющая смежные здания для предупреждения распространения пожара.

С. 345. *Есть же такая сила, что заставляет иногда глянуть вниз с обрыва в горах... Тянет к холмодку... к обрыву.* – Вероятно, ассоциация с знаменитыми строками пушкинского «Пира во время чумы» – об «упоении», которое испытывает человек, находящийся «мрачной бездны на краю» (П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч.: М., 1995. Т. 7. С. 180). Обратим также внимание на сходную фразу в рассказе А. Грина «Крысолов» (1924): «Эти впечатления сеяли особый головной зуд, притягивая к мыслям о катастрофе теми же магнитами сердца, какие толкают смотреть в пропасть» (Г р и н А. С. Собр. соч. М., 1991. Т. 3. С. 330).

С. 347. *Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка...* – Метафора «человека-волка» у Булгакова двойствен-

на: с одной стороны, с волками сравниваются персонажи, явно «не близкие» автору (например, бандит, следящий через окно за Василисой); с другой стороны, «волчьи» черты придаются автобиографическому герою.

*С. 349...уже из последних сил, в нитку втянулся за ней Турбин в фонарь.* – Обыгрывается омонимия слова «фонарь» (эркер / проекционный аппарат). «Волшебный фонарь» – метафорическое обозначение ирреальности, мнимости происходящего, некоей «туманной картины», участниками которой становятся сам Турбин и таинственная незнакомка.

*С. Теперь он увидел светлые завитки волос и очень черные глаза близко.* – Эти черты заставляют вспомнить строки «Евгения Онегина», описывающие жизнь героя летом в деревне: «Порой белянки черноокой / Младой и свежий поцелуй» (П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 89); ранее о Юлии говорилось, что она «истерзана и смята поцелуями страстного Онегина».

*С. 351. Вдруг придут... револьвер...<...> Она вернулась, держа в руках за ручку двумя пальцами браунинг...* – Браунинг – не револьвер (у которого патроны заряжаются во вращающийся барабан), а автоматический пистолет (обойма с патронами находится в рукоятке).

С. 353. – Я – Юлия Александровна Рейсс. – Как предполагает Л. Паршин, прототипом героини могла быть Валентина Сынгаевская (1891–1985), сестра приятеля Булгакова Николая Сынгаевского (см. коммент. к с. ХХХ), семья которого жила в доме № 13 на Мало-Подвальной улице – то есть близко от места жительства семьи Най-Турса в романе (Мало-Провальная, д. 21). Кроме Валентины, в семье Сынгаевских было еще четыре дочери. Т. Кисельгоф характеризовала ее так: «Очень такая... своеобразная девица... крикливо одевалась. Не знаю, то ли замужем она была, то ли нет». Я. Тинченко называет в качестве прототипа героини Наталью Рейс – дочь полковника Генерального штаба В. Рейса, умершего в 1903 г. Наталья с матерью и младшей сестрой Ириной жили по адресу: Мало-Подвальная, д. 14, кв. 1. Ирина Рейс училась в Киевском институте благородных девиц и, по-видимому, была знакома с сестрами Булгаковыми. В 1910–1911 гг. в квартире на Мало-Подвальной улице остались только Наталья с мужем – а потом, после развода, она стала жить там одна. Поскольку ее квартира находилась напротив дома Сынгаевских, где Булгаков нередко бывал, знакомство будущего писателя с Натальей Рейс представляется вероятным.

С. ...разгоралась жестокая головная боль. <...> Началось с левого виска, потом разлилось по темени

*и затылку.* – Сам Булгаков страдал сильными мигренями.

С. 357. *Говорили – тиф, тиф... и накликали.* – Сыпной тиф помешал автору «Белой гвардии» в 1920 г. эвакуироваться с белыми из Владикавказа и покинуть Россию. Во время его болезни произошла смена власти. Т. Кисельгоф рассказывала: «Я выхожу – город меня поразил: пусто, никого. По улицам солома летает, обрывки какие-то, тряпки валяются, доски от ящиков... Как будто большой пустой дом, который бросили. Белые смылись тихо, никому ничего не сказали. <...> И две недели никого не было. Такая была анархия! <...> И вот Михаил лежал. Один раз у него закатились глаза, я думала – умер. Но потом прошел кризис, и он медленно-медленно стал выздоравливать. Это когда уже красные стали».

С. 359. *А вот винт составить можно.* – Винт – карточная игра, комбинация виста и преферанса, одна из любимых карточных игр в семье Булгаковых. Двоюродная сестра писателя И. Булгакова писала Н. Земской 11 ноября 1914 г. о жизни молодых супругов Михаила и Татьяны Булгаковых: «Они живут настоящим семейным домом. Устраивают субботы; винтят». Ср. строфу сатирического «домашнего» стихотворения, сочиненного М. Булгаковым в 1915 г.:

Помоляся Богу,  
Улеглася мать.  
Дети понемногу  
Сели в винт играть.

С. ...*как ругали в Житомире податные инспектора*... – Податной инспектор – служащий налогового ведомства. В пору службы в Екатеринославе такую должность занимал тесть Булгакова Н. Лаппа – который, по воспоминаниям его дочери, очень любил играть в винт.

С. 360. *Ты сам и пошел в ренонс*. – Ренонс – отсутствие карт какой-либо масти у игрока.

С. 361. – *М-малый в пиках*... – То есть малый шлем. Шлем – положение в винте, висте, бридже, когда противнику не дается ни одной взятки (большой шлем) либо дается только одна (малый шлем).

С. 362...*или Надсон, например*. – Надсон С. Я. (1862–1887) – русский поэт.

С. 363...*и студенческий харьковский*. – Судя по этой фразе, Лариосик является (или являлся) студентом университета в Харькове. Н. Судзиловский, прототип Лариосика, некоторое время учился в Московском университете.

С. 365. *Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов*. – То есть предела, крайней степени. Геркулесовы столпы, столпы Геракла –

античное название Гибралтарского пролива, рубежа Средиземного моря, «края света».

*С. 367. На этом слове в передней прозвенел звонок.* – По воспоминаниям Т. Кисельгоф, в дни, когда Киев был занят петлюровцами, к ним в дом № 13 по Андреевскому спуску «однажды пришли синежупанники. Обуты в дамские боты, а на ботах шпоры. И все надушены “Кёр де Жаннетом” – духами модными. “У вас никто не скрывается?” Кого-то они искали. Смотрят – никого нет. Как раз Михаил собирался уйти, он в пальто был. Они полезли под стол, под кровать, посмотрели туда-сюда, потом говорят: “Идем отсюда, тут беднота, ковров даже нет... Тут еще квартира есть – может, там лучше!” И пошли вниз – к архитектору этому, у которого снимали квартиру. <...> Вот там они разошлись! Мы потом это узнали – там такой крик стоял, – они просили, чтоб мы спустились к ним».

*С. 368. В первом человеке все было волчье <...> Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая...* – Предводитель бандитов похож на волка даже внешне – можно сказать, что к Василисе является оборотень.

*С.* Он был румян бабьим полным и радостным румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. – Возможно, бандит не просто имеет «женственный» облик, но является переодетой женщиной. Мотив

«трансвестизма» подкрепляется толстовскими реминисценциями: в романе «Война и мир» есть эпизод, когда князь Андрей, показывая Пьеру привечаемых княжной Марьей «странников», об одном из них (по имени Иванушка) говорит, что это женщина (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 119). К тому же во время охоты на волков в Отрадном появляется старый шут по имени Настасья Ивановна, одетый в женскую одежду (Там же. С. 248).

С. ...ужасные скверные опорки. – Опорки – старые, изношенные сапоги со споротыми голенищами.

С. 370. *Казал, нема <...> Тебя ж убить треба!* – История с «кладом в стене» получила трагикомичное «продолжение» в жизни семьи Листовничих (когда самого домохозяина уже давно не было в живых): Булгакова, написавшего роман, они «ругали на чем свет стоит и проклинали. <...>...он там про клад написал, так они всю стену разломали». Фразу можно понять в том смысле, что родственников «Василисы» обуяла жадность, – однако дочь В. Листовничего интерпретировала эпизод с «кладом» иначе: «Когда в конце двадцатых или в начале тридцатых годов изымали золото, один из соседей – вот там, через улицу жил, – вспомнил, что в каком-то романе Миша писал о некоем домовладельце, у которого что-то там где-то хранилось; так вот, если оно действительно есть... Но его



не было. Не было уже ничего... И все же как-то нехорошо получилось. Зачем так уж прямо?» (Н е к р а с о в В. Возвращение в дом Турбиных. С. 104). Вероятно, из-за булгаковского романа были какие-то неприятности с властями.

С. 371...*шевровые новые ботинки...* – Шевро – хромовая кожа, выделанная из козьих шкур.

С. – *Василько, обувайсь...* – Обратим внимание, что «женственный» бандит – тезка «женоподобного» Василисы.

С. 373...Немоляка... – Немоляки – одна из хлыстовских сект; с точки зрения ее приверженцев, «Христос» и «Антихрист» – духовная и телесная стороны личности, которые сосуществуют, пока «Сатана» не будет покорён; в представлении немоляк, «Богородица – сам человек (любого пола), потому что он рождает в себе Христа» (Э т к и н д А. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 1998. С. 463). Судя по «намечающему» антропониму и явной «женственности» персонажа, в образе юного бандита, вероятно, можно видеть гротескное воплощение хлыстовской «богородицы».

С. ...Кирпатый... – Ясно, что это не фамилия, а с ходу придуманное прозвище, мотивированное внешним видом персонажа (провалившийся нос): диалектное «кирпатый» – курносый (Д а л ь В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: М., 1981. Т. 2. С.

109). Вместе с тем «курносовая» – распространенный эвфемизм смерти.

С. *Волк стал бурым...* – Ср. строки вступления к поэме «Руслан и Людмила»: «В темнице там царевна тужит, / А бурый волк ей верно служит» (П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. М., 1994. Т. 4. С. 5).

С. 378. *Ванда Михайловна чайком вас напоит – удобно уложим. Очень просим и завтра тоже. Помилуйте, без мужчины в квартире!* – Последняя фраза – комичное подтверждение «транссексуальности» Василисы: Булгаков заставляет самого инженера «проговориться» о том, что он, в сущности, не мужчина.

С. ...*славный коньяк Шустова с колоколом.* – Колокол – заводская марка «Товарищества Н. Л. Шустова с сыновьями»; фирма стала известна с 1880-х гг. благодаря выпускаемым ею ликерам и коньякам.

С. 380...*признаюсь вам по секрету, я кадет...* – Здесь: сторонник партии конституционалистов-демократов (сокращенно – «к.-д.»).

С. – Крепость Ивангород, – неожиданно перебил Василису покойный комендант в папаше (...) – И Ардаган и Карс, – подтвердил Карась в тумане... – Как отмечает Г. Лесскис, данный сон тоже оказывается «вещим», подобно сну Алексея Турбина: звучит название города, который отойдет к Эстонии в 1920 г., т. е. в фа-

бульном «будущем». Точно так же в 1920 г. отошли к Турции Ардаган и Карс, о чем булгаковский персонаж в 1918 г., конечно, знать «не может».

С. 381. *Огненные хвосты свечей в паникадилах...* – Паникадило – большая люстра или многогнездный подсвечник в храме.

С. ...*сыпались золотые ризы, взмахивали орари. Лезли из круглых картонок фиолетовые камилавки...* – Риза – облачение священнослужителя; орарь – часть облачения дьякона, длинная лента, перекинутая через плечо; камилавка – головной убор священнослужителя, вручаемый ему при рукоположении.

С. *Страшный бас протодиакона...* – Протодиакон – первый, старший дьякон.

С. 382...*таинственные золотые слова...* – Видимо, имеются в виду надписи на иконах. Вместе с тем, с учетом реминисценций из Слова о полку Игореве» данное словосочетание напоминает про «злато слово» Святослава (Слово о полку Игореве. С. 39).

С. *Из придела выплывали стихари...* – Придел – дополнительный алтарь в храме; стихарь – длинное с широкими рукавами облачение дьякона, священника, архиерея.

С. ...*самоцветами искрящуюся митру...* – Митра – головной убор представителей высшего духовенства.

С. – Позвольте, они же социалисты. – Петлю-

ра действительно был социалистом националистической ориентации; однако реальная политическая программа украинской Директории в «Белой гвардии» не проявлена – петлюровское движение представлено как стихийная волна без «берегов» и реальных лидеров. Булгаков не интересуется идейными нюансами, оценивая деятельность воюющих сторон в соответствии с поступками, а не с теориями и декларациями.

С. 383. – *Попам дай синенькую...* – Синенькая – пятирублевая ассигнация (синего цвета).

С. – Отлитургисали, можно сказать... – Литургисать (ц-слав.) – совершать литургию; однако, как отмечает Г. Лесскис, здесь это слово иронически употреблено в значении «украсть».

С. 384...помните, бывало, в двенадцатые праздники... – Двенадцатые праздники – 12 важнейших православных церковных праздников: Рождество Христово, Крещение (Богоявление), Сретение, Благовещение, Вербное воскресенье (вход в Иерусалим), Вознесение, Троица, Преображение (Спас), Успение, Рождество Богородицы, Воздвижение, Введение во храм.

С. ...встречавшей некогда тревожным звоном ко-  
*сых татар...* – Впервые Киев был взят монголо-татарами в декабре 1240 г.

С. *Слепцы-лирники...* – Лира – старинный музы-

кальный инструмент, из которого звук извлекается с помощью ручки, вращающей вал: крючки вала цепляют за струны.

С. ...из желтозубых бандур с кривыми ручками. – Бандура – многострунный щипковый музыкальный инструмент с широким грифом (см. также коммент. к с. XXX).

С. 386. Вернися, сиротко, дальний свит зайдешь... – Песня, исполняемая слепыми лирниками перед лицом «инфернального» нашествия Петлюры, ассоциируется с рассказом Бунина «Лирник Родион» (1913): здесь на парходике «Олег» возникает тема Киева и Страшного суда – в контексте разговора слепой лирник поет песню о девочке-сиротке и ее скитаниях в поисках умершей матери:

Кто-то заговорил о Киеве. Может быть, глядя именно на это отражение, заговорили о Софиевском соборе, о Михайловском, – многие впервые побывали на этом пути в Киеве – и стали с умилением дивиться их красоте и ужасаться картинам Страшного суда, которыми славятся многие киевские церкви. Тогда, как бы продолжая их мерную речь, медленно и певуче заныла, заскрежетала и зажужжала старая лира Родиона.

Он как бы тоже перебирал в своей памяти картины соборов, проходов под златоверхими колокольнями, темных и тесных полуподземных

приделов. И, дойдя до картин судных, усилил тон: лира его зажужжала и запела смелее, тверже. Послышались вздохи, слабые восклицания нежности и грусти. И он еще усилил – и сквозь восточную, степную меланхолию мотива ясно проступило подобие органного хорала. Он почувствовал, понял, что именно должен спеть он для своих слушательниц, и стал им, матерям и невестам, сказывать нечто самое близкое женскому сердцу – о сироте и о мачехе, – мешая органные угрозы и назидания с песней, с мягкими славянскими укорами (Б у н и н И. А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1988. Т. 2. С. 447–448).

*С. Салопницы на плоских ступнях, чуйки...* – Салоп – теплая верхняя женская одежда; стуёпни – лапти без задника или кожаные; чуйка – длинный суконный кафтан, армяк.

*С. ...с кистями золотыми с углов гроба...* – Т. е. напоминающими украшения гроба (или и впрямь оттуда позаимствованными).

*С. ...скуфьи монахов...* – Скуфья – шапочка черного цвета.

*С. То не серая туча со змеиным брюхом разливется по городу, то не бурые, мутные реки текут по старым улицам...* – Автор романа «сдвигает» на два дня реальную дату петлюровского парада в Киеве (19 декабря 1918 г.), связывая его с 17-м декаб-

ря. 17 декабря, – это и день древнеримских сатурналий, Нового года, который осмыслялся не только как день всеобщего обновления, но и как день очищения и освящения города (Ф р е й д е н б е р г О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 83). Таким образом подчеркивается «карнавальная» (хотя и трагикомичная) природа действия, актуализируется «языческий», «сатанинский» характер происходящего, при том что парад открывается молебном и крестным ходом. При этом петлюровское войско изображается в былинном духе: «Тут уже не жанровые картины, но летописное повествование, даже песнь с ее приподнятым боянным складом» (Л а к ш и н В. Я. О прозе Михаила Булгакова и о нем самом. С. 16).

С. ...*в смушковых, лихо заломленных шапках...* – Смушка – шкурка новорожденного ягненка.

С. 387. *Весело гремящие бунчуки...* – Бунчук – ударный самозвучающий инструмент.

С. ...*трепались цветные оселедцы.* – Оселедец – длинная прядь волос, оставленная на выбритой голове.

С. ...*шестипудового Болботуна...* – Пуд равен 16,4 кг; шесть пудов – около 100 кг.

С. ...*черноморский конный курень имени гетмана Мазепы.* – Как замечают Я. Лурье и А. Рогинский, имя Мазепы в войсках Директории носил не Черномор-

ский курень, а один из полков Запорожской дивизии.

*С. Имя славного гетмана, едва не погубившего императора Петра под Полтавой...* – Иван Мазепа в 1687–1708 гг. был гетманом Украины, а во время Северной войны перешел на сторону шведов. После Мазепы гетманом Украины стал Иван Скоропадский (предок П. Скоропадского).

*С. 388...катились тонкие гаубицы...* – Гаубица – орудие для навесной стрельбы.

*С. 389...шестидюймовые, сытые кони...* – Рост коней, везущих артиллерию, указывается здесь тоже в дюймах, словно калибр артиллерийских орудий.

*С. 390...сидел Богдан Хмельницкий и булавой, чернея на небе, указывал на северо-восток.* – Б. Хмельницкий – гетман Украины, возглавивший антипольское восстание и провозгласивший в 1654 г. воссоединение Украины с Россией. Памятник ему в Киеве открыт в 1888 г.

*С. ...в украинских кожухах, из-под которых торчали разноцветные плахты...* – Кожух – тулуп из овчины; плахта – род юбки из толстой полосатой или клетчатой ткани, четырехугольный кусок которой обернут вокруг стана поверх длинной рубахи.

*С. ...капитан Плешко, трижды отрекшийся...* – Ср. слова Иисуса апостолу Петру: «В эту ночь, прежде чем трижды пропоет петух, трижды отречешься от Ме-



ня» (Мф 26: 34; Мк 14: 30; Лк 22: 34; Ин 13: 38).

С. 391. *Совершенно внезапно лопнул в прорезе между куполами серый фон, и показалось в мутной мгле внезапное солнце. <...> Лицо его, обращенное прямо в красный шар, было яростно, и по-прежнему булавой он указывал в дали* – В. Лакшин сопоставляет данный фрагмент с эпизодом «Слова о полку Игореве», где затмение солнца представлено как небесное знамение: «Тогда Игорь възрь на светлое солнце и видь отъ него тьмою вся своя воя прикрыты»; «Солнце ему тьмою путь заступаше; ночь стонуци ему грозою птичь убуди; свисть зверинь вста, збися дивь – кличеть врѣху древа» (Слово о полку Игореве. С. 27, 30).

С. ...*пытались сбить надпись, глядящую с черного гранита* – Надписи на памятнике в Киеве: на лицевой стороне пьедестала – «Волим под царя восточного, православного»; на правой стороне – «Богдану Хмельницкому – единая неделимая Россия»; на левой стороне – «1654–1888».

С. ...*по-прежнему булавой он указывал в дали.* – Конная статуя Хмельницкого обращена в сторону Москвы.

С. ...*Универсал будут читать.* – Универсал – историческое название указа или грамоты гетмана для публичного оглашения. Универсалами назывались и

манифесты Центральной Рады.

С. 393...*в сторону восторженного самокатчика...* – Самокатчик – военнослужащий самокатной части, то есть передвигающейся на каких-либо транспортных средствах (автомобилях, мотоциклах, велосипедах).

С. 394...*светлый кок...* – Кок – чуб.

С. Пролетарии всех стран, соединяйтесь... – Лозунг, которым завершается «Манифест коммунистической партии» (1848) К. Маркса и Ф. Энгельса.

С. ...*запели «Як умру, то...»* – Народная песня на слова стихотворения Т. Шевченко «Заповіт» («Завещание», 1845; первая строка в рус. пер. – «Как умру, похороните...»).

С. ...*фунта в полтора весом.* – Фунт – около 400 г.

С. *Вот он, ворюга, марвихер...* – Марвихер – опытный вор-карманник.

С. 395...*безмундштучную немецкую папироску...* – Т. е. сигарету.

С. 397. *Зайдем к Тамарке <...> «Погреб – замок Тамары».* – Вместо «черной скалы», как в лермонтовском стихотворении 1841 г. «Тамара» (Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1969. Т. 1. С. 336), таинственный «замок» расположен в подвале, а романтическая царица оборачивается простой шинкаркой.

С. 398...*а далее, влево, бесконечные черниговские*

*пространства в полном зимнем покое за рекой Днепром...* – По Днепру проходила граница между Киевской и Черниговской губерниями.

С. 400. *Ирина, слышишь? Феликса убили!* – Сочетание двух этих имен вызывает ассоциации с Феликсом и Ириной Юсуповыми. Ф. Юсупов – князь, один из организаторов (вместе с В. Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем) убийства Г. Распутина в декабре 1916 г. Жена Юсупова Ирина была племянницей Николая II.

С. 402...*у Ная было железное лицо, простое и мужественное...* – Эта характеристика вызывает неожиданные ассоциации. Имя Ная – Феликс – в сочетании с эпитетом «железный», вероятно, должно вызывать ассоциации с Ф. Держинским (с 1917 г. председатель ВЧК) – тем более с учетом «рыцарственного» облика Най-Турса (ср. мифологизированный образ Держинского как «рыцаря революции», «железного Феликса»).

Вместе с тем словосочетание «железное лицо» вызывает ассоциации с гоголевской повестью «Вий»: о Вии говорится, что «весь он был в черной земле» и «лицо было на нем железное» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. Т. 2. С. 179).

С. 405. – *Вот видите, Сергей Николаевич...* – Имя медика вызывает ассоциации с Сергеем Нико-

лаевичем Булгаковым, знаменитым религиозным философом и богословом, а через это «посредство» – и с его однофамильцем Михаилом Булгаковым. Вероятно, «жрец» и помощник хозяина «царства мертвых» (не лишенный демонического оттенка) может считаться своеобразным автопортретом доктора Булгакова.

С. 406. *Николке она показалась страшно красивой, как ведьма, и липкой.* – М. Петровский предполагает реминисценцию из повести А. Куприна «Яма» (1915): «У Куприна девицы из дома терпимости разыскивают в морге труп своей погибшей товарки <...> В обоих случаях действие перенесено в одно и то же помещение киевского Анатомического театра» (Петровский и М. Мастер и Город. С. 168).

С. 407. *В ту же ночь в часовне все было сделано так, как Николка хотел <...> Сам Най значительно стал радостнее и повеселел в гробу.* – Показательно, что в романе отсутствует акт предания полковника земле – о его похоронах не будет сказано ни слова. После того, как Николка уходит из часовни, о «радостном» и «веселом» покойнике больше не упоминается; фактически неизвестно, состоялись ли похороны и присутствовал ли на них младший Турбин, – полковник остается как бы «непогребенным».

С. ...*звезды крестами и белый Млечный Путь.* –

Этот эпизод булгаковского романа соотносится со сценой «Анны Карениной», где Левин после объяснения с Кити в ночь накануне сватовства смотрит в окно:

Из-за покрытой снегом крыши видны были узорчатый с цепями крест и выше его – поднимающийся треугольник созвездия Возничего с желтовато-яркою Капеллой. Он смотрел то на крест, то на звезду, вдыхая в себя свежий морозный воздух <...> опять сел к форточке, чтобы купаться в холодном воздухе и глядеть на этот чудной формы молчаливый, но полный для него значения крест и на возносящуюся желто-яркою звезду (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1934. Т. 18. С. 423).

Возможно также, что в «Белой гвардии» сказалось влияние романа А. Н. Толстого «Хождение по мукам», первое отдельное издание которого вышло в 1922 г. в Берлине. Здесь образ звезды служит символом вечности, размыкая границы личности героя (Телегина), который, подобно Левину, ощущает причастность к космической гармонии:

Над головой его в небольшом созвездии сияла голубым светом звезда. Тысячу лет назад побежал от ее этот голубой лучик, и вот упал в глаза, коснулся сердца Ивана Ильича. И эта звезда, и Млечный путь, и бесчисленные созвездия – лишь песчинки в небесном океане;

а там где-то еще есть черные угольные мешки, провалы в вечность. И все эти звезды и черные бездны – в нем, в горячем сердце Ивана Ильича <...> И так же как таинственный, неосязаемый свет звезд льется на землю, так сердце шлет навстречу им свой незримый свет – тоску по любви, не хочет верить, что оно – мало, смертно, Это была минута божественной важности» (Т о л с т о й А. Н. Хождение по мукам. Берлин, 1922. С. XXX).

*С. Турбин стал умирать днем двадцать второго декабря.* – Булгаков приурочивает поворотный момент в судьбе героя (пребывание на грани жизни и смерти и «второе рождение») к точке нижней кульминации годового цикла, самому короткому дню года – солнцевороту, актуализируя связь христианского Рождества с языческим праздником Коляды (ср. римские календы).

Вместе с тем это число играет важнейшую роль в романе Слезкина «Ольга Орг», где все события заключены в интервал ровно одного года между двумя датами 22 декабря. В этот день происходит мимолетная встреча героини с «прекрасным Эросом» – и в тот же день следующего года, не сумев примирить земную и небесную любовь и запутавшись в ее «ипостасях», Ольга кончает жизнь самоубийством (С л е з к и н Ю. Ольга Орг. С. 17, 180).

С. 410. – *Глухую исповедь...* – Глухая исповедь – таинство покаяния применительно к больному или умирающему, лишенному дара речи.

С. 411. *На тебя одна надежда, Пречистая Дева. На Тебя. Умоли Сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо...* – Т. Кисельгоф вспоминала: «... Однажды он мне читал про эту... молитву Елены <...> А я ему сказала: “Ну зачем ты это пишешь?” Он рассердился, сказал: “Ты просто дура, ничего не понимаешь!” <...> Ну, я подумала: “Ведь эти люди все-таки были не такие темные, чтобы верить, что от этого выздоровеют”».

С. *День исчез <...> Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно, длинно к самым глазам Елены.* – Несомненно сходство данного эпизода «Белой гвардии» со сценой из романа Грина «Блестящий мир» – молитвой Руны Бегуэм перед иконой Богоматери; ср.: «Выше поднялось пламя свечей, алтарь стал ярче, ослепительно сверкнул золотой узор церкви, как огненной чертой было обведено все по контуру. И здесь <...> увидела она, сквозь золотой трон алтаря, что Друд вышел из рамы, сев у ног маленького Христа. В грязной и грубой одежде рыбака был он, словно лишь теперь вышел из лодки» (Грин А. С. Собр. соч. Т. 4. С. 186). Обе сцены венчаются практически одинаковыми финалами. Руна после молитвы

остается «неподвижно застывшей в земном, долгом поклоне» (Там же. С. 187) – она в глубоком обмороке; о Елене повествователь говорит: «...страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и больше не поднималась». Сходство тем убедительнее, что, как уже отмечалось, мифопоэтические коннотации образа Елены связывают ее с мотивом морского путешествия, плавания, – а в романе Грина Руна Бегуэм приходит к иконе св. Марии «Владычицы морей»; этим в «Блистающем мире» отчасти мотивируется явление Друда в «апостольском» образе – «в одежде рыбака».

Отметим также сходство между молитвой Елены Турбиной и эпизодом романа «Братья Карамазовы», где Алеша вспоминает об исступленной молитве его матери: «...Он запомнил один вечер, <...> в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а перед образом на коленях рыдающую мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко до боли и молящую за него Богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы под покров Богородице...» (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч. Т. 9. С. 21–22). «Моление матери о сыне <...> есть, по-видимому, видоизмененный мотив жития Алексея – человека Божьего» (В е т л о в с к а я В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977. С. 170).



С. 413. *Он резко изменился. На лице, у углов рта, по-видимому, навсегда присохли две складки, цвет кожи восковой, глаза запали в тених и навсегда стали не улыбочивыми и мрачными.* – Пройдя «через смерть», Турбин выражает равнодушие к политической ситуации и как бы вообще к делам «земным». «Потустороннее» бесстрашие воскресшего героя вызывает ассоциации с рассказом Л. Андреева «Елеазар» (1906):

...то, что появилось нового в лице Елеазара и движениях его, объясняли естественно, как следы тяжелой болезни и пережитых потрясений. До смерти своей Елеазар был постоянно весел и беззаботен, любил смех и безобидную шутку. За эту приятную и ровную веселость, лишённую злобы и мрака, так и возлюбил его Учитель. Теперь же он был серьезен и молчалив; сам не шутил и на чужую шутку не отвечал смехом (А н д р е е в Л. Собр. соч.: В 6 т. М., 1990. Т. 2. С. 192–193).

С. 415. *Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного знак вопроса. Белый знак превратился в красный.* – В соответствующей сцене «журнальной» редакции «БГ» используется медицинский термин «дермографизм»: сосудистая реакция кожи служит показателем состояния вегетативной нервной системы пациента. Однако меняющийся цвет «знака во-

проса» в данном случае показателен и для судьбы врача – это намек на возможность эволюции Турбина, его движения вслед за изменяющимися обстоятельствами.

*С. ...через неделю первое вливание.* – Имеются в виду вливания сальварсана (см. коммент. к с. ХХХ).

*С. ...полчища аггелов вести на этот Город...* – Ангел – злой дух, сатана.

*С. Как некогда Содом и Гоморра...* – Библейские города, уничтоженные Богом за грехи их жителей (Быт 18–19).

*С. 416...и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ и виден над полями лик сатаны, идущего за ним.* – Русаков цитирует фрагмент Апокалипсиса, где говорится о трубах ангелов, навлекающих на людей страшную саранчу и смертоносных всадников (Откр 9: 1–3). Апокалиптическая образность была довольно распространена в киевской публицистике конца 1918 г. – М. Петровский приводит фрагмент статьи, подписанной именем «Савватий» и опубликованной в газете «Голос Киева» 2 октября 1918 г.:

Разве мы живем теперь?

Нет. Мы пребываем по инерции...

Одна лишь Божья кара властна над этой немочью...

И реки станут горькими, потому что их залили человеческой кровью.

И придут в города дикие звери, привлеченные запахом падали.

И огненный дождь упадет с неба, чтобы сжечь четвертую часть человечества.

И возмущенная земля всколыхнется, чтоб от стыда и ужаса скрыться под водами. И еще одна четверть людей погибнет в развалинах своей жизни.

Так будет, ибо книга судеб одна, и дерзко сорвана с нее печать. Зашелестели страницы и сбывается виденное и слышанное Иоанном...

И раздается уже топот апокалиптических всадников, несущих за собою мор и глад и землетрясение и смерть.

*С. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.* – Строки Апокалипсиса, где названо имя ангела бездны – предводителя страшной саранчи (Откр 9: 11).

С. 417. Предтеча. – Характерно, что, повторяя слово, услышанное от Русакова, Алексей Турбин не добавляет к нему второе слово, произнесенное пациентом («антихриста»); поэтому вопрос о том, чьим именно «предтечей» выступает Шполянский, остается открытым.

С. 418. *Братья столкнулись нос к носу в ниж-*

*нем яруссе таинственного сада у другого домика.* – Родственники Най-Турса живут неподалеку от Юлии, любовницы «рокового» Шполянского. Автор «Белой гвардии» стремится создать образ странного «земного рая» где, как и в раю небесном (вспомним сон Алексея и рассказ Жилина), «чистые» и «нечистые» обитают рядом.

С. – Какие такие звезды? <...> – Маленькие, как кокарды, пятиконечные... – Красная звезда была введена в качестве кокарды после объявленного в мае 1918 г. конкурса на новую красноармейскую форму; причем новый военный символ ассоциировался с античным богом войны – красная пятиконечная звезда официально именовалась «марсовой». Как указывает Н. Соболева, такое определение использовалось, например, в объявлении о «конкурсе по установлению формы обмундирования Красной армии от 7 мая 1918 г, напечатанном в газете „Известия“ 10 мая того же года (С о б о л е в а Н. А. Очерки истории российской символики: От тамги до символов государственного суверенитета. М., 2006. С. 224). 28 июля 1918 г. новая кокарда была узаконена. „Она представляла собой красную эмалевую звезду с несколько скругленными, напоминавшими лепестки лучами с золотой окантовкой, с золотыми же плугом и молотом в центре“ (Ч у д а к о в а М. О. Антихристианская мифоло-

гия советского времени. С. 342). До этого существовал красноармейский нагрудный знак в виде красной звезды с плугом и молотом, обрамленной венком из лавровых и дубовых веток (С о б о л е в Н. А. Очерки истории российской символики. С. 225).

*С. Тучей, говорят, идут...* – Воображаемое зрелище огромной массы «звезд» ассоциируется со «звездной сыпью» на груди Русакова.

*С. – Почему такая точность: в полночь...* – Намек на «сатанинскую» природу красноармейской звезды возникает по ассоциации с Апокалипсисом, где о Звезде говорится: «И он сделал то, что всем <...> положено будет начертание на правую руку их или на чело их» (Откр 13: 16). Полночь для явления подобных существ – самое подходящее время. Как замечает Ю. Смирнов, восприятие звезды в качестве «знака антихриста» было широко распространено в народных массах, так что командование Красной Армии было вынуждено выпустить листовку, объясняющую значение звезды на головном уборе красноармейца (С м и р н о в Ю. Реминисценции мифа в «Мастере и Маргарите»: источники, память жанра и пределы интерпретации // Булгаковский сб. Таллинн, 1994. Вып. 2. С. 13).

При этом пятиконечная звезда – традиционный знак пентаграммы, функционирующий как один из символов черной магии, – изначально воспринима-

лась и как знак Спасителя: каждый угол символизировал рану Христа и пять букв имени «Иисус», что якобы служило защитой от злых духов – не случайно, например, в «Фаусте» Гете Мефистофель боится этого знака (Г е т е И. В. Собр. соч.: В 10 т. М., 1976. Т. 2. С. 457).

Мотив «мистического», «дьявольского» вмешательства в историю активно (и не без пародийной подоплеки) функционирует в романе Пильняка «Голый год». Здесь персонаж с «евангельским» именем Семен Зилотов (ср.: Лк 6: 15) после контузии на фронте «узрел великую тайну: две души, великая тайна, черная магия, пентаграмма <...> на красноармейских фуражках загорелась мистическим криком пентаграмма, <...> – она принесет, донесет, спасет. Черная магия – черт! Черт – а не бог! Бога попать!» (П и л ь н я к Б. Романы. С. 132).

С. 421...но год 1919 был его страшной. – В романе Пильняка в центре внимания находятся именно события 1919 г.

С. В ночь со второго на третье февраля... – Как отмечает Л. Яновская, автор романа изменил реальную дату вступления красных в Киев (5 февраля 1919 г.), «приблизив» его на двое суток. Дата 2/3 февраля, видимо, мотивирована фактами биографии автора романа: судя по всему, именно в эти дни он

был мобилизован петлюровцами (от которых сумел бежать). Впрочем, в записи П. Попова до нас дошла фраза Булгакова, из которой следует, что имелись и иные обстоятельства, вследствие которых первая половина февраля осознавалась писателем как особо «отмеченный» период: «Пережил душевный перелом 15 февраля 1920 года, когда навсегда бросил медицину и отдался литературе». Учитывая разницу стилей, можно предположить, что дата 2/3 февраля, акцентированная в нескольких булгаковских произведениях, так или иначе соотносилась и с этим драматичным воспоминанием. Наконец, для автора «Белой гвардии» это время могло ассоциироваться с недавней (1 февраля 1922 г.) смертью матери.

*С. ...у входа на Цепной мост через Днепр человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокни по снегу два хлопча, а пан куренной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. – Т. Кисельгоф говорила: «Эту сцену, как убивают человека у моста, он видел, вспоминал».*

*С. ...хлопцы отскочили, чтобы самими увернуться от взлетевшей, блестящей трости. – «В произведениях Булгакова первой половины 20-х годов с исключительной настойчивостью повторяется один сюжет <...> описывается одна и та же сцена – зверское убийство еврея <...> Во всех этих сценах свидете-*

лем является главный герой повествования; он хочет прийти на помощь жертве, но оказывается не в силах преодолеть свой страх и в конце концов остается пассивным свидетелем убийства. «...» Данный сюжет, во всех его вариантах, имеет явные ассоциации с Евангелием» (Г а с п а р о в Б. М. Литературные лейтмотивы. С. 87). Действительно, даже такая деталь, как «блестящая трость», напоминает евангельское описание истязаний Иисуса: «И плевали на него, и, взявши трость, били его по голове» (Мф 27: 30; Мк 15: 19).

*С. И в ту минуту, когда лежащий испустил дух, звезда Марс над Слободкой под Городом вдруг разорвалась в замерзшей выси, брызнула огнем и оглушительно ударила.* – Помимо «реального» разрыва снаряда, смерть невинной жертвы ассоциируется с космическим катаклизмом: она переполняет чашу терпения, и «звезда Марс» карает убийц – ср. образы «дня гнева», «небесного огня» (ср.: Откр 16: 17–21; 20: 9). М. Шнеерсон (см.: Ш н е е р с о н М. «Я – писатель мистический»: К семидесятилетию «Белой гвардии» // Грани. 1993. № 70. С. 144) соотносит данный эпизод с другими фрагментами Апокалипсиса: «Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику» (Откр 8: 10); «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны» (Откр.



9: 1).

С. ...и навеки вон. – По поводу сцены убийства еврея и бегства петлюровцев Б. Гаспаров пишет:

...Остается открытым вопрос о том, что€ возвещает финал романа – наступление Царства Божия или искупительную жертву; вернее, его смысл не предполагает ответа на этот вопрос и включает в себя симультанно обе альтернативы. <...> Мотив второго пришествия и конца света еще более осложняется благодаря тому, что в романе этому мотиву придан циклический характер <...> несколько раз проигрывается, в различных воплощениях, один и тот же «мотивный сюжет»; развитие событий в романе совершается по законам мифологической цикличности <...> Исчезновение Антихриста и его войска и наступление конца света оказываются лишь подготовкой к приходу Антихриста и утверждению его царства, и неизвестно, на каком звене закончится, и закончится ли вообще, этот мифологический цикл (Г а с п а р о в Б. М. Литературные лейтмотивы. С. 103, 105, 110).

С. 422....*потом исчезло все, как будто никогда и не было* . – Выражаемое повествователем изумление ирреальностью ситуации как бы придает совершившемуся характер некоего страшного сна или страшного театра, в котором всё – видимость и лишь смерть

настоящая. Ср. суждение П. Пильского о романе, высказанное в 1940 г.:

Кроме двух своих названий («Дни Турбиных», «Белая гвардия»), эта книга могла бы получить еще более удачное, более проникновенное название. Ее имя – «Сны». «...» Снами окутан, овеян, отуманен весь роман. Повторяется одно и то же видение, повторяются одни и те же слова: «сонная дрема». Фон романа – ночной, и у этих ночей тоже сны. Да, роман символичен. Его выводы дышат философской идеей (цит. по: Я н г и р о в Р. Русская эмиграция о романе «Белая гвардия»: 1920-1930-е гг. // Михаил Булгаков на исходе XX века. СПб., 1999. С. 72).

С. А зачем оно было? Никто не скажет. Заплатит ли кто-нибудь за кровь? / Нет. Никто. – Н. Гуткина соотносит эти рассуждения булгаковского повествователя с фрагментом «Истории одного города» (Г у т к и н а Н. Д. Русская история как «известный порядок вещей»: Щедринские традиции в «Белой гвардии» М. Булгакова // Русская словесность. 1998. № 1. С. 23), где мотив бессмысленных жертв играет важную роль:

...Если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегода получится только боёльшая или меньшая порция «убиенных». Кто эти «убиенные»? Правы они

или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? – все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки (Щ е д р и н Н. (С а л т ы к о в М. Е.) Избр. произв. Т. 2. С. 315).

С. ...Лен... я взял билет на Аид... – «Одна пропущенная буква – и вместо уютного милого прошлого возникает тревожное будущее» (М i l n e L. Mikhail Bulgakov. P. 89; см. также: С м е л ь н с к и й А. М. Булгаков в Художественном театре. С. 24). Мы не знаем, кем из персонажей изначально была написана фраза «Леночка, я взял билет на Аиду» на кафельной печи Турбиных, но известно, что перед вступлением петлюровцев в Город все надписи были стерты Николкой, так что «авторство» окончательного варианта надписи принадлежит ему. «Билет на Аид» – словно на поезд, отправляющийся в царство мертвых, и характерно, что вскоре Елена увидит во сне младшего брата погибшим.

С. 423...Василиса купил огород. <...> Василиса в парусиновых брюках стоял и глядел на милое заходящее солнышко, почесывая живот... – Вероятно, вариация на тему рассказа А. Чехова «Крыжовник» (1898), в котором герой, достигший «идеала» – поместья с зеленым крыжовником, – платит за это потерей челове-

ческого облика: «Иду к дому, а навстречу мне рыжая собака, толстая, похожая на свинью. Хочется ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом: постарел, пополнил, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в одеяло» (Ч е х о в А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1985. Т. 9. С. 239).

*С. И вот в этот хороший миг какие-то розовые, круглые поросята влетели в огород...* – Сон Василисы выглядит пародийным перифразом евангельской притчи о бесах, вошедших в свиней (Лк 8: 33), которая послужила эпиграфом к роману Достоевского «Бесы». Ср. также в повести Н. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (1831) фразу головы: «Я не забыл, как проклятые сорванцы вогнали в огород стадо свиней, переевших мою капусту и огурцы» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. М., 1976. Т. 1. С. 70–71).

*С. 424. Человек очень сильно устал и зверски, не по-человечески озяб. <...> в тесной конуре он сможет свалиться на узкую койку, прильнуть к ней и на ней распластаться.* – М. Чудакова отметила сходство этого эпизода с сюжетом рассказа Грина «Тифозный пунктир», опубликованного в Литературном приложении к газете «Накануне» 3 декабря 1922 г. – все-

го за неделю до того, как в следующем номере приложения появился булгаковский отрывок «В ночь на 3-е число» (в котором бронепоезда и часового нет – они возникнут лишь в «Белой гвардии»). Герой-рассказчик «Тифозного пунктира» – петербуржец, служащий в обозной команде в маленьком уездном городе; заболевая тифом, он стоит ночью на посту:

С платформы <...> виден был ряд вагонов проходящего эшелона: светящиеся окна теплушек и раскрытые двери их дышали огнем железных печей, бросающих на засыпанный сеном снег рыжие пятна. Там ругались и пели. Закрывая хвост эшелона, темнели белые вагоны санитарного поезда, маня обещаниями, от которых содрогнулся бы человек, находящийся в обстановке нормальной.

Вглядываясь в них, я думал, что нет выше и недостижимее счастья, как попасть в эти маленькие, уютные и чистые помещения, так нерушимо и прочно ограждающие тебя от трепета и скорбей мучительной, собачьей жизни, нудной, как ровная зубная боль, и безнадежной, как плач» (Г р и н А. С. Собр. соч. Т. 3. С. 183).

С. 425. *Вырастал во сне небосвод невиданный. Весь красный, сверкающий и весь одетый марсами в их живом сиянии.* – «Перекличка» между небесными светилами и звездами красноармейцев стимули-

рует в «БГ» противоположные ассоциации: красноармейцы одновременно уподобляются войску Антихриста и «небесному воинству». Однако образ небосвода, испещренного пятиконечными звездами, – это не только лубочно-оптимистическая картина торжества большевизма, но и предвестие будущей трагедии: своеобразная иллюстрация слов Жилина о том, что на небесах приготовлены райские хоромы для погибших при штурме Перекопа красноармейцев; видимо, это именно их души светятся пятиконечными звездами.

*С. ...а навстречу ему идет сосед и земляк.* – Сон красноармейца, к которому является Жилин, своеобразно повторяет сон Алексея. Как подчеркнула М. Чудакова, через «посредство» Жилина «белогвардеец» Турбин и безымянный красноармеец вступают в неантагонистические отношения (хотя и не знают об этом).

*С. 426. Она была маленькая и тоже пятиконечная.* – Следует учитывать, что в латинском языке планета Венера обозначается словом *Lucifer*: таким образом, Христос как «утренняя звезда» (Откр 22: 16) через мотив света парадоксально отождествляется с Люцифером (Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. 2-е изд. М., 1992. Т. 2. С. 84). Эта двойственность соответствует общей непроясненности финала романа: Город ожидает вступления красных, которые явля-

ются спасителями от «антихриста» Петлюры, но при этом во главе их стоит «антихрист» Троцкий (см.: Г а с п а р о в Б. М. Литературные лейтмотивы. С. 105).

С. *«И увидал я мертвых и великих, стоящих перед Богом <...> и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет».* – Откр 20: 12–15; 21: 1.

С. *«...слезу с очей, и смерти не будет, уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».* – Откр 21: 4.

С. 427. – *Я демон, – сказал он, щелкнув каблуками...* – В романе Слезкина «Ольга Орг», где героиня прямо сравнивает пытающегося ее соблазнить Владека Ширвинского с демоном, иронически цитируя при этом слова героя поэмы Лермонтова и оперы Рубинштейна: «И будешь ты царицей мира» (С л е з к и н Ю. Ольга Орг. С. 49).

С. *...его лицо из клубов выходило ярко-кукольным.* – Вспомним, что Алексей Турбин называл Тальберга «чертовой куклой, лишенной всякого понятия о чести», – сходство по признаку кукольности показывает, что второй избранник Елены немногим отличается от первого: для Шервинского проблема чести так же «незатруднительна», как и для Тальберга.

В плане переключек «БГ» с произведениями Достоевского обратим внимание на портреты типологи-

чески сходных персонажей «Преступления и наказания» и «Бесов». О Свидригайлове говорится: «Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными алыми губами, с светло-белокурой бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице» (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Собр. соч. Л., 1989. Т. 5. С. 442). Сходна и внешность Ставрогина: «Волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то уж слишком спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, румянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые – казалось бы, писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен» (Там же. Т. 7. С. 42).

С. – *Жить, будем жить!!* – Слова романса Р. Глиэра «Будем жить»: «Жить, будем жить, и от жизни возьмем хотя б одну весну, хотя б одно мгновенье...» (слова Г. Галиной).

С. – *А смерть придет, помирать будем...* – Строка из первого куплета цыганской песни:

Эх, пить будем  
Да гулять будем,



А смерть придет —  
Помирать будем.

*С. Будто бы шел Петька по зеленому большому лугу...* – Л. Кацис отмечает переключки данного эпизода со статьей А. Белого 1905 г. «Луг зеленый», вошедшей в 1910 г. в одноименный сборник (впрочем, радикально-мистические призывы эпохи первой русской революции в контексте «Белой гвардии» обретают, скорее, пародийное звучание):

Россия – большой луг, зеленый. На лугу раскинулись города, селенья, фабрики.

Искони был вольный простор. Серебрилась ковыль. Одинокий казак заливался песнью, несясь вдоль пространств, над Днепром, – несясь к молодой жене Катерине. <...> Но пришел из стран заморских пан, назвавшийся отцом твоим, Катерина, – казак в красном жупане <...> И все предались болезненным снам. И сама ты заснула в горнице, пани Катерина, и вот чудится тебе, будто пани Катерина пляшет на зеленом лугу, озаренная красным светом месяца, – то не месяц, то старый пан, пан отец – казак, в красном, задышавшем пламенем жупане, на нее уставился. <...> То не месяц: то неведомый казак, тебе из заморских стран ужас приносящий... Вот покрывает он зеленые луга сетью мертвых городов; вот занавешивает небо

черным пологом фабричных труб – не казак, а колдун, отравляющий свободный воздух родного неба – души.

Россия, проснись: ты не пани Катерина – чего там в прятки играть! Ведь душа твоя Мировая. Верни себе Душу, над которой надмевается чудовище в огненном жупане: проснись, и даны тебе будут крылья большого орла, чтобы спастись от страшного пана, называющего себя твоим отцом.

Не отец он тебе, казак в красном жупане, а оборотень – Змей Горыныч, собирающийся похитить тебя и дитя твое пожрать (Б е л ы й А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 333).

Свою статью А. Белый цитировал в ответной речи на вечере в Союзе писателей 17 октября 1921 г. (по поводу отъезда Белого за границу): «...Россия большой луг зеленый, он еще зацветет цветами» (А ш у к и н Н. Заметки о виденном и слышанном // Новое литературное обозрение. 1998. № 31. С. 218).

*С. ...на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар <...> Шар обдал Петьку сверкающими брызгами.* – Я. Лурье и А. Рогинский соотносят этот эпизод со сном Пьера Безухова, в котором старый учитель географии показывает ему глобус:

Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара

состояла из капель, плотно сжатых между собой, и капли эти двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

– Вот жизнь, – сказал старичок учитель (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 158).

С. 427–428. Похоже было, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили всенощную. В алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. – Как полагает Я. Лурье, символика звезд в финале «БГ» сквозь реминисценции из Толстого ведет к знаменитой максиме И. Канта: «Две вещи наполняют душу постоянно новым и возрастающим удивлением и благоговением и тем больше, чем чаще и внимательнее занимается ими размышление: звездное небо надо мной и нравственный закон во мне» (цит. по: Л у р ь е Я. Историческая проблематика в произведениях М. Булгакова: М. Булгаков и «Война и мир» Л. Толстого // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. С. 200). Эти слова стали эпиграфом к трактату Л. Толстого «О жизни». Сравним также финал романа «Анна Каренина», герой ко-

торого, глядя на ночное небо, постигает смысл существования: «Левин <...> смотрел на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлениями. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали, но, как только потухала молния, как будто брошенные какой-то меткой рукой, опять появлялись на тех же местах» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1935. Т. 19. С. 397–398). Вполне в духе толстовского героя, даже с его интонациями, булгаковский повествователь призывает взглянуть на земные дела «с точки зрения вечности» – в космическом масштабе.

*С. 428. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла – слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч.* – Креститель предстает в образе крестоносца – ср. явление Най-Турса в сне Алексея – с «мечом длинным, каких уже нет ни в одной армии со времен крестовых походов».

*С. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?* – Вопрос, которым завершается «Белая гвардия», зачастую трактуется как риторический и интерпретируется как императив романа в целом. Однако нет оснований понимать слова повествователя исключительно буквально и трактовать призыв «к звездам» как прямолинейное выражение

авторской позиции. Финал романа, оформленный как конъюнктурный политический лозунг в стиле Экклезиаста, все же не позволяет отождествить общий смысл «Белой гвардии» с размышлениями Андрея Болконского после ранения на Аустерлицком поле, осознающего бренность земной суеты перед лицом высокого неба (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 356–360), или с заключительной сценой «Дяди Вани»: «Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах» (Ч е х о в А. П. Собр. соч. М., 1985. Т. 10. С. 238).

Тема звездного неба наполняется античными ассоциациями и христианской символикой; призыв соотносить нравственный закон с безмерностью звездного неба заставляет вспомнить об этическом учении Канта и философии Толстого. При этом образ «взрывающейся» звезды в финале осмыслен в связи как с символикой Христа, так и с символикой сатаны. Наряду с «высокими» смыслами, в образе звезд актуализированы и иные значения. Звезды втянуты в политическое противостояние: «звезда» изгнала из Города петлюровцев; свет небесной звезды перекликается с блеском звезды красноармейской; с «сухальной» Рождественской звездой появляется в сне Елены Шервинский; соотносённость с таинственной фигурой Шполянского придает образу звезд значе-

ние чернокнижной пентаграммы. Для Ивана Русакова «обращение к звездам» – средство избавления от «звездной» венерической болезни путем углубления в метафизические проблемы. Для Най-Турса и следующего за ним Николки звезды – символ рыцарственного служения, подвига и отдыха в раю (причем вместе с красными бойцами). Для Мышлаевского и Шервинского – знак перемены политического лагеря: либо в результате честной капитуляции перед превосходящими силами противника, либо в силу элементарного приспособленчества. Наконец, Алексею Турбину звезды несут открытый вопрос о том, как жить дальше (вспомним знак вопроса, нарисованный им среди «звездной сыпи» – на груди Русакова). Таким образом, звезды в финале романа должны восприниматься не только как вечный идеал, но и как вечная проблема, стоящая перед людьми; это не столько «готовый» ответ, сколько стимул к поиску ответа.

# НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА

Впервые: Рупор. 1922. № 2.

Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

С. 431...во время посадки в Новороссийске... – Т. е. при эвакуации отступающей Добровольческой армии в марте 1920 г.

С. ...карманную рецептуру доктора Рабова... – Имеется в виду книга профессора Лозаннского университета доктора Рабова «Рецептура и фармакопея: Пособие при прописывании лекарственных веществ для врачей и студентов», шестое издание которой вышло в 1916 г. в Москве. Она сохранилась в архиве Булгакова в РГБ (Ноженко С. П., Аронов Г. Е., Вдовина Л. В. Комментарии // Булгаков М. Записки юного врача. Киев, 1995. С. 298).

С. ...фотографию профессора Мечникова... – Мечников И. И. (1845–1916) – выдающийся биолог, лауреат Нобелевской премии; один из основоположников сравнительной патологии, эволюционной эмбриологии, микробиологии и иммунологии.

С. ...«Марья Лусьева за границей»... – Вторая

часть документально-художественной диалогии А. Амфитеатрова, посвященной публичным домам и проституции в России: «Марья Лусьева» (1903), «Марья Лусьева за границей» (1910).

С. 432...как я висел на заборе!.. – Пробелы и отточия являются композиционным элементом текста.

С. Моя специальность – бактериология. – По-видимому, деталь биографии Николая Булгакова – брата автора рассказа. В начале 1922 г. М. Булгакову стало известно, что Николай учится в Загребском университете (см. коммент. к с. ХХХ), а до этого целый год служил в инфекционном отделении. В дальнейшем Н. Булгаков стал бактериологом.

С. Я с детства ненавидел Фенимора Купера... – Фенимор Купер Дж. (1789–1851) – американский писатель.

С. ...молодецкие подвиги матроса Кошки. – Матрос Петр Кошка – герой обороны Севастополя в Крымской войне 1853–1856 гг., отважный разведчик.

С. «Химиотерапия спирохетозных заболеваний»... – Книга одного из крупнейших ученых (врача, биолога и химика) рубежа XIX–XX вв. П. Эрлиха (написанная совместно с японским ученым С. Хата) «Экспериментальная химиотерапия спирохетоза» (Берлин, 1910). До этого, 1909 г., Эрлих создал препарат «606» для специфического лечения сифилиса, получивший за-



тем фирменное название сальварсан (см. коммент. к с. ХХХ). Кстати, в 1908 г. Эрлих был удостоен Нобелевской премии по иммунологии пополам с Мечниковым.

С. Вечер... декабря. – Ни место ни время действия не названы, однако ясно, что речь идет о тех же киевских событиях, которые подразумеваются в «Белой гвардии». В данном фрагменте имеется в виду 14 декабря – день взятия Киева петлюровцами.

С. 433. Ночь со 2 на 3. – Здесь речь идет, конечно, о событиях февраля 1919 г.: петлюровцы изгнаны Красной армией.

С. ...15° ниже нуля (по Реомюру)... – Т. е. 12 °С.

С. 434...один из 2-го эскадрона (эмфизема). – Эмфизема – заболевания легких, характеризующиеся избыточным содержанием в них воздуха.

С. ...«На сопках Маньчжурии»... – «На сопках Маньчжурии» (1906) – вальс И. Шатрова (слова С. Петрова).

С. Меня уплотнили... – Уплотнение – вселение дополнительных жильцов.

С. ...И мобилизовали. – Герой рассказа последовательно мобилизуется каждой новой властью. В данном случае речь идет о мобилизации в Красную армию.

С. ...«Вы просите песен». – «Вы просите песен, их

нет у меня...» – романс 1910-х гг. популярного автора Саши Макарова.

С. 435. Кончено. Меня увозят. – Намек на мобилизацию в Добровольческую армию. Т. Кисельгоф рассказывала: «Осенью 1919 года белые мобилизовали Михаила, выдали ему обмундирование, оружие, удостоверение и отправили на юг России для прохождения службы».

С. Ханкальское ущелье. – Ущелье в Чечне примерно в 10 км от Грозного. Ср. воспоминания Т. Кисельгоф:

Во владикавказском госпитале Михаил проработал всего несколько дней, и его направили в Грозный, в перевязочный отряд. В Грозном мы пришли в какую-то контору, там нам дали комнату. И вот, надо ехать в этот перевязочный отряд, смотреть. Поехали вместе. Ну, возница, лошадь... и винтовку ему дают, Булгакову, потому что надо полями кукурузными ехать, а в кукурузе ингуши прятались и могли напасть. Приехали, ничего. Он все посмотрел там. Недалеко стрельба слышится. Вечером поехали обратно. На следующий день опять так же. Потом какая-то там врачиха появилась и сказала, что с женой ездить не полагается. Ну, Михаил говорит: «Будешь сидеть в Грозном». И вот, я сидела ждала его. Думала: убьют или

не убьют? Какое-то время так продолжалось, а потом наши попалили там аулы, и все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там. Оттуда нас отправили в Беслан.

С....мутный вал. <...> Точит свой кинжал. – Строки «Казачьей колыбельной» (1838) М. Лермонтова.

С. Узун-Хаджи в Чечен-ауле. – Узун-Хаджи – имам, провозгласивший в сентябре 1919 г. независимость Северного Кавказа и создавший на территории Чечни и северо-западной части Дагестана Северо-Кавказский Эмират со столицей в ауле Ведено. Повстанцы Узун-Хаджи солидаризировались с большевиками. Газета «Грозный» осенью 1919 г. постоянно пишет об операциях деникинцев против восставших горцев, о зверствах чеченцев и т. п.

Чечен-аул – селение к юго-востоку от Грозного.

С. Кизляро-гребенские казаки стали на левом фланге, гусары на правом. На вытопанных кукурузных полях батареи. – Кизляро-Гребенской – один из полков Терского казачьего войска.

Бой за Чечен-аул, в котором принимал участие Булгаков, по горячим следам описан в большом очерке «Огнем и мечом» (за подписью «Александр Тин»), который был опубликован в четырех номерах газеты «Грозный»: 1919. 17 (30), 18 (31) октября, 25 октября (7 ноября), 26 октября (8 ноября); в нем, в частности,

повествуется:

После нескольких атак в конном строю, когда гусарам и казакам приходилось по пояс скрываясь в кукурузе, скакать на кавалерию врага, удалось выбить чеченцев из занимаемой ими позиции и заставить их отойти в горы.

Особенно отличился в этих боях Александрийский гусарский полк, лихой атакой сбивший противника и прогнавший его за аул (Грозный. 1919. 17 (30) октября).

Именно в Александрийском полку служил врач Булгаков.

С. ...смадную воду из манерки. – Манерка – фляжка.

С. ...в терских казачков. – Терское войско (по названию реки Терек) – одно из казачьих войск России. Когда в январе-феврале 1919 г. Северный Кавказ был занят деникинскими войсками, для управления краем была учреждена должность «главноначальствующего командующего войсками Терско-Дагестанского края». В апреле 1919 г. эту должность занял генерал от кавалерии И. Эрдели.

С. 436...обреченные сакли. – Сакля – жилище горцев Кавказа.

С. Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности? – Имеется в виду кавказский цикл

произведений Лермонтова. Во время первой ссылки на Кавказ Лермонтов бывал в Чечне, во время второй ссылки принял участие в нескольких военных экспедициях.

С. 437. «Тебя я, вольный сын эфира». – Слова Демона из одноименных поэмы Лермонтова и оперы Рубинштейна.

С. Огненные столбы взлетают к небу. Плают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым улочкам метет пламенная вьюга... – В очерке А. Тина тоже говорится о сожжении белыми взятого Чечен-аула: «Аул уже пылал, подоженный с четырех сторон. Золотые искры снопами поднимались к небу, и с треском рушились горящие крыши» (Грозный. 1919. 17 (30) октября).

С. ...к декорации оперы «Демон». – Т. е. к горам.

С. Пухом полна земля и воздух. – Каламбурное переосмысление фразеологизма «пусть земля будет пухом».

С. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси. – У А. Тина читаем:

Раздавались крики куриц, которых ловили солдаты, чтобы сдобрить свой жиденький борщ чеченской курятиной, купленной ценой жизни товарищей.

Эти куры составляли, кажется, единственное

имущество чеченцев, не вывезенное ими в горы (Грозный. 1919 17 (30) октября).

С. ...идет лукулловский пир. – Луций Луциний Лукулл (106-56 гг. до н. э.) – римский полководец, чрезвычайно богатый и щедрый, устраивавший роскошные празднества.

С. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев. – Строго говоря, евангельский царь Ирод не убивал младенцев в Вифлееме лично – их убивали по его приказу (Мф 2: 16).

С. 438. И поделом – не жги аулов. – В очерке А. Тина рассказано о дальнейших карательных экспедициях деникинцев против непокорных чеченцев:

Огненная кара, постигшая сожженный до основания, до последнего курятника Чечен-аул, не оказалась еще достаточно убедительным предупреждением для соседних аулов, и ряд новых эксцессов принудил русское командование принять новые суровые меры к наказанию виновных и обречь на гибель и разрушение новый ряд провинившихся аулов (Грозный. 1919. 18 (31) октября).

С. У колеи двуколка... – Двуколка – двухколесная повозка.

С. Патронов в газырях нет. – Газыри – цилиндрические футляры для пороховых зарядов, размещенные

в ряд на груди верхней одежды (например, черекески).

С. 439...вроде гоголевского Осипа: / – И веревочка пригодится. – Осип – персонаж комедии Гоголя «Ревизор», слуга Хлестакова. Цитируется реплика Осипа: «Что там? веревочка? Давай и веревочку, – и веревочка в дороге пригодится» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. М., 1977. Т. 4. С. 67).

С. ...на самой вышине, – венский стул! – Венская мебель – мебель из гнутого дерева, которую в 1840-х гг. стал делать австрийский мебельщик М. Тонет.

С. Кони-то, кони! – Возможно, реминисценция из финального абзаца первого тома поэмы «мертвые души»: «Эх, кони, кони, что за кони!» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. М., 1978. Т. 5. С. 236).

С. 440. Болгатозэ-э! – Белгатой – село в Шалинском районе Чечни.

С. Шали-аул! – Шали – ныне город в Чечне, к юго-востоку от Грозного.

С. Мирные! <...> Замирили их. – 24 сентября 1919 г. в Грозном было созвано «собрание представителей наибольших родов Чечни», на котором был образован «чеченский комитет по изгнанию большевиков и банд Узуна-Хаджи из пределов плоскостной (т. е. равнинной. – Е. Я.) Чечни». В октябре-ноябре 1919 г. в Грозном издавался «Вестник» этой организации. 24 октяб-

ря (6 ноября) газета «Грозный» сообщает, что Добровольческие войска и отряды Ибрагима Чуликова (командовавшего проденикинскими чеченскими войсками), которые вели боевые действия против большевиков и Узуна-Хаджи, 15–21 октября полностью очистили равнинную Чечню от повстанцев. 20 октября жители Шали-аула дали письменное обязательство начальнику войск южной группы генерал-майору Драценко никаким образом не поддерживать большевиков и Узуна-Хаджи – этот документ, подписанный старейшинами, также опубликован в газете «Грозный».

С. 441. Великий провал – Как предполагает А. Бурмистров, здесь присутствует намек на Провал – название пещеры с подземным озером на склоне горы Машук близ Пятигорска, мимо которого Булгаков проследовал в феврале 1920 г. (Б у р м и с т р о в А. Неизвестный Михаил Булгаков // Михаил Булгаков на исходе XX века. СПб., 1999. С. 178). Кстати, согласно воспоминаниям Т. Кисельгоф, тиф у Булгакова начался именно после его возвращения во Владикавказ из Пятигорска.

С. И сюда накатилась волна... – Имеется в виду наступление Красной армии.

С. 442...хватило бы Майн Рида на десять томов. – Майн Рид Т. (1818–1883) – английский писатель

С. ...и не Буссенар. – Буссенар Л. (1847–1910) –



французский писатель.

# КРАСНАЯ КОРОНА

*(Historia morbi)*

Впервые: Накануне (Литературное приложение).  
1922. 22 октября.

Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т.  
М., 1989. Т. 1.

С. 444. Я вижу – безумие. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это – безумие. – В булгаковском рассказе имеется множество переключек с рассказом Л. Андреева «Красный смех» (1905) – обращает на себя внимание уже сходство заглавий. В андреевском рассказе тоже есть образы двух братьев, а слово «безумие» повторяется, становясь лейтмотивом; герой-рассказчик постепенно теряет рассудок, а затем, во второй части, такая же участь постигает его брата.

С. 446. Не было волос, и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями – клочьями. – Ср. в рассказе «Красный смех»: «На месте бледного лица было что-то тупое, красное, и оттуда лила кровь» (Андреев Л. Собр. соч. Т. 2. С. 27).

С. ...но к его приходам я привыкнуть не могу. – Мотив посещения мертвого брата также перешел из рас-

сказа Андреева. Во второй части «Красного смеха» второй рассказчик (другой брат, сменивший первого – умершего калеку) вначале осознает, что видит галлюцинацию, однако постепенно безумие захватывает и его: в финале, страдая от одиночества, рассказчик идет в запертую комнату и обнаруживает в ней покойного брата: «Он сидел в своем кресле перед столом, заваленным книгами, и не исчез, как тогда, но остался» (Там же. С. 71).

# КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ

*6 картин вместо рассказа*

Впервые: Петроградская правда. 1923. 6 мая (приложение «Иллюстрации “Петроградской правды”». № 7); вошло в: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1925. Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

С. 449. Это был замечательный ходя... – Ходя – именование китайца, занимающегося разносной торговлей; впоследствии это слово обрело более широкое значение, став синонимом слова «китаец». Образ китайца, вступающего в Красную армию, возможно, возник у Булгакова под влиянием повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14–69» (1921), в которой китаец по имени Син Бин-у – боец красного партизанского отряда; в кульминационный момент, чтобы заставить вражеский бронепоезд остановиться перед лежащим телом, Син Бин-у ложится на рельсы и стреляет себе в затылок (Иванов Вс. В. Партизанские повести. М., 1987. С. 93).

С. ...представитель Небесной империи... – Небесная империя, Поднебесная – старые названия Китая

(который до 1911 г. был империей).

С. ...пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст... – Возможно, реминисценции из произведений Лермонтова – ср. стихотворение «Листок» (1841): «Дубовый листок оторвался от ветки родимой» (Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч. Т. 1. С. 340). В поэме «Мцыри» (1840) герой говорит, что он – «грозой оторванный листок» (Там же. Т. 2. С. 385)

С. ...и великолепные желтые ботинки. – Возможно, автобиографическая деталь – ср. воспоминания Л. Белозерской о ее знакомстве с Булгаковым в начале 1924 г.:

...Он показался мне слегка комичным, так же как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух назвала “цыплячьими” и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи:

– Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась... (Б е л о з е р с к а я – Б у л г а к о в а Л. Воспоминания. С. 88).

С. Позади ходи была пустая трамвайная линия... – В 1920-1930-х гг. по Кремлевской набережной ходил трамвай.

С. Полюбовавшись на длинные красные трубы... –

Имеется в виду первая московская электростанция МОГЭС, построенная напротив Кремля в 1906 г. (архитекторы М. Геккер и М. Мейснер) для освещения храма Христа Спасителя и снабжения трамвайных линий электроэнергией.

С. 450...как золотая стена, – гаолян... – Гаолян – злаковое растение рода сорго; распространено как зерновая культура в Китае, Корее, Японии.

С. ...глиняный порог у фанзы. – Фанза – китайское каркасное саманное или каменное жилище.

С. 453...Ленин в желтой кофте... – Желтая кофта – деталь одежды и поэтический образ молодого футуриста Владимира Маяковского. Ср. начало его стихотворения «Кофта фата» (1914):

Я сошью себе черные штаны  
Из бархата голоса моего.  
Желтую кофту из трех аршин заката

(М а я к о в с к и й В. В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 59).

Таким образом, Ленин в наркотическом сне героя не только имеет «китайский» облик, но и похож на футуриста.

С. ...«цейх № 4712»... – Цейхгауз – воинский склад для хранения обмундирования, снаряжения, вооружения и продовольствия.

С. 454. Китайский камрад. – Камрад – товарищ (нем. Kamerad, фр. camarade).

С. ...в шишаках с огромными красными звездами. – Шишак – древнерусский вытянутый вверх шлем; в данном случае имеются в виду головные уборы красноармейцев, своей формой повторявшие образ шлемов Древней Руси.

С. ...закурил вертушку. – Т. е. самокрутку.

С. 455. – Военком придет сейчас. – Военком – комиссар, политический руководитель в Красной армии в 1918–1942 гг.

С. ...Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии... – Лист Ф. (1811–1886) – венгерский композитор и пианист.

С. Началось с коровы, перерезанной пополам. – Возможно, также лермонтовская реминисценция: в повести «Фаталист» (заключительная часть романа «Герой нашего времени») Печорин ночью на улице натывается на «свинью, разрубленную пополам шашкой» (Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч. Т. 4. С. 332).

С. На стрельбище приезжал на огромной машине важный в серой шинели, пушистоусый... – Явное портретное сходство с С. Буденным, который в 1919–1923 гг. командовал Первой конной армией (с сентября 1923 г. стал помощником главкома по кавалерии).

С. ...давил ручки гремевшего «максима»... – Марка

станкового пулемета (по имени изобретателя, американского инженера Х. Максима).

С. 456...железного полка гордость и виртуоз... – Примечательно, что это именование вызывает ассоциации не столько с Красной армией, сколько с ее противниками по Гражданской войне. Железной бригадой (в 1915 году развернута в дивизию) командовал в годы Первой мировой войны А. Деникин – это была одна из лучших и самых доблестных дивизий в русской армии.



# НАЛЕТ

*(В волшебном фонаре)*

Впервые: Гудок. 1923. 25 декабря.

Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

С. 459. В волшебном фонаре. – Волшебный фонарь – прототип современного проекционного аппарата: изображение, нарисованное на кальке, проецируется на экран («туманные картины»).

С. 464...тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции... – Терция – 1/60 сек., а также один из музыкальных интервалов.

С. ...как некогда носили лабазники... – Лабаз – мучной склад; лабазник – продавец муки или хозяин склада.

С. ...на всем рабфаке... – Рабфак, рабочий факультет – общеобразовательное учебное заведение в 1919–1940 гг. для подготовки в высшие учебные заведения молодежи, не имеющей среднего образования.

# Я УБИЛ

Впервые: Медицинский работник. 1926. № 44, 45.

Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 2.

С. 647. Доктор Яшвин... – Фамилия героя переключается с заглавием рассказа: в ней акцентировано местоимение «я» и таким образом содержится намек на автобиографичность сюжета. Персонаж с фамилией Яшвин есть в романе «Анна Каренина», однако он ничем не напоминает героя булгаковского рассказа – этот ротмистр, приятель Вронского, охарактеризован как «игрок, кутила и не только человек без всяких правил, но с безнравственными правилами» (Толстой Л. Н. Полн. соч. соч. Т. 18. С. 186). Кроме того, эту фамилию носит персонаж центральной (одноименной всему роману) главы романа З. Гиппиус «Чертова кукла» (первая часть трилогии – 1911); см.: Гиппиус З. Избранное. М., 1997. С. 99.

С. 648...постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирюльника». – «Валькирия» (1856) – опера Р. Вагнера; «Севильский цирюльник» (1816) – опера Дж. Россини.

С. 651. «С получением сего, предлагается вам в

двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения...» – Т. Кисельгоф вспоминала:

И вот петлюровцы пришли, и через какое-то время его мобилизовали. Однажды я прихожу домой – лежит записка: «Приходи туда-то, принеси то-то». Я прихожу – на лошади сидит. Говорит: «Мы уходим сегодня в Слободку – это, знаете, с Подола есть мост в эту Слободку – приходи завтра, за мостом мы будем», – еще что-то ему принести надо было. На следующий день я прихожу в Слободку, приношу бутерброды, кажется, папиросы, еще что-то. Он говорит: «Сегодня, наверное, драпать будут. Большевики подходят». А они большевиков страшно боялись. Я прихожу домой страшно расстроенная: потому что не знаю, удастся ли ему убежать от петлюровцев или нет. Остались мы с Варькой в квартире одни, братья куда-то ушли. И вот в третьем часу вдруг такие звонки!.. Мы кинулись с Варькой открывать дверь – ну, конечно, он. Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было ужасное – нервное такое. Его уложили в постель, и он после этого пролежал целую неделю, больной был. Он потом рассказал, что как-то немножко поотстал, потом еще немножко, за столб, за другой и бросился в переулочек бежать. Так бежал, что сердце

колотилось, думал, инфаркт будет.

По предположению Я. Тинченко, Булгаков был мобилизован в 1-й Синежупанный полк 1-й Синежупанной (Синей) дивизии, который в начале февраля 1919 г. находился на левом берегу Днепра: его основной задачей было разоружение и арест дезертиров. Командиром полка был полковник М. Пащенко, до Первой мировой войны являвшийся учителем и журналистом (писал под псевдонимом «Волчок»). Вскоре после отступления Пащенко был разжалован и вернулся к учительской работе в деревне, однако вскоре был расстрелян красными как бывший петлюровец.

С. 657. В Киеве ревком. – Ревком, революционный комитет – чрезвычайный орган власти в годы Гражданской войны в губернских, уездных и волостных центрах прифронтной полосы.

С. 658. О, будьте покойны. Я убил. – Как отмечает М. Чудакова, в булгаковских произведениях постоянно варьируется мотив пассивного соучастия героя, наблюдающего убийство невинной жертвы и впоследствии испытывающего чувство жгучей вины. На этом фоне рассказ «Я убил» является исключением: в нем изображена ситуация не воображаемого, а реально-го вмешательства в ход событий – герой собственноручно наказывает убийцу (Ч у д а к о в а М. О. Рассказы. Приложение // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М.,

1989. T. 1. C. 594–595).

# ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Впервые – часть 1: Накануне (Литературное приложение). 1922. 18 июня; Возрождение. М., 1923. Вып. 2; часть 2: Россия. 1923. № 5. Работа над «Записками» была начата Булгаковым, по-видимому, еще во Владикавказе и продолжена после приезда в Москву в сентябре 1921 г. Машинистка И. Раабен вспоминала, что когда она поздней осенью 1921 г. начала перепечатывать рукописи Булгакова, то первое, над чем они стали работать, были «Записки на манжетах»: «Он приходил каждый вечер, часов в 7–8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой не было» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 128).

В 1922 г. в Москву приезжал П. Садыкер, директор-издатель берлинской редакции «Накануне»; он, в частности, вел переговоры с Булгаковым об издании «Записок». Позже, 21 февраля 1923 г., Садыкер писал из Берлина: «В бытность мою в Москве Вы предлагали мне издать Ваши “Записки на манжетах”, но я не мог тогда ничего решить <...>. Прошу Вас предоставить нам право издания. <...> Книжку мы издадим

быстро и красиво» (цит. по: Ч у д а к о в а М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. С. 254). Однако это издание не было осуществлено.

30 декабря 1922 и 14 января 1923 г. автор читал «Записки...» на заседании литературного объединения «Никитинские субботники», и через несколько месяцев обе части увидели свет (в разных изданиях, но почти одновременно).

Весной 1924 г. Булгаков пытался напечатать «Записки...» целиком в сборниках «Недра» (где незадолго перед тем вышла его повесть «Дьяволиада»), но безуспешно. Характерно, что в письме к секретарю издательства «Недра» П. Зайцеву 25 мая 1924 г. по поводу этого издания Булгаков упоминает о третьей части «Записок...» – однако замечает: «При чтении III-ей части придется переходить от напечатанных отрывков к писанным на машинке, следя за нумерацией глав». Можно предположить, что для отдельного издания текст повести был перекомпонован автором и в состав третьей части входили какие-то фрагменты второй.

2 августа 1924 г. Булгаков записывает в дневник: «Лавочник Ярославцев выпустил наконец свой альманах “Возрождение”. В нем 1-я часть “Записок на манжетах”, сильно искаженная цензурой».

Таким образом, первая часть повести была в 1923–

1924 г. опубликована дважды – но в обоих случаях при интенсивном цензурном вмешательстве; вследствие этого между двумя изданиями имеются большие текстуальные расхождения. Ни рукописей, ни авторизованных копий «Записок...» не сохранилось, поэтому приходится реконструировать «компромиссный» вариант первой части, взяв за основу публикацию в «Накануне» и добавив отсутствующие фрагменты по публикации в «Возрождении» (вставки заключены в квадратные скобки); этим объясняются нарушения в нумерации фрагментов. Текст второй части печатается по публикации в журнале «Россия». Орфография и пунктуация приведены к современным нормам.

При составлении комментариев использован ряд мемуарных изданий и специальных работ (цитируются без ссылок):

Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1998.

Л о с е в В. И. Комментарии // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 8 т. СПб., 2002. Т. 1.

Ч у д а к о в а М. О. Рассказы. Записки на манжетах // Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

Я н г и р о в Р. Булгаков – секретарь Лито Главполитпросвета // М. А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988.



С. Плавающим, путешествующим и страждущим писателям русским. – Цитата из великой ектеньи: «О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их Господу помолимся» (ектеньи – молитвенные прошения в православном богослужении; великая ектеня – наиболее полная: около 10 прошений).

С. Тиф возвратный – По-видимому, это название осталось от исключенной в «Накануне» главы (которая публикуется далее по тексту «Возрождения»).

С. Сотрудник покойного «Русского слова»... – «Русское слово» – газета, издававшаяся в 1859–1918 гг. И. Сытиным. Как указывает В. Лосев, в 1920 г. во владикавказских газетах «Кавказ» и «Кавказская жизнь», где сотрудничал Булгаков, работали два ведущих сотрудника «Русского слова»: Н. Покровский и А. Амфитеатров.

С. ...«в 2 колонки»... – Указание для наборщика и верстальщика.

С. ...сбоку: «Корпус»... – Корпус – наиболее распространенный типографский шрифт.

С. ...снизу: «Грач». – А. Бурмистров отмечает, что такая подпись действительно стояла под стихами, печатавшимися в газете «Кавказ», которая выходила во Владикавказе с 15 февраля примерно до середины марта 1920 г.; ее редактором-издателем являлся Л. А.

Федосеев. Булгаков сотрудничал в этой газете. Печатался в ней и Слезкин (1 и 10 марта 1920 г. в газете были помещены его небольшие рассказы «Ситцевые колокольчики» и «Великая Россия»).

С. ...забормотал, как диккенсовский Джингель... – Джингель – персонаж романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба».

С. *Finita la comedia!* – В романе «Герой нашего времени»: эту фразу Печорин произносит после того, как убивает Грушницкого на дуэли (Л е р м о н т о в М. Ю. Собр. соч. Т. 4. С. 319).

С. – Мишуня, поставьте термометр! – Обратим внимание, что Булгаков (как и во многих подобных случаях) ни словом не упоминает о жене героя-рассказчика – в то время как собственная жена Булгакова во время болезни находилась рядом с ним. Т. Кисельгоф вспоминала, что Булгаков заболел тифом после командировки:

Зимой 1919 года его направили в Пятигорск, откуда он вернулся еле живой – поднялась температура, мучили боли, ничего не ел. В его нижней рубашке я обнаружила вошь и сразу поняла, что это тиф. Я бегала по городу в поисках помощи, с большим трудом нашла врача, который согласился его лечить.

С. ...а завтра пойду, пойду! И в случае чего – еду!

Еду! – Т. Кисельгоф рассказывала:

А белые тут уже зашевелились, красных ждали. Я пошла к врачу, у которого Михаил служил, говорю, что он заболел. «Да что вы?! Надо же сматываться». Я говорю: «Не знаю как. У него температура высокая, страшная головная боль, он только стонет и всех проклиняет. Я не знаю, что делать». Дал он мне адрес еще одного врача, владикавказского, тоже военный. Они его вместе посмотрели и сказали, что трогать и куда-то везти его нельзя. Тут приходят соседи, кабардинцы, приносят черкески: «Вот. Одевайтесь и давайте назад. Сегодня уходим». Я, конечно, никуда уйти не могу – Михаил лежит весь горячий, бредит, ерунду какую-то несет... <...> И вот дня через два я выхожу – <...> город меня поразил: пусто: никого. По улицам солома летает, обрывки какие-то, тряпки валяются, доски от ящиков... Как будто большой пустой дом, который бросили. Белые смылись тихо, никому ничего не сказали. По Военно-Грузинской дороге. <...> И две недели никого не было. Такая была анархия! Ингуши грабили город, где-то все время выстрелы... Я бегу, меня один за руку схватил. «Ну, – думаю, – конец». Но ничего, обошлось. И вот Михаил лежал. Один раз, у него глаза закатились, я думала – умер. Но потом прошел кризис, и он медленно-медленно стал выздоравливать. Это когда уже красные

стали.

С. Мельников-Печерский. <...> Именно леса и горы. – Мельников П. И. (псевд. Андрей Печерский; 1818–1883) – русский писатель; наиболее известные его произведения – романы о старообрядцах «В лесах» (1874) и «На горах» (1881).

С. Взбранной воеводе победительная!.. – Начальные слова акафиста Пресвятой Богородице.

С. Где, бишь, монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?.. – Васнецов В. М. (1848–1826) – русский художник.

С. – Ла-риса Леонтьевна, где монашки?! – Имеется в виду хозяйка дома, где Булгаковы снимали комнату (во время болезни Булгакова она помогала его жене). Т. Кисельгоф вспоминала о приезде во Владикавказ в конце 1919 г.:

Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым и его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать... Новый год мы у них встречали, 1920-й. Много офицеров было, много очень пили... «кизлярское» там было, водка или разведенный спирт, не помню я уже. <...> И вот генерал куда-то уехал, и она предложила нам жить у них в доме. Дом, правда, не их был. Им сдавал его какой-то казачий генерал. Хороший очень дом, двор кругом был, и решеткой такой обнесен, которая закрывалась.

Мне частенько через нее лазить приходилось. И стали мы жить там, в бельэтаже.

С. Там в скиту фальшивые бумажки делали, романовские. – Персонаж романа «В лесах» игумен отец Михаил занимается изготовлением и сбытом фальшивых ассигнаций – «картинок». При этом автор специально замечает, что настоящие ассигнации фальшивомонетчики называют «романовскими» – «по родовой фамилии государя» (М е л ь н и к о в П. И. В лесах: В 2 кн. М., 1958. Кн. 1. С. 294).

С. Сашки-канашки мои!.. – Слова популярной прибаутки. Например, в романе Вс. Крестовского «Петербургские трущобы» Лука Летучий поет:

Ах, вы, Сашки, канашки мои!  
Рразменяйте д'мне бумажки мои,  
Вы бумажки мне новенькие-да  
Двадцати-пятирублевенькие!

(К р е с т о в с к и й Вс. В. Собр. соч. СПб., 1899. Т. 2. С. 440)

С. Беллетрист Юрий Слезкин... – Ю. Слезкин – писатель, в дореволюционные годы пользовавшийся большой популярностью (но практически забытый сегодня); в 1914–1915 гг. вышло четырехтомное собрание его сочинений. Будучи всего на шесть лет старше

Булгакова, Слезкин по сравнению с ним был явным литературным «мэтром». В начале 1920-х годов многие произведения Слезкина были переизданы в русском зарубежье (прежде всего в Берлине). Отрывки из романа «Столовая гора» (1922), где под именем главного героя Алексея Васильевича выведен Булгаков, печатались в литературном приложении к газете «Накануне» (1922. № 25; 1923. № 37). В 1922 г. Булгаков написал о творчестве Слезкина критическую статью (см. т. 3). Вспоминая в начале 1930-х годов о владикавказской жизни, Слезкин, как ни странно, обвинял Булгакова в политическом конформизме: «По приезде в Москву мы опять встретились с Булгаковым как старые приятели, хотя в последнее время во Владикавказе между нами пробежала черная кошка (Булгаков переметнулся на сторону сильнейшую)» (С л е з к и н Ю. «Пока жив – буду верить и добиваться» // Вопросы литературы. 1979. № 9. С. 212). Однако до середины 1920-х годов они поддерживали довольно тесные отношения. В 1924 г. Булгаков подарил приятелю сборник «Дьяволиада» с надписью: «Милому Юре Слезкину в память наших скитаний, страданий у подножия Столовой горы. У подножия ставился первый акт Дьяволиады; дай нам Бог дожить до акта V-го – веселого с развязкой свадебной. М. Булгаков. Москва. 15.III.1924» (см.: Б у л г а к о в ы М. и Е.

Дневник Мастера и Маргариты. М., 2001. С. 37). Летом 1925 г. Слезкин одновременно с Булгаковым был в Коктебеле, где написал эпистолярную повесть «Разными глазами» («Короб писем»). По мнению Т. Николаевой, Булгаков явился прототипом ее героя, композитора Тесьминова (Н и к о л а е в а Т. М. Отречение Юрия Слезкина и русская интеллигенция на переломе // Russian Literature. Amsterdam, 1999. V. 45. 1999. P. 432).

Сам Ю. Слезкин вспоминал:

С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 г. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. Когда я заболел сыпным тифом, его привели ко мне в качестве доктора. Он долго не мог определить моего заболевания, а когда узнал, что у меня тиф, — испугался и сказал, что не уверен в себе... позвали другого.

По выздоровлении я узнал, что Булгаков болен паратифом. Тотчас же, еще едва держась на ногах, пошел к нему с тем, чтобы ободрить его и что-нибудь придумать на будущее. Все это описано у Булгакова в его «Записках на манжетах». Белые ушли — организовался ревком, мне поручили заведовать подотделом искусств, Булгакова я пригласил в качестве зав.

литературной секцией.

С. – Что же те-перь бу-дет с нами? – Когда Булгаков стал выздоравливать, Владикавказ уже был занят красными. Т. Кисельгоф вспоминала:

Он уже выздоровел, но еще очень слабый был. Начал вставать понемногу. А во Владикавказе уже красные были. Так вот мы у них и оказались. Он меня потом столько раз пилил за то, что я не увезла его с белыми: «Ну как ты не могла меня увезть!» Я говорю: «Интересно, как я могла тебя увезть, когда у тебя температура сорок, и ты почти без сознания, бредишь, и я повезу тебя на арбе. Чтобы похоронить по дороге?» И вот уже решили выйти погулять. Он так с трудом... на руку мою опирается и на палочку. Идем, и я слышу: «Вон, белый идет. В газете ихней писал». Я говорю: «Идем скорей отсюда». И вот пришли, и какой-то страх на нас напал, что должны прийти и нас арестовать. Кое-кого уже арестовали. Но как-то нас это миновало, не вызывали даже никуда. Врачом он больше, сказал, не будет. Будет писать.

С. ...спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут. – М. Чудакова отмечает цитату из рассказа Чехова «Тиф» (1887): «И он испугался своего голоса. Этот голос был до того сух, слаб и певуч, что его нельзя было



узнать» (Ч е х о в А. П. Собр. соч. Т. 6. С. 52).

С. Мама! Мама! Что мы будем делать?! – Слова известной песенки, появившейся в годы Первой мировой войны. Например, Л. Утесов рассказывал о своих выступлениях в одесском Доме артиста в 1919 г. (при белых): «Я придумал комический хор. <...> Репертуар у нас был разнообразный. Но одним из самых популярных номеров была фантазия на запетую в то время песенку:

Ах, мама, мама, что мы будем делать,  
Когда настанут зимни холода? —  
У тебя нет теплого платочка,  
У меня нет зимнего пальта.

У пианиста и хора в унисон звучала мелодия, а я на ее фоне импровизировал бесконечное количество музыкальных вариаций» (У т е с о в Л. Спасибо, сердце! М., 1999. С. 128–129). С. – Подотдел искусств откроем! – В конце 1920 г. Ю. Слезкин писал: «Во Владикавказе, куда я, наконец, после кошмарного месячного пути в теплушках добрался <...> Через десять дней по приезду я заболел сыпным тифом и, когда встал на ноги, увидел, что добровольцы грузили арбы и уходили в горы. Вслед за ними пришли советские войска, и я принялся за работу по подотделу искусств» (С л е з к и н Ю. Литература в провинции: Письмо из Вла-

дикавказ // Вестник литературы. Пг., 1921. № 1. С. 14). 27 марта 1920 г. Слезкин стал заведующим подотделом искусств Терского отдела народного образования, Булгаков заведовал там литературной, а затем театральной секциями (деятельность обоих на этом поприще продолжалась до осени 1920 г.). Однако, по воспоминаниям Т. Кисельгоф, знакомство состоялось уже после выздоровления Булгакова:

Ну, Михаил решил пойти устроиться на работу. Пошел в подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению он туда пошел, то ли еще как... Вот тут они и познакомились. Михаил сказал, что он профессиональный журналист, и его взяли на работу. Вообще, Слезкин много в подотдел внес. Через Владикавказ ведь масса народу ехала, много артистов, музыкантов... Он организовал всех, театр заработал, там хорошие спектакли шли: «Горе от ума», Островского вещи... концерты стали давать, потом, опера неплохая была, да в таком небольшом городке.

Однако в местной газете «Коммунист» мероприятия подотдела искусств оценивались весьма скептически. Так, 17 апреля 1920 г. в заметке по поводу проведенного подотделом концерта его организаторы обвиняются в буржуазном либерализме. 27 апреля в заметке «Траурный концерт подотдела искусств» (в

честь дня памяти большевиков, убитых деникинцами) за подписью «Кий» говорится: «Количество устроенных подотделом концертов (три) и количество неудачных лекторов (тоже три – Булгаков, Беме и Шуклин) дают основания задать наконец вопрос: да что же это – пролетарский подотдел искусств или же подотдел для цепляющихся за хвост революции?»; июня в заметке «2-й исторический концерт подотдела искусств» рецензент М. Вокс писал: «Концерт был посвящен произведениям Баха, Гайдна, Моцарта. “Писатель” Булгаков прочел по тетрадошке вступительное слово которое представляло переложение первых попавшихся под руку книг по истории музыки и по существу являлось довольно легковесным». Правда, на следующий день, 5 июня, газета опубликовала письмо Булгакова, в котором он уличает Вокса в невежестве и делает вывод: «Смелость у М. Вокса несомненно имеется, но поощрять Воксову смелость не следует». 8 июня сообщается о концерте-лекции посвященном Э. Григу, перед которым Булгаков тоже выступает в качестве лектора.

С. ...есть отнаробраз или обнаробраз. – Отнаробраз – отдел народного образования; обнаробраз – областной отдел народного образования.

С. – Наро-браз. Дико-браз. Барбюс. Барбос. – Барбюс А. (1873–1935) – французский писатель.

С. И все эти мингрельцы, имери... – Мингрелы, имеретинцы – народности, проживающие на территории Грузии.

С. Изо. Лито. Фото. Тео. – Секции подотдела искусств: изобразительного искусства, литературная, фотографическая, театральная.

С. ...в том городишке, где я заведовал... – Слезкин писал: «Чернигов, где я заведовал подотделом искусств, был занят белыми в сентябре прошлого года. До этого там шла лихорадочная и весьма успешная работа по созданию театра, студий, музеев» (С л е з к и н Ю. Литература в провинции. С. 13). Впрочем, послужив в Чернигове при красных, он при белых перебрался в Харьков, где пристроился в маленьком кабаре; затем из белого Харькова переехал в белый Ростов-на-Дону, где стал служить в суворинской газете «Вечернее время» и сошелся с «осваговцами» (ОС-ВАГ – Осведомительно-агитационный отдел в деникинской армии, орган пропаганды) – И. Билибиным, А. Дроздовым, Е. Лансере. Когда Ростов был занят Красной армией, Слезкин в конце 1920 г. выехал в белый Владикавказ – в котором остался и при красных (Б у р м и с т р о в А. Неизвестный Михаил Булгаков. С. 179).

С. – Завподиск. – Т. е. заведующий подотделом искусств.

С. Камер-юнкер Пушкин. – Камер-юнкер – младшее

придворное звание; Пушкину оно было пожаловано в 1833 г.

С. В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. – Слезкин характеризовал владикавказскую литературную жизнь так: «...Во Владикавказе нераздельно царит Маяковский. Вообще, как это ни странно, Владикавказ весьма “футуристичен” во всех областях своей жизни. То, что давно уже пережила Советская Россия, сейчас здесь тема дня. <...>...Цех пролетарских поэтов демонстрирует своих сочленов с произведениями, похожими на битый щепень» (С л е з к и н Ю. Литература в провинции. С. 14). 11 июня 1920 г. газета «Коммунист» информирует о лекции «Футуризм», которую читает замначальника политотдела X армии Гамза.

· С. Косвенно выходил... – По смыслу больше подходит «входил», т. е. участвовал.

· С. ...смелый с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. – Возможно, имеется в виду Дзахо (Константин) Гатуев (1892–1938), осетинский этнограф, историк и литератор (писал на русском языке). 20 апреля 1920 г. во владикавказской газете «Коммунист» сообщалось о состоявшемся 18 апреля красноармейском концерте-митинге, на котором Гатуев произнес речь о будущем революционного искусства. Здесь же 21 апреля помещена статья за подписью «К.

Га-ев» (вероятно, Гатуев) «Искусство и пролетариат». Вместе с тем есть основания считать, что прототипом этого персонажа послужил Георгий Астахов (1897–1942) – главный редактор газеты «Коммунист», член Владикавказского ревкома и руководитель местного цеха поэтов. Он был земляком Булгакова – родился и вырос в Киеве. Г. А. Астахов окончил историко-филологический факультет Московского университета, знал ряд языков (в том числе восточных), в 1920-х годах написал несколько книг о Востоке. Впоследствии находился на дипломатической работе, а в 1930-х годах являлся временным поверенным в делах СССР в Германии (кстати, немцы называли Астахова архитектором пакта Риббентропа-Молотова), был принят Гитлером. Вскоре после заключения советско-германского договора, в 1939 г., Астахова арестовали, и он погиб в заключении (Ш е н т а л и н с к и й В. Охота в ревзаповеднике: Избранные страницы и сцены советской литературы // Новый мир. 1998. № 12. С. 175–178).

С. ...шлявшихся по старой памяти на трек... – Трек – парк во Владикавказе.

С. Довольно пели вам луну и чайку! / Я вам спою чрезвычайку! – Вероятно, Булгаков пародирует юношеское стихотворение Астахова 1918 г.: «ВЧК»:

В ночной тиши среди Лубянки  
Через туман издалека  
Кровавым светом блещут склянки,  
Алеют буквы: ВЧК.

В них сила сдержанного гнева,  
В них мощь раскованной души,  
В них жуть сурового напева:  
«В борьбе все средства хороши!»

Чарует взор немая сила,  
Что льют три алых огонька,  
Что массы к битве вдохновила,  
Чем власть Советская крепка.

К чему сомненья и тревога?  
К чему унынье и тоска?  
Когда горит спокойно, строго  
Кровавый вензель: ВЧК

(цит. по: Ш е н т а л и н с к и й В. Охота в ревзаповеднике. С. 177–178).

Обратим внимание, что начальные буквы стихов первой строфы дают слово «ВЧКа», и в каждой из

трех последующих все строчки начинаются на одну из букв этой аббревиатуры.

С. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. – 10 июня 1920 г. в газете «Коммунист» был опубликован конспект доклада Г. Астахова «Классовый характер русской литературы XIX в.», где по поводу Пушкина говорится: «Некоторые простаки заподозревали его в революционности. Но она сводилась лишь к желанию некоторых поблажек народу “по магию царя”. На революцию же он смотрел как на “бунт бессмысленно жестокий”, на народ как на “поденщика, которому всего дороже печной горшок”, восставших пугачевцев изображал бандитами, а их усмирителей – вроде Ивана Кузьмича в “Капитанской дочке” – героями» (цит. по: Местный литератор» Михаил Булгаков // Театр. 1987. № 6. С. 146–147).

С. ...за «вперед гляжу я без боязни»... – «Гляжу вперед я без боязни» – строка стихотворения Пушкина «Стансы» (1926): П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. М., 1995. Т. 3. Кн. 1. С. 40.

С. ...он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку... – 22 июня 1920 г. Астахов выступил в летнем театре Владикавказа с докладом «Пушкин и его творчество с революционной точки зрения», в финале которого провозгласил: «...Мы со спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание



сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся» (цит. по: Ш е н т а л и н с к и й В. Охота в ревзаповеднике. С. 176).

С. – Выступайте оппонентом. «...» У вас нет гражданского мужества. – Слезкин в своем очерке говорит:

Как характерный штрих местных литературных нравов, приведу оригинальное «приглашение», полученное мною:

«Цех пролетарских поэтов и литераторов приглашает вас записаться оппонентом на прения о творчестве Пушкина, имеющие быть в программе четвертого вечера поэтов.

Несогласие ваше цехом поэтов будет сочтено за отсутствие гражданского мужества, о чем будет объявлено на вечере».

Почему нужно обладать гражданским мужеством для того, чтобы выступить на диспуте в «защиту» Пушкина, мне и доньше неизвестно. Молодой беллетрист М. Булгаков «имел гражданское мужество» выступить оппонентом, но за это на другой день в «Коммунисте» его обвиняли чуть ли не в контрреволюционности. Видные «пролетарские поэты» (среди которых, кстати, нет ни одного рабочего), если бы они знали, что теперь в самом центре Советской России о Пушкине и говорят, и пишут, но отнюдь не с такою резвостью мыслей» (С л е з к и н Ю.

С. И я выступил, чтобы меня черти взяли. – Диспут состоялся 3 июля 1920 г.

С....Ложная мудрость мерцает и тлеет / Пред солнцем бессмертным ума... – Цитата из стихотворения Пушкина «Вакхическая песня» (1825): П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. М. 1993. Т. 2. Кн. 1. С. 370.

С. Клевету приемли равнодушно. – «Хвалу и клевету приемли равнодушно» – цитата из стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836): П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. Кн. 1. С. 424.

С. И показал. Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. – Т. Кисельгоф рассказывала:

Диспут о Пушкине я помню. Была там. Это в открытом летнем театре происходило. Народу очень много собралось, в основном – молодежь, молодые поэты были. Что там делалось! Это ужас один! Как они были против, Боже мой! Я в зале сидела, где-то впереди, а рядом Булгаков и Беме, юрист, такой немолодой уже. Как там Пушкина ругали! Потом Булгаков пошел выступать и прямо с пеной у рта защищал его. И Беме тоже. А портрет Пушкина хотели уничтожить, но мы не дали. Но многие были и за Булгакова.

Тезисы булгаковского выступления воспроизведены в крайне тенденциозной статье М. Вокса «Дис-

пут о Пушкине», опубликованном во владикавказском журнале «Творчество» (1920. № 3. 22 августа): «... Бунт декабристов был под знаком Пушкина, и Пушкин ненавидел тиранию (смотри письма к Жуковскому: „Я презираю свое отечество, но не люблю, когда говорят об этом иностранцы); Пушкин – теоретик революции, но не практик – он не мог быть на баррикадах. Над революционным творчеством Пушкина закрыта завеса: в этом глубокая тайна его творчества. В развитии Пушкина наблюдается “феерическая кривая”. Пушкин был “и ночь и лысая гора”, приводит Булгаков слова поэта Полонского, и затем – творчество Пушкина божественно, лучезарно; Пушкин – полубог, евангелист, интернационалист (sic!). Он перевоплощался во всех богов Олимпа: был и Вакх и Бахус; и в заключение: на всем творчестве Пушкина лежит печать глубокой, человечности, гуманности, отвращение к убийству, к насилью и лишению жизни человека человеком (на эту минуту Булгаков забывает о пушкинской дуэли). И в последних словах сравнивает Пушкина с тем существом, которое заповедало людям: “не убий”“ (цит. по: „Местный литератор“ Михаил Булгаков. С. 155–156). Далее в отчете изложены тезисы ответной речи Астахова – к которой автор статьи относится вполне сочувственно и, подхватывая слова докладчика об „очистительном огне революции“, в который должен

быть брошен Пушкин, заключает: „После этого костра вся божественность, гениальность, солнечность Пушкина должна исчезнуть, как навеянный за столетие дурман“ (Там же. С. 158).

В. Шенталинский цитирует попавшее в лубянские архивы при аресте Астахова шутивное «Личное, доверительное, совершенно секретное послание» ему в стихах от соратника по владикавказскому цеху поэтов Константина Юста: «Громил Булгакова наш Цех со всею силой, <...> Свершилась наша казнь. Сожжен лакейский Пушкин. Пусть воет Слезкин. Пусть скулит БеМе...» (Ш е н т а л и н с к и й В. Охота в ревзаповеднике. С. 176). «БеМе» – вероятно, одновременно инициалы Булгакова и фамилия Бориса Беме – юриста и библиофила, вместе с Булгаковым оппонировавшего Астахову. Данный каламбур использован и в статье «Покушение с негодными средствами» (за подписью «М. Скромный»), появившейся в газете «Коммунист» 10 июля 1920 г., – один из ее фрагментов называется «Ни бе ни ме». Статья посвящена Булгакову и Беме, защищающим «контрреволюционера» Пушкина. Она венчается таким пассажем: «Слишком топорна и груба эта контрреволюционная “революционность” и “гуманность” гг. оппонентов, чтобы не понять их сущность, А поэтому наш совет гг. оппонентам при следующих выступлениях “для своих прогулок подальше

(от революции)» выбрать закоулок».

В газете «Коммунист» 3 июля напечатан большой отчет «На диспуте о Пушкине». Один из фрагментов здесь специально посвящен Булгакову:

За столиком оппонент.

Неслыханная вещь: сколько раз цех поэтов говорил о творчестве, сколько «диковинных» вещей о прежнем искусстве и о его бывших людях (гораздо диковиннее, чем в отчетный вечер) слышал обыватель ранее и в силу своей дрябленькой трусости «проглатывал» эти обиды – и вдруг теперь...

Оппонент!

Правда, выступил он «по приглашению» цеха – но все же это делает ему, а значит, и всем его присным некоторую честь.

Что стало с молчаливыми шляпками и гладко выбритыми лицами, когда заговорил литератор Булгаков. Все пришли в движение. Завозились, заерзали от наслаждения.

«Наш-то, наш-то выступил! Герой!»

Благоговейно раскрыли рты, слушают.

Кажется ушами захлопали от неистового восторга.

А бывший литератор разошелся.

Свой – почуял своих, яблочко от яблони должно было упасть, что называется, в самую точку.

И упало.

Захлебывались в экстазе девицы.

Хихикали в кулачок «пенсистые» солидные физиономии.

«Спасибо, товарищ Булгаков!» – прокричал один.

Кажется, даже рукоплескания были.

В общем – искусство вечное, искусство прежних людей полагало свой триумф.

С. Я – «волк в овечьей шкуре». Я – «господин». Я – «буржуазный подголосок». – Первая главка статьи «Покушение с негодными средствами» носит название «Волк в овечьей шкуре».

С. ...приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на преискуронт вин. – Имеется в виду книга: В о к с М. А. Пируэт шута: Эскизы о дебоширской поэзии и стихи. Тифлис, 1918.

С. Дебоширит на страницах газеты... – Во владикавказской газете «Коммунист» Вокс начал публиковаться с середины апреля 1920 г.

С. Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит. – В заметке «Диспут о Пушкине», помещенной во владикавказской газете «Творчество» 22 августа 1920 г., Вокс резко отозвался о выступлении Булгакова.

С. Он там, идеже несть... – Слова заупокойной мо-

литвы: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

С. Беллетриста Слезкина выгнали к черту, несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. – Т. Кисельгоф вспоминала: «У Слезкина жена, Жданович, играла в “Горе от ума” Лизу, а на следующий день ребенка родила, Юру».

С. Бедный ребенок. / Не ребенок. Мы бедные. – М. Чудакова предполагает здесь скрытую цитату из рассказа А. Аверченко «Корибу» (1910), в котором речь идет о трусливом литераторе, чрезвычайно боящемся цензуры:

На мои глаза навернулись слезы.

– Бедные мы с вами... – прошептал я и заплакал, нежно обняв хитрого молодого человека. И он обнял меня.

И так долго мы с ним плакали.

И вошли наши сотрудники и, узнав в чем дело, сказали:

– Бедный редактор! Бедный автор! Бедные мы!

И тоже плакали над своей горькой участью (А в е р ч е н к о А. Т. Хлопотливая нация. М., 1991. С. 92).

С...Мух на tangle-foot'е видели? – Как полагает М. Петровский, этот образ заимствован из книги Н. Евреинова (см. коммент. к с. XXX) «Pro scena sua» (1915), в

которой развернута впечатляющая картина всеобщей гибели, в которой люди уподоблены мухам:

Случалось ли вам наблюдать такой Tanglefoot, когда в комнате много мух, а в вашем распоряжении много времени? <...> Поле смерти. Уже много трупов. Некоторые опьянели, но еще не упали и уморительно кривляются. Трезвые с выпученными глазами машут бешено крыльями, тянутся к выси, хотят пройти через мертвые тела, цепляются, срываются... их задевают вновь прибывшие. Непомерная жадность, раскаяние, тщетные попытки, смерть! Еще смерть! и еще, еще! Много маленьких, которые немедленно тонут. Взрослые их давят; тупо, грубо, пьяно. Никому дела нет до другого, – каждому дорога своя шкура. Впрочем, некоторые примирились с горькой участью: спокойно угощаются со слипшимися крыльями. Слышны пронзительные выкрики. Двое дерутся; – сцепились лапками и медленно зарываются в липкую муть. Кто-то отрывисто брзжит, полупьяный, у детского трупа. Со всех сторон жужжат, одни “на помощь”, другие пьяные песни, третьи проклятья. Слетаются все новые. Они ничему не верят. Они во всем хотят сами убедиться. И убеждаются, пока обманчиво-золотой лист бумаги не превратится от груды черных тел в траурное покрывало, пока не засмеется мушиный



черт, выдумавший эту выдумку, и не заплачет мушиный ангел, не сумевший помешать этой чертовой выдумке» (цит. по: П е т р о в с к и й М. Мастер и Город. С. 103–104).

С. И опять, как жуки на булавах... – «Жуки на булавах» (1915) – название сборника рассказов писателя-сатириконца А. Бухова.

С. Спит под луной Столовая гора. – Гора вблизи Владикавказа.

С. Над ним светит Золотой Рог. – Золотой Рог – бухта в проливе Босфор, на обоих берегах которой находится Стамбул; однако в данном случае, видимо, имеется в виду полумесяц (на небе или на минарете мечети Айя-София в Стамбуле).

С. И араки. – Арака – водка.

С. Евреинов приехал. – Евреинов Н. Н. (1879–1953) – режиссер, теоретик театра, литератор; в 1910–1916 гг. главный режиссер петербургского театра миниатюр «Кривое зеркало».

С. Братья писатели в вашей судьбе... – Неточная цитата из стихотворения Некрасова «В больнице» (1855): «Братья-писатели! в нашей судьбе / Что-то лежит роковое» (Н е к р а с о в Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Л., 1981. Т. 1. С. 178).

С. ...диалог между булатом и златом... – Ср. миниатюру Пушкина «Золото и булат» (1827): П у ш к и н

А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. Кн. 1. С. 452.

С. Один из Керчи в Вологду, другой из Вологды в Керчь. – Ср. диалог в пьесе А. Островского «Лес»:

Несчастливцев. Куда и откуда?

Счастливец. Из Вологды в Керчь-с, Геннадий Демьяныч. А вы-с?

Несчастливцев. Из Керчи в Вологду (О с т р о в с к и й А. Н. Соч.: В 3 т. М., 1996. Т. 2. С. 333).

С. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится: / – Вот не доедем, да и только! – Цитата из комедии «Ревизор» – слова Осипа: «Вот не доедем, да и только, домой!» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. Т. 4. С. 24).

С. Вчера ехал Рюрик Ивнев. – Ивнев Р. (Ковалев М. А., 1891–1981) – поэт. В газете «Коммунист» от 3 сентября 1920 г. есть информация о предполагающемся в этот день в помещении II Советского театра Владикавказа «большом диспуте» на тему «Любовь и смерть»: «Докладчиком выступает литератор Рюрик Ивнев. В прениях примут участие гг. Беридзе, Булгаков, Евангулов, Юрий Слезкин, Шуклин и др., а также желающие из публики». Слезкин писал: «Рюрик Ивнев задержался во Владикавказе проездом из Тифлиса в Москву. Прочел две лекции “О любви и смерти”, напечатал стих, продал пьесу “Глаза, которые не видят” и укатил дальше» (С л е з к и н Ю. Литература в провинции. С. 14).

С. Третий – Осип Мандельштам. «...» – Из Крыма. Скверно. – Осенью 1920 г. при отъезде из Феодосии Мандельштам был арестован врангелевской контрразведкой, но вскоре освобожден. Приплыв в Батум, он через Тифлис вернулся в Москву. Слезкин отмечает, что Мандельштам проезжал через Владикавказ (Там же). Но, судя по всему, Булгаков подразумевает и встречу с Мандельштамом, которая состоялась несколько месяцев спустя – летом 1921 г., в Батуме. 13 апреля 1925 г. Ср. запись в дневнике Е. Булгаковой: «Женя Мандельштама вспоминала, как видела М. А. в Батуме лет четырнадцать назад, как он шел с мешком на плечах. Это из того периода, когда он бедствовал и продавал керосинку на базаре» (Дневник Елены Булгаковой. М., 1990. С. 93).

С. Беллетрист Пильняк. – Б. Пильняк (Boгау, 1894–1938) в 1918–1921 гг. много ездил по России, добывая продукты в качестве «мешочника» и наблюдая жизнь. Весной-летом 1920 г. путешествовал по Украине, Донщине, Кавказу; вернувшись осенью в Коломну, приступил к работе над романом «Голый год», который был окончен к 25 декабря 1920 г.

С. Беллетрист с севера. – В публикации «Возрождения» в этом фрагменте вместо слова «беллетрист» стоит «Серафимович». Серафимович (Попов) А. С. (1863–1949) – писатель. Слезкин отмечает: «Приез-

жал во Владикавказ из Москвы Серафимович. Ставил новую свою пьесу “Марианна”. Пьеса написана на злобу дня – изображены в ней крестьяне-середняки, красноармейцы и священник-контрреволюционер...» (С л е з к и н Ю. Литература в провинции. С. 14).

С. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник. – Т. е. рассказы Чехова «Хирургия» (1884) и «Смерть чиновника» (1883).

С. Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер». – На самом деле вечер чеховского юмора состоялся через три с лишним месяца позже пушкинского – 14 октября 1920 г. (Местный литератор» Михаил Булгаков. С. 159).

С. Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. – По-видимому, подразумевается сходство с известным портретом Ноздрева работы П. Боклевского из цикла его иллюстраций к поэме Н. Гоголя.

С. ...и даже одна бакенбарда жиже другой. – В поэму «Мертвые души» про Ноздрева говорится:

В картишки <...> играл он не совсем безгрешно  
и чисто, зная много разных передержек и  
других тонкостей, и потому игра весьма часто  
оканчивалась другою игрою: или поколачивали  
его сапогами, или же задавали передержку его  
густым и очень хорошим бакенбардам, так что

возвращался домой он иногда с одной только бакенбардой, и то довольно жидкой. Но здоровые и полные щеки его так хорошо были сотворены и вмещали в себе столько растительной силы, что бакенбарды скоро вырастали вновь, еще даже лучше прежних (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. Т. 5. С. 68).

С. – А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух! – Цитата из «Мертвых душ» (Там же. С. 61).

С. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта... – Имеется в виду «маленькая трагедия» Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830).

С. *Lumencoeli, sanctarosa.* – Строка из стихотворения Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (1829): П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. Т. 3. Кн. 1. С. 162.

С. Не хуже Кнута Гамсуна. – Гамсун (Педерсен) К. (1859–1952) – норвежский писатель, чрезвычайно популярный в России, лауреат Нобелевской премии по литературе (1920). Имеется в виду его роман «Голод» (1890; рус. пер. 1892), герой которого – молодой человек, мечтающий стать писателем и живущий в нищете; под воздействием голода обнажается его подсознание, обостряется воображение.

С. Помощник присяжного поверенного... – Присяжный поверенный – адвокат.

С. Через семь дней трехактная пьеса была готова. – История создания этой пьесы изложена в рассказе «Богема» (см. коммент. к с. ХХХ).

С. Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят... – Как вспоминала Т. Кисельгоф, дальнейшее пребывание во Владикавказе стало крайне рискованным:

Остаться больше было нельзя. Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили: «Вон, белый идет!» <...> В общем, если б мы там еще оставались, нас бы уже не было. Ни меня, ни его. Нас бы расстреляли. Там же целое белогвардейское гнездо было: сын генерала Гаврилова, Дмитрий, предлагал в их подполье работать, но я отказалась. Потом хотел завербовать медсестру из детского дома, который в их особняке был, а она его выдала. Тут и начальника милиции арестовали, где я раньше работала. Он тоже контрреволюционером оказался. Ну, и надо было сматываться.

С. Цихидзири. Махинджаури. Зеленый мыс! – Цихидзири – курорт на берегу Чёрного моря в Абхазии (около 20 км от Батуми); Махинджаури – курорт в 5 км от Батуми; Зеленый Мыс – приморский курорт примерно в 10 км от Батуми.

С. Чаква. – Чаква – поселок городского типа на берегу моря, около 15 км от Батуми.

С. Он ходил по базару... – В публикации «Возрождения» – «по Нури-Базару».

С. Кацо смеялись над ним. – Т. е. местные жители (грузины, аджарцы).

С. ...пополам съели фунт чурека... – Чурек – пресный хлеб, лепешка.

С. Не нады нам больше этой парнографии. – Ср. заглавие статьи в газете «Коммунист» от 17 апреля 1920 г: «Порнографию – вон из театра!» – в ней резко отрицательно оценивался концерт, организованный подотделом искусств.

С. Вечером идет пароход. – Т. Кисельгоф вспоминала:

В Батуме мы сняли комнату где-то в центре, но денег уже почти не было. Он там тоже все пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что это мы уже навсегда расстаемся. Ходили на пристань в порт он ходил, все искал кого-то, чтобы его в трюме спрятали или еще как, но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся.

С. В Москву! В Москву! / В Москву! – «В Москву! В Москву! В Москву!» – реплика Ирины в финале второго действия пьесы А. Чехова «Три сестры» (1900): Ч е х о в А. П. Собр. соч. М., 1985. Т. 10. С. 273.

С. – C'estlalu-u-ttefina-a-le! /...L'Internationa-a-ale!! – Слова «Интернационала» (1871) – стихотворения Э. Потье (рус. текст А. Коца), которое стало коммунистическим гимном (муз. П. Дегейтера). До 1943 г. «Интернационал» был гимном СССР.

С. Ан, Москва не так страшна, как ее малютки. – Каламбурная вариация пословицы «не так страшен черт, как его малюют».

С. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. <...>...женится и славно заживет в пяти комнатах. – Эта карикатура на Маяковского – своего рода ответ на его воинственно «анти-мещанские» произведения вроде стихотворения «О дряни» или поэмы «Про это»; как отметил Л. Лосев (Л о с е в Л. Комментарии // Булгаков М. Записки на манжетах. Нью-Йорк, 1981. С. 114–115), булгаковский шарж походит на фотомонтаж А. Родченко, иллюстрировавшего первое издание «Про это» и поставившего рядом с Маяковским его «антидвойника» – мещанина-нэпмана (см.: М а я к о в с к и й В. В. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 160).

С. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного



гражданина Ивана Ивановича Иванова. – Иван Иванович Иванов – гротескный образ обывателя-мещанина в романе А. Белого «Петербург» (1913; переработанная и сокращенная редакция вышла в 1922 г. в Берлине):

А кругом раздавалось:

– «Кто да кто?»

– «Кто?.. Иван!..»

– «Иван Иванович!..»

– «Иван Иванович Иванов...»

– «Так вот – я говорю: Ивван-Иванч?.. А?.. Ивван-Иванч?.. Что же вы, Ивван-Иванч? Ай, ай, ай!..»

– «А Иван Иванович-то...»

– «Все это враки».

– «Нет, не враки... Спросите Ивана Ивановича: вот он там, в биллиардной... Эй, эй!»

– «Ивван!..»

– «Иван Иванович!»

– «Ивван Ивваныч Иванов...»

– «И какая же ты, Иван Иванович, свинья!»

Где-то подняли дым коромыслом; оттуда машина, как десяток крикливых рогов, в копоть бросивших уши рвущие звуки, – вдруг рявкнула: под машиной купец, Иван Иванович Иванов, махая зеленой бутылкою, встал в плясовую позицию с дамой в растерзанной кофточке; там горела грязь ее нечистых ланит; из-под рыжих волос,

из-под павших на лоб малиновых перьев, к губам прижимая платок, чтобы вслух не икать, пучеглазая дама смеялась; и в смехе запрыгали груди; ржал Иван Иванович Иванов; публика пьяная разгремелась вокруг (Б е л ы й А. Петербург. М., 1981. С. 205).

С. ...20 бумажек ломовику. – Т. е. ломовому (занимавшемуся перевозкой грузов, тяжестей) извозчику.

С. В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. – Имеется в виду дом № 6 по Сретенскому бул., до революции принадлежавший страховому обществу «Россия». Здесь помещался Главполитпросвет Наркомпроса (Главный политико-просветительный комитет Народного комиссариата образования), в котором Булгаков служил с 1 октября (заявление датировано 30 сентября) по 1 декабря (приказ о расформировании Лито издан 23 ноября) 1921 г.

С. «Кв. 50». – Лито помещалось в кв. 65 дома 5 по Сретенскому бул. В анкете, заполненной при приеме на службу в Лито, Булгаков указал, что временно проживает в кв. № 50 в д. № 10 по Б. Садовой ул. Видимо, поэтому он «поселил» в эту квартиру и Лито.

С. Другая загадочная: «Худо». – Худо – Художественный отдел Главполитпросвета, в ведении которого ранее находилось Лито. Вместе с тем слово «ху-

до» выражает и отношение к «квартире 50».

С. Да Горький Максим. На дне. Мать. «На дне» (1902) – пьеса, «Мать» (1906) – роман М. Горького.

С. – Это я. – Как отмечает Р. Янгиров, имеется в виду заведующий Лито Главполитпросвета А. Готфрид – малоизвестный литератор, критик и публицист. Его непосредственным начальником был А. Серафимович, возглавлявший Лито Наркомпроса.

С. Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя. – Золя Э. (1840–1902) – французский писатель.

С. Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. – Заместителем Готфрида был 25-летний В. Богатырев – поэт и драматург, студент II курса Высшего литературно-художественного института (ВЛХИ) им. В. Я. Брюсова; в 1922–1923 г. Богатырев являлся также репортером «Гудка» (как раз в это время в газете стал сотрудничать Булгаков).

С. – Я хотел бы должность в Лито. – Служба Булгакова секретарем Лито Главполитпросвета продолжалась с 1 октября по 1 декабря 1921 г.

С. ...«Мейерхольд. Октябрь театра»... – После прихода большевиков к власти группа левых художников (прежде всего футуристов) выдвинула программу объединения левых театров «Театральный Октябрь» – она была сформулирована В. Мейерхольдом осе-

нию 1920 года. Сторонники программы призывали к полному разрушению старого искусства и к превращению театра в средство политической агитации и пропаганды.

Кроме того, в 1920 г. во Владикавказе Булгаковым была написана статья «Театральный Октябрь», в которой, по сути, пропагандировались мейерхольдовские идеи:

Нет никаких сомнений в том, что театральный октябрь идет с неизбежным опозданием против октября боевого. <...>

Но сцена не музей.

И поэтому надвигается на нее октябрь театра, несущий с собой погром прежних традиций, разрушение старых рамок, новую идеологию, новые неожиданные образцы. <...>

Мы можем только предполагать, что он принесет с собой уничтожение рампы, образцы истинно-массового действия, невиданные грандиозные зрелища, в которых зал сольется в кипучем порыве со сценой (возможно, что зал в это время окажется на площади).

Нам придется увидеть, как для общего действия зрительная толпа хлынет через рампу на сцену, а навстречу ей пойдет актер... (полный текст см. в т. 3).

С. ...дайте машину. – Т. е. пишущую машинку.

С. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке. – Академическим пайком называлась норма продовольствия, выдававшегося творческим работникам, ученым, сотрудникам образовательных учреждений. 6 декабря 1921 г. было принято специальное постановление Совнаркома о введении с 1 января 1922 г. особого академического обеспечения для 7 тыс. научных работников (Наркомпрос: Бюллетень официальных распоряжений и сообщений. 1921. № 60. 27 декабря. С. 7–8).

С. Тихо сказал: «Шторн». – Имеется в виду писатель Г. Штурм (в 1921 г. ему было 23 года), служивший инструктором Лито.

С. ...кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев. – Как отметила М. Чудакова, речь идет об Иване Старцеве, который в октябре 1921 г. работал вместе с Булгаковым в ЛИТО Главполитпросвета. Старцев был поэтом круга Есенина и, как уже говорилось, послужил одним из прототипов Ивана Русакова в романе «Белая гвардия». Впоследствии стал известным библиографом.

С. Оказалось, поэт. Саша. – А. Брянский, писавший под псевдонимом Саша Красный, служил заведующим секцией пропаганды Лито.

С. Писали лозунги все... – Имеется в виду агитационная компания по борьбе с голодом в Поволжье.

Сочиненные сотрудниками Лито лозунги обсуждались на заседании 11 октября 1921 г. Р. Янгиров приводит некоторые из них (установить конкретное авторство лозунгов не представляется возможным):

В неоплатном, братец, долге  
Ты стоишь, разиня рот,  
Помоги ж скорее Волге,  
Мрет там с голоду народ.

Урежь избыток у сытого брюха —  
Будет голодному хлеба краюха.

Что чесать затылок долго —  
Гони, товарищ, хлеб на Волгу.

Волга все долги запомнит,  
Все вернет с лихвой,  
Так скорей спеши на помощь  
Щедрую рукой.

Ты знаешь, товарищ, про ужас голодный,  
Горит ли огонь в твоей честной груди,  
И если ты честен, то чем только можешь,  
На помощь голодным приди.

С. ...называвший себя – король репортеров. – Непонятно, о ком конкретно идет речь; «королем репортеров» в конце XIX – начале XX в. именовали журналиста и писателя В. Гиляровского.

С. Пирог на Трубе... – Труба – Трубная площадь.

С. Давно уже мне кажется, что кругом мираж. – Возможно, вариация на тему финала гоголевской повести «Невский проспект» (1834): «О, не верьте этому Невскому проспекту! <...> Все обман, все мечта, все не то, чем кажется! <...> Он лжет во всякое время, этот Невский проспект» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. М., 1977. Т. 3. С. 39).

С. Канатчикова дача!.. – Просторечное название психиатрической лечебницы им. Кащенко, расположенной вблизи железнодорожной станции Канатчиково.

С. Марта 25-го числа <...> Цирюльник Иван Яковлевич... – Цитата из повести «Нос» (1835), впервые напечатанной в третьем томе «Современника» А. Пушкина за 1836 г. (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. Т. 2. С. 40).

С. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. – Разумихин – персонаж романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866), друг главного героя Родиона Раскольников.

С. Горели красноватые не экономические лампоч-

ки. – Т. е. угольные (экономическими назывались лампочки с металлическими нитями).

С. Финчасть. Нацмен. – Финчасть – финансовая часть. Нацмен – национальное меньшинство. В структурах Наркомпроса – Главполитпросвете и губернских политпросветах – существовали бюро национальных меньшинств (отвечавшие за работу с нерусскоговорящим населением) с соответствующими национальными секциями.

С. Чепуха совершенная делается на свете. <...>... очутился, как ни в чем не бывало, вновь на своем месте... – Цитата из повести «Нос» (Г о г о л ь Н. В. Собр. соч. Т. 2. С. 61).

С. Казнь египетская. – Фразеологизм библейского происхождения: в книге Исход говорится о карах («казнях»), которые постигают египтян из-за нежелания фараона отпустить израильтян в обетованную землю (Исх 7-12).

С. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. – Как отмечает Р. Янгиров, секретарем бюро художественных фельетонов Лито служила Н. Рындзюнская.

С. Наконец, с юга молодой человек. Журналист. – По мнению Р. Янгирова, имеется в виду А. Эрлих, ставший заведующим организационной секцией Лито.



С. Некрасова... – Осенью 1921 г. исполнялось 100 лет со дня рождения Н. Некрасова. По этому поводу Коллегия Наркомпроса 1 октября 1921 г. постановила: «Признать за Некрасовскими празднествами государственное значение и предложить всем органам НКП принять в них участие» (Наркомпрос: Бюллетень официальных распоряжений и сообщений. 1921. № 46. С. 3–4). Тогда же Булгаковым был написан посвященные Некрасову очерк «Муза мести» (см. т. 3).

С. ...воскресших алкоголиков. «Воскресший алкоголик» – пьеса харьковского литератора Р. Григоровского, рукопись которой автор прислал 22 октября 1921 г. в Лито Главполитпросвета вместе со своим заявлением, в котором просил принять его на службу. Ранее в «Записках на манжетах» об этой пьесе не упоминается.

С. ...выдадут по 500 авансом. – Т. е. по 500 тысяч.

С. ...и бежит какой-то духобор... – Духоборы – Одна из русских религиозных сект, отвергавшей церковную обрядность. Духовный лидер духоборов Петр Веригин неоднократно бывал у Толстого. Когда в России начались гонения на духоборов, Толстой помогал им перебраться в Канаду.

С. ...Лито ликвидируется. – После расформирования Лито вместо него было создано Литературное бюро, а затем – издательский отдел Главполитпросвета.

С. ...Голодные сборники... – В рамках кампании по борьбе с голодом сотрудники Лито составляли сборники «Голод» (из произведений писателей XIX в.), а также «На голод» – из произведений современных писателей (в частности, М. Кольцова, П. Низового, Ю. Слезкина, Я. Окунева); однако их издание не было осуществлено.

# БОГЕМА

Впервые: Красная нива. 1925. № 1.

В рассказе варьируется один из эпизодов «Записок на манжетах».

4 января 1925 г. Булгаков записывал в дневнике:

Сегодня вышла «Богема» в «Красной» ниве» № 1. Это мой первый выход в специфически-советской тонкой журнальной клоаке. Эту вещь я сегодня перечитал, и она мне очень нравится, но поразило страшно одно обстоятельство, в котором я целиком виноват. Какой-то беззастенчивой бедностью веет от этих строк. Уж очень мы тогда привыкли к голоду и его не стыдились, а сейчас как будто бы стыдно. Подхалимством веет от этого отрывка, кажется, впервые с знаменитой осени 1921 г. позволю себе маленькое самомнение и только в дневнике – написан отрывок совершенно на «ять», за исключением одной, двух фраз. («Было обидно и др.»).

Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1.

С. 466...присяжный поверенный Гензулаев... – Т. Кисельгоф вспоминала, что Булгаков писал пьесу

вместе с их соседом, юристом Туаджином Пейзулаевым.

С. – Что ж это вы так приуныли? – Вероятно, скрытая цитата из народной песни «Из-за острова на стрежень»: «Что ж вы, черти, приуныли?»

С. Вступительные слова перед пьесами кончились. – Во Владикавказе Булгаков, в частности, перед началом спектаклей в театре произносил вступительные слова о классических пьесах и драматургах. Т. Кисельгоф рассказывала:

...он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо. Прекрасно говорил. Это я не потому, что... это другие так отзывались. Но денег не платили. <...> Ни копейки! Вот, спички дадут, растительное масло и огурцы соленые.

С. 467. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. – Имеется в виду пьеса «Сыновья муллы».

С. Оговариваю здесь Гензулаева. – Т. е. обвиняю, доношу на него.

С. ...единственно, на что я надеюсь, – это что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. – Осетинский перевод пьесы (сделанный Б. Тотровым) был опубликован в журнале «Фидиуаг» (Владикавказ) в 1930 (№ 4). Кроме того, сохранился суфлерский эк-

земпляр русского текста (см.: Булгаков М. А. Сыновья муллы. Пьеса из жизни ингушей в 3 актах // Соколов Б. В. Булгаковская энциклопедия. М., 1996).

С. 469. В 1913 г. женился, вопреки воле матери. – См. коммент. к с. XXX.

С. 470. Вечные странники. – Возможно, цитата из стихотворения М. Лермонтова «Тучи» (1840): «Тучки небесные, вечные странники...» (Лермонтов М. Ю. Собр. соч. Т. 1. С. 313).

# ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Впервые: Красный журнал для всех. 1924. № 2.

И. Овчинников, вместе с Булгаковым работавший в редакции «Гудка», вспоминал, что первая редакция рассказа была создана «на спор» – Булгаков обязался написать рассказ, фабула которого будет развязана лишь в самом конце:

И написал! И, насколько помнится, даже напечатал. Название рассказа – «Антонов огонь». Вот его канва.

Деревня бунтует. Революция. Помещик бросил усадьбу и сбежал. Батраки, дворня, ставши хозяевами экономии, живут как умеют. Водовоз Архип растер сапогом ногу. Начинается гангрена – антонов огонь. Срочно надо ехать за врачом, а лошади нет. Общая растерянность, тревога. А ночью в усадьбе пожар. Тайно вернулся ее владелец – князь Антон – и спалил постройки. По авторскому замыслу пожар и был тот настоящий антонов огонь, который дал заголовок рассказу. Но раскрывается это действительно только в последнем абзаце (О в ч и н н и к о в И. В редакции «Гудка» // Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 140–141).

Мемуарист полагает, что данный сюжет возник под

влиянием их беседы, когда Овчинников рассказал Булгакову про кулака, который «собственноручно спалил свой хутор, зарезал пять племенных баранов и, пьяный, пришел с косой на конюшню резать сухожилия жеребцам-производителям. Тут голубчика и сцапали его же бывшие конюхи» (Там же. С. 141).

Одним из стимулов к созданию рассказа мог послужить замысел пьесы о Г. Распутине, которую Булгаков намеревался написать в начале 1920-х гг.; для этого он, в частности, в 1923 г. посетил подмосковную усадьбу Архангельское, ранее принадлежавшую Ф. Юсупову, одному из участников антираспутинского заговора. Юсуповский дворец стал «прототипом» дворца Ханская Ставка в рассказе.

Незадолго до публикации «Ханского огня» появились два произведения, в которых фигурирует дворец, превращенный в музей, и которые могли оказать влияние на замысел булгаковского рассказа. Весной-летом 1922 г. М. Пришвиным написана повесть «Мирская чаша (19-й год XX века)». 24 августа Пришвин читал ее на собрании литературного кружка «Звено»; в том же 1922 г. несколько отрывков из «Мирской чаши» увидело свет – в частности, глава «Музей усадебного быта» была напечатана в газете «Новости» (9 октября), а фрагмент под названием «Шкраб» в декабре появился в журнале «Россия» (№ 4).

Кроме того, в октябре 1923 г. в Париже был написан рассказ И. Бунина «Несрочная весна», опубликованный в начале 1924 г. в журнале «Современные записки» (№ 18). В нем тоже речь идет о чуде уцелевшем княжеском дворце, превращенном в музей. Подобно Тугай-Бегу, бунинский герой теряет ощущение границы между реальностью и грезой, между жизнью и смертью – он «один из уцелевших истинно чудом среди целого сонма погибших» (Б у н и н И. А. Собр. соч.: В 4 т. М., 1988. Т. 3. С. 63) и стремится вернуться в прошлое. Герой говорит: «Я непрестанно чувствую, как тлеет, рвется самая последняя связь между мною и окружающим меня миром, как все больше и больше отрешаюсь я от него и ухожу в тот, с которым связан был я не только весь свой век, с детства, с младенчества, с рождения, но даже и до рождения: ухожу в “Элизей минувшего”, как бы в некий сон. <...> Да, я чудом уцелел, не погиб <...> Но что может быть у меня общего с этой новой жизнью, опустошившей для меня всю вселенную!» (Там же, с. 63–65).

Печатается по: Б у л г а к о в М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 2.

С. 384. Усадьба-музей Ханская Ставка – Название дворца в рассказе напоминает о судьбе усадь-



бы Архангельское после революции: в первой половине 1920-х гг. там размещалась ставка народного комиссара по военно-морским делам, председателя Революционного военного совета республики (РВСР) Л. Троцкого. В 1919 году по решению Наркомпроса в Архангельском открылся музей. Однако начальником отдела музеев Наркомпроса была Н. Седова – жена Троцкого, которая предложила ему разместить в Архангельском ставку верховного главнокомандующего и поселиться там же. До 1927 г. семья Троцкого жила в 14 комнатах на втором этаже дворца. Возможно, образ пожара тоже обусловлен реальными событиями. Во время Гражданской войны Архангельское использовалось как госпиталь. В Оранжерейном корпусе (в юсуповские времена – гостевой корпус) разместили Комитет помощи больным и раненым красноармейцам. В 1921 г. это здание сгорело (впоследствии на его месте построили военный санаторий). Вместе с тем образ пожара революции, «революционной гражданской войны» был довольно распространен в публицистике Троцкого; его сторонники не раз вспоминали афоризм: «Россия – спичка для пожара мировой революции».

С. ...на дачном поезде... – Т. е. на пригородном.

С. ...«1-е реальное училище». – Реальное училище – неполное среднее или среднее учебное заве-

дение, обучение в котором ориентировано прежде всего на предметы естественно-математического цикла. Именно реальное училище окончил Троцкий. Черты внешности данного персонажа тоже намекают на него: «пенсне на носу», и «бородка <...> как у образованного человека» – узнаваемые портретные детали Троцкого; сходен и возраст: «голому» около сорока лет – Троцкому в 1924 г. было 45 лет. «Ханский огонь» опубликован в начале 1924 г. – в это время фигура Троцкого вызывала повышенное внимание Булгакова, следившего за борьбой в партийно-государственной верхушке. Вот, например, его дневниковая запись 8 января 1924 г.: «Итак, <...> Троцкого выставили. Что будет с Россией, знает один Бог. Путь он ей поможет!»

С. 386...вились и розовели амуры. – Амур – античное божество любви, крылатый младенец.

С. – Растрелли строил. – Растрелли Б. (ок. 1700–1771) – знаменитый архитектор; в ансамбле усадьбы Архангельское его построек нет.

С. – Строил князь Антон Иоаннович... – Имя и отчество князя напоминают о генерале Деникине, одном из предводителей Белого движения в России.

С. – Бросьте, товарищ Антонов... – Обратим внимание, что имя князя и фамилия «голового» сходны. Л. Филалова отмечает, что обыгрывание имени Антон и словосочетания «антонов огонь» представляет собой ре-

минисценцию из басни К. Пруtkова «Помещик и трава»: «Антонов есть огонь, но нет того закону, / Чтобы всегда огонь принадлежал Антону» (П р у т к о в К. Полн. собр. соч. М.; Л., 1965. С. 78).

С. 387. Темные гроздьа кенкетов... – Кенкет – здесь. настенный светильник, бра.

С. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. – Имеется в виду император Павел I.

С. ...княгини и князя Тугай-Бег-Ордынские... – Князь Тугай-бей – один из персонажей романа Г. Сенкевича «Огнем и мечом». Б. Хмельницкий привлекает его в союзники против Польши, однако Тугай-бей относится к нему довольно пренебрежительно. «Еще несколько месяцев назад Тугай-бей, доблестнейший из мурз и гроза низовых, был объектом страшной ненависти всей Сечи – теперь же “товарищество”, завидя его, подкидывало шапки, полагая мурзу добрым другом Хмельницкого и запорожцев» (С е н к е в и ч Г. Собр. соч.: В 9 т. М., 1982. Т. 9. С. 107). Хмельницкий «довольствовался вторым голосом после тарина, смиренно сносил бееву спесь и презрительное сверх всякой меры обхождение. Были это отношения ленника и сюзерена. Иначе оно происходить не могло. Хмельницкий все свое влияние среди каза-

ков завоевал благодаря татарам и ханской милости, знаком которой было присутствие дикого и бешеного Тугай-бея» (Там же. С. 108). Примечательно, что сам автор рассказа использовал это имя в качестве псевдонима: передавая в 1929 г. в альманахах «Недра» один из фрагментов «романа о дьяволе» – главу «Мания фурибунда», Булгаков подпишет ее «К. Тугай» (видимо, «князь Тугай»).

С. 388...повелитель Малой орды... – Как указано в словаре Брокгауза и Ефрона, Малая, или Младшая, орда – одна из трех ветвей киргизов; в 1732 г. перешла в русское подданство; до 1824 г. управлялась ханами.

С. ...с шифром на груди... – Шифр – знак фрейлины: золотой с бриллиантами вензель императрицы на банте.

С. ...жуткой Мессалины. – Мессалина (ок. 25–48) – третья жена императора Клавдия, преемника Калигулы; пыталась возвести на трон своего любовника Гая Силия; имя Мессалины стало символом распутства.

С....четыре красавца гайдука... – Гайдуки – в XV–XIX вв. участники вооруженной борьбы южнославянских народов, молдаван и др. против турецких завоевателей. Булгаков, видимо, употребляет это слово в значении «слуги», «лакеи».

С. Афинские ночи устраивала... – Афинские ночи – в Древней Греции празднества в честь Деметры и

Диониса; в переносном значении – оргии.

С. 389...с эспантонами, палашами, <...>, со шлемами кавалергардов, <...> пищалями, мушкетами, <...> дагерротипами... – Эспантон – копье с длинным накопником, чаще использовавшееся как парадное оружие; палаш – в тяжелой кавалерии прямая и широкая сабля с лезвием, заточенным с одной стороны, а у конца – с двух сторон; кавалергарды – конные гвардейцы, один из самых привилегированных полков русской армии; пищали – тяжелые ружья, находившиеся на вооружении русской армии в XVI–XVII вв.; мушкет – ружье с фитильным замком, принятое на вооружение пехоты в XVI в.; дагерротип – снимок, сделанный способом дагерротипии (по фамилии изобретателя Л. Дагерра), фотографированием на металлической пластинке, покрытой слоем йодистого серебра (применялся до середины XIX в.).

С. ...с карсельскими старыми лампами. – Карсельская лампа (по имени изобретшего ее в 1800 г. Карселя) – лампа с фитилем, построенная в 1800 г. Б. Карселем, питаемая специальным маслом, которое нагнетается насосом.

С. Шли через боскетную... – Боскетная – комната (обычно в усадебном доме), стены которой расписаны под парковые пейзажи.

С. ...золотился и голубел фаянс и сакс... – Сакс –

фарфор саксонских заводов.

С. 396...запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. – Т. е. червонцы (обеспеченная золотом денежная единица, выпущенная в период борьбы с инфляцией в 1922 г.).

С. 397...сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. – Имеется в виду император Николай II. Кстати, его мать императрица Мария Федоровна с 1881 г. до самой своей смерти в 1928 г. была почетным шефом кавалергардов.

С. 398...и нажал репетир. – Репетир – механизм, благодаря которому механические часы разными тонами отбивают часы, доли (половины, четверти) часа и минуты.

С. ...портрет елизаветинской дамы... – Т. е. эпохи императрицы Елизаветы Петровны.

# № 13. – ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА

## *Рассказ*

Впервые: Красный журнал для всех. 1922. № 2. Вошло в: Булгаков М. Дьяволиада. М., 1925; Булгаков М. Роковые яйца. Рига, 1928.

Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 2.

С. 242. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. – В рассказе изображен дом № 10 по Б. Садовой ул., фигурирующий во многих произведениях писателя. В 1921–1924 гг. Булгаков и его первая жена жили в этом доме (сначала в кв. 50, затем в кв. 34). Дом был построен архитекторами А. Милковым и Э. Юдицким в 1903 г. для табачного фабриканта, владельца фабрики «Дукат» И. Пигита. В. Левшин, который был соседом Булгакова по квартире 34, писал об этом доме:

Один из двух его корпусов – тот, что на пол-этажа повыше, выходит фасадом на улицу; другой – буквой П – находится во дворе,

куда ведет длинная подворотня. Когда-то две клумбы и фонтан украшали его асфальтовый прямоугольник. В центре фонтана стояла скульптура: мальчик и девочка под зонтом. <...> Сначала дом не предназначался для жилья – богач Пигит строил табачную фабрику. Но в самый разгар строительства пришло запрещение возводить фабрику внутри Садового кольца. Пигит не растерялся, и промышленное здание быстро превратилось в жилое (Л е в ш и н В. Садовая, 302-бис // Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 168).

С. ...сияли фонарики-сударики. – «Фонарики-сударики» – словосочетание из стихотворения И. Мятлева «Фонарики» (1841).

С. Шикарный дом Эльпит... – Булгаков выбирает для домовладельца фамилию не только похожую, но и значимую: в слове «Эльпит» сочетаются ивритские корни со значениями «Бог» и «катастрофа» (Г а с п а р о в Б. М. Литературные лейтмотивы. С. 96).

С. 243...Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих... – Как вспоминает В. Левшин, фамилия управляющего домом № 10 (эту должность он сохранил и в послереволюционный период) была Сакизчи (Л е в ш и н В. Садовая, 302-бис. С. 181).

С. ...женщиной в шеншилях. – Шиншилла – грызун



с голубовато-серым мехом.

С. ...государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов»... – «Гугеноты» – опера Дж. Мейербера (1836) по роману П. Мериме «Хроника царствования Карла IX» (1829); граф де Сен-Бри (бас) – губернатор Лувра, один из вождей католиков.

С. 243–244...прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». – Как пишет В. Левшин, после революции дом 10 по Б. Садовой стал первой в Москве, а может быть и в стране, рабочей коммуной: управление домом перешло в руки самих жильцов.

С. 245...на квартиру, в которой когда-то студия была... – Помимо квартир, в доме № 10 размещались студии художников – П. Кончаловского, Г. Якулова и др.

С. – Нилушкина Егора туда вселить... – В. Левшин пишет, что прототипом Нилушкина был жилец дома № 10 по фамилии Никитушкин – «личность комическая, чьи грозные предупреждения <...> не испугали бы даже ребенка» (Л е в ш и н В. Садовая, 302-бис. С. 181).

С. 246. Бич дома, Пыляева Аннушка... – Как вспоминала Т. Кисельгоф, их соседкой в кв. № 50 была некая Аннушка Горячева:

У нее был сын, и она все время

его била, а он орал. И вообще, там невообразимо что творилось. Купят самогону, напьются, обязательно начинают драться, женщины орут: «Спасите! Помогите!» Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию. А милиция приходит – они закрываются на ключ и сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели. <...> Ей лет шестьдесят было. Скандальная такая баба. Чем занималась – не знаю. Полы ходила мыть, ее нанимали...»

Видимо, об этой же женщине упоминается в дневниковой записи Булгакова от 29 октября 1923 г.:

Сегодня впервые затопили. Я весь вечер потратил на замазывание окон. Первая топка ознаменовалась тем, что знаменитая Аннушка оставила на ночь окно в кухне настежь открытым. Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру.

С. 247...дрожащие факелы Арбатской... – Т. е. Арбатской пожарной части (далее – тоже названия пожарных частей: Пречистенской, Краснопресненской, Хамовнической, Городской).

С. 248...тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. – Святой Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин; 1753–1833) – духовный мыслитель и церковный деятель; канонизирован в 1903 г.

# ПСАЛОМ

Впервые: Накануне. 1923. 23 сентября; вошло в: Булгаков М. Трактат о жилище. М.; Л., 1926.

9 сентября 1923 г. Булгаков записывает в дневнике:

Сегодня опять я ездил к Толстому (писатель А. Н. Толстой. – Е. Я.) на дачу и читал у него свой рассказ («Псалом»). Он хвалил, берет этот рассказ в Петербург и хочет пристроить его в журнал «Звезда» со своим предисловием. Но меня-то самого рассказ не удовлетворяет.

19 октября Булгаков записывает, что рассказ читал его дядя (брат матери) М. М. Покровский: «...Расспрашивал меня сегодня, что я хотел сказать и т. д.». 6 ноября: «Сегодня, часов около пяти, я был у Лежнева, и он сообщил мне <...> о том, что мой рассказ “Псалом” (в “Накануне”) великолепен, как миниатюра (“я бы его напечатал”»).

Печатается по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 2.

С. 336...конус жаркого света лежит на странице Джерома Джерома. – Джером К. Дж. (1859–1927) – английский писатель.

С. Куплю я себе туфли... <...> Как-нибудь прожи-

вем. – Цитируется романс А. Вертинского «Все, что осталось» (1918):

Вот в субботу куплю собаку,  
Буду петь по ночам псалом,  
Закажу себе туфли к фракку...  
Ничего. Как-нибудь проживем.

С. 339...глядит сквозь реденький сатинет. – Сатинет – тонкая хлопчатобумажная ткань атласного переплетения, с тканым орнаментом в виде тонких полосок.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Впервые: Грозный. 1919. 26 ноября.

Данная статья – наиболее ранняя публикация писателя. Обстоятельства ее появления неизвестны – сам автор в автобиографии 1924 г. (см. в наст. томе) говорит об этом весьма туманно. Возможно, что выступление Булгакова явилось откликом на помещенные в газете «Грозный» 18–19 октября 1919 г. фрагменты статьи И. Семенова «Перспективы большевизма» (как указано в редакционном примечании, материал перепечатан из бакинской газеты «Знамя труда»), в которой прогнозируется стратегия большевистского правительства. Семенов полагает, что большевики сделают основную ставку на Сибирь и восточные страны (Китай, Индию и пр.) – чтобы население этих стран «бросить в мертвую последнюю схватку во старым миром господства капитала»; соответственно, намечается схватка цивилизаций – Востока с Западом. «...Переселяясь в Сибирь, большевики попытаются

прежде всего стать связующим звеном между мусульманством и буддизмом»; «если во главе Дальнего Востока станет непосредственно российский большевизм, то центром, головой и душой такого же движения для Ближнего Востока станет Турция»; «Европа сейчас стоит перед огромной проблемой, как избежать моря крови, которою будет залит путь, проходимый Востоком. / Но наибольшая тревога должна охватить Россию. Она станет первой жертвою Азии». Цитируя финал стихотворения А. Блока «Скифы» (1919): «В последний раз – опомнись, старый мир!», – Семенов заключает: «Старый мир не опомнился, не послушался большевистского зова, не окунулся в кровавый вихрь гражданской войны. / И против него большевизм пытается поднять весь мусульманский мир и “монгольскую дикую орду”. / Это будет, быть может, последняя, но жуткая и кошмарная ставка большевизма».

Булгаков, в свою очередь ставя вопрос о «перспективах», не полемизирует с Семеновым прямо, но обращает внимание преимущественно «на Запад», акцентируя внимание прежде всего на ситуации внутри России и возможной ее судьбе в ряду европейских стран.

В свою очередь, булгаковский текст тоже не остался без ответа. 28 ноября 1919 г. в той же газете «Кав-

каз» была напечатана статья П. Голодолинского «На развалинах социальной революции (Ответ на статью М. Б. “Грядущие перспективы”»):

Стыдно и больно было читать статью М. Б. «Грядущие перспективы». Будто бы и не русский написал ее. Мрачным пессимизмом и каким-то жалким унижением дышат его строки. <...>

Автор восторгается переходу союзников на мирное положение и восклицает: «Они куют могущество мира», но они вернулись только к старой культуре, а чтобы перейти к той, какой придем мы, им придется так же переболеть, как болеет наша страна. Новая культура не может быть продолжением старой. Между ними такая же колоссальная разница, как между культурой Рима и сменившей ее культурой варваров, достигшей в наше время такого могущества. В этом отношении мы не отстали, а уже перегнали другие страны.

Переболев тяжелой болезнью, мы будем гарантированы от ее повторений в будущем. <...>

Мы получили хорошую встряску и должны сознаться, что она разбудила засыпавший было народ.

На дымящихся развалинах социальной революции мы возведем новую культуру, взамен старой, в большой мере заимствованной у чужеземцев. Еще настанет время живой работы,

стремления к прогрессу всего народа – время светлых дней России.

Печатается по: Булгаков М. Под пятой: Мой дневник. М., 1990 (Б-ка «Огонек». № 39).

## **В КАФЕ**

Впервые: Кавказская газета. Владикавказ, 1920. 18 января.

Печатается по: Булгаков М. В кафэ // Москва. 1993. № 4.

С. ...кофе «по-варшавски». – Кофе с большим количеством молока, сладкий и слегка взбитый.

С. – Я слышал, что вы беспокоитесь за Ростов, я слышал, что вас беспокоит нашествие большевиков. <...>...где вы можете принять участие в отражении ненавистных всем большевиков. – Судя по всему, имеет место авторская или редакторская ошибка: три этих реплики, выглядящие как элементы диалога, принадлежат, скорее всего, одному лицу – герою-рассказчику.

С. ...над набивкой собственных карманов царскими и донскими бумажками. – «Царские» («николаевские») – кредитные билеты дореволюционного образца. «Донские», или «ростовские», денежные знаки –



кредитные билеты, выпускавшиеся с 1918 г. Донским правительством (первоначально его составляли генералы М. Алексеев, Л. Корнилов и А. Каледин); в конце 1918 г. Донская и Добровольческая армии были объединены под командованием А. Деникина в Вооруженные силы Юга России (ВСЮР). После избрания в феврале 1919 г. Донским атаманом генерал-лейтенанта А. Богаевского «донские» денежные знаки фактически стали единой южнорусской валютой.

С. ...или наконец понял бы... – Судя по всему, следует читать: «и я наконец понял бы».

## **БЕЛАЯ ГВАРДИЯ**

(финальные главы журнальной редакции)

Текст корректуры 19-й главы «журнальной» редакции романа частично сохранился в Отделе рукописей РГБ; в 1987 г. он был опубликован в журнале «Новый мир» (№ 2), затем вошел в состав пятитомного Собрания сочинений Булгакова (М., 1989. Т. 1). В 1991 г. обнаружена полная машинописная копия финальных глав «журнальной» редакции: оказалось, что до самой смерти редактора «России» Лежнева она находилась в его архиве, причем листы машинописи булгаковского романа использовались как макулатурные –

в качестве черновиков (В л а д и м и р о в И. «Алый мах» всадника из Апокалипсиса // Булгаков М. А. Белая гвардия. М., 1998. С. 269). Благодаря этой находке стало возможным существенно уточнить замысел автора «Белой гвардии» на том этапе, когда Булгаков еще мыслил роман как первую часть трилогии о Турбиных.

Печатается по: Б у л г а к о в М. А. Белая гвардия. М.: Наш дом – L'Age d'Homme, 1998.

С. Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, сверкал дед. – Обратим внимание, что в данной редакции роман завершается не в начале февраля, а 18 января – в Крещенский сочельник.

С. ...и пластрон не первоклассный... – Пластрон – туго накрахмаленная грудь сорочки под фраком или смокингом.

С. ...оборвалась под пальцами фриска из 2-й рапсодии... – Имеется в виду 2-я венгерская рапсодия Ф. Листа. Рапсодия – инструментальное произведение отличающееся свободной формой, использованием народно-песенных тем. Фриска – одна из двух контрастных частей, входящих в состав венгерского народного танца чардаша: лассу (лашшу) – его мед-

ленное вступление, фриска (фришка) – зажигательная парная пляска.

С. ...как у Баттистини. – М. Баттистини – итальянский певец (баритон), исполнявший в том числе партию Демона.

С. ...мама пляшет кек-вок... – Кэк-уок (англ. cakewalk, «прогулка с пирогом») – популярный в начале XX в. танец.

С. ...и снял заклею с таблицы. – Имеется в виду докторская вывеска, которая в течение болезни Турбина была заклеена.

С. И падает время <...> Как капли в пещере... – Здесь фактически подчеркнуто сходство Лариосика со Шполянским, автором стихов «Капли Сатурна»: время, падающее каплями, – это и есть «капли Сатурна». Таким образом, Лариосик выглядит как некий духовный «последователь» Шполянского – «отличнейшего организатора поэтов».

С. К тебе я стану прилетать... – Слова из арии Демона.

С. ...из далекого Дикого переулка. – Несмотря на кажущуюся «искусственность» названия, такой переулочек в Киеве действительно существовал.

С. ...доставал из ящика письменного стола кабинетный портрет... – Т. е. портрет, фотографию небольшого формата для размещения на столе или на стене.

С. ...в глаза Юлии Марковны... – Возможно, отчество Юлии в первоначальной редакции служило одним из знаков античного подтекста романа и было связано с темой порока, сопутствовавшего «закату Рима». Имя героини напоминает об истории дочери и внучки императора Августа – Юлии Старшей и Юлии Младшей; отцом последней был Марк Агриппа (ср.: «Юлия Марковна»); развратное поведение матери и дочери заставило Августа пойти на крайние меры: «Обеих Юлий, дочь и внучку, запятнанных всеми пороками, ему пришлось сослать <...> Обеих Юлий, <...> если с ними что случится, он запретил хоронить в своей усыпальнице» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. М., 1993. С. 58, 73). Юлия Старшая после Агриппы была замужем за Тиверием – отец от имени мужа дал ей развод (Там же. С. 80). На дочери Юлии Младшей, Агриппине (которую Август не захотел не признавать, ни воспитывать), был женат Калигула: «Он даже хвастался, будто его мать родилась от кровосмешения, которое совершил с Юлией Август» (Там же. С. 110).

С. Вторые полмесяца она печатала приказы <...>, а третьи – передовые о том, что большевики негодяи... – Забавная ошибка: получается, что месяц состоит из трех половин.

С. ...врачам и фельдшерам явиться на регистра-

цию... под угрозой тячайшей ответственности... – С. Бурмистренко и Т. Рогозовская приводят заметку в киевской газете «Наш путь» от 31 января 1919 г.:

### К МОБИЛИЗАЦИИ ВРАЧЕЙ

Согласно приказу по главному управлению войск от 15 января № 46 Главным военно-санитарным управлением была произведена мобилизация врачей гор. Киева. По полученным сведениям, до настоящего времени часть врачей не явилась по мобилизации на учет, некоторые врачи, получая предписание, без уважительных причин не прибывают в свои части и скрываются в различных.

С. Ты на комиссию подай. – Имеется в виду медицинская комиссия, освобождающая от воинской службы.

С. – Вот видите, дермографизм у вас есть. – См. коммент. к с. XXX.

С. *А в середине серп и молоточек.* – См. коммент. к с. XXX.

С. *Прут, как саранча, так и лезут.* – Ср. фрагмент Апокалипсиса, где повествуется о нашествии страшной саранчи: «Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны. Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из большой печи; и

помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю <...> По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее – как лица человеческие; и волосы у ней – как волосы у женщин, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть же ее была – вредить людям пять месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион» (Откр 9: 1-11). Последние слова цитирует Иван Русаков.

С. Лицо Юлии Марковны ожило немного. <...>...как будто вопрос Турбина показался ей легким, совсем нетрудным вопросом, как будто она ждала худшего. – В «журнальной» редакции Юлия предстает не просто возлюбленной, но и подручной Шполянского. В плане переключек с романом Достоевского можно отметить сходство Шполянского и Юлии с двумя персонажами «Бесов» – Петром Верховенским и губернаторшей Юлией Михайловной Лембке. Хроникер поясняет: «У нас вот говорят теперь, когда уже все прошло, что Петром Степановичем управляла Интернационалка, а Петр Степанович Юлией Михайловной, а та уже ре-

гулировала по его команде всякую сволочь» (Достоевский Ф. М. Собр. соч. Т. 7. С. 431). Сходная схема («Интернационалка»-«бес»-Юлия) намечена и в булгаковском романе.

С. Двое вооруженных в сером толклись в передней... – Как отмечает Я. Тинченко, поиском военно-обязанных, уклоняющихся от призыва, занимались в Киеве патрули 3-го Сечевого полка петлюровской армии.

С. Одним словом: явиться в 1-й полк синей дивизии в распоряжение командира полка для назначения на должность врача. – См. коммент. к с. XXX.

С. Глава 21. – После 19-й главы следует 21-я: возможно, дело не только в простой ошибке, однако никакой информации о «пропущенной» 20-й главе нет.

С. – *Жида порют*, – негромко и сочно звякнул голос. – Помимо романов Л. Толстого, в «Белой гвардии», по-видимому, откликнулся и один из его известнейших рассказов – «После бала» (1903). Так, в обоих произведениях подчеркивается национальность жертвы – причем в интонационно сходных фразах; ср. у Толстого: «– Татарина гоняют за побег, – сердито сказал кузнец» (Т о л с т о й Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1952. Т. 34. С. 123). Сходны и истязатели: в булгаковском романе, как и в рассказе, экзекуцией командует полковник. К тому же сцены истязания «инород-

цев» имеют сходный подтекстный смысл; исследователи обращают внимание на символику «Голгофы» в рассказе Толстого (Ж о л к о в с к и й 1994, с. 102). Точно так же в романе «Белая гвардия» смерть еврея предстает важнейшим эпизодом истории, средоточием мировых морально-философских коллизий, а труп служит единственным свидетельством подлинности, реальности происшедших событий.

С. Го-род пре-крас-ный. / Го-о-род счастли-и-вый. – Первые слова «Песни веденецкого гостя» из оперы Н. Римского-Корсакова «Садко» (1895).

С. ...вывел меццо-воче... – Т. е. негромко.

С. ...втискивая в карман парабеллум Мышлаевского. – Парабеллум – автоматический пистолет конструкции Г. Люгера.

С. ...как бы ни сложились карты в конце роббера. – Роббер – в некоторых карточных играх (винт, вист и др.) круг игры, состоящий из трех партий.

С. Ныне отпускаеши раба твоего с миром... – Слова из заупокойной молитвы, восходящие к евангельскому сюжету о Симеоне Богоприимце (Лк 2: 29); примечательно, что память его в православной церкви празднуется 3 февраля – в булгаковских произведениях это явно маркированная дата.

С. Неизменная лампочка маленькая, малюсенькая – верный друг ночей... – В романе «Евгений Онегин»



читаем: «В избушке, распевая, дева / Прядет, и, зимних друг ночей, / Трещит лучинка перед ней» (П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 90).

С. ...плохая она женщина! Ждут вас лучшие, хорошие. – Далее в машинописи вычеркнута фраза: «Будут они у вас на пути, но не здесь, а далеко на теплом юге, куда кинет вас судьба».

С. Хожу ли я, / Брожу ли я, / Плюю ли я! / Все Юлия, да Юлия!! – Как полагает Л. Кацис (К а ц и с Л. Ф. «... О том, что никто не придет назад»: II. С. 166), данные строки представляют собой перифраз стихотворения М. Кузмина «В саду» из сборника 1908 г. «Сети»: «Хотите знать Вы, люблю ли я, / Люблю ли, бесценная Юлия?» (К у з м и н М. А. Избранное. СПб., 1998. С. 43).

С. – Честь имею, – сказал он, щелкнув каблуками, – командир стрелковой школы – товарищ Шервинский. – Преподавателем стрелковой школы в Феодосии (при белых, а затем и при красных) был Карум, поэтому образ «раздвоенного» Шервинского в сне Елены, вероятно, содержит черты не только собственно Шервинского, но и Тальберга: два мужа героини оказываются «совмещены».

С. – Кондотьер! – Кондотьер – предводитель отряда наемников; в переносном смысле – меркантильный беспринципный человек. С. Меч исчезнет <...> Так по-

чему же мы не хотим мира... – Ср. слова Иисуса: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч» (Мф 10: 43). Разумеется, в контексте булгаковского романа слова «меч» и «мир» воспринимаются прежде всего в аспекте военно-политическом; однако не стоит забывать, что евангельский образ меча – это не только (и не столько) знак войны как таковой, но прежде всего божественный символ. Ср.: «меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф 6: 17); «из уст Его выходил острый с обеих сторон меч» (Откр 1: 16; см. также: 2:12, 16; 19: 15). Оппозиция «мир-меч» воплощает противопоставление «земного» и «небесного» – и характерно, что повествователь «Белой гвардии» настаивает на ценности «мира», т. е. земных, человеческих интересов.

# СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ПОМЕЩЕННЫХ НА ФОРЗАЦАХ

## Передний форзац



1. М. А. Булгаков, 1916 г.

2. Киев. Дом № 13 на Андреевском спуске.

3. А. И. Булгаков, отец писателя.

4. В. М. Булгакова, мать писателя.

5. М. А. Булгаков – гимназист. 1908 г.

6. Семья М. В. и А. И. Покровских, деда и бабки писателя. 1880-е годы.

7. М. А. Булгаков – студент. 1909 г.

8. Киев. Андреевский спуск.

## Задний форзац



1. М. А. Булгаков. 1916 г.
2. Киев. Вид от урочища Кожемяки.
3. Братья и сестры Булгаковы на даче в Буче. 1906 г.
4. Н. А. и М. А. Булгаковы. Буча, 1908 г.
5. Булгаковы с И. П. Воскресенским на даче в Буче.
6. М. А. Булгаков – выпускник Университета Св.

Владимира. 1916 г.

7. Корректурa романа «Белая гвардия».